Сергей
Бородин



Молниеносный Баязет

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

СЕРГЕЙ БОРОДИН

молниеносный баязет

РОМАН

третья книга эпопеи «звезды над самаркандом»



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1976

Художник В. СМИРНОВ

Б $\frac{70302-016}{074(02)-76}$ 79-76 подписное



В июне 1974 года ушел из жизни Сергей Петрович БОРОДИН, один из интереснейших писателей, ученый-историк и большой художник. Он оставил нам свои прекрасные книги, но не успел завершить главный труд своей жизни — эпопею «Звезды над Самаркандом»...

В конце книги читатель найдет рассказ писателя о себе — «Дороги» — и сможет ближе узнать автора, проследить пути его жизни, уяснить истоки творчества, представить меру труда историка-романиста.

Первой книгой С. Бородина был сборник «Тридцатые годы», вобравший ранее опубликованные очерки и рассказы. В 1930—1931 годах Бородин публикует в журналах новеллы, составившие в 1932 году роман «Последняя Бухара». В 1931 году писателю довелось быть участником борьбы с басмаческими бандами Ибрагим-бека.

Творческим плодом этих событий был роман «Египтянин». Книга вышла в 1932 году и подписана — «Амир Саргиджан», как все книги Бородина. Не случайно молодой русский прозаик избрал себе такое литературное имя: его всегда привлекал советский Восток, он много ездил, видел, знал. Книги писателя неразрывно следовали за его дорогами. Обширна и пестра географическая карта путешествий, карта творческих поисков.

Поездка в Заонежье, в Карелию рождает очерк «Былинные края» — о северных сказителях, о людях, что бережно хранят в душе патриархальные обычаи своего народа, многовековую культуру Древней Руси. Писатель как бы соприкасается с русской историей, которая потом оживет в его романах. В очерке, написанном языком простым и емким, рождался своеобразный художественный прием фольклорной стилизации.

После путешествия по Армении появляется «Повесть о Шушани и Ашоте». Далекий кишлак Хулькар, затерянный в горах Памира, с мечетью, сохранившей чудесную резьбу древних мастеров, вызывает к жизни рассказ «Мастер птиц», рассказ дал название большому сборнику, вышедшему в 1934 году. Дальневосточные впечатления легли в основу повести «Рождение цветов» (1938).

Писателя уже влекла история, особенно средневековье, ему хотелось «...рассмотреть путь, по которому из далекого далека наш народ пришел к своему настоящему, ...увидеть далекие события глазами советского человека». И Сергей Бородин обращается к эпохе бурного подъема Руси, к дням ее возрождения в борьбе с иноземным захватчиком: он пишет роман, «Дмитрий Донской»—о решающем переломе в исторических судьбах Руси, об освобождении от полуторавекового татарского ига.

Далека эпоха, о которой рассказывает роман, но автор насыщает его красками жизни.

Удивителен образ Дмитрия Донского — государя, стратега, воина и патриота, в значительной мере выразителя воли народа. Не икона — живой недюжинный человек, со всей широтой его натуры, в величии своем и в слабостях.

Роман, возвращавший читателя к поучительному опыту прошлого нашей Родины, к его героике, к величавым образам народных подвигов, был опубликован в журнале «Красная новь» в начале 1941 года; он волновал близостью темы к общим переживаниям советских людей, все острее ощущавших нависшую над человечеством угрозу.

Изданный вскоре отдельной книгой, роман встречен был волной читательских, литературно-критических откликов, в 1942 году удостоен Государственной премии. В советскую литературу пришел новый исторический романист. Отныне литературным именем стало собственное имя писателя.

Идейная позиция историка, умеющего найти в давних событиях закономерности, установить причинную их зависимость, помогла глубокому проникновению в самую суть исторических явлений. Отсюда — абсолютная достоверность произведений С. Бородина.

Последующие годы С. Бородин работает над многотомным романом-эпопеей «Звезды над Самаркандом», посвященным тому же XIV веку, но уже судьбам народов, объединенных рукой Железного Хромца — Тимура (Тамерлана).

Переход к теме среднеазиатской объясним и для Бородина естествен. Время действия романов приблизительно одно, а переплетение интересов Московской Руси последней трети XIV века, Золотой орды и Тимурова государства характеризует сложность исторического момента. Историк Бородин смог понять и объяснить величие Тамерлана и тщетность его усилий завоевать мир, художник Бородин — создать живописное, яркое художественное полотно.

Первая книга — «Хромой Тимур» (1955) рассказывает о создании огромного единого централизованного государства. Тимур укрепляет его политическое могущество, умножает его богатства; возвеличивает и украшает столицу — Самарканд. Тимур в зените громкой и кровавой славы, он умен хитер, дальновиден. Это человек необыкновенного воинского таланта и большого государственного ума. Но он жестокий завоеватель, покоритель земель и поработитель народов, и это ведущая тема второй книги — «Костры похода» (1959). Народы порабощенных стран оказывают ожесточенное сопротивление ненавистному деспоту. Но Тимур чужд и своему народу, и в этом его слабость. Пожалуй, главный герой эпопеи — народ, творец и созидатель, сила и основа государства, и он — в непримиримом конфликте с Тимуром.

Книгу заключает разговор Тимура с внуком: «— Вселенная не стоит того, чтоб иметь двух повелителей.

— Значит, дедушка, будет Баязет?..»

Поход предрешен. Он состоялся. Об этом третья книга — «Молниеносный Баязет». Ее и представляем читателю.

Добавим только, что автор задумал еще одну книгу — о распаде Тимурова государства и царствовании внука Улугбека — великого астронома, звездные открытия его прославили прекрасный Самарканд...



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
отроги гор



● ГЛАВА I

ПОВЕЛИТЕЛИ

1

Шла весна 1401 года.

Весеннее утро, ясное и доброе, разгоралось в Бурсе.

Красный попугай, опустив синие крылья, чопорно охорашивался, поглядывая из медной позолоченной клетки, свисавшей на длинной цепи в арке дворцовых ворот.

Под сводами ворот расхаживали воины дворцового караула в красных безрукавках, расшитых белыми узорами, в синих складчатых широких шальварах.

По бедрам стражей колотились короткие ятаганы. Кривые кинжалы с желтыми костяными рукоятками, подвешенные спереди на широких полосатых поясах, то покачивались, то приподнимались в лад шагам.

Под сводами ворот, в полумгле, в прохладе, ладными и статными казались молодые стражи султана Баязета, отобранные среди сербиян, состоявших в его сорокатысячной сербской коннице.

А сам султан вышел во двор дворца, обстроенный серыми стенами, прогуляться под раскидистыми ветками деревьев, где из темноты листвы огненными пятнами выглядывали крупные цветы.

По краям мраморного водоема, мелкого, как блюдце, стройные растения поднимали стрельчатые листья и похожие на скрученные листки белые лилии. Золотые рыбы

лениво играли в мелкой прозрачной воде, касаясь брюшками дна, сплошь затянутого бурым мхом.

Султан прогуливался, а со всех сторон из железных клеток, прикрывавших створки окон, могли следить за ним через переплеты кованых прутьев и, конечно, следили — справа, из приемных комнат, приближенные и слуги, слева, из жилых покоев, жены и рабыни. И они видели оттуда: султан прогуливается один, словно пленник, туда-сюда, в тесноте каменного двора, то над водоемом, то под деревьями, любуясь, как утро разъясниваетс и все шире захватывает небольшой дворик своими лучами. Желтые остроносые туфли, смурыгая по мраморным разноцветным плиткам, спугивали муравьев, суетливо рыскавших всюду в поисках крошек после вчерашнего пира.

Постукивала трость. Тонкий красный халат отставал от шагов, словно навстречу султану струился ветер. Чалма, накрученная высоким тюрбаном поверх острого колпака, поблескивала золотыми нитями, пронизавшими вперемежку с зелеными полосками всю ее легкую полупрозрачную ткань.

Стражи настороженно следили за каждым движением властителя. Но едва он повертывался к воротам, все замирали и опускали глаза, не смея смотреть в лицо султана.

Выпятив небольшое длинноватое лицо, полуприкрытое золотой бахромой чалмы, там, где недоставало одного глаза, Баязет шел, постукивая тростью, поволакивая ногу, отчего левая туфля громче смурыгала по двору.

Отступив от обычая прогуливаться только под деревьями, Баязет вдруг свернул к высоким четырем ступеням и поднялся наверх, на угловой выступ стены, откуда открывалась внизу вся Бурса с ее дворцами, мечетями, базарами, покрытыми полосатыми паласами, ханами, со всеми этими крепкими строениями, заслонявшими своими куполами, арками и островерхими минаретами все, что недостойно султанских глаз,— улицы бедноты, хижины и лачуги.

Баязет смотрел, поворачивая лицо к югу, к востоку, где далеко, за горами, есть подвластные ему города, покорные народы, просторные земли для пастбищ, для садов, еще не посаженных, для пашен, еще не вспаханных, где будет много дел и забот, когда он наконец завоюет и подчинит себе все достойное вождений султана. Там

где-то Багдад, Дамаск, Сивас, откуда пришли странные вести о диких полчищах хромого разбойника, который будто бы уже захватил Арзинджан и уже косится хищным взглядом в сторону Баязетовых земель и на осиротевшие города покойного Баркука.

Видно, этим летом понадобится проучить захватчиков, покушающихся на то, что намерен закрепить за собой сам Баязет. Проучить захватчиков и на их плечах въехать в... этот, как его... Самарканд!

Купцы и почтенные жители близлежащих городов с испугу прислали своих людей со слухами о том же Тимуре, якобы своих головорезов он уже повел на османские города. Но вавилонский султан Фарадж у себя в Каире отмалчивается,— видно, вознамерился сам свернуть шею Тимуру, всю добычу, ни с кем не делясь, прибрать себе. Багдад однажды так и достался этому Тимуру: военачальники не потрудились даже всех войск собрать, не изготовились к осадному сидению, на толщину стен понадеялись. И Тимур тогда забрал себе все ценности, хранившиеся в Багдаде. Столько награбил, что не то барка, нагруженная золотом, не выдержала и потонула в Тигре, не то мост проломился под добычей. И поныне никто ничего достать со дна не смог. А достанься они Баязету, доныне те богатства были бы целы, украшали бы этот дворец. Ведь там, по слухам, хранились сокровища еще изначальных персидских царей, тысячелетние. А купцам... Чего им там опасаться, чего робеть? Охрана им дана отсюда, Баязетом, послана туда из-под самого Константинополя. Баязетовых воинов Тимур, не подумавши, не дерзнет коснуться — Баязет ему не какой-нибудь правитель Багдада, не вавилонский султан, у Баязета весь мир под ногой.

«Весь мир, весь мир»,— усмехнулся одной щекой султан, переходя на правую сторону стены.

Теперь он смотрел, как глубоко внизу протянулись, переплетаясь, улицы. Вдали, словно клочья серого бархата, темнели сады. Каменщики возводили тонкий, как копье, минарет возле мечети, которую он перестраивал из греческой церкви. Слева, перед сводом базарных ворот, стояли верблюды новоприбывшего каравана. Какие-то всадники в полосатых бурнусах, не сходя с седел, переговаривались с торговцами. По ту сторону, за Дамаском, около Багдада, в таких полосатых бурнусах расхажива-

ют халдеи, вавилонские христиане, вавилонские арабы, бывшие христианами уж в те времена, когда пророк Мухаммед еще не возгласил Корана. Оттуда, видно, и прибыл караван.

Вскоре Баязету наскучило разглядывать однообразную изо в день неизменную утреннюю жизнь города, и, опуская со ступени на ступень правую ногу, которую он имел привычку приволакивать, но вполне крепкую, султан боком сошел во двор.

Начинать прием, погружаться в дела еще не хотелось. Он, смутив покой стражей, из-под деревьев пошел прямо к воротам и у самой арки остановился перед клеткой попугая. Остановился не без затаенной робости перед говорящей птицей, подозревая, что каждое ее слово таит вещий, магический смысл.

Попугай, почистившись, грыз семечки тыквы, и его клюв был облеплен шелухой. Попугай покачивался в позолоченной клетке. Этой зимой его подарили султану морские разбойники, веселые пираты, заплатив большую дань за право после ограбления генуэзских кораблей причаливать в укромных скалах на османском берегу. Даря, рассказывали, что прежде попугай этот плавал на торговом корабле, но заодно с незадачливыми испанскими мореходами достался в добычу, был отвезен в Магриб и провел лет десять на острове Джерба в старой крепости, стоявшей у самой воды. Пираты десять лет ждали выкупа за испанских пленных, и, сидя с хозяином в подвале, попугай десять лет твердил испанские слова. Оттуда, покидая Джербу, один из разбойников прихватил и своего попугая. И через все Средиземное море провез его до Бурсы в подношение султану.

Баязет, насупив лохматые брови над серым носом, смотрел на попугая, такого круглоглазого, с кривым клювом, отчего казалось, что он всегда удивлен и всегда смеется, пока тот наконец встряхнулся, прервал еду и, насмешливо вскинув голову, крикнул:

— Аррау! Аррау!..

«Хочет сказать «араб»! — догадался султан.— Что он этим вещает? Арабы кругом, я это сам знаю».

Покорно постояв еще перед покачивающейся клеткой, задумчиво постукивая палочкой, ушел во дворец: наступало время приема, и вот-вот ворота придется открыть.

Он поднимался по широкой лестнице на другую сторо-

ну дворца, шел галереей, откуда еще шире открывалась теснота города, и гадал: «Что изрекла вещая птица? Какое остереженье, какой совет на грядущий день? Не пойму, какой араб?»

Вера в прорицания, магические числа и тайные знаки перемешалась в уме султана со многими приметами и поверьями, перенятыми в детстве от родичей, в юности от разноплеменных воинов, среди которых его растил отец — могущественный султан Мурад, потом от своей султанши —сербиянки, дочери сербского царя Лазаря.

Чем больше запоминалось разных примет, тем крепче, казалось ему, противостоит он прихотям судьбы и случая. Но сильнее всего этого в нем жила вера в аллаха. Правда, жила она наравне с верой в благоприятное сочетание звезд, на всю жизнь предрекшее ему удачу во всех делах, походах и замыслах. Счастливое сочетание звезд исчислили ему астрологи в тот час, когда он впервые шевельнул свою колыбель, и по желанию могущественного султана Мурада написали это золотом на пергаменте. Эти многие веры и поверья могли толковаться как знаки предостережения или одобрения, исходящие от самого аллаха, как полагал султан.

Случалось, он кидался в битву, не дождавшись, пока войско надежно устроится, твердо веря, что победа давно предрешена благоприятными знамениями. И победы всегда доставались ему.

Он никак не мог заглушить беспокойства, смутной тревоги, раздумывая над криком попугая об арабах, которые всегда жили вокруг, занимаясь какими-то своими делами.

«В чем остерегает нас вещая птица?»

А стражи, рослые, беспечные сербияне, землю которых подчинил себе еще отец Баязета, досмотрев, пока султан вошел во дворец, и повеселев, что он ушел, обступили клетку, совали сквозь прутья пальцы, тыкали в клюв попугая и смеялись. А попугай взмахивал хохолком, откидываясь от них, и вскрикивал:

— Арр... Арр...

2

Весеннее утро, расстелив и развесив черные шали теней по всему Мадриду, ударило в стены и окна королевского дворца.

Через узкие окна в сумрак дворцовой залы вонзились пять лучей, как пять стальных мечей, рассекая на части всю эту большую безмолвную залу.

Ногой, туго обтянутой черным шелком, упершись в ступеньку трона, дон Энрико, король Кастилии, стоял, полуобернувшись к своему послу.

К скрученным свиткам посланий были подвешены большие королевские печати, свитки вложены в синие бархатные чехлы, расшитые серебряной ниткой, и посла удостоили чести, призвав во дворец, принять свитки и откланяться королевской особе перед дальней дорогой.

Далеко позади посла в черных камзолах, перекинув через руку черные плащи, замерев, стояла его свита, будущие его спутники. И теперь, в присутствии короля, старый охрипший от спеси королевский секретарь, покачивая на ладонях оба свитка, словно взвешивая их, изустно излагал последние напутствия и наставления, будто читал неразборчивый манускрипт, как, блюдя достоинство, славя величие и могущество королевского кастильского дома, выведать и выманить у османского султана Баязета все выгоды, какие станет возможным извлечь из этой дикой, разбойничьей, пиратской, языческой, богомерзкой земли для украшения христианнейшей кастильской короны.

Дону Энрико исполнилось двадцать два года, но его королевский возраст исчислялся не со дня рождения, а со дня воцарения того предка, от коего вел свой род и наследовал корону сей сын и внук королей Кастилии и Леона из династии Трастамара.

С любопытством и не без тайной зависти слушал молодой король напутственную речь секретаря, ибо послу суждено увидеть лазоревые волны морей, диковинные страны и города, неведомые народы и самого султана Баязета, владевшего неисчислимыми сокровищами, награбленными в битвах с христианами в покоренных благочестивых государствах. Опасный султан, не побоявшийся греха распотрошить крестоносное воинство самого папы Римского! А у короля Кастилии на всю жизнь одна дорога — от стены до стены внутри своего хмурого, величественного обиталища.

Королю еще не посчастливилось ни одержать знатных побед, ни приобрести какую-либо добычу. От отца-коро-

ля, и от деда-короля, и от иных венценосных предков в сундуках не сбереглось ничего, что можно было бы поименовать сокровищем, хотя почернелый дуб сундуков был окован тяжелыми скобами, хотя замки на сундуках были тяжелы. Ежевечерне трое высокопоставленных вельмож, предшествуемые полыхающими факелами, сопровождаемые вооруженным конвоем, спускались в подвал и дергали каждый замок на каждом из многочисленных сундуков, в которых давно покоились лишь паутина, тьма да какие-то тленные лоскутья, в коих когда-то что-то было завернуто. Вечерний дозор, поднявшись из подвала, затворял за собой кованую дверь, и трое вельмож, галантно содействуя друг другу, навешивали на засов грузный толедский замок, изображавший льва, где дужкой служил львиный хвост, а ключ, украшенный поверх стали позолоченной короной, несли в королевские покои, где сам коронный казначей с поклоном вешал его на бронзовый крюк над кроватью у королевского изголовья, а возле кованой двери на всю ночь ставили караул. Всю ночь напролет караульные перекликались и, гремя оружием, шагали из конца в конец по мглистому душному коридору, от факела к факелу, чадивших по одному в каждом конце коридора, настораживаясь, когда проходили мимо двери, низенькой кованой, поблескивающей вычеканенным из желтой меди гербом, хранившей сокровищницу кастильских королей.

Посол, склонив смуглое мускулистое лицо с приплюснутым носом, слушал, исподтишка разглядывая короля, золотые кружева поверх белого бархата. На тонком золотом поясе длинный узкий кинжал в черных ножнах. Черная челка подрезана чуть выше бровей. Пристальный, нетерпеливый, как у застоявшейся лошади, круглый глаз. Длинная худая кисть руки с тонкими кривыми пальцами то сжимает, то распускает обшитый золотым кружевом розоватый платок.

Как тупое гусиное перо по дешевому пергаменту, скрипел голос секретаря:

— Надлежит внушить, что могущественнейший, милостивейший наш король проявит свое благоволение султану, буде сей Баязет издаст указ о достойной плате за наши товары и повсюду откроет проезды нашим купцам.

— Надлежит добиться, чтобы золото за наши товары сей султан уплатил теперь же, не дожидаясь, поелику

наши товары впоследствии по соизволении всемилостивейшего нашего короля будут посланы.

— Надлежит получить плату золотом, в слитках ли, в чекане ли, но без примеси.

— Надлежит предложить султану воинскую помощь в его дерзких, но успешных завоеваниях... Мы можем послать ему из нашего войска...

Королевский секретарь, повернувшись к дону Энрико, как бы оценивая все значение этой помощи, торжественно возвысив голос, огласил великодушную щедрость короля:

— Пятьсот человек!

Король кивком благосклонно подтвердил это число, и старик по-прежнему скрипуче, но самодовольно пояснил:

— Но прежде султану надлежит обязаться обеспечить при дележе добычи равную долю нашему королю...

Эти наставления посол уже знал наизусть. Ему повторяли их в различных высоких палатах, чтобы наконец в последний раз напомнить при короле.

Когда все было сказано и дон Энрико, кивнув, закончил прием, посол, опустившись на одно колено, склонил голову на прощание, а дон Энрико, снисходя к немыслимо далекой и опасной дороге, простирающейся перед его подданным, позволил ему поцеловать руку. По губам посла скользнул королевский платочек, пахнущий мятой.

Посол, пятясь, отступил от трона.

В конце залы его ждали будущие спутники, также удостоенные милости откланяться своему королю Генриху Третьему Кастильскому. Они все поклонились.

И, кланяясь, отступили на шаг.

Коснувшись пола широкополыми шляпами и при сем опустив глаза в покорнейшем поклоне, снова отступили на шаг.

Отступив еще на шаг, они снова касались пола этими твердыми черными широкополыми шляпами и опускали глаза в покорнейшем поклоне, пока не отошли наконец за порог залы, где облегченно выпрямились, надевая шляпы, и, мизинцами с нарочитой небрежностью встряхнув кружева на воротниках, последовали к выходу на любезном расстоянии позади посла.

Ушел, высоко вскинув горбоносую голову, королевский секретарь, неуверенно ступая усталыми ногами

и при каждом шаге взмахивая рукой, будто не по зале шел, а спрыгивал по лестнице.

Только король остался, не шевелясь, один.

Он смотрел в окно, где зеленоватое небо слегка заслоняли, грустно покачиваясь, вершины больших деревьев.

3

Весеннее утро взглянуло прозрачной синевой из-под белой пушистой шали на заснеженную Москву.

В трапезной палате великого князя Московского погасили свечу на столе, с которого слуги убирали остатки заутренней трапезы.

Василий Дмитриевич приостановился на лесенке, услышав во дворе неурочный скрип ворот, многоголосый говор и хруст полозьев на наледи. Кто-то въезжал на великокняжеский двор. Но сквозь заледенелое окно двор не был виден.

Василий сошел на несколько ступенек ниже и по мохнатому домодельному ковру неслышно прошел в сени, откуда и глянул через стекольчатое оконце во двор.

Весь двор, оказалось, заполнен людьми. Слуги еще держали факелы, уже неуместные среди белого, светлого утра. Вдоль стен стеснились Васильевы стражи, а среди двора остановились приземистые крутые возки и вокруг возков, спешившись, топтались ордынцы в лохматых малахаях. Трое московских бояр в длинных шубах и стоячих шапках высились возле крыльца, а из возка, барахтаясь в просторных тулупах, вылезали двое юношков. От другого возка к хоромам уже шла низкорослая женщина, шла вразвалочку, выпятив живот и раскачивая курносое, непомерно щекастое лицо.

— Чтой-то за валенок шествует?— спросил Василий у появившегося Тютчева.

— Из сокровищницы Тохтамыш-хана государыня, по имени Башня Услад.

— Кхе!..— хмыкнул Василий.

— Москве на сбереженье прислал Тохтамыш-хан двоих малолетних царенышей и сию младшую из жен, самую любезную ханскому сердцу.

Тут же, опахнув всех морозной свежестью, ввалился гостейный пристав Шеремет, прискакавший впереди ордынского обоза, коему выезжал навстречу к заставе.

Он, поклонившись Василию, поклонился Тютчеву:

— Вот, встрел. Привез. В полном здравии.

— Благодарствуем! — ответил Тютчев.

— Царица, батюшка, брюхата, а поворотлива. И разговорчива вельми. Любопытствовала по дороге, по многу ль наши бояре жен заводят. А как заверил я, по одной, мол, очень она наших жен пожалела: «Что за жизнь им, когда они живут по одной!»

Тютчев покосился на великого князя и насупился было: неуместно попусту язык распускать в сенях у великого князя, да еще при самом при нем.

Но Василий был добр к мужским беседам.

— Пожалела?

— Жен наших, что по одной живут! —удивленно и словоохотливо повторил Шеремет, возбужденный ездой, необычными гостями и тронутый простотой великого князя.

— От жадности они, что ль, по стольку-то жен набирают...— поддержал беседу Василий.

— А я разумею, от слабости. Как, бывало, жил в Орде, нагляделся: не крепкие мужики. Право, нет, не крепкие. Оттого у них и жен по многу — на одну сил надо больше, одну от избытка сил любишь. А когда их не одна, к ним можно и с малой силой пройтись: они новизной влекут, переменой тревожат. А когда в тебе сила полна, ее попусту тревожить незачем, она сама тебя туда погонит. Я так примечаю: коль слаб мужик, тогда ему новинка нужна, чтоб тревожила.

— Эх, Шеремет, Шеремет!..— вздохнул Василий и пошел назад в терема, распоряжаясь Тютчеву: — Приглянь, как их разместить. В монастырь бы их на постой, да нехристи. Видно, уж тут приветим.

— Челяди с ними много.

— А челядь на гостиный двор спровадь.

Ободренный благорасположением Василия Дмитриевича, Шеремет не отставал и сказал Тютчеву:

— Как ехали, царица поговаривала: будь, мол, хан этот Тимур не столь далеко, Тохтамыш искал бы его помощи против Едигея, а как ныне Тимур в далеком походе, Тохтамышу не на кого, кроме Москвы, опереться; кроме негде любви искать.

Василий ответил за Тютчева:

— Да уж... наша любовь накрепко при нем.

Тютчев улыбнулся, но Шеремет от души поддержал:

— Воистину, государь, воистину!

Тютчев, стесняясь, что Василий не отсылает Шеремета прочь, сам решился:

— Глянь, Афанасий, как их устраивают. Гости ведь. Не обидели б чем невзначай.

Едва Шеремет отстал, Василий спросил Тютчева:

— Что там у них, в Орде, нынче?

— В Тохтамышевом обозе и мои люди прибыли, да ведь не поспел расспросить: не мог сразу отозвать их от обоза.

— Тимур этот нынче в походе. Далеко пошел. Надо б позорчей вглядеться, каковы там дела, ведь они с тылу у Орды, от них Орда либо крепче, либо слабже.

— Там мои люди сидят, шлют вести при случаях.

— Каковы люди-то?

— Люди ремесленные, торговые. Есть и в Гургене, и в Букаре, и в самом ихнем Сумарканте. А передают через Гурген: там наши торгуют.

— О войне, о походе, обо всяком этаком вестей у нас довольно. А вот чему они учены, в чем ихняя душа, этого не ведаем. Чего ради народ воинствует?

— Ради чего? Хан небось заради добыч, а народ заради послушания.

— Не то, не про то говоришь. Народ виден, когда созидает, а не когда рушит. В чем их созидание?

— Таких вестей нам не шлют.

— Про то и говорю. Надо заслать туда людей, чтоб уразумели разум того народа.

— Таких людей походя не изыщешь.

— Изыщи. И чтоб языку ихнему был знаком. И чтоб знанием и разумением был крепок, дабы, вглядевшись, изъяснил бы нам суть знаний их, каков их разум и помыслы. Ась?

— Меж купцов таких не видать. Язык разумеют, да книг не чтут; другие книгочеи есть, да чужих языков не ведают.

— А ищи не промеж купцов, не по сермягам. Прикинь по боярским хоромам, по монастырским кельям.

— По монастырям? — вдруг встрепенулся Тютчев.— Надо помыслить!

— Сыщи, Тютчев. Да вскоре. Да и не одного. Стезя там негладкая. Один споткнется, другой пройдет, третий



дале того достигнет. Велика будет честь, кому это дело дастся. Ищи. А к ханше надежных служанок приставь, порасслухать обо всех ихних суетах, оказиях, думах. Ханша у Тохтамыша в любви, он ей высказывал тайные думы Сама тож нагляделась на все нынешние Тохтамышевы затеи, да и на Едигеевы доблести. Бабы, как разговорят-

ся, сами не смыслят, что несут: бывает, мусор накидают, да вперемежку с жемчугом. Сумей разберись. А Тохтамышевым вьюношкам наставников отбери с разумом, чтоб вьюноши внимали им, а потом и вьюноши наставникам свое скажут. Тоже и промежду ордынцев, как на гостином дворе заскучают, много всего скажется. Но Орда нам давно вся насквозь видна. А ты порассуди поскорее об смышленых людях, да и отважных, чтоб в Тимурову даль заслать.

Тютчев пошел через сени к крыльцу, а Василий — в Малую палату, где слушал бояр и рядил суд, когда тяжелыми, но поспешными шагами, возбужденный, его нагнал вернувшийся Тютчев.

— Государь! Дозволь в ту Тимурову глухомань заслать верного человека.

— Нашел?

— От сердца своего, для ради отечества, на поклон Москве.

— Ась!

— Самого мне кровного, как себя самого. Как на подвиг.

— То и есть подвиг. Не в том честь, чтобы сгоряча против вражьего копья грудь выставить. Крепче есть подвиг, что исподволь, в молчании, изо дня в день супротив копий, промежду мечей, как на Голгофу, восходит. Великий подвиг! Может, не ведом никому останется, но без тех незримых не бывает зримого подвига. Бывает, слава одному достанется, но честь — им всем поровну, и тем, что победу трубят, и тем, что молча ее готовили.

Василий замолчал и шел, ожидая, чтоб Тютчев сказал сам.

— Знаю, государь, истинно как на Голгофу. Меньшого брата. Он на послухе в Троице. Язык разумеет. Грамоте учен. В иконописании сведущ. Духом тверд. Млад годами, но духом тверд.

— Брата? Этак ты и сам будешь причастен подвигу.

— Не ради чести. Ради Москвы, государь.

— Теперь, Тютчев, дай мне поразмыслить. Приму ли твой вклад? Отца твоего память чтя, вправе ли буду этакой вклад взять?

— Государь! Отцова честь отцу останется. Он Москве служил своею силой. А куда ж нам свою силу дать, как не тому ж делу! Не честь отцовой честью покрываться,

честь себе каждый сам добывает, за свою силу, за свои дела, а не за отцовскую, не за братнюю честь.

— Горячишься! Я поразмыслю, вправе ли буду...

Молча вошел он, сопутствуемый Тютчевым, в палату. Ожидавшие на скамьях бояре поднялись.

Тут, чтобы больше не томить Тютчева, негромко ответил ему:

— Так решим: закажи в Чудовом монастыре нонче после вечерни панихиду по отцу твоему. Я сам приду, помолюсь с тобой об упокоении раба божьего Захарии. Авось он внемлет нам. А завтра после обедни отслужи молебен о здравии брата твоего да съезди за ним в Троицу. Ась? Как имя-то брату?

— Елизарий.

— Эна какое!..

И вдруг все дрогнули: палата раскололась от грохота и звона.

Все глянули на небольшое полукруглое окно, где на мелкие осколки разлетелось толстое венецийское стекло от удара подтаявшей и сорвавшейся огромной сосульки.

— Вишь, пригревает солнышко! — облегченно усмехнулся Василий.

А в палату через пробоину вкатывались волны свежего, влажного, пропахшего проталинами ветра.

4

Весеннее утро в степи за Новым Сараем затеплилось после ночного дождя в сыром тумане. Пасмурное утро.

С дощатых крыш татарского караван-сарая капельками скатывались остатки дождя. Под мокрой соломой, застилавшей двор, еще похрустывала мерзлая земля. Под невысоким широким навесом разные лошади, заседланные и расседланные, грызли набросанное к их мордам сено, помахивали хвостами, хотя до оводов было еще далеко. Били землю копытами, чтобы разбудить застоявшиеся ноги, и снова привередливо наклонялись к сену.

Из копны, накиданной в самый угол, протянулись обутые в желтые сапоги ноги лежавшего под сеном человека, когда в двор въехало пятеро ордынских воинов в бараньих треухах на головах, опоясанных широкими

ремнями поверх бурых чекменей, с кривыми саблями, высоко пристегнутыми к поясам.

Солома заглушила топот лошадей, и въезд их был едва слышен, но две ноги в сапогах тихо втянулись под сено.

Четверо, придерживая колчаны, закинутые за спины, вошли в приземистую избу, а пятый, тоже спешившись, охаживал запыхавшихся лошадей, маленькой ладонью поглаживая и похлестывая их то по плечам, то по крупам. Видно, прискакали издалека и торопились — лошади дышали устало и горячо, пар дыхания вылетал облачками в холодный воздух.

Через незакрытую дверь слышны были крикливые голоса, и человек под сеном уловил свое имя.

Копна мгновенно отвалилась в сторону, длинный стремительный человек вскочил, не стряхивая сенной трухи, облепившей его, подскочил к небольшому мышастому коню, мгновенно взнуздал, сдернув с крюка цепочку, вскочил в седло и напрямик между прибывшими лошадьми проскакал к воротам. Возле того воина, что толокся с лошадьми у распахнутых ворот.

Воин крикнул испуганно и удивленно:

— Эй! А шапку-то позабыл!

Но, ожегши его плеткой по скуле, всадник с бритой головой, помахивая по ветру тугой, как кошачий хвост, монгольской косой на макушке, уже перемахивая на просторе через канавки, подтаявшие сугробы и лужи, мчался по обнажившемуся полю к недалекому лесу.

Воин, прижав ладонь к скуле, кричал, оборотясь к избе:

— Эй! Не иначе как Тохтамыш-хан. Эна. Эна скачет!..

А Тохтамыш скачет, длинный, на маленькой лошадке с обвязанными тряпицами задними ногами: видно, лошадка засекает, когда скачет. Но, знать, хороша, если, еще когда владел большими табунами, выбрал эту, засечную.

Ему кажется, что он летит, наклонившись вперед, но, как знак погони, его с девичьим стоном обогнала стрела и, вонзившись в кочку, качается.

Погоня. Но лес уже близок. Еще одна стрела вонзилась в березу, едва он ворвался в лес, проскакивая между стволами.

Он скачет между деревьями, продирается сквозь кусты. Погоня на усталых конях замешкалась.

То пригибаясь под ветками, то почти прижимаясь к шее коня, когда ветки низки, он поглядывает по сторонам, но торопится забраться в чащу поглубже, где порозовевшие кустарники закрывают его.

Чуть подальше есть вправо лесная дорога. Она приметна и выйдет к селенью. Зная ее, он сворачивает влево, где непролазна чащоба, где нагромоздился, ощерившись, бурелом. Конь послушно обходит пни и валежник, кое-где перемахивает через скользкие стволы. Дальше проезда нет.

Тохтамыш спешивается, берет коня под уздцы, и они идут рядом через тесные пролазы между деревьями, пока наконец не добираются до ручейка.

Талая вода струится поверх льда.

Напились оба.

Поднялся в седло. Поехал по ручью: здесь и ветки выше и не надо перебираться через валежник. Лишь изредка путь преграждали стволы деревьев, упавших поперек ручья.

Остановился, прислушался к гулкой тишине леса. Как и надеялся, погоня ушла вправо по дороге к селенью: не догадались, что хан мог свернуть в непролазную глушь, в овраги, куда и летом боязно заходить.

Перехитрил: любой менее осторожный беглец поскакал бы так, приманчивой дорогой.

Он потрепал лошадь по шее и мигом въехал на некрутое взгорье, откуда выехал на небольшую поляну.

На краю поляны в светлом березняке вросшая в землю приземистая изба молчала.

Тохтамыш спешился, стреножил коня и пустил попастись по молодой первой поросли. Сам, неслышно, как лесной охотник, ступая по сырой земле, подошел к двери. Одинокий старик в длинной, по щиколотку, рубахе отворил дверь.

Он издавна знал этого старика, но не видел его давно, со времен, когда был могущественным ханом. Тогда они с сыном старика заезжали сюда отдохнуть с охоты.

Старик поклонился, обрадовавшись было, но, видя, что Тохтамыш один, побледнел.

— Сына ждешь?

— Давно вестей нету, высокий хан.

— Батыр! Воин. Бесстрашен. Дерзок. Ко врагу немилостив.

Слыша, как скупой на похвалу хан столь хвалит его сына, старик понял, что сына нет: живых этот хан никогда не хвалил, славил только павших.

Отступив в глубь избы, старик впустил Тохтамыша, показал место, где сесть, и вскоре постелил перед ним покрытую заплатками скатерть.

Спустившись в погреб, старик откопал глиняный кувшин с вином и принес хану.

— Сына ждал. Приготовил и берег. Хотел поставить к его приезду.

Тохтамыш не сказал, что сын еще придет.

Выпив чашку этого черного вина, настоянного на меду и лесных травах, Тохтамыш быстро захмелел: вино ли так созрело, сам ли устал с дороги, ничего не евши со вчерашнего дня.

Старик молча разглядывал хана, неустанного завоевателя, устрашавшего окрестные страны, а хан сидел, отвалившись к стене.

Круглый лоб. Маленький нос с горбинкой. Рыжие глаза, широко раздвинутые к вискам. Синие губы круглого рта, под усами влажного от вина. Круглые плечи, покрытые простым чекменем.

Тохтамыш сказал:

— Он смел. Твой сын был упрям. Нет, я бы его не тронул, не будь он упрям.

Тохтамыш не хотел сказать, как казнил этого сына, сгоряча рассердившись, что тот отказался убить пленника и возражал хану: «А я говорю, он не виновен!» Бубнил одно и то же, словно он сам хан.

Об этом Тохтамыш не сказал. Выпив еще чашку вина, которую сам себе налил, хан захотел поговорить о недавней своей силе. Растягивая слова и слегка гундося, он говорил, будто причитал:

— Когда я ходил на Мавераннахр, на Тимура, и за горы Эльбруса, и по стране Араратской, и по отрогам Арарата,— куда бы ни пришел, везде хозяин я. Я! Со мной там никто не мог сладить!

— Чего же нынче один бегаешь?

— Едигей изловчился. Сел на мой стол. Нынче мне надо утаиться. Выждать. В Сарае меня опознали. Едва ушел. А этот однорукий Тимур сам хромой, а ладит со мной управиться!

— Да ведь и управился уж!

— Молчи. Воинство мое поразбежалось, поупряталось по укромным местам. А несколько тысяч конницы я отдал в Литву королю Витовту. Они там спокойны. Как я велел, так и сделано. А они припрятались и ждут моего слова. И я им скажу. Теперь скажу. Мы еще отвоюем назад все, что у нас отняли: и Эльбрус, и Арарат, и Москву. Что у меня отняли, верну!

Старик принес ему печеную утку.

— Поешь. С пролета стрелой сбил.

Тохтамыш, по-волчьи хрустя костями, принялся за еду.

Старик смотрел, разглядывал его.

Тохтамыш, отложив обглоданные кости, еще налил себе вина. Заговорил спокойнее, словно отрезвел:

— Созову всех своих. И семьи их. И уйдем.

— Далеко ли, хан? На Арарат, что ли?

— К своей коннице. На Литву. А чего ты мне твердишь: Арарат! Арарат! На кой он мне?

— Ведь был же нужен, когда с моим сыном туда ходил.

— Я там все перевернул. Всю их жизнь пустил по-иному.

— А они тому радовались?

— А что они, понимают, что ли, как надо жить!

— И нынче там живут по-твоему али по-своему?

— Может, и по-своему, да я им о себе напомню. Может, меня забыли, а я напомню!

— Из Литвы-то?

— Надо терпеть и уметь ждать. Ждать надо умело!

Старик опять посидел молча, глядя, как жадными глотками хан пьет вино. Потом встал и принес глубокую шапку.

— Барсучья. Вот она. Сшил сыну. Думал надеть на него на свадьбе. А он женился, отцу не сказавшись. Носи ее, хан, сам. Возьми. Надень. Неловко вилять косой по ветру.

Тохтамыш нахлобучил мягкую шапку.

Старик сказал:

— Думал, посижу на той свадьбе на отцовом месте. А жену сын выберет себе писаную красавицу. Ведь он был воин, батыр...

Старик отвернулся к очагу, чтобы хан не заметил, как старое лицо сморщилось и горло перехватило от слез.

Тохтамыш, придвинув остатки от утки, вразумлял старика:

— Самая писаная красавица не даст мужу больше, чем простая девка: это богатство ихнее одинаково у всех.

Тохтамыш здесь переночевал и, чуть рассвело, уехал тем же глухим лесом к месту, где знал верного человека.

С этого дня Тохтамыш начал сборы своей орды, всех верных людей с их семьями, задумав увести их в Литву, к королю Витовту, обещавшему Тохтамышевой коннице достойное место в своем войске, ослабевшем после битв на Ворскле, а семьям дать землю и не угнетать их веру.

Родная сторона отторгла своего повелителя, неусыпного завоевателя чужих земель.

5

Весеннее утро над Самаркандом светило сквозь призрачное марево. Во все предшествующие дни погода часто менялась — то лили холодные ливни, то распогоживалось и ветром вскоре обсушивало серую глину стен, они снова становились голубоватыми, словно к глине жилищ примешана синь самаркандского неба. Легкое переливающееся марево теплого воздуха курилось и мерцало над обширным городом, и утро не казалось таким ясным, ярким, каким хотел бы увидеть его напоследок собравшийся в путь правитель Самарканда Мухаммед-Султан. Он велел царевичу Мирзе Искандеру, содержавшемуся в Синем Дворце, явиться в дом правителя.

Спор между царевичами не решился, решить его мог лишь сам Тимур.

Но, вызвав царевича, Мухаммед-Султан тяготился этой неизбежной встречей с двоюродным братом: правитель отвык, чтобы кто-либо понуждал его говорить, и паче того отвечать, если самому не хотелось.

Мирза Искандер уже много долгих месяцев обитал в Синем Дворце под присмотром недоброжелательных слуг правителя, в тесной и уединенной келье, в тишине и безделье. С тех пор, когда, казнив его соучастников и потатчиков, Мухаммед-Султан отобрал у Мирзы Искандера Фергану, а строгому деду послал подробный донос о всех проделках, происках и провинностях ферган-

ского царевича. Ему дозволялось навещать лишь своих жен, обособленно размещенных в том же Синем Дворце среди присланных непослушных им служанок. Мирза Искандер жил во все это томительное время не под одним лишь присмотром, но и при многих обидах и лишениях, стеснявших его исконные привычки и потребности, ибо, наследник Омар-Шейха, балованный внук Тимура Гурагана, он считал себя не узником, а званым гостем у такого же, как и он, царевича, у такого же, как и он, внука, хотя и поставленного в правители Самарканда, но ничем не отличного среди прочих внуков Тимура.

Мирза Искандер часто досаждал Мухаммед-Султану, испрашивая себе то серебряника, чтобы выковал новые уздечки на случай каких-то будущих прогулок или выездов, то отпуск в загородные сады, хотя там по зимнему времени ничего не было, кроме вяленого винограда под потолком, грубых дынь в подвалах да озябших газелей в загонах. То требовал к себе певца, чтобы послушать макомы, то историка Муин-аддина Натанзи из прежних своих ферганских собеседников, чтобы прослушать ученое сочинение, которое тот писал. Во многих просьбах Мухаммед-Султан отказывал: не дал серебра на уздечки и не отпустил в загородные сады, но допустил и певца, и собеседника — не мог всегда отказывать, ибо их дед амир Тимур Гураган, Повелитель Вселенной, увлеченный походом в далекие страны, воевал в Грузии и указа о наказании Мирзы Искандера не слал. Прибыл лишь вызов обоим царевичам к деду, но в нем не содержалось ни осуждения Мирзе Искандеру, ни поощрения Мухаммед-Султану, правителю Самарканда и нареченному наследнику Повелителя Вселенной.

Возле дворца правителя, где уже достраивался горделивый мавзолей над могилой святого покровителя гончаров, в саду, увязая в размякшей земле, бродили горлинки. Пахло набухшими горьковатыми, как миндаль, почками. Слабо благоухали фиалки, притулившиеся вдоль стен и кое-где проглядывавшие между листьями, единственно зелеными в еще голом саду.

Через низенькую дверцу Мухаммед-Султан высунулся было наружу, но остановился, глядя в глубь сада, где за стволами виднелся стройный рубчатый купол, словно

бы накрытый складчатой голубой шалью. Любовно воздвигаемый Мухаммед-Султаном и ныне уже завершаемый зодчими, он высился не только над могилой святого, уединенно поместившейся в нише, но и над подземельем, где, исполнив свой земной путь, будут погребены мужчины из семьи Мухаммед-Султана, может быть еще не родившиеся.

Вокруг кустов роз, топорщивших голые колкие ветки, глина, гладкая, утоптанная дождями, затвердевала на легком ветру.

Услышав, как рядом во дворе затопотали лошади, как лязгнула и звякнула чья-то оседловка, правитель торопливо нырнул назад в комнату и пошел медлительно прохаживаться от стены к стене, длинными ступнями давя алый ковер, распахнув зеленый халат, опустив, словно в раздумье, увенчанное белой чалмой длиннощекое лицо.

Таким, не спеша прохаживающимся, хотел он предстать перед Мирзой Искандером, но оказалось, что это прибыл со своей охраной гонец Айяр, тоже вызванный сюда: Мухаммед-Султан слал его к деду с известием о предстоящем выезде внуков.

Айяр вошел не той стремительной поступью, как хаживал прежде, когда казалось, что в любое мгновенье и с любого расстояния он может прыгнуть в седло, а невеселым, но покорным шагом испытанного слуги, послушно готового на любое дело.

Мухаммед-Султан, поглядев в печальные карие глаза гонца, сказал:

— Передашь на словах: на заре я выеду. Мирза Искандер едет при мне. Здесь все оставлю по слову Повелителя. Войска и обозы мои собраны и пойдут следом. Будем поспешать, как указано Повелителем.

Айяр, прижав ладонь к груди, дал знать, что слова понял и передаст, но стоял, ожидая, не прикажут ли еще что-либо.

Мухаммед-Султан, помнивший этого спорого гонца, ценимого дедом, повнимательнее вгляделся в Айяра и приметил первые нитки седины в рыжеватой бороденке.

— Не рано ль седину пустил, гонец?

— По воле аллаха.

— Да и сам... здоров ли?

— Боли нигде не слышу, милостивейший.

Как велось у Тимура, царевичи, росшие среди воинов, обходились с ними запросто. Таким, запросто беседующим с простым гонцом, Мухаммед-Султан не хотел бы попасть на глаза насмешливому и надменному Мирзе Искандеру, разбалованному мальчишке. Но таким-то и застал его Мирза Искандер, входя в комнату.

Айяр был тотчас отпущен, а сам правитель, не отвечая на сдержанный привет, не оборачиваясь к царевичу, негромко, словно себе самому, сказал:

— Еду к Повелителю.

Мирза Искандер, выжидая, молчал, и Мухаммед-Султану пришлось добавить:

— И тебя поведу.

— На цепи?

— На цепях водят коней либо кобелей,— назидательно возразил правитель.

— А баранов на аркане... На чем же еще вести?

— Понадобится, так и на аркане.

— Не бывало барана, чтоб на аркане волокли от Самарканда до Грузии. Ценен, видать, баран, ценней золота.

— Цену там скажут.

— Сказать скажут, да оплатят ли аркан?

Мухаммед-Султан впервые бегло глянул на Мирзу Искандера, строго стоявшего у двери в туго запахнутом, нарочито смиренном, простонародном черном халате, в черной тюбетейке на голове, с густо обшитой драгоценными ормуздскими жемчугами собольей шапкой в руке.

Как ни досадно было, а может быть, именно оттого, что было досадно, правитель не знал, чем бы ответить на дерзость царевича, ведь арканом он именует всю эту длинную суету, какую тянул правитель почти целый год, разбираясь в проступках, печась о содержании, хлопоча о надежной охране в пути бесстыдника, неслуха, мальчишки.

Велико было поползновение уйти, оборвать досадный разговор. И Мухаммед-Султан не устоял, теми же длинными, но притворно медлительными шагами он двинулся к двери, строго сказав:

— На заре отправимся.

Но он не успел дойти до двери: беззаботно надевая шапку поверх тюбетейки, Мирза Искандер весело согласился:

— Что ж... Когда поведут!..

И еще прежде, чем правитель поспел дойти до своей двери, Мирза Искандер ушел через другую дверь во двор к своему коню, звеневшему серебром цепочек, свисавших с уздечки, тоже искусно украшенной серебряными бляхами, которую царевич ухитрился заказать заочно на базаре, отдав для этого браслеты своих жен, и отлично исполненной русским кузнецом Назаром.

Не дав слугам подсадить себя, Мирза Искандер легко и шаловливо сел в седло.

Его окружили и, едва он тронулся, поехали следом пятеро слуг — двое своих, в таких же, как на царевиче, черных ферганских халатах, и трое приставленных от Мухаммед-Султана, облаченных в тусклую самаркандскую домотканину, уже изрядно потертую ремнями поясов: Повелитель Вселенной не любил, чтобы воины красовались убранством, если они не в походе, не в битвах, а только на дальних караулах. Стоять же в стражах самаркандского правителя, когда сам Тимур находился в таком далеке от Самарканда, по мнению Тимура, означало то же, что нести дальний караул. И правитель, памятуя это, не допускал никаких поблажек воинам, лишенным счастья и чести пойти в поход. Да и воины-то здесь были — либо обноски великого войска, уже негодные для новых битв, обессиленные ранами ли, возрастом ли, либо собранные из глухих областей невзрачные, пожилые земледельцы, неловкие в походных делах.

Мухаммед-Султан, увязая, оскользаясь и торопясь, шел по растаявшей глине через сад к достраивающемуся зданию, которое так хотелось ему завершить до отъезда и которое послушно росло и становилось красивее, чем он задумал. Одно это из всех его дел наполняло сердце радостью и гордостью счастливого завершения.

ГЛАВА II

БАНЯ

1

Грузная тяжесть зимних снегов еще лежала на горных хребтах. Но по предгорьям кое-где уже проглянули прогалины, и пастух заиграл свою песню на дудочке. Его озябшие, непослушные пальцы тупо толклись по желтой тростинке зурны.

Жалобный напев, как бы мерцая на ветру, порой достигал до гор, до перевала, до тех скользких троп, где даже самые нетерпеливые и удалые путники еще не дерзали ступать по оледенелым карнизам над безднами.

Напев долетал и до приземистых, словно прижатых к земле зимних селений, притулившихся во впадинах предгорий вокруг Сиваса. Долетал и до самого города Сиваса, где над могучей толщей крепостных стен несли караул окованные броней воины султана Баязета.

Пришла весна, и еле внятный, дальний напев пастушеской дудки нежил и тревожил жителей Сиваса, как всегда волнуют и нежат человека первые знаки весны, хотя ветер, сползая с гор, еще по-зимнему холодил камни узких горбатых улиц.

Темные истертые плиты мостовых по-зимнему звонко вторили стуку каблуков, подков и копыт, всей дневной стукотне торгового города. Но сквозь плотную городскую толчею нет-нет да и просачивалась сюда простая пастушеская песенка.

Как первая поросль трав, как запах наволгшего снега гор, как стаи перелетных птиц, высоко над Сивасом проносящихся из лесов и с озер Африки к родным гнездовьям

на север, так тонкая жалоба зурны казалась непременным признаком весны, и весна без зурны не могла быть полной.

Близилась весна, пора густых первых дождей, что смоют снег с перевалов, и дороги откроются, в город придут караваны, издалека доберутся сюда долгожданные люди — купцы, гости, — новости.

Но радость весенних предчувствий мешалась с тревогой, ибо поздней осенью прошел слух, будто несметные полчища степняков уже движутся на Багдад, а сам их вожак точит меч в Арзруме, откуда расходилась о нем дурная слава, никому не суля ни мира, ни милости. Вскоре перевалы закрылись, завалило их снегами, заволокло туманами, и мнилось: все опасности так и останутся навсегда по ту сторону гор; мечталось, что весной придут, как искони бывало, караваны с востока — из Колхиды, из Ирана, из стран, славных искусными ткачами и чеканщиками, где тверды руки и зорки глаза серебряников, где быстры пальчики иранских ковровщиц. А подале тех базары Китая, откуда, было время, везли сюда шелка и фарфор, бронзовые зеркала и яшмовые браслеты, бумагу и стекло, золотые узорочья и малахитовые ларцы, и когда случалось такому каравану явиться, наперебой кидались купцы, спеша захватить все эти диковинки, на которые всегда был спрос и которые никогда не падали в ценах. А через те же ворота приходили в Сивас еще и караваны из Индии, приносили парчу и ситцы, благовония и тисненый сафьян, драгоценные камни и жемчуг...

Но поперек тех путей растеклись полчища Тимура, и уже не первый год сивасские купцы ищут окольных дорог к далеким манящим базарам. Многие из дальних базаров растоптаны конницей нашествия, не стало там ни славных мастеров, ни добрых изделий, а где и осталась жизнь, там хозяйничают, владеют и товарами, и караванами купцы Мавераннахра — самаркандцы, бухарцы.

Древний Сивас на своем веку насмотрелся на всяких властителей вдосталь, много претерпел тяжких бедствий, нашествий, разорений. Знавал прославленных тиранов и владык, но знавал и мудрецов и зодчих. Слышал грохот нетерпеливых разрушений и галдеж грабежей, но взирал и на молчаливый труд созидателей. Тяжелые камни нынешних стен, гладко отесанные стародавними камено-

тесами, прежде были стенами других домов и храмов богатой, крепкой Себастии, города могущественной Византийской империи, владевшей в те века десятками таких городов, богатых и знатных. Но и государства дряхлеют, и ныне под стенами великого, вечного Константинополя, у самых ворот священного Царьграда, стоит Молниеносный Баязет, замахнувшись кривым ятаганом над самым сердцем Византии, готовый ударить и рассечь сердце, царственно бившееся тысячу лет.

Древний Сивас видел, как на смену византийцам и строгим сельджукам ввалились сюда монголы, камень по камню разметали храмы, жгли костры внутри дворцов, а колодцы, вырытые еще вавилонскими рабами, завалили телами мирных людей. Но город пережил монголов, из разметанных камней сложил новые стены и опять поднялся, как и после прежних бедствий, когда те же стены были развалены и жизнь в них погашена. Но камни остались.

Руки уцелевших обитателей опять сложили стены из старых камней, под новыми кровлями снова затеплилась жизнь. И новые здания из старых тесаных камней, кое-где надколотых и щербатых, порой повторяли облик былых городских домов — снова поднимались полукруглые ниши и карнизы над окнами, и окна зарешечивались витыми по-византийски, коваными прутьями, и там, за этими решетками, снова, как бывало, пламя очага или мерцание светильника озаряло усталых людей и неустанных детей. Уже не византийский, но снова живой, уже не Себастия, а Сивас, но живой, сколько бы ни было пережито утрат и лишений, город стоял. И пусть забылось, чьи руки сажали черенки в городской тесноте, но кривые суставы старых лоз упирались в шершавые стены и опять поднимались.

Кое-где уцелели мостовые прежних улиц, стертые, скользкие квадратные плиты, уложенные наклонно, чтобы срединой улицы стекала дождевая вода, и порой их преграждал то угол, то портал дома, поставленного по замыслу и по прихоти новосела, не ведавшего, где прежде ходили, где ездили жители славной Себастии. Случалось, новые улицы пролегали, как по холмам, по грудам щебня и по руинам, новые мостовые порой оказывались выше, чем окна уцелевших зданий, и лишь щель из-под пожелтелого мраморного карниза обозначала место

прежнего окна или входа. Всюду жили. Жили, запамятовав тех, кто строил и согревал эти стены прежде.

Отстроившись, поднялся Сивас над своими руинами, сжатый прежними крепостными стенами, славящимися несокрушимой толщиной в десять аршин и высотой в двадцать аршин, из хорошо обтесанных больших камней.

Семь ворот было в городе. Над каждыми из ворот непреклонно могуществовали дюжие башни, иные еще со времен Византии, другие — подновленные радением сельджукского султана Ала ад-Дина Кай-Кубада.

На востоке, на юге и на севере у подножия стен темнели рвы, полные воды. Не было рва лишь на западной стороне, но западные башни и стены стояли столь высоки и мощны, что оттуда никогда никакой враг не подступал к городу.

Прикрывшись от ветра рваной овчиной кожуха, пастух играл. Ветер то нес его напев до города, перекидывал через стены, то вдруг сдувал в сторону, как пламя с фитиля, то кидал до самых гор, где не было еще ни пути, ни дороги.

Но когда еще нет пути, кто-нибудь бывает тем первым, кому выпадает доля протоптать стежку по нехоженой целине.

Двое шли по оледенелым горам, спускаясь с перевала, кое-где постукивая посошками по нависшим пластам смерзшегося снега, прежде чем ступить на повисшую над бездной наледь, кое-где потопывая по откосу подошвами, прежде чем шагнуть на снег всей ногой.

Из них то один шел впереди, то другой, а случалось, что первый ступал, крепко держась за руки второго, и тогда они шли, как осторожный снежный барс, упирающийся всеми четырьмя мягкими лапами в неверный откос, в единый комок сжав настороженность, и силы, и непреклонную волю.

Так, начав свой путь на заре, они еще засветло перешли снег и вышли к каменистым тропам, выдолбленным за тысячи лет копытцами неисчислимого множества овечьих и козьих гуртов.

И вдруг оба замерли: они услышали, как первый оклик, ласковый, мирный напев зурны. Она как бы звала их, но и просила о чем-то, и о чем-то предостерегала. И это надо было понять, хотя, казалось, все просто и дав-

ным-давно понятно в этом с младенчества знакомом напеве.

Какая-то тревога вползла в сердце, словно на совести дремало что-то, чему не надо бы тут просыпаться. И вот проснулось, и оттого как бы возникло препятствие на пути, какого не только не предусмотрели, но и в мысли не могло прийти, что оно есть на свете. И все, что преодолено было за этот день в горах, в снегу, между сизыми оледенелыми камнями, на кручах над скалами, под ударами промозглого ветра, под струями колкой снежной пыли, слепящей и палящей — все показалось тихой, спокойной дорогой, а то, что ждет их,— истинной бездной, куда избави бог сорваться.

Они слушали далекую песенку, и ни одному не хотелось первому делать первый шаг.

Но, молча постояв, молча решительно пошли. И хотя на дороге попадалось еще много оледенелых камней, уже не хватались друг за друга, шли каждый сам по себе, полагаясь на посохи, на упругую силу ног, на изворотливость, если случалось поскользнуться. Один из двоих — бадахшанец по имени Шо-Исо, в белом шерстяном коротком чекмене, обшитом широкой алой тесьмой, опоясанный жгутом желтой холстины. Другой, в стеганом сером халате, перехваченном зеленым кушачком, в серой чалме, поверх которой растопырился вровень с плечами, залубенев на холоде, войлочный черный башлык, отчего голова казалась лишь верхом безголового туловища,— самаркандский купец, выходец из степного Суганака Мулло Камар. Каждый нес переметные сумки, перекинутые через плечо, но каждый смотрел вперед по-своему: Шо-Исо, запрокинув голову на тонкой шее, смотрел, казалось, не глазами, а круглыми черными ноздрями короткого носа. Мулло Камар — маленькими неморгающими глазами.

Путники и доселе шли помалкивая, но еще крепче сжали уста, когда из-за поворота гор вдали показался город. Они не знали, далеко ли до него, а он уже стоял перед ними.

Под прозрачным переливающимся покрывалом заката, как горделивые красавицы, вздымали свои статные станы башни над стенами. Стены уже задернуло мглой теней, но башни сияли, опаловые в озарении вечерней зари. Отсюда не было видно ни жителей, ни стражей, толь-

ко башни да за ними каменные купола и стая коршунов, озабоченно паривших над куполами.

Песенка зурны не стала громче, но теперь она звучала чище и настойчивей, хотя ни пастуха, ни стада нигде не было видно среди горбящихся зеленеющих холмов, заволакиваемых холодной мглой близившейся ночи. Только башни города еще сияли, багровея.

Навстречу полз сырой серый туман, заслоняя и город вдали, и дорогу.

Путники торопились, спускаясь в долину на негнущихся, усталых ногах. Уже темнело вокруг, когда они вышли на проезжую дорогу.

Они пришли к постоялому двору, сложенному из больших желтоватых плит. С каменных кровель ворчливо лаяли собаки, чуя откуда-то с гор запах волчьих стай или другого зверя. Во дворе горел огонь под котлом. Багряный дым очага стлался по закопченной стене. Молчаливый привратник отвел пришельцев к их месту и возвратился топить очаг. Здесь Мулло Камар и дождался утра, когда после предрассветной молитвы открылись городские ворота.

2

За ночь отогревшись, отоспавшись, с достоинством Мулло Камар и Шо-Исо ступили на мост над черной с медным, ржавым отливом водой и, перейдя глубокий ров, вошли под низкий почернелый свод башенных ворот.

Воины впустили их, потыкав древками копий в переметные мешки, недружелюбно покосились на свисавшие с поясов ножи, показавшиеся излишне длинными.

Пропитанная запахами конюшен и горелого масла улица безучастно приняла пришельцев. Верх стен уже осветило солнце; сыроватая глубина улицы оставалась еще темной. Сторожа, благодушные спросонья, скатывали одежды, служившие им ночью ложем, а перед рассветом — молитвенными ковриками. Вели лошадей к водопою. Из караульни выпустили каких-то женщин, пытавшихся рукавами закрыть глаза, не то заплаканные, не то заспанные. Воины пренебрежительно шли мимо расступавшихся жителей, это были сытые, разбалованные воины, незадолго до того наполнившие Сивас, самонадеянные воины из прославленного себастийского войска, которым гордился и на которое полагался султан

Баязет. Он сам привел их сюда и оставил здесь для охраны города. Жители, встревоженные было их появлением, вскоре не только успокоились, но и предались беспечности — таких отборных стражей не поставили бы здесь, если б городу грозили враги, таких держат лишь для украшения города.

На городской площади за грудами камней и песка строился торговый ряд. Тонкие кирпичи верхних кладок еще не обсохли, а уже каменщики поднялись наверх начинать новый свой трудовой день. Они расхаживали по стенам, тронутым солнечным светом. Внизу, во мгле улицы, люди проходили, еще зябко пожимаясь от сырости, а строителей наверху уже озаряли яркие, ликующие лучи утра.

Поглядывая на все это быстрыми маленькими глазами, Мулло Камар молча проталкивался вперед, будто бы торопясь, но успевая приглядываться ко всему, что встречалось. Шо-Исо, шагая широко, как верблюд, тащил переметные мешки мимо сторонящихся встречных и глядел на все свысока, запрокинув на длинной шее маленькую широконосую голову.

Торговый ряд строился любовно. Возводились арки, в тени которых заворочается торговля. Завершались своды, под которыми купцы расставят и разложат товары на соблазн и зависть покупателям. И тут же у стен на просторных каменных порогах, приседая на корточках, продавцы уже вынимали из корзин и мешков свои убогие сокровища — связки веревок и канатов, резные деревянные безделки для домашнего обихода, детские игрушки из глины и всякую всячину.

Женщины, дети, старики задерживались, с любопытством глядя на новые и новые извлекаемые из мешков товары, выжидали, пока опустеет мешок, словно у каждого продавца на дне затаено нечто самое любопытное и долгожданное.

Безучастно и безропотно ослы ждали, пока с их спин сгрузят маленькие вязанки дров. Буйволы приподымали над желтыми зубами свои влажные губы, принюхиваясь к непонятным городским запахам, а с арб сгружалось пестрое добро — плетушки с курами, корзины овощей, свитки ковров и паласов.

Кое-где в стороне от людных мест молча стояли вои-

ны, еще не успевшие приглядеться к этому городу, куда их привел и оставил на постое сам султан Баязет.

Облюбовав неподалеку от базара древний постоялый двор, прозванный Римским, Мулло Камар оставил там свою кладь, по привычке пощупал пайцзу, зашитую в то место штанов, которого касается только своя рука, и снова вышел на городские улицы, а спутник его сел в людной харчевне, куда сходились съехавшиеся на базар окрестные земледельцы,

Мулло Камар шел, поглядывая, как тут и там каменщики кладут стены домов или, может быть, мечетей, прислушивался, как переговариваются строители, ободряют друг друга, подсказывают, чтобы строение сложилось крепче.

Судьбы строений подобны судьбам людей. Случается, в битвах, когда отряд воинов, стоя плечом к плечу, бьется с могучим врагом, десятки воинов падают и гибнут, а иные уцелевают без единой раны, словно не им грозили стрелы, мечи и копья. Так среди груд щебня и угля пожарищ остаются стоять одинокие здания, целые и невредимые, как стояли до той беды, что сокрушила рядом с ними стены более крепкие, более достойные устоять.

Так, когда рухнули в городе дворцы правителей, неподалеку от них уцелели невзрачный дом пекаря, приземистая пекарня и даже садик у ее стены. Уцелела армянская церковь богородицы, стройная и хрупкая, как невеста, а византийский собор на той же площади весь был развален и растащен по камешку, и из его камней сложили себе дома те люди, что пережили нашествие, отсидевшись в подземельях, те, что прежде робко проходили мимо этого чтимого многовекового собора. Был тут разрушен и караван-сарай, звавшийся Вавилонским, воздвигнутый в незапамятные времена, как храм, с глубокими нишами, где торговали и жили купцы, приезжавшие из Халеба и Багдада. Но столь же древняя, ветхая баня, приютившаяся у самых стен Вавилонского сарая, выстояла.

Ее издали можно было приметить по длинным рядам белья, развешанного для просушки, ибо, по издревле заведенному обычаю, посетители сдавали свое белье банщикам, и, пока гости мылись, прачки поспевали со своим делом, выстирав, высушив и уложив все стопками на место.

В нишах бани уцелели мраморные львиные головы, источавшие из пастей струи светлой воды. Уцелели и просторные каменные скамьи на львиных лапах, и доныне привольно было тут разлечься, чтобы искусные банщики растирали и холили купальщиков. Но банщикам сподручнее было мыть гостей, уложив их на залитом водой полу, на узеньких половичках. Полы в этой бане тоже сохранились с незапамятных времен, с византийских, а может быть, еще и римских, сложенные узорами из кусков разноцветного мрамора. Сохранилась и мозаика на полу, изображавшая розовую купальщицу, проливающую на себя из желтого рога голубую воду. И когда поверх мозаики по полу текла прозрачная теплая вода, казалось, розовое тело нагой купальщицы вздрагивало и трепетало под струями и дрожало, когда банщик, шлепая по лужицам пятками, укладывал возле красавицы нового посетителя.

Все эти камни, обжитые, обтертые великим множеством людей, мывшихся, нежившихся, услаждавшихся здесь, служили новым людям. И новые люди любовались многовековой красотой, окружавшей их в теплом тумане под круглыми сводами, словно под расписной опрокинутой чашей.

Сюда и вошел Мулло Камар, зная, что не только дорожную пыль, но и всякое томление начисто смывают здесь и что собеседники здесь словоохотливы и простодушны.

В тепле и полумраке, позабыв о суетных буднях, о неотложных заботах, о тревогах и обидах, все повседневные дела, как поклажу, сбросив за мраморным гребнем высокого порога, люди нетерпеливо снимали в предбаннике одежды и, обмотав бедра мокрыми передниками, беседовали душевно, проникновенно, прозревая истины, коих не могли бы постигнуть в суете повседневных дел.

Сюда, в предбанник, затекал свежий ветер снаружи, а из-под приземистых сводов, окутанные облаками пара, сюда высовывались голые бородачи отдышаться от блаженной духоты, но вскоре снова проваливались во мглу душной утробы.

Мулло Камар, скинув потускневшую одежду, бросив банщику пропотевшее белье, сел на низенькую, как порог, каменную скамью, плотно прижатую к стене. Скамья

кое-где обкололась, обтрескалась, но ее серый жилистый мрамор приобрел благородный голубой оттенок оттого, что за сотни лет его отгладили своими задами бесчисленные купальщики, садившиеся здесь остыть и обсохнуть перед одеваньем.

Вдоль другой стены тянулась такая же скамья, и ее во всю длину украсил древний мастер, врезав в камень луноликих птиц, просунувших острые девичьи груди между виноградными гроздьями. Верх же и у той скамьи был столь же обтерт и обколот, а по всей ее длине лежало белье стопками, либо свертками, либо сброшенное кое-как, наспех. Но чтоб не смешать его при одеванье, его покрывали то красным шерстяным колпаком, то пышным, в шелковых складках тюрбаном, то простой меховой шапкой, а то и придавливали кривым кинжалом или тяжелым поясом с широким ножом в кованых ножнах.

По одеждам, оставленным здесь, видна была причастность их хозяев обычаям различных народов, разным верам и сословиям, пока купальщики, обнаженные и разомлевшие, сообща нежились под сводами, где сквозь пар, захлебываясь или потрескивая, трепетали светильники, источая струи копоти и расточая причудливые отсветы на лоснящиеся тела.

Здесь каждый не только казался мудрее и добрее, но и вправду становился и добрей и мудрей. Многие городские дела и даже судьбы неторопливо осмыслялись и бесповоротно решались здесь. Люди, долго державшие зло или обиду один на другого, мирились здесь, где случилось встретиться обнаженными, распростертыми на теплых плитах. Здесь завершались торговые сговоры, на которые не хватало решимости в базарной толчее. Здесь договаривались о браках своих детей пожилые отцы, свободные от мнений и упрямства своих супруг. Здесь казались понятнее и безобиднее многие события, представлявшиеся неотвратимыми и грозными там, наверху, за порогом бани. Здесь люди становились проще, в их душе оживали ребяческие чувства, доверчивость и озорство, мечты и желания. Здесь легче шутилось, мнилось невозможным никакое бедствие, когда против множества бедствий выстояли столь древние и плотные своды над головой, когда так дружелюбно разверзли пасти львиные морды, радуя всех чистыми, неиссякаемыми струями воды.

Безмятежно разлегшись, жители Сиваса беседовали, поверяя думы и вести, за эти дни занесенные в город со всех сторон, о войнах, о товарах, о султанах и полководцах, о женских проказах, о похождениях купцов в плаваниях, красавиц — в укромных покоях, воинов — в долгих походах. Купцы славили дальние дороги, приговаривая: дороги, мол, подобны жизни человеческой, да вот досада, рано ли, поздно ли человеческая жизнь кончается, а дороги бесконечны.

Вода струилась и всплескивала. Голоса банщиков, как из труб, вдруг гукали, врываясь в нескончаемый равномерный рокот многих бесед.

Звякала медь кувшина.

С пола из-под пят банщика поднимался новый собеседник. Завязывалась новая беседа, неиссякаемая, как родник в горах.

Мулло Камар, переваливаясь с боку на бок и со спины на живот, помалкивал под пятами банщика, то плясавшего на его спине, то склизкими тряпками растиравшего ему грудь.

В тот весенний день животворные струи бесед все чаще прерывались горькой мутью тревожных слухов.

Приметив, что наперекор всем беспокойным вестям люди переводят беседу на добрые, мирные новости, Мулло Камар перелег с пола на скамью и разговорился:

— Несокрушимый Тимур взял Арзинджан. Слыхали?

Беседы смолкли. Из всех углов люди всматривались в круглоголового, круглоплечего человечка, приподнявшегося на локте, чтобы это сказать.

— Арзинджан? А что это за такой Тимур?

Немолодой банщик, разогнувшись над купающимся, объяснил:

— А это татарского вожака так кличут! Это я тут еще перед самой зимой слыхал. Да ведь тогда сказывали, зима его накрыла в Арзруме. Такой был слух. А откуда ж он в Арзинджан попал?

Мулло Камар поучительно объяснил:

— Он куда хочет, туда идет. Перед ним нет преград.

Распарившийся купец, почесывая мокрый живот, засмеялся:

— Как это нет преград, когда перевалы завалены?

В это время в баню вошел и только что разделся благообразный старец. Он встал, пригнувшись, под сводом

входа, прислушиваясь, длиннолицый и украшенный длинной прозрачной бородой. Белоносый, с глубоко впавшими щеками, поглаживая грудь, морщинистую и увядшую, как у старухи, он поучительно сказал:

— На все воля аллаха. Он не дозволит злодею потешаться над мусульманами.

— А что же он, не мусульманин, этот хромой?— удивился густоволосый купальщик, облепленный хлопьями пены, весь искурчавленный пучками красновато-черных волос, разросшихся даже на его смуглых плечах. — Мусульманин или нет? — допрашивал он торопливым и грубоватым говорком, обычным для делового армянина.

Здесь, свободные от одежд, все казались людьми одного народа, хотя наверху, на базарах и улицах, их разобщали и обычаи, и одежда, и дела. Здесь все беседовали на общем, на обиходном тюркском языке, а у себя дома каждому был роднее либо тюркский, либо армянский, либо курдский язык. Да и на сивасских базарах в те годы большой купец без трех-четырех языков не смог бы разобраться среди покупателей: приезжие говорили то по-фарсидски, то по-арабски. Но арабским в Сивасе владели лишь те из купцов, что торговали с далекими базарами Багдада, Дамаска, Халеба, а на фарсидском говорили все приходившие с караванами из Мавераннахра, Ирана, Индии. На фарсидском писали книги ученые многих стран, поэты многих народов слагали и пели свои касыды на певучем фарсидском.

Но здесь, обнаженные и разомлевшие, жители Сиваса, сограждане, чуждаясь розни, не только снисходительно внимали, но и душевно признавались в сокровенных раздумьях тем, с кем поостереглись бы говорить, будь на них одежда их сословий, их народа или каких ремесленных объединений.

— Мусульманин ли он? — воскликнул, отвечая армянину, бледный горбоносый человек с очень широким лицом, покрытым множеством черных завитков, но борода из них почему-то не получалась. Небольшой горбатый нос на таком широком лице казался клювом, а узкие рыжеватые глаза еще более сузились, когда воскликнул: — Мусульманин? Ну нет!

Мулло Камар даже привстал на скамейке.

— Нет?! Он Меч Аллаха, вершитель воли божьей!

— Меч Аллаха? Не сквернословь! Не богохульствуй. Этот меч... Когда он разит истинных мусульман... Кто ему дал право губить мусульман, которым жизнь дал аллах? Он не мнит ли себя выше аллаха? Не Меч Аллаха он, а меч против аллаха!

— Вся вселенная зовет его Меч Аллаха, а ты, человек, один из всех против!

— Я один? Не ты ли один, что его славишь... Я пришел сюда из Мараги, где степняки уничтожили город. Тысячи мусульман погублены. А тех, что уцелели, взял и продал в рабство. Шиитов продавал суннитам. Суннитов — шиитам. Вот так меч! За что же своих рабов карал аллах этим мечом?

Банщик, мокрым полотенцем вытирая испитое лицо, согласился:

— Наш Баязет тоже рубит врага. Как истинный мусульманин, воюет против неверных. Обращает в ислам. Была ли война у Баязета с мусульманами? Нет!

— А если на Баязета нападет мусульманский падишах? А? — спросил беженец из Мараги.

— Грех нападать, а когда защищаешься, кто спрашивает о вере! — ответил караванщик.

Мулло Камар, сердясь, хотел спорить, но ничего не находил, чем мог бы в этом споре сразить собеседников.

Покой его души нарушился. Может быть, сказывалась усталость от недавнего тяжелого пути.

Люди приходили сюда, но никто не спешил уйти отсюда. Им хотелось поговорить о чем-нибудь веселом, утешительном, но каждый продолжал рассуждать или спрашивать о нашествии, которое, казалось, наглухо заслонено от Сиваса снегами гор, но уже крепко проникло в мысли и тревоги каждого здесь.

Один из вновь вошедших, едва стянув с головы рубаху, сообщил:

— Татары-то близко! Оттуда двое купцов сюда перебрались.

— Перевал-то закрыт. Перелетели они, что ли?

— Я сам видел. Один сидит в харчевне у Хасана, рассказывает: через горы они на брюхе переползли, а караван на той стороне оставили. Татарские разбойники за караваном гнались, да отстали. Теперь у тех купцов вся надежда на весну — успеют перевалы открыться, ка-

раван сюда перейдет. Промедлят — разбойникам достанется. Все зависит от перевалов.

Длиннолицый старик наставительно сказал:

— Уповать надо не на весну, не на перевал, не на караванщиков, это суета и помрачение. Надо уповать единственно на аллаха.

Армянин, вздымая над головой кувшин, чтобы смыть мыло, замер было, но тут же решительно, с размаху поставил кувшин на пол и возразил:

— Богом даны нам ноги, чтобы мы сами решали, когда стоять, а когда бежать. Знающие люди говорят: за кем татары гонятся, тому не убежать. Как это мог караван уйти, если за ним гнались? Сомнительно.

Мулло Камар подтвердил:

— От Тимура не уйти. От него ни за стенами не спасешься, ни в тайнике не утаишься, ни в степи не ускачешь. Спасенье в одном — в послушании. Он скажет «Покорись» — покоряйся. Он скажет «Дай» — отдавай. Он скажет «Доверься» — доверяйся. В этом спасение.

Армянин:

— Спасение — в послушании. И попомните мое слово: в Сивасе он будет. Сивас у него на дороге.

Все тут сошлись наги и беззащитны, но дума у каждого была своя. Каждый гадал, как дитя своего народа, каждый искал свое решение этой нелегкой загадки: что делать, если нагрянет бедствие?

Чем малочисленнее народ, тем ревностнее блюдет он свои обычаи, тем упорней сторонится других народов. В этом признак его слабости, ибо он боится потерять себя, сближаясь с другими народами.

Так в те времена было разорвано на клочки все человечество. Обособляясь, люди пытались сберечь свои маленькие очаги, каждый заботился о своей лачужке. И насколько больше было разобщенных, одиноких лачужек, настолько беспомощнее оказывалось человечество перед тем, кому удавалось соединить в единую силу хотя бы несколько очагов, племен, селений или городов.

А в каждом городе и порой в каждом селении людей разобщали их дела, их ремесла, их веры, их обычаи. Чем малочисленнее объединения ремесленников, тем строже держались они своего устава, тем ревнивее передавали ремесло из поколения в поколение по наследству: гончар своим детям, кожевенник —своим, медник — своим. Да-

же дочерей отдавали лишь за людей своего ремесла. Молились каждый своему небесному покровителю, нарочито растравляя в себе неприязнь к людям других ремесел, дабы устоять за своим станком либо горнилом, дабы никого не одолело желание взяться не за свое ремесло, дабы и к своему ремеслу не допустить чужого человека, оградить свой труд, свой очаг, свой род от тех, что, явившись со стороны, вдруг превзойдут тебя в твоем наследственном деле.

Чуждались один другого и купцы и мелкие базарные торговцы, каждый каждого. Но единоверцев на недолгое время объединяли общие праздники. Родичей — свадьбы. И только большие бедствия могли объединить всех.

В тот час в бане переползали от сердца к сердцу лишь тревоги, дурные предчувствия, недобрые слухи, и каждый искал против них свое средство молчком от остальных людей.

О том и заботился Мулло Камар: заронить тревогу и страх в сердца жителей Сиваса, но чтобы это не соединяло, а разобщало их.

— Повелитель Вселенной милостив, когда идут к нему за милостью. Кого пожалеет, кого казнит — каждому по заслугам. Кто смирится, того вознаградит, кто заупрямится, тому голову прочь!

Вдруг смуглый лоснящийся, сверкая зубами, сверкая белками глаз, сверкая золотой серьгой в ухе, турок, караванщик из Бурсы, захохотал:

— Эта хромая лиса красива будет, как побежит от нашего султана! О! Хромык-хромык-хромык... Ха-ха-ха!

Но снова длиннобородый Бахрам-ходжа, старец, сам ужасавшийся при упоминании завоевателя, но не менее страшившийся и сил Баязета, с укором воскликнул так громко, что горбун, караванщик Николас Венециан, направлявшийся в предбанник из глубокой темной ниши, где уединенно мылся, остановился и прислушался. Он постоял, накинув белое полотенце с острыми концами на свое маленькое тельце на несоразмерно длинных ногах. В этом виде он был похож на аиста, да и ростом едва ли был выше той птицы, за что завсегдатаи бани между собой прозвали его Аистом, хотя в глаза никто так его не звал.

Бахрам-ходжа обращался ко всем слушателям:

— Аллах милостив. Он не допустит надругательства над мусульманами. Я сам это читал. Я грамотен. Я любитель всякий почерк читать: возьму давнишний дирхем и весь прочитаю, будто тайну разгадываю.

— Что ж такое вычитали вы? — спросил Мулло Камар.

Бахрам-ходжа громко, подражая проповедникам, поучающим верующих на пятничных молитвах, возгласил:

— А то, что на все воля аллаха, ни единый волос не упадет с головы человека без воли божьей.

Армянин закричал:

— Неужели у бога нет других дел, как следить за брадобреями?!

На этот возглас слушатели обернулись осуждающе.

Горбун Николас пружинисто ушел к своему белью.

— Воля аллаха! — одобрил Мулло Камар. — Ибо Тимур есть Меч Аллаха. Меч Аллаха!.. Молите аллаха о пощаде и милости, ибо он щедр и милостив, но противление его мечу противно воле аллаха!

Беспокойство нарастало в людях от этих настойчивых предостережений.

Многое пережил Сивас. Его жители сызмалу наслышались о грозах, бедствиях, гибелях, прошедших, как сквозняк, сквозь родной город от стародавних времен до недавних лет.

Так сквозной ветер вдруг опрокидывает и раскрывает книгу истории и стремительно, как одержимый, листает ее и треплет, пока страницы ее не отворвутся от корешка, а тогда размечет их по широким степям, по горным теснинам, и одни листки закатятся в овраги, другие прижмутся к стеблям трав, запутаются в бурьянах или взлетят выше, чем лежали в книге. Степные ливни, горные снегопады прибьют их к земле, засыплют песком или снегом, многие из них забудутся навек, и лишь те, что удержались за корешок, уцелеют в книге, как осколок давних событий, через сотни лет удивляя тем, что некогда сверкало и шумело на свете.

Жители Сиваса, как недавний сон, еще помнили владетелей Сиваса и тех, кто зарился на него, сменявших один другого.

Был Бурхан-аддин, поощрявший торговлю и оборонявший базары от кочевых скотоводов — от туркменских

племен Черных баранов или Белых баранов, различавшихся между собой своими шапками, белыми или черными, но равно вожделевших к товарам и запасам сивасских купцов.

Хан чернобаранных туркменов Кара-Юсуф, когда воины Тимура дошли до степей, обжитых стадами хана Кара-Юсуфа, кликнул клич по ближним и дальним отарам, и старейшины многочисленного племени ушли вслед за Кара-Юсуфом, отгоняя скот подальше от Тимуровых войск, под защиту османского султана Баязета. Баязет хлебосольно принял Кара-Юсуфа, суля его стадам богатый нагул на османских выпасах, а самому хану и его знатным спутникам — почет и довольство под османским небом, заверяя прибывших, что прежние пастбища вскоре вернутся под власть Кара-Юсуфа и приумножатся землями самого Тимура или тех, кто потворствует ему, кто перекинулся под его опеку.

На правителя Сиваса, несговорчивого Бурхан-аддина, напал хан Белых баранов Кара-Осман. Кара-Осман всегда побеждал там, где воинская честь и совесть были бы слабостью. Долго толклось его войско под стенами Сиваса, пока Бурхан-аддин не поддался на обман. Выманив правителя из стен города, Кара-Осман убил его. Но город успел запереть ворота, и ни посулы, ни угрозы Кара-Османа не сломили твердость жителей. Войско и все кочевье Кара-Османа обложили город со всех сторон. Жители, единодушные в страхе перед Белыми баранами, заспорили о том, кому передать город — сыну ли покойного Бурхан-аддина, могущественному ли султану Баязету?

Кара-Осман то свирепел, томясь осадой, то размышлял, не решаясь на приступ, когда нежданно на него навалился правитель Южного Азербайджана Мутаххартен, дотоле точивший сабли на своего соседа Ширваншаха Ибрагима. Ибрагим, сумевший сохранить милость Тимура, стал недоступен саблям Мутаххартена, и он ударил ими по разленившемуся в осаде воинству Кара-Османа.

Но задохнуться ли под копытами Кара-Османовых всадников, расстаться ли с головой под саблями Мутаххартена жителям Сиваса было равно противно, их споры кончились, и город послал гонцов к султану Баязету, зовя его взять Сивас под свой щит.

Султан Баязет, готовившийся брать приступом Константинополь, отвлекся от заветной цели и пошел на призыв Сиваса.

Кара-Осман, уходивший от Мутаххартена, натолкнулся на передовые разъезды Баязета, попытался было противостоять, но, потерпев поражение, тоже бежал. Недавние враги объединили свои усилия в поисках милостей Тимура, ревниво спеша каждый себе выслужить честь и помощь против дерзостного османского султана.

Если б ветер времени пощадил одну лишь эту страницу из истории Сиваса, годы показались бы вихрем или базарной каруселью, где мелькали в пестром круговороте то черные, то белые шапки, то красные чалмы османов, то высокие азербайджанские колпаки, то подбритые усы, то алые, не просохшие от хны широкие бороды, то круглые остервенелые черные взоры, то сощуренные скважины степных глаз. Все это вертелось, сверкало, звенело саблями, грозило или льстило славному древнему крепкому городу Сивасу. И все рассеялось, осело, как пыль на заре, когда в Сивас вступил султан Баязет, стяжавший славу сокрушительными победами на берегах Дуная и Днестра, в странах Балкан и на холмах Малой Азии.

Баязет вошел в Сивас.

Город принял его как своего повелителя отныне и навеки.

Баязет установил здесь новые налоги, нуждаясь в деньгах для замышляемых больших походов, и утвердил османский порядок, показавшийся купцам мудрым, ибо способствовал торговым выгодам, вельможам — обидным, ибо на их места усаживались османские вельможи, а ремесленным людям и городской голытьбе не было разницы в том, чей барабан поднимает их на работу и в чьи мешки складывают их изделия.

Погостив и поразвлекшись на коврах Сиваса, Баязет ушел в свою Бурсу. Здесь осталась османская стража. Отныне владения Баязета раскинулись еще шире, столь широко, что, по словам царедворцев, караван мог лишь за четыре месяца пройти их из конца в конец. Правда, караванщики не считали эту дорогу столь долгой.

Ныне воины Баязета стерегли стены Сиваса. Ныне мытари Баязета собирали мыты и подати с жителей Си-

васа. А ханы, сбежавши одни к Тимуру, другие к Баязету, начали в сих прибежищах каждый свою суету и происки, разжигая вражду между теми двумя прибежищами, печась о возврате своих утраченных уделов, а буде случится утрату возвратить, чтобы возвратилась она с лихвой. Издалека утраченное казалось премного краше, потеря — премного горше, возвращение — премного легче, чем было при бегстве из своих уделов, а приумножение того, чем прежде владели, отсюда, издали, казалось справедливой добавкой за пережитые страхи и обиды. И чем дольше тянулось время, тем крепче гнев и досада овладевали разумом, и тем безграничнее разрастались мечты, и тем сбыточнее они казались беглецам, помнившим красоту покинутых дорог, но позабывшим крутые перевалы на этих дорогах. Ныне беглым ханам было далеко до Сиваса, где над могучей толщей крепостных стен несли караул окованные броней рослые воины султана Баязета Молниеносного, а слухи о неодолимом нашествии из татарских степей волновали жителей не более, чем детей тревожат вечерние сказки о злых волшебниках, когда крыша над головой крепка, постель тепла, дверь задвинута тяжелым засовом, а старая бабушка рядом, от таких россказней только слаще дремлется и крепче спится.

Тем более раздражали слова Мулло Камара, от которых веяло уже не вечерней сказкой, а пробуждением среди ночи. Самое бегство купца от каравана, настигаемого татарами, тревожные предостережения видавшего виды человека — это уже не бабушкино бормотанье, это дальнее ворчание грома надвигающейся грозы. Такой грозы, от которой не прикроешься ни плотной крышей, ни жаркой молитвой.

— Ничто, как воля аллаха! — покачал бородой длиннолицый старец.

Лежа на полу возле древней красавицы, из-под струй воды, щедро проливаемой банщиком, какой-то костлявый и хилый человек, захлебываясь и отплевываясь, согласился:

— Султан могуч. Не допустит. Кочевники не перекроют нашу дорогу. Нашим караванам дорога нужна везде. Я вам говорю: нужна! Объявится покупатель в Бухаре — караван в Бухару!..

Он перевернулся на другой бок.

— Подешевеет товар у франков — пойдем за ним в

Генуюю. Рум перегородит дорогу — перешагнем. Дорогу охраняет наш султан. Мытарь тогда легко мыт собирает, когда купец деньгами играет. Султан могуч!

Длиннобородый Бахрам-ходжа, не одобряя столь слепой веры в могущество султана, строго, учительно повторил:

— Аллах милостив, милосерден, в его воле уберечь путника в пути, караван от разграбления, сокровище от разбойника, город от нашествия, милостив, милосерден, на него уповайте, его просите, не поддавайтесь соблазнительным речам, туманящим разум, гнетущим душу.

Мулло Камар, придвинувшись к старцу, набожно сложил коротенькие руки на пухленьком животе:

— Истинно! Истинно! Никто, как аллах, не спасет от амира Тимура! Никто не спасет. На аллаха уповайте! Великая сила надвигается на вас. И нет ей преград. Нет ей преград! Ни стены городов, ни полчища врагов, ни длина дорог, ни высота гор — ничто не остановит его. Не остановит! Ибо он есть Меч Аллаха!

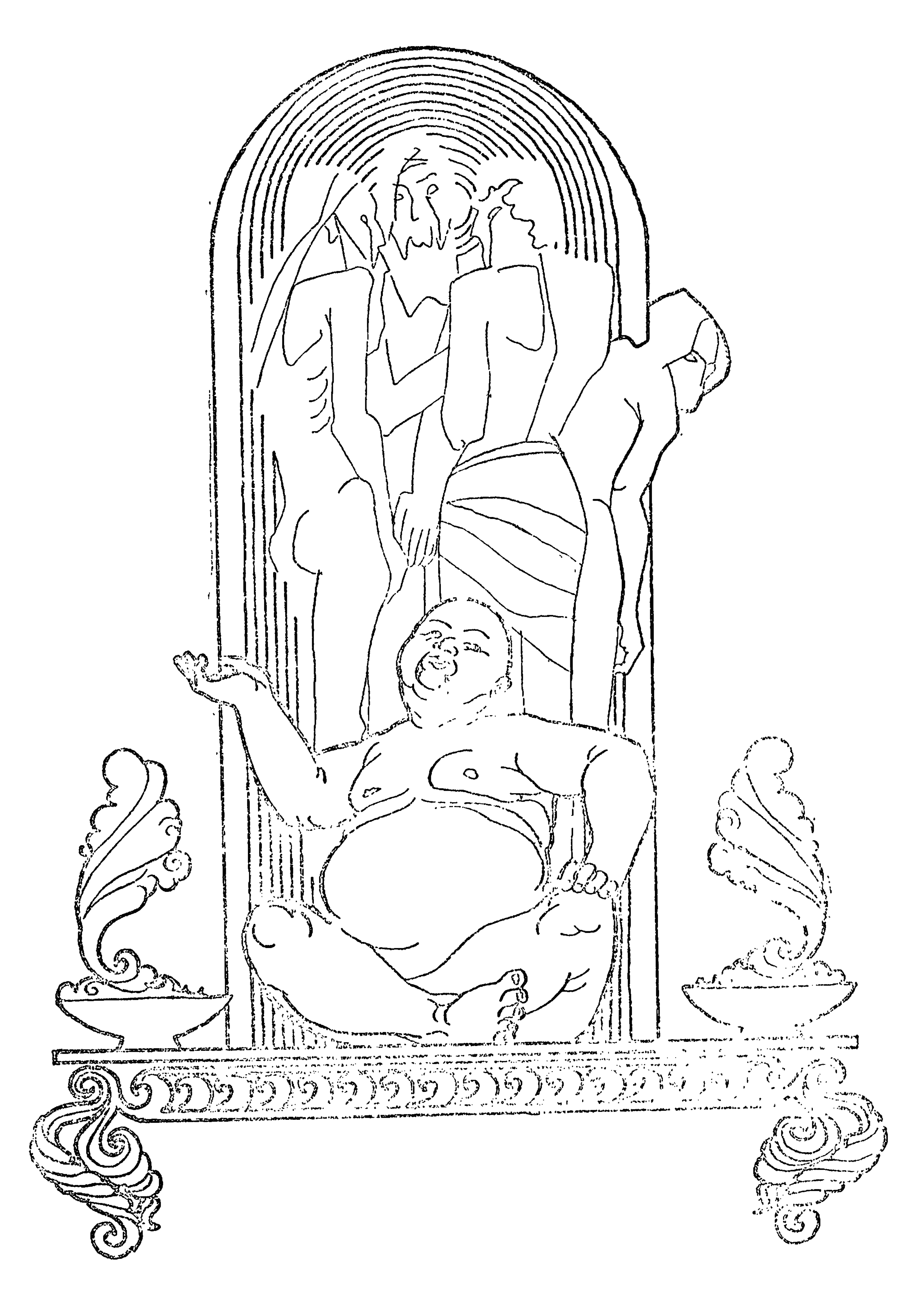
Армянин, соскабливая прилипший к волосатой груди обмылок, размышлял:

— Ох, пропадет, купец, ваш караван за перевалом. Вот вы добежали сюда. А караван?.. Не будь этого Тимура, каравану что сделалось бы? Что? Ох, не вы первый, прежде тоже рассказывали нам: нет преград нашествию.

Но, взглянув в темные насмешливые глаза турка, второпях поправился:

— Нет преград... Пока не напорется на копье Баязета: Разве могущество какого-то Тимура устоит перед могуществом Баязета? Всему свету известно: никто, никогда, нигде не устоял против нашего щедрого, великодушного, набожного султана! Для каравана — это беда. Каравану — это судьба, а для воинства султана весь тот Тимур — это лишь брусок, чтобы поточить ятаган.

— Брусок? — вскрикнул Мулло Камар.— Сохрани аллах любой ятаган от такого бруска! Я нагляделся на этот брусок. Нет меры его силам. Он ударит по камню, и камень встает воином. Ударит по скале, и скала рассыпается на мелкие осколки, и каждый осколок встает всадником в броне, с мечом, с копьем. Я своими глазами видел. Прежде не верил, а гляжу: кони у них небольшие, серые, как камень, карие, как кремень. Пустили в них стрелы — стрела отлетает от них, как солома. Оттого, что они из



камня. Их пробить невозможно, как невозможно пробить стрелой камень. Когда враги догадались, какие это воины, бросились бежать. А они кидают аркан и могут птицу на лету заарканить. Кто сумеет уйти? У меня они заарканили всех караульных в караване. Мне со слугой

удалось уйти. Я добежал до гор. По горам — на перевал. А где караван? А где наш караул? А где мой товар? Вот он я, еле жив. Лежу тут, отогреваюсь. Нет силы, чтобы сломить эту силу. А вы — «султан»! Что сделает стрела султана, пущенная в скалу?

— Э! О султане говорят тихо! — прикрикнул турок.

— Вы сами видели? —спросил богобоязненный Бахрам-ходжа.

— Своими глазами. Еле ноги унес.

— О, сохрани нас аллах милостивый,— поднялся со скамьи старец и, глядя только перед собой, неуверенными, оскользающимися шагами, так и не помывшись, заспешил к выходу одеваться, бормоча: — Милостивый, милостивый...

— Вот в том-то и дело, что нечего и думать устоять против Тимура. Верное дело — просить аллаха о милости, а об обороне надо забыть, когда он сюда придет.

Маленький худощавый человек, дотоле лежавший в теплой луже, привстал.

— А он сюда придет?

— Весна ли, зима ли приходит для всех городов сразу. Он идет в эту сторону. Было ли, чтобы по всему краю наступила весна, а в Сивасе сохранилась осень?

— Сивас — это город, хранимый самим Баязетом, великим султаном, могущественнейшим, непобедимым, молниеносным в битве, щедрым в мирные дни.

— Лучше уповать на аллаха! — настаивал Мулло Камар. И хотя эти слова принижали славу Баязета, кто же мог возразить: прибывший купец славил аллаха!

Потом Мулло Камар, удобно разлегшись на коврике, затребовал себе чашку чистой воды со льдом и расспрашивал собеседников, проникшихся доверием и расположением к нему, бежавшему от завоевателей:

— Верю в милосердие аллаха, он убережет мой караван от разбойников. А получу товары, начну торговать... Ну, скажем, распродамся. А что куплю? У кого что есть у вас в городе? Ведь я много чего куплю. При закупке не поскуплюсь. Но у кого что взять? У кого что есть? Я купец. Я хочу знать, с кем тут торговать.

Пока здесь беседовали, наруже, на улице, полил дождь. Как все весенние дожди в Сивасе, он был обилен и, едва затихнув, снова полил. Уходить при такой пого-

де из бани никому не хотелось, на расспросы Мулло Камара отвечали словоохотливо.

Как бы рассеянно и равнодушно Мулло Камар выведал о многих складах товаров по всему городу. Собеседники говорили не только о своих запасах, но и о друзьях, и о соседях, полагая, что помогают торговым делам своих друзей и соседей.

Мулло Камар еще плохо знал город, но его память накрепко запечатлевала названия улиц, имена, товары...

Дождь шумел, и когда в баню проникал свежий, пахнущий не то снегом, не то первой листвой ветерок, здесь казалось еще уютней.

3

Дождю внимал и спутник Мулло Камара Шо-Исо, прислонившись узкой спиной к замусоленной стене в глубине харчевни Хасана, араба, славившегося уменьем жарить баранину на вертеле.

Наслоив на всю длину вертела тонкие, как листья, пласты баранины вперемежку с пластами сала, араб ставил стоймя железный вертел между двумя жаровнями и неторопливо поворачивал вертел, пока мясо не запекалось, стекая жиром. Горячий, темный, как мед, жир стекал вниз на глиняное блюдо.

Острым ножом состругивали запекшиеся, зажарившиеся края баранины и сала, заливали подливой с подноса, щедро приправив красным перцем и луком, и подавали проголодавшимся гостям, забредшим с базара.

Добрая еда, крепкие приправы тешили людей, а близость базара возбуждала их и развязывала языки. Все громко переговаривались, торопливо поедая мясо, делились новостями, перехватывая новые вести, чтобы поскорей пересказать их другим.

Посетители входили и уходили, расспрашивали человека, нового в городе, о краях, захваченных степняками, о самом их вожаке, о слухах, которые уже начинали тревожить жителей Сиваса.

— А далеко они? Чего тут им делать? Чего надо?

— Взял Арзинджан. Небось теперь ближе к Сивасу, чем прежде! — отвечал Шо-Исо.

— А ты сам-то его видел?

— Ежели бы я его видел, вы меня здесь не видели бы. Кто на него глянет, станет камнем. На кого он гля-

нет, тот рассыплется песком. Никто не смеет ни на него глядеть, ни ему на глаза высунуться. Я его воинов издали видел, и то еле жив.

Люди приходили и уходили. Шо-Исо не спешил уходить, но над городом уже поднимались недобрые слухи, расплываясь далеко вокруг, как запах гари, тревожа. Наплывали темные страхи, возрастая, как тени — чем ближе к огню, тем выше и шире. А Шо-Исо, словно невзначай рассказывал новые и новые россказни, одна другой круче, сея в сердцах собеседников злые плевелы тревог, отчаяния, убеждая, что нет силы, какая осилила бы силу нашествия.

Повелитель Вселенной, прежде чем пустить свои стрелы в грудь врага, пробивал его сердце слухами. Слухи порождали страх, сомнение сивасцев в своих силах, а сомнение в своих силах готовит победу противнику.

Слухи, которые шли из харчевни Хасана, перекрещивались со слухами, шедшими из старинной бани, где нежился Мулло Камар, а две вести, услышанные в двух разных концах города, становились истиной.

Так уже в первый день вступления в Сивас Мулло Камар взволновал город, одних усомнив в могуществе Баязета, а других убедив, что не на мощь городских стен, а лишь на милосердие аллаха надо уповать, если сюда придет Тимур.

Мулло Камар, наговорившись, поглядывая по сторонам, не видя больше никаких достойных собеседников, покряхтывая, заботясь, как бы не поскользнуться на мыльном полу, осторожными шажками, слегка приплясывая, отправился в предбанник: давно прошло обеденное время и, как поется в песне, «роза затужила без росы».

За снедью можно было послать кого-нибудь из служек, но сперва достав деньги из кисета, оставленного под одеждой, да и накинув одежду, ибо не честь почтенному человеку голышом садиться за трапезу.

В предбаннике хлопотал тощий банщик, тяжело дыша через открытый рот. Кроме него, никого здесь не было: одни ушли до дождя, другие пережидали непогоду в глубине бани, новые посетители не приходили — никому не хотелось шлепать по мокрети под дождем.

Дождь же щедро шумел за порогом. Одежда лежала грудами по всей длинной скамье, а банщик тряс ее и складывал стопками, жалуясь, что из-за дождя пришлось с веревок наскоро снять белье сырым и теперь никак не разберешься, какое чье и откуда взято.

Груда сырого, холодного белья пахла не то гнилыми овощами, не то псиной — чем-то тяжелым и неприютным.

Мулло Камар уверенно пошел к своему узлу, но под халатом не нашел ни своей рубахи, ни штанов, хотя красный сафьяновый кисет, подвязанный к поясу, как был положен, так и лежал.

Усаживаясь влажным задом на теплый мрамор скамьи, Мулло Камар велел банщику:

— Ну-ка ищи-ка белые холщовые. Сверху под пояс обшиты красной каймой. А рубаха по круглому вороту обшита зеленой кромкой.

Банщик услужливо заспешил, высоко подкидывая штаны, рубахи, пестрые лоскуты портянок.

Взлетев в просторных руках, как птичья стая, вся одежда снова раскинулась по скамье.

Мулло Камар нетерпеливо сам подошел к банщику. Порывшись в сыром ворохе, нашел свою рубаху. Штаны же, как он ни перебирал одну вещь за другой, не находились.

Банщик, хотя и с опаской, покорно еще раз разглядел всю одежду на обеих скамьях, даже ту, которую он и не стирал. Штанов не оказалось. Их не было.

Банщик пояснил:

— Кто-нибудь надел вместо своих. Тут сегодня многие торопились: говорят, нехорошие слухи пошли, да и от дождя спешили домой поспеть. Да и вам почему бы не взять другие? Не все ли равно, у всех они одинаковые. Шелковых у нас тут никто не носит.

Мулло Камар не мог ему объяснить, что во всем городе не было таких штанов, какие он согласился бы взять вместо своих — в них была зашита могущественнейшая пайцза Тимура, медная бляха, открывавшая путь сквозь любые воинские заставы и караулы, по всем дорогам Мавераннахра, по всем завоеванным землям, по всей вселенной!

Совсем недавно она плотно лежала у него на ладони, круглая, вычеканенная из червонной меди, с грозной над-

писью: «Амир Тимур Гураган указал: кто воспротивится помогать нашему посланцу, будет казнен и умрет».

А в середине, где, бывало, чеканили монгольское тавро, похожее на якорь, значились три кольца — тамга самого Повелителя Вселенной, амира Тимура Гурагана!

Чуть побольше медных караханидских дирхемов, подернутая радужной патиной, нагаром, расцветившим медь от пережога при ковке, похожая на прежний большой посеребренный почернелый караханидский дирхем.

И вот эта-то пайцза, открывавшая купцу все пути, все караван-сараи, все ворота городов, исчезла вместе со штанами.

Мулло Камар вздрогнул, вдруг поняв, что теперь он уже не тот человек, каким вошел под эти темные своды, уверенный в своем превосходстве над всеми, кого бы ни увидел здесь! Он беседовал, втайне насмехаясь над каждым из собеседников. Он один знал, во что превратятся они, когда город оглохнет от топота Тимуровой конницы, от рева воинства, врывающегося в город.

Но во что без пайцзы превратится он сам, когда ворвутся сюда те непреклонные конники?! Чем он остановит первого же воина, если тот замахнется мечом или копьем?! Всего несколько мгновений назад он ждал прихода Тимуровых войск как желанного праздника, теперь же немыслимо стало даже думать о страшном дне, когда они ворвутся в Сивас. А они ворвутся!..

Не бежать ли отсюда в глубь Баязетова царства, притаиться где-нибудь в Смирне, где-то там? Или пока Тимур стоит спокойным станом и караулы могут вникнуть в слова смиренного человека, обратно переползти через ледники на ту сторону. Но как явиться туда без пайцзы?

Куда она девалась? В чьих руках она сейчас? Знает ли тот, кто ее держит, что держит в своих руках дорогу, открытую и беспрепятственную, на все стороны света, через все войска и заставы самого Повелителя?!

Или тот недоумок сидит и дивится помехе, появившейся в штанах, и досадует, и просто вырвет ее и бросит прочь. И некому его надоумить!..

И Мулло Камар тут вспомнил с досадой и со страхом пророческие слова длиннобородого старика:

«Ничто, как воля аллаха!..»

4

В чужих тесных штанах, прилипших к ягодицам, поеживаясь от их сырости, Мулло Камар одиноко спешил под густым дождем по пустой улице, суетливо, оступаясь в лужи и тем забавляя всех, кто посматривал на размокшую дорогу из-под навесов или из лавчонок.

Впервые за всю жизнь он так торопился и впервые не знал, куда идти.

Вдруг он остановился. Потоптался среди луж и так же торопливо или еще прытче прежнего заспешил назад: ведь кто-то ушел в его штанах. Надо скорее узнать, кто же ушел, а это могут вспомнить только в бане.

В предбаннике сидели, остывая и лениво одеваясь, люди, которых, уходя, Мулло Камар здесь не видел. Он видел их голыми и поэтому теперь не мог узнать: теперь их покрывала одежда, лица их утерты, бороды расчесаны.

Мулло Камар приметил на штанах одного из армян под поясом такую же красную обшивку, какая была на пропаже.

Он бы не замедлил ухватиться за них, но пощупать то место, куда он хитро зашил пайцзу, нельзя было: не то это место, чтоб соваться туда чужой рукой.

Он смог только хрипловато спросить:

— Откуда у вас штаны, почтеннейший?

Армянин, закрутив красными, не то распаренными, не то воспаленными яростными глазами, оторопел:

— Что? Что?

— Эти вот штаны...

— Не трогай! — отшатнулся армянин, поджимая ноги и отползая вдоль каменной скамьи.

Но Мулло Камар наступал:

— Откуда они?

— Не тронь! Это мои!

Одевавшийся рядом с армянином плотный степенный турок спокойно удивился:

— Зачем кричишь? Он тебя еще не тронул.

— А тронет, тогда поздно кричать.

— Я не трогаю. Я про штаны, почтеннейший. Только про штаны.

— Знаем! Сперва хватаются за штаны... Я не такой! Отстань!

Мулло Камар спохватился:

— А банщик где? Который с бельем?..

Турок медленно моргнул в сторону входа.

— Разделся и пошел мыться.

— А как мне его оттуда вызвать?

— Из нас никто туда не идет, мы уже оделись.

Мулло Камар заспешил раздеться, скидывая без всякого порядка одежду, а когда остался только в тесных чужих штанах, непристойно его облепивших, вернулся к армянину.

— Почтеннейший! Вы сами себя пощупайте.

Армянин, торопившийся уйти из предбанника, вскочил.

— Ты опять? Я людей позову...

— Вот они, люди. Зови. Но сперва пощупай вот тут: ничего там нет?

В ярости, кое-как обматываясь кушаком, армянин выскочил на улицу и, уже стоя на мостовой, прорычал:

— Ну! Подойди. Подойди!..

Тогда Мулло Камар, снова скользя по мыльным плитам, кинулся в непроглядный пар под черные своды.

Здесь по-прежнему многие лежали, не спеша выходить в сырой холод вечереющего дня.

Светильники потрескивали. Красноватые отблески беспокойного пламени струились вокруг, как ручей по камушкам, дробясь и переливаясь. В таком свете лица людей, непрерывно изменяясь, то будто смеются, то скорбят, то ужасаются, как каменные маски, какие остались кое-где в Сивасе на иных из мраморных плит. И как тут узнать среди обнаженных того, кого видел одетого, ставшего без одежды ничем не приметным.

Приметы банщика? Бороденка неприглядна, как у большей части людей. Ведь добрая борода, как и красота, как и ум, ниспосылается аллахом не первому попавшемуся, а по неизъяснимому выбору, непостижимому для смертных, хотя не каждый избранник ценит, не каждый сознает эту щедрость, излитую на него.

Глаза у банщика тоже не были примечательны — тусклы, малы. Но в этой мгле и не разглядишь ничьих глаз.

Знать бы имя, можно было бы кликнуть, да кому придет в голову спрашивать имя у банщика!

Мулло Камар суетился среди моющихся. Приглядывался к каждому, то приседая на корточки, если человек лежал на полу, то рассматривая человека в упор, если тот стоял.

Многие пугливо отшатывались от столь упорного взгляда — они тут обнажались не затем, чтоб их разглядывали в этаком виде!

Другие, узнав Мулло Камара, пугались вдвойне, сразу вспомнив, как он стращал их страшными вестями, какие едкие слухи занес в этот добрый, теплый мир.

Уже насквозь промокли тесные штаны на Мулло Камаре, и это тоже привлекало взгляды людей, никто в штанах здесь не расхаживал. А банщика нет и нет нигде!

Уже кое-кто смекнул, что не к добру мечется тут этот беспокойный человек. Кое-кто поспешил уйти из бани. В предбаннике стало тесно. Шаря в грудах недосохшего белья, каждый выхватывал свое или то, что прежде остального подвернулось под руку. С верхней одеждой ошибок не могло быть, каждый видел свое, белье же у всех шилось на один покрой, как шилось дедам и прадедам.

Люди одевались и уходили, а Мулло Камар то заглядывал в темноту глубоких ниш, куда не полагалось заглядывать, то в тускло озаренный водоем, где, погруженные по грудь в теплую воду, сидели, беседуя или забавляясь, купальщики. Подбегал к струям, падавшим из львиных пастей, где окатывались из медных чаш, но ни в ком не мог усмотреть банщика. Нет и нет нигде...

Осталось одно: сесть у выхода и ждать, пока сам банщик предстанет перед глазами.

Мулло Камар сел на корточки, упершись спиной в стену, и, не вникая в их смысл, забормотал откуда-то навернувшиеся стихи:

> О, если та прекрасная турчанка
> Моим захочет сердцем обладать,
> Не поскуплюсь...

И вдруг банщик предстал перед ним. Предстал столь внезапно, что Мулло Камар не успел даже обрадоваться, а только спохватился:

— Вот он, банщик!

— Я. А что?

— Да ничто... А вот что...

Мулло Камар узнал банщика сразу, хотя его лицо не являло ничего приметного и примечательного. Он только вспомнил его. Но приметно и особенно было в этом бан-

щике не лицо, а тело, дотоле скрытое одеждой, а знай это тело прежде, Мулло Камар нашел бы его сразу, так худ банщик, так сух, весь состоял из костей, перевитых странно длинными синими жилами. Это причудливое тело много раз повстречалось Мулло Камару среди пара и, отвлекая, помешало взглянуть в лицо банщику. Вот теперь он узнал бы его в любой мгле. Зачем-то он нетерпеливо спросил:

— А вот что... Как твое имя?

Банщик пугливо оглянулся, и Мулло Камару показалось, что он норовит нырнуть назад и скрыться в облаках пара.

Не успев подняться, Мулло Камар ухватил банщика за ногу, и тот, не ожидавший такой хватки, поскользнулся и тяжело с размаху упал навзничь, ударившись плечом о скамью.

Потерял ли он сознание, удивился ли, оробел ли, но он лежал и молчал, пока склонившийся над ним Мулло Камар что-то говорил, восклицал, спрашивал.

Наконец банщик наполнил всего себя долгим медленным вздохом, повернул лицо к стене и пробормотал:

— Штаны... Штаны? Какие?

— Там, где пропускать пояс, обшиты красной каймой.

— Возможно ль запомнить все штаны Сиваса?

Банщик лежал навзничь на плитах пола. Мулло Камар сидел над его головой на корточках.

Оба молчали, но разговор продолжался: один думал и припоминал, другой ждал ответа.

Наконец, покряхтывая, банщик поднялся, растирая ушибленное плечо.

Мулло Камар настаивал:

— А кто ушел, пока я мылся, пока я не спрашивал у тебя свое белье? Вспомни-ка!

— Многие одевались и уходили. Бахрам-ходжа ушел. Наш почтенный старик, содержатель караван-сарая. Длиннобородый. Очень спешил. Выхватил из кучи белье, надел кое-как и побежал. Тоже наш турок, Савук-бей, золотая серьга в ухе, тоже ушел. Не спешил, но о чем-то так думал, что и не смотрел, какое белье берет, только б какое посуше. Долго одевался. И ушел. Он нездешний. Из Бурсы. Караванщик. Говорят, от самого султана ходит. Затем и серьга в ухе: примечай, мол, заместо пайцзы султанская серьга!

— Вот! — встрепенулся Мулло Камар.— А настоящей пайцзы ты тут не приметил?

— В баню с пайцзами кто ходит? Тут дорога, что ли, или караулы стоят?

— А еще кто вышел?

— Я пошел мыться, когда армянин одевался. Это наш, здешний, шерстью торгует. Имя Аршак. Он сел одеваться, а я оставил ему все белье: выбирай какое хочешь. А сам пошел мыться.

— А еще?..

— Остальных не приметил. Выходить выходили. А кто... Тоже венециец Николас-баш ушел. Горбун. На аиста похож — ноги длинны, как у журавля, а тело маленькое, с верблюжью голову. Но умен. Глаза черные, как жуки. И все видит и помнит. Из Венеции. Издавна здесь живет, а родом венециец — Николас-баш. Караван-баш. Водит караваны то в Басру, то в Трабзон. Всегда к морю. Он хорошо рассказывает: города, дороги, народы, где что видел. Он сперва в самой темной нише моется — стыдится. А потом полотенцем накроется и выходит, а мы уже ждем. Он садится рассказывать, а мы слушать. Он кахву пьет. Хотя у нас и нельзя это, на кахву строгий запрет, да ему тайком носят туда, в нишу, где никто не видит.

— А кто это варит, если нельзя?

— Того, добрый человек, я не приметил. Кто-то носит, а кто, не приметил.

— Таишь!

— Мало ли тут людей ходит! Мое дело — грязное белье брать, стираное выдавать.

— Вот и отдай мне мое! — снова заспешил Мулло Камар.— Мне дай мое, а не это — к заду прилипло, шагу не шагнешь.

— Ты уже спрашивал, я уже отвечал.

— Найди, брат, мои штаны!

— Ты сам видел, какие были, я отдал. А те я откуда возьму, когда их тут нет?

Мулло Камар вздохнул с отчаянием и с укором:

— О, аллах!..

— Возьми со скамьи другие. Из того, что осталось. А эти сыми, я сполосну да высушу. Сымай, сымай, никто на тебя не глядит.

Переоблачаясь, Мулло Камар каялся: «Нашел же я место пайцзу хранить. От разбойников так надежнее всего — халат сорвут, сапоги стянут, а штаны редко берут, когда они простые, а не шелковые. Но и так тоже нельзя было — кинул ее тут! Но когда рядом кисет с серебром, куда было ее деть? Кроме некуда, как так оставить. Вот и оставил!»

Надев сухое, Мулло Камар сел. Не успокоился, но понял: еще есть время и на поиски, и на раздумье. Поиски! Ведь сейчас она где-то здесь. Если уже не в бане, все еще в городе.

Он сжал ладонь, вспоминая: совсем недавно он ее ощупывал, чувствуя под пальцем даже сквозь холстину и надпись, и зазубрину на краю. Всю ее так ясно увидел, как если б она лежала тут вон, на полу, с зазубринкой, с трещинкой. Так она вся помнится!

Да и не она ли это у самой скамьи...

Он торопливо пригнулся, потянулся к темному кругляшу, но тотчас, брезгливо вздрогнув, отшатнулся.

— О, аллах! И в бане-то плюют!..

Пайцза где-то еще в Сивасе... У кого?

И тут ожгло его испугом.

Ведь кто-то в Сивасе найдет и поймет пайцзу. А поняв, задумается: что это за купец, плакался, будто ограблен, а на деле огражден от ограбления таким грозным щитом, выданным от главного завоевателя! Пожалуй, за такую ложь в этом Сивасе, по их базарному обычаю, обманщика повесят посреди базара рядом с коромыслом больших базарных весов.

Нет, теперь нельзя здесь показываться. Ведь недавние собеседники могут, распознав про пайцзу, тут, еще в предбаннике, навалиться, схватить, скрутить и поволочь прямой дорогой к виселице...

Но нельзя и к Повелителю без пайцзы явиться. Можно ль ему сказать про то, как неведомый человек где-то балует с его пайцзой и, может, в самом стане у Повелителя с ней гуляет.

Одно остается — бежать отсюда подальше. Поскорей. А там, куда добежишь, притаиться, приглядеться, прижиться, где его лжи никто не слыхал, где в лицо его не знают...

Мулло Камар опять приступил к банщику:

— Где они, эти, которые ушли?

— Я их знаю, когда они к нам приходят, а куда от нас уходят, не знаю. Поищите по городу, кто-нибудь знает их.

— По городу!..

— По базару, они все с базара.

— С базара! В Сивасе везде базар.

— Когда что-нибудь ищешь, добрый человек, ищешь везде.

Мулло Камар не ответил. Но вдруг вспомнил, как совсем еще недавно втайне потешался над бедствиями и горестями армянина Пушка, а ныне сам становится в глазах людей потехой.

«Не злобствуй, не злорадствуй, когда видишь ближнего своего в беде, своя беда всегда наготове рядом. Помни это, ибо аллах всевидящий милостив, справедлив и он знает, кому дать, а с кого взять. Но зачем же, зачем же я бросил это тут на скамейке!»

С усилием просунув руки в отсыревшие узкие рукава, Мулло Камар надел халат, обеими ладонями огладил мокрую потемневшую чалму и вышел.

Дождь прошел.

Дуло свежей прохладой.

Город казался затихшим, словно бы задумавшимся.

Только дети, как все дети на свете, весело гоняли тряпичный мяч, нянчили плачущих малышей и то кричали, не замечая, как голоса их становятся звонче с наступлением вечера, то плясали, подражая старшим братьям.

Едва дождь затих, вдруг издалека, с пригородных выпасов, опять, как поутру, заплакала дудочка пастуха. Пела над омытой, посветлевшей землей, как и прежде, мирно, ласково, ибо, что бы ни шумело по ту сторону гор, гроза ли, нашествие ли, трава будет прорастать, дети расти, любовь подниматься в человеческом сердце, когда наступает весна.

Ветер прорвал тучу. Выглянуло солнце, засверкав ярким белым светом, словно отраженное от стального щита.

ГЛАВА III

КАРАБАХ

1

Тимур зимовал в Карабахе не впервые. Оказываясь в Закавказье, с кем бы ни случалось скрестить мечи в тех краях, под какими бы городами ни шумели битвы, где бы ни вытаптывало его войско поля, весенние, летние или осенние, отдыхать от тягот войны он приводил своих воинов в Карабах. Тут и ветер был свеж и чист, и предгорья красивы, но особенно хороши были выпасы и выкосы во всю зиму не скудеющих трав.

Несметному множеству лошадей всегда были нужны неоскудевающие корма, а в эту зиму прибавились еще и слоны, пожиравшие здесь травы не менее, чем в теплых зарослях далекой Индии. Им накашивали и накидывали к хоботам высокие валы сочной травы, хотя и лошадей нельзя было морить, хотя и лошади набирались здесь сил на будущие дороги. Но лошадям кидали сено, когда слонам свозили травы.

Синее небо над ровным снежным покоем. В строгом порядке ряды юрт. В стороне и повыше остальных стоят белые юрты Тимуровой семьи, поместившейся в этой долине прежде своего Повелителя, когда он задержался в Арзруме и заглянул в Арзинджан.

В Арзинджане понадобилось немало воинского труда, чтобы снова освободить всю округу от туркменов Кара-

Юсуфа и несговорчивых хозяев своей земли азербайджанцев.

Едва ли жил на земле другой человек, которого Тимур ненавидел с такой яростью, как Кара-Юсуфа. Седьмой год, с тех пор как он впервые пришел в эти края, Тимур ни с кем столько раз не сталкивался, как с этим беком чернобаранных туркменов. Едва Тимур, установив в том краю тишину и повиновение, поставив своих правителей, уходил, как являлась отчаянная конница Кара-Юсуфа. Он громил немногочисленные войска правителей и снова овладевал той землей.

Кара-Юсуф являлся, как посланец неминуемой судьбы. Он показывал всю тщету многотрудных завоеваний, показывал завоевателю, что хозяин на земле есть тот, кто дремотный пустырь впервые поднял к жизни, впервые научил его служить человеку. Сколько раз случалось, когда, уйдя в дальний поход, не давая себе отдыха, среди смертельных опасностей Тимур узнавал, что завоеванные земли захвачены их прежними жителями, но никто не являлся так настойчиво, упрямо, бесстрашно, как Кара-Юсуф.

Теперь он снова изгнан. В Арзинджане утвердился порядок. Горько одно: не удалось поставить перед палачами самого этого разбойника Кара-Юсуфа, а вот Осман-бей, бек другого племени туркменов, из родовой ненависти к Кара-Юсуфу изъявил Тимуру послушание, предложил дружбу и союз.

Но чем упорнее оказывался враг, тем настойчивее и суровее становился Тимур. Проходила его усталость, забывались болезни, пока не сломлен враг.

Он прибыл наконец, преодолев на морозном ветру скользкие горные дороги, упираясь в стремя лишь одной ногой: больную обвязали мягким войлоком, чтоб от холода не ныла, как часто случалось с ней зимами. Его сняли с седла, внесли в теплую юрту, обложили теплыми подушками, набитыми верблюжьей шерстью.

Недолго посидев в тепле и наскоро закусив с дороги, он опять вышел к седлу. Лошадь подали ему свежую, и, опершись одной ногой о колено воина, он переволокся в седло и съездил посмотреть слонов.

Небо было по-зимнему прозрачно и сине, снега лежали ровной гладью, и большое стадо слонов казалось здесь странной выдумкой — от стужи их накрыли овчинными

кожухами, на головы сшили им колпаки из лохматых бараньих шкур, а ноги обвернули серыми войлоками, обули их таким же ладом, как и ногу самому Повелителю. Тех слонов во всем Тимуровом войске явно или втайне боялись все. Однажды видели, как сам Тимур погнал своего коня вскачь, когда один из слонов поднял над Повелителем хобот и что-то протрубил. Но о том случае рассказывали шепотом и не смели посмеиваться при рассказе. Каждому втайне становилось еще страшней. Теперь же, в бараньих кожухах, воняя овчинами, слоны виделись чудовищами. Но Тимур подъехал к ним, косясь, на месте ли индийские погонщики, приведенные сюда вместе со слонами. Никаким другим людям слоны не повиновались, одних только этих земляков допускали к себе на шею, их одних слушались.

Индусы сидели ссутулившись, накинув на плечи какие-то лохмотья, сбившись в кружок, будто вокруг костра, но в средине их круга ничего не было, белел тот же снег, как и везде вокруг.

Бороды их были синими, и лица казались синими.

Тимур велел подозвать их. Когда кликнули, подошел один, старший. Остальные, не сдвинувшись с мест, следили за ним.

Этого индуса Тимур спросил:

— Не холодно ли?

— Нам?

— Я о слонах.

— Им теплее, чем нам.

Тимур помолчал, он не терпел, если в походах кто-либо жаловался на трудности. Будь это вельможи, отважные военачальники, простые ли воины, любимые ли внуки. Поход, как знал Тимур, никогда не бывает легкой прогулкой, он тяжек для тех, кто идет в поход, и страшен тем, на кого направлен.

Он помолчал, уловив жалобу или укор в ответе индуса, но приказал выдать всем им по два стеганых халата: без этих неженок слоны не пойдут, когда понадобится.

Спросил у индуса, довольны ли едой.

— Мы баранину не едим.

— Я спрашиваю о слонах. Не ослабели б к весне.

— Прибавь им овощей,— повелительно сказал индус,— и нам тоже. Мы не едим мяса.

Тимур приказал давать сюда овощей вдоволь. Если же под рукой чего-нибудь не окажется, брать из воинских припасов, но вдоволь давать слонам.

Индусы понимали, что холят их здесь, пока они нужны для слонов. Сгинет надобность в слонах — несдобровать и поводырю. Зная, что индусы это понимают, Тимур успокоился за слонов.

Из поездки по стану Тимур возвратился, когда в юрте Великой Госпожи приготовились к плову. Повара еще возились у очага, но опытный человек по запаху от котла уже знал, что плов готов.

Не заезжая к себе, он спешился неподалеку от юрты Сарай-Мульк-ханум и прошел по хрупкому снегу, оставляя странный след, острый и четкий от левой подошвы, правый — неряшливый от размотавшегося войлока. Если б доныне сохранился тот след на снегу, вдумчивый историк сразу опознал бы след Тимура — не таков ли след, оставленный им в памяти человечества...

Сидя, как те индусы, кружком, но на теплом, плотном ковре, его ждали женщины, когда он вошел к ним.

Его сразу обвеяло теплом и привычным запахом женской юрты, домашним воздухом, где в одно дыхание слились благовония каких-то душистых трав, аромат приправ к лакомствам, устойчивый запах тканей и мехов. Пахло иранскими помадами, целебными мазями, привозимыми издалека с востока, куда он уже давно не заходил. Все это слилось в стойкий дух, не ослабевавший даже в теплые дни, когда юрты подолгу стояли раскрытыми под степным ветром.

Женщины сидели вокруг большого кованого подноса, полного сластей — бухарской разной халвы, самаркандских тминных пряничков, рассыпчатого горошка фисташек в раскрытых скорлупках, соленого миндаля. От подноса тоже исходил запах, какой бывает на базаре в тех тесных дворах, где из века в век сидят торговцы пряностями и приправами.

Тимур сразу приметил, что среди его жен и между снохами нет той молодой таджички, жены внука, от которой ждали ребенка. Значит, подошло ее время, если все сюда собрались, а ее тут нет. И, видно, это ее место оставалось пусто среди стеснившихся женщин, словно она только что встала отсюда и вот-вот возвратится. Тимур знал эту монгольскую примету и понял, что роже-

ница лежит где-то неподалеку, в одной из юрт, вплотную приставленных к этой самой просторной, к юрте Великой Госпожи.

Женщины поднялись и засуетились, закланялись, давая место у подноса.

И он сел среди них. Не спросил о роженице: было ясно, что пока никто не мог ему ничего сказать о ней. И он, взяв в ладонь несколько розовых горошин, молчал заодно со всеми, ожидая, как в разгаре боя ждал самую главную, решающую весть о поражении противника либо о его неожиданном коварстве. Сидел и молчал, терпеливо ожидая, приняв, как надлежит мужчине, безучастный вид, но вслушиваясь в тишину напряженно, ибо загадал — будет удача у роженицы, можно идти, подниматься с зимовья, будет и у похода удача. Случится ли иное — родится девочка или, помилуй аллах, сложатся трудные роды,— это считать за знак: ждать, отложить выход в поход.

Правда, все созрело в его раздумьях, сложилось одно к одному, как слово к слову складывается в песне. Но аллах даст знак. Тимур просил аллаха, и надо ждать.

Еще из Индии задумано было пойти на Китай. Вытоптать, выжечь это пристанище безбожников, жрецов дьявола. Наказать тамошнего царя за обиды, учиняемые мусульманам. Там мусульман выселяли в бесплодные пустыни, а их города, их сады заселяли нечестивыми китайцами. Мусульманских женщин китайцы брали себе, чтобы они рожали им китайчат. И даже от Самарканда Китай потребовал дань — табуны коней и столько серебра, что хватило бы выковать цепь длиной от Самарканда до реки Янцзы.

Тимур размышлял:

«Защита мусульман от язычников — дело богоугодное. Во всех мусульманских странах прославят защитников ислама!»

И, прищурив глаза, прикидывал:

«Оно и выгодно: язычников там премного больше, чем мусульман. А все богатство там — в руках язычников. Не может быть угодной аллаху такая несправедливость!»

Но дорога на Китай пересекала земли монголов. Там надо было отнять у ханов табуны, чтобы в лошадях

не случилось нехватки. Вся дорога ему тогда виделась ясно. Из Индии на Кабул, оттуда через Самарканд, через Ташкент, через степи монголов к стенам Китая. Но случились непорядки, бунты в городах Армении, у грузин в горах. И пришлось идти сюда, в эту сторону. Он пришел. Он укротил армян, он навел страх на кызылбашей и на Ширван. Он раскидал грузин по темным ущельям на погибель от холодов и голода. Он приказал: «С корнем вырвать, дочиста выкорчевать все виноградники, где христиане, напиваясь вином, пьяные, вместе с их женами, спаивая даже малолетних своих детей, поносили в своих хмельных криках Мухаммеда, посланца аллаха, и превозносили своего Христа». Ныне не оставлено виноградных лоз в Грузии, истреблены нечестивцы и богохульники. Их нельзя было оставить безнаказанными у себя за спиной, уходя далеко в Китай, к тому краю земли, откуда востекает солнце.

Но, забредши сюда, он понял и другое — тут крепнет и восходит осман Баязет, упоенный походами и победами над неверными. Случись Тимуру далеко уйти, двинется Баязет сюда, затребует повиновения от городов, ныне покорных Тимуру, а то и, не довольствуясь этим, потянется к жирному куску, оставленному без присмотра, к Ирану, где не останется никаких сил для обороны, когда Тимур уйдет. Пришлось бы все начинать сначала, все то, на что ушла вся жизнь. Но аллах лишь порой продлевает жизни по великой своей щедрости, и никому он не дает их дважды.

И что надо тут сделать, чтобы спокойно уйти на Китай, Тимур обдумал, но нужен был знак, чтобы увериться, сколь верно задуманы предстоящие дела.

Нет, Баязета и всех его османов нельзя оставлять у себя за спиной. Но надо дождаться знака.

Тимур не замечал прислужливых хлопот, когда женщины ставили перед ним чашки со сливками, смешанными с толченым миндалем и фисташками, чашки с ядрами грецких орехов, залитыми белым медом, ломтики лепешек, еще горячих, только что вынутых из очага.

Тимур прислушивался, ожидая, когда же свершится радостное чудо и в мир войдет новая жизнь, человек, чтобы продолжать на земле жизнь, жизнь, которая крепка в Тимуре, но не вечна в нем, а должна быть вечной на свете, ибо затем и создал аллах бытие.

Он прислушивался, то рассыпая перед собой по скатерти розовые половинки сухих горошин, то бережно собирая их вместе, одна к другой. Он задумал и обдумал новый поход, большой, дерзкий, жестокий, и ждал от аллаха знака: надо ли торопиться в поход, не пора ли подниматься? Или ждать?

Аллах медлил. Знака не было. Все молчали, и все смотрели на его длинные сухие пальцы, лиловатые, с ногтями, пригнутыми к концам пальцев, какие бывают у ловчих птиц. Пальцы играли половинками горошин, то разобщая их, то сгребая вместе. Может быть, ему виделись не горошины, а многие страны, которыми так же вот много поиграл он за свою жизнь.

Знака не было. Аллах медлил.

Вдруг издалека, оттуда, где он недавно побывал, донеслись словно бы ревы боевых труб, зовущих в битву.

Тимур забеспокоился, удивленно взглянув в тревожные глаза женщин. Нет, он не приказывал трубить в поход, это слоны затрубили, вздымая хоботы.

Тимур опять было наклонился над горошинами, но появилась догадка: а не знак ли это аллаха трубить поход?

Он сделал усилие и остался, неподвижен, ждать ответа там, откуда должен быть знак — ответ на вопрос.

Слоны продолжали трубить. Казалось, они надвигаются на эту юрту. Но так только казалось из-за ветра, задувшего в эту сторону.

Когда из соседней юрты донесся женский вопль, женщины заволновались и некоторые ушли туда, но Тимур не шевельнулся: слышать эти крики ему не в диковинку, многие из его жен рожали ему сыновей, рожали и дочерей, на то и женщины, чтобы закрывать глаза при зачатии и разевать рот при родах. Он ждал знака.

Роженица кричала, и слышно было, как говорят там с ней или между собой многие женщины, не слушая друг друга.

Ему казалось, что все это замедлилось, что пора бы и завершить это.

Когда как-то внезапно, разом все смолкло, он уловил из той тишины стон роженицы, стон облегчения.

Тогда, не утерпев, он поднялся и, обходя стороной поднос, перешагивая через подушки, подошел к войлочному ковру, закрывавшему ход в соседнюю юрту.

Он не коснулся ковра, а только остановился неподалеку и стоял, пока из-за ковра не выглянула Великая Госпожа.

— Внук!

С облегчением, с вдруг явившейся бодростью и силой он строго поправил ее:

— Правнук.

— Э?

— То-то!

И пошел отсюда к себе — здесь ему больше нечего было делать.

2

Пошел к своей юрте, стоявшей, как всегда, особняком и хранимой, как всегда, лохматыми барласами в их волчьих шапках, чекменях, отороченных длинноволосым мехом, с копьями, на которых под остриями свисали, как бороды, волосяные хвосты.

В желтых чекменях, расшитых зелеными узорами, в зеленых просторных сапогах, просторных, чтобы не зябли ноги на снегу, с зелеными косицами из-под зеленоватого волчьего меха, выпустив огненно-рыжие косы из-под шапок, они хранили его юрту среди бесчисленных становищ на землях множества царств и княжеств.

Он прошел между ними и только тогда заметил своего гонца Айяра, вскочившего с корточек, едва увидел Повелителя.

Айяр прискакал из Самарканда: свиток от Мухаммед-Султана к дедушке в Карабах. Внук извещал Повелителя о своем выходе с войском из Самарканда в Карабах.

Тимур вдвоем с чтецом вошел в свою теплую пустую юрту, устланную многими слоями войлока и ковров.

Ему полюбился белый хулагидский ковер, взятый еще при первом грабеже Тифлиса, и с тех пор его стелили в юрте Повелителя всегда поверх других.

Чтец, сперва молча прочитав письмо, повторил вслух: правитель Самарканда получил известие из Китая, что Тай-цзун, наследник Тунгуз-хана, прозванного Свиньей за гонения, чинимые мусульманам, скончался.



Тимур ухмыльнулся бы при этой вести, но стерпел, и чтец не заметил, как дрогнули губы Повелителя.

Совсем недавно Тимур думал об этом ненавистнике мусульман. Впрочем, от самой Индии не было дня, чтобы Тимур не думал о том китайце. По многу раз в день ду-

мал. Изо дня в день растил в себе гнев на злодея, готовя ему лютую казнь. А тот не дождался, сам умер.

Это сразу показалось славным дополнением либо поздравлением к рождению правнука. Но обернулось и новой задачей: как теперь быть? Забыть про Китай?

Забыть? Зачем? Разве наследник не отвечает за дела отца? Если унаследовал его царство, унаследовал и его долги. А если он вернет мусульман из пустыни, если уведет своих китайцев прочь из уйгурских городов и садов?.. Не успеет, сразу не догадается! Не дать ему на то времени! А поспеет, придется пойти туда, чтобы он возместил мусульманам все убытки. Надо быть справедливым, как велит аллах, зло наказывать, злодеев понуждать щедро творить добро.

Как всегда, в конце дня явились проведчики. В тот день к Повелителю пропустили двоих, побывавших глубоко в стране Баязета, султана османов.

Еще прежде, чем допустить сюда, их уже расспросил бек, ведавший этим делом. Поэтому Тимур не спрашивал их о разных разностях, о чем они рассказывали беку и что бек записал для памяти.

Тимур спросил о самом Баязете, что это за султан из султанов.

— Возгордился от своих побед над неверными. Нынче точит меч на Константинополис. Войско держит в той стороне, а другим войском отбил Конью у племени Караман-оглы. Они из монголов, что ли.

— А что он сам?

Тимур сощурил узкие глаза, отчего они смотрели пронзительней, и один из проведчиков, смутившись, поведал свои мысли, не таясь и не пытаясь угодить Тимуру:

— Султан умен. Благороден. На коне сидит, как беркут. По земле ходит растопырившись, как птица с подбитым крылом.

— Чем благороден?

— Жалует мусульман. Благочестив. Строит мечеть в Бурсе, неподалеку от своего дворца. Собирает ученых, ведет с ними беседы о вере, о том, как жить, чтобы угождать аллаху. Аллах велит быть милосердным с людьми, жалеть вдов, не обижать сирот. Баязет спрашивает советы ученых, что надо, чтобы аллах любил его. И народ видит доброту этого султана и возносит его. Это мы са-

ми видели в Бурсе. И пишет стихи. Нам показывали его стихи.

— У меня один внук стихи придумывает. От них какая польза? А?

Тимур укорил Баязета за пристрастие к стихам, но задумался о доброте его, заподозрив: «Хитрит?»

Тогда другой проведчик рассказал:

— Ходит по народу слух, будто однажды в Бурсе был суд. Кого ж судили?! Султана своего, Баязета судили! Вдова из греков, Бестина по имени, подала на султана жалобу, и справедливый казий, судья, сказал: «Перед аллахом все мусульмане равны. Кто виноват, того накажем». А жалобилась она, будто султан, расширяя свой сад, прихватил ее земельку. Много ли, мало ли прихватил... «Не трогай,— кричит,— вдовью долю, она у меня от мужа, а не от тебя, султан!» Сам Баязет на суде стоял, как простой ответчик, а истица сидела. И казий присудил вернуть вдове Бестине землю. И заплатить вдове за обиду. И султан повиновался суду. А уж народ заговорил не за вдову, а за султана: вот, мол, что за султан у нас! Любуются им, верят ему, за него помрут!

Послушал рассказ о крепостях в городах Баязета. Но это уже слушал от проведчиков его бек. Послушал недолго о красоте Баязетовых городов и отпустил этих проведчиков: остальное он уже знал от других людей, побывавших там.

Уже опустился, густея, голубой зимний вечер. Полетели редкие снежинки. В юртах зажгли светильники. По стану заполыхали костры.

Айяру было приказано отлеживаться, чтобы вскоре везти ответ и указ Мухаммед-Султану. Был не короток путь сюда от Самарканда, через Аму-Дарью, а потом по Ирану, в объезд Каспийского моря, с выездом на Ширван, а уж оттуда до Карабаха. Весь путь в седле, меняя коней, но заседлывая их тем же своим седлом. Весь путь вскачь, на то и царский гонец. Порой сменялась гонецкая охрана, не выдержав долгого пути, но сам гонец со свитком или свертком за пазухой хлестал коня и скакал, скакал, мимо городов, через степи, по крутым горам, через клокочущие стремнины рек. На конях по жесткой земле прошли и те двести тысяч конницы, которую привел из Индии в Самарканд, а из Самарканда сюда Повелитель Вселенной, Меч Аллаха Тимур Гура-

ган. И сам он, всю жизнь мучаясь от незаживающих ран в колене, от иссохшей руки, не сходя с седла, проезжал эти дороги. Поэтому и не давали гонцу долгого отдыха, велели отлеживаться, чтобы столь же скоро возвратиться к Мухаммед-Султану.

Весь тот день сложился хорошо: был знак к походу — взревели слоны; Тимур ждал второго, окончательного знака, был и второй знак — родился мальчик. Был хорош и третий знак милости аллаха — в Китае сгинул давний враг.

Но рассердило Тимура в письме Мухаммед-Султана напоминание об Искандере, о набеге Искандера на монголов, когда на ближнее время там нужен покой, даже заверения в дружбе, чтобы не опасаться нападений с той стороны.

В письме, которое повезет Айяр, было велено послать к монгольским царевичам и к степным ханам опытных, выверенных людей с подарками, и чтоб от тех царевичей не спешили уезжать, гостили бы там, приглядывались бы к хозяевам. А самому Мухаммед-Султану, захватив повинного Искандера, идти не мешкая сюда с войском.

Тимур велел повторить в письме: не мешкая!

В гонецкую юрту пришли сказать Айяру:

— Как отлежишься, повезешь письмо, не щадя лошадей.

— Когда некогда, кто ж их щадит?! — огрызнулся Айяр, завертываясь в одеяла после плотного ужина.

Тимур, прежде чем лечь на ночь, указал сзывать на совет, курултай, своих больших военачальников, где бы кто из них ни находился, где бы ни стояли их воинства. Воинства оставить на местах, а самим не мешкая быть здесь.

3

Погасив огонь, он долго лежал в темноте, прислушиваясь, как под сапогами барласов, несших караул, скрипит подтаявший снег.

Он не успел заснуть, когда затрубили трубы, и поднялся.

— Слоны?

На его зов явился сам сотник караула.

— Не слоны это. Трубачи трубят, весь стан поднялся: узнали о счастливом рождении человека в семействе вашем, милостивый амир! Трубят, ликуют!..

Накинув белый шерстяной халат, Тимур вышел на холод. Снег лежал лишь тонким слоем, едва прикрывая траву.

Костры разгорались ярче. Совсюду слышались шумы и голоса. Радовались радостям своего Повелителя. В таком праздничном гомоне неприметней пройдет курултай, словно военачальники съехались на семейное торжество, а не на воинский совет.

Тимур приказал сзывать их немедля, где бы они ни находились,— из Тавриза, из Тифлиса, совсюду чтоб спешили сюда.

Прошелся, поскрипывая снегом, вокруг юрты. Прошелся еще раз, но к женским юртам не пошел. Снег хрустко скрипел под левой ногой, но молчал под правой.

Вернулся к себе и заснул. А снаружи ревели трубы, ухали барабаны. Пели какую-то ликующую песню, какую удобнее было бы петь на свадебном пиру, а не в воинском стане.

Всю ночь гремело, ревело, ликовало празднество, словно в ночь рамазана,— войска славили жизнь, пославшую Повелителю правнука. Уже не первого правнука. Но даже если у человека есть в ларце много лалов и яхонтов, каждый новый яхонт радует человека.

Стан затих, лишь когда азаны позвали на первую, предрассветную молитву.

Едва молитва закончилась, многие из вельмож и ученых, сопровождавших Повелителя в походе, направились к юрте Тимура принести ему свои поздравления, поднести подарки.

Их принимал от имени Тимура Шах-Малик.

Неподалеку от Шах-Малика у края ковра стоял летописец, приглашенный Тимуром из Ирана. Он один имел право кое-что записывать для себя в любое время и даже при Повелителе. Что-то примечал и записывал летописец. Гости подходили к ковру, разостланному перед юртой. На ковре гордо стоял Шах-Малик, скуп на слова, осанисто откланиваясь поздравителям.

Подходили, называли себя глашатаю. Глашатай выкликал их имена. Поздравители опускали на край ковра

свои подношения, кланялись в сторону юрты Повелителя и откланивались Шах-Малику.

Лишь некоторые успевали заметить, что из-за приоткрытого края кошмы, из-за деревянной решетки на все это поглядывает сам Тимур.

Когда он увидел мулл и улемов, славившихся благочестием и ученостью, поучавших молящихся в мечетях, наставлявших мусульман на путь веры, он велел привести их к нему.

Только тут в замешательстве они заметили то отверстие в юрте, откуда он видел их. Если бы они догадались, что он мог их увидеть, они и кланялись бы иначе, и дары принесли бы иные, чтобы он видел их щедрость.

Смущенные, они вошли в юрту.

Когда они вошли, он не сошел со своего места у приоткрытой кошмы, велел им сесть на тот белый хулагидский ковер, поблагодарив за поздравление и подарки, и строго спросил:

— Поучаете?

— Во славу аллаха!

— Кого же?

— Нуждающихся в словах истины, назидания, веры.

— Назидаете?

Улемы промолчали.

Тимур искоса разглядывал их, столь несхожих, уроженцев различных мест. Были среди них иранцы из Тавриза, двое исфаганцев, араб из-под Бухары, собранные воедино в кровопролитной тесноте своего времени. Все они были прославлены между людьми, но еще более между собой, пощажены в завоеванных городах или приглашены для украшения Тимурова стана, как Тимуровы сады бывали украшены павлинами или редкостными цветами.

Но были среди них и прибывшие сюда с войсками из Мавераннахра.

Величественнее других здесь высился самаркандский кадий, глава мулл, находившихся в войсках, Ходжа Абду-Джаббар бин Ходжа Насыр-аддин. Густобородый, прежде чем сказать слово, он с высоты своего роста медленно обращал к собеседнику круглые тяжелые, неповоротливые глаза, окаймленные кудрявыми ресницами, и долго молчал. Но, конечно, не тогда, когда стоял перед Повелителем. Он сочинял стихи, но втайне.

Маленький ростом, в огромной чалме, в широком синем халате, высоко запрокинув голову, многозначительно сжав тонкие губы, уверенный в себе и мысленно любуясь собой, замер Иззат-аддин Худжандий, книговед и догматик; перелистывая чужие книги, он не спешил создавать свои, он был осторожен.

В меру высок и подвижен был Маориф-бин Хамид-Улла. К нему прицепилось прозвание «Мерин» за его скуластое длинное и печальное лицо, сутулые узкие плечи. Но на малоподвижном лице быстро шмыгали приметливые глаза. Он успевал раньше других увидеть и разглядеть происходящее вокруг. У него не было крепких знаний, но он умел внушить собеседникам веру в свои познания, а это было важнее многих знаний. Он уверял, что изучает древние рукописи, но понимал ли он древние почерки, этого никто не проверил.

Историк Муйин-бин Исмаил, выпятив вперед грудь, чтобы скрыть избыток живота, спесиво отворачивался от ученых, сидящих рядом, и снисходительно улыбался, если другие историки о чем-то спрашивали его. Приметна была его походка: проходя мимо учеников, он надменно выпячивал живот и умел быстро убрать его, повстречав вышестоящих. Про него говорили, что, собрав работы своих учеников, он надписал на них свое имя и отдал их хорошим переписчикам и те, переписав, переплели их в три книги. Ныне он показывал их всем сомневавшимся в его учености.

Однако Тимур не хотел знать ничего, что могло умалить славу его ученых.

— Почему вы мне не назидаете? Не мусульманин я разве?.. В прошлых веках, а то и в нынешнее время великие ученые поучали своих падишахов. Почему же вы меня не поучаете?

Муйин-бин Исмаил укоризненно покачал головой:

— О великий амир! Нам надо не вас учить, а учиться у вас.

Остальные дружно закивали, поддерживая Муйиновы слова.

Хамид-Улла, Славящий бога, заспешил, заулыбавшись, добавить:

— Слава аллаху! Он поставил над нами падишаха, который сам ведет нас истинным путем. Вы не нуждае-

тесь в наставниках, о амир! Ваши дела соответственны воле аллаха!..

Тимур недовольно отвернулся от улемов к той скважине в юрте, откуда он смотрел на ковер, на Шах-Малика, на поздравителей и подношения.

Так, не глядя на ученых, он допустил гнев на свое лицо и провел рукой в воздухе.

— Не слыхал я, чтоб аллах дозволял подменять назидание лестью. Я призвал вас, дабы познать и укрепить истину. А вы...

Иззат-аддин привстал, но и привстав остался ниже плеч Абду-Джаббара.

— О великий амир! Истина вложена аллахом в деяния ваши. Мысли ваши благочестивы. Дела ваши человеколюбивы, как велит аллах. Вы украшаете землю своими подвигами.

Муйин-бин Исмаил, досадуя, что Хамид-Улла высказал слова, какие он сам хотел бы высказать, но не умея ничего придумать, воскликнул:

— Истинное чудо! Дела ваши, о амир, истинное чудо.

Тимур, щадя низкорослого улема, согласился с ним:

— Истинно, аллах послал нам счастье. Согрел своей любовью, распростер над нами щедрость. Подарил нам необозримое государство. Мы ни в чем не нуждаемся. Нам надлежит всей своей жизнью отблагодарить его, денно и нощно трудясь.

Муйин-бин Исмаил повторял:

— Каждый истинный правитель должен брать пример с вас, о амир!

С этого завязалась беседа о справедливом государе, каков он должен быть.

Ученые говорили, каждый спеша показать всю свою начитанность и память, подтверждая каждое свое слово примерами из священных книг. Одно свое слово они подкрепляли сотней чужих слов из книг прославленных философов.

Абду-Джаббар, пожелав превзойти прочих начетчиков, приводил отрывки не из философов, а из поэтов, и нельзя было отличить стихи, написанные еще во времена Аббасидов, от касыд, написанных им самим, ибо смысл их терялся в его заунывном чтении.

Послушав многие, наперебой высказанные их мнения, Тимур пояснил:

— Аллаху угоден тот государь, при коем народ сыт, где за труд дается справедливая плата, когда за свой заработок простой человек может взять то, что ему нужно. Надо жалеть вдов, надо лелеять сирот. Я повелеваю, чтоб в нашем государстве было так.

Улемы восхитились этими словами:

— Это согласно с волей аллаха!

Тимур:

— Вот я вижу среди вас тех, кого я собрал сюда издалека. Ныне вам надлежит встать, собраться в путь и пойти каждому в свою сторону, дабы от моего имени судить людей и наставлять людей, следить, чтобы казии судили строго и справедливо, по закону, а не по прихоти их. Разнесите во все концы весть о нашей справедливости, доброте, любви к людям. Пусть везде знают, что нет земли справедливей, чем наша, а мы вознаградим вас за ваши труды в пути. Идите и оповещайте, я помогу каждому, кто воззовет о помощи, о покровительстве.

Восклицания улемов, их ликование при виде столь человеколюбивого государя достигли предела.

Они поднялись, воздевая руки, и прочитали молитву:

— О аллах милостивый! Ниспошли сему верному и справедливому падишаху здоровья и сил, неисчислимых богатств и все то, о чем он ни попросит тебя. Утешай его и милуй его как на сей земле, так и в жизни будущей. О аллах! О аллах!..

Молитвой закончилась эта беседа, и Повелитель распорядился снарядить их в дорогу, дабы в дальних странах, на многих путях они славили державу Тимура как царство добра и всеобщей любви.

Некоторые из улемов во главе с поэтом Абду-Джаббаром оставались в стане хранить и утверждать благочестие среди воинов. Остальные, радостные или огорченные, поспешили собираться, чтобы вдалеке от сих мест славить завоевателя.

В тот день бек дал каждому отбывающему улему по медной пайцзе с угрозой всем, кто на дорогах, принадлежащих Тимуру, помешает идти людям или караванам, направляющимся от самого Повелителя.

● ГЛАВА IV

СЛОНЫ

1

К вечеру того дня в стане показались всадники, прибывшие с долгой дороги, как было видно по их лошадям.

Двое, покрытые смиренной одеждой, ехали впереди, хранимые знатно вооруженными воинами. Рослые вороные лошади, украшенные пестрой оседловкой, ступали тяжело и гулко, давя дорогу крупными копытами.

На въезде к стану, задержанные караульными, оба были опознаны сотником. Сотник без пререканий пропустил их в стан со всем их сопровождением, придав им провожатого из караула.

Провожатый, выехав вперед, повел их не между тесными рядами юрт, а в объезд, по окраине стана.

Это прибыли нежданные, незваные гости. Один — правитель Арзинджана, обширной области, Мутаххартен, потомок хулагидских завоевателей той страны, втайне гордившийся своим монгольским родом. Захватив Арзинджан еще в своем первом походе на запад, Тимур поставил Мутаххартена правителем этого нового владения, а сам надолго ушел в Индию.

Рядом с Мутаххартеном, его спутником в этой поездке и собеседником, ехал Кара-Осман-бей, глава племени белобаранных туркменов, глава рода Ак-Коюнлу,

Они ехали, приглядываясь к праздничному беспорядку и сумятице среди юрт и костров, чего в обычные дни Тимур не допускал у себя в стане.

Они, медленно проезжая, озирались, даже издали было видно, как они несхожи между собой. Мутаххартен, смуглый, словно обтертый маслом, лоснился золотистым загаром. Лицо, окаймленное, как меховым воротничком, кудрявой бородкой, глядело веселыми, плутоватыми глазами ласково и спокойно.

А на коричневом костлявом лице Кара-Осман-бея горбился большой, как клюв, зеленоватый нос, казавшийся переставленным сюда с головы беркута. Лицо выглядело жестоким в кустиках жестких волос, где каждый такой кустик щетинился отдельно, не соединяясь с другими, не срастаясь в сплошную бороду.

Эти двое путников и в седле сидели по-разному — Мутаххартен глубоко, будто в кресле, обложенном подушками, а Кара-Осман-бей, казалось, привстав над конем, приподымая коня вслед за собой, особенно когда перемахивал через лощинки, попадавшиеся на тропе, по которой ездили, минуя тесноту стана. И конь под ним шел игривей.

Выехали на пустырь.

Вдруг лошади, захрапев, шарахнулись под всадниками.

Кара-Осман-бей тревожно и зло вскрикнул:

— Слоны!

Мутаххартен оказался спокойней.

— Уж я навидался, когда войска шли через Арзинджан.

— Когда Тимур впервые приходил?

— Когда в первый раз приходил, слонов у них не было; силой брали, отвагой.

Кара-Осман-бей порывисто показал кривым пальцем:

— А я впервые их вижу.

— Топчутся...

— Среди людей есть, которые сомневаются, куда идти. К Тимур-бею либо на Тимур-бея.

— Пока слонов не видели. А они — вот они! У кого слоны? У Тимур-бея. Они в битву ходят не за Баязета, не за черных баранов, не за их главаря Кара-Юсуфа, разбойника. Гляди, гляди!

— Друг об друга трутся — чешутся.

— Звери! А кто сомневается, то не от ума.

— А отчего?

— От страха. Кто страшней — слоны ли, Тимур ли?

— Слоны-то у Тимура.

— А есть, кто против Тимура. И слоны страшны, и сам Тимур-бей не легче, когда на тебя пойдет. Баязетом думают заслониться, Кара-Юсуфом!

— Ни от слонов не заслонятся, ни, того страшней, от Тимур-бея. Вижу слонов и радуюсь: мы пришли с тобой, бей, куда надо.

— Верно, куда надо!

— Уши, уши!

Слоны, переминаясь с ноги на ногу, раскачивали хоботы и молчали. Сытые, дремотные, похлопывали плоскими ушами, благодушествуя. Но маленькие глаза поглядывали пристально и жестоко.

Кара-Осман-бей заметил:

— Нас разглядывают.

Мутаххартен сплюнул:

— Звери! Сохрани аллах!..

Лошади нетерпеливо приплясывали под седоками, отслоняясь от слонов.

— Лошадям при них страшно.

— В том и сила слонов, что каждому страшно.

Отъехав подальше, Кара-Осман-бей оглянулся:

— Глаза маленькие, а видят.

Мутаххартен промолчал, поправляя ремень уздечки.

Кара-Осман-бей добавил:

— Звериный ум!..

— Но правит тем умом человек.

— Но для того и человеку нужен ум.

— И чтобы он был добрым! — ласково ответил Мутаххартен.

Прибывших поместили в просторной юрте. Вскоре их повели к Повелителю.

Они шли к Тимуру, надев свежие, но опять скромные, невзрачные одежды.

Шальвары их были, по сельджукскому обычаю, широки, сшиты из жесткой полосатой ткани, а сафьяновые красные туфли мягки, бесшумны, и легко было их скинуть.

Теперь они шли без своей охраны, под присмотром Тимуровой стражи. Только их слуги несли узлы с подарками, коими гости намеревались почтить Повелителя. Гостем принимался лишь Мутаххартен, от него и следовали подарки, а Кара-Осман-бей шел как его спутник, а значит, и подарков от него не следовало.

На них не было дорогих украшений, золотых колец или застежек, сверкающих драгоценными камнями, не то хозяину покажется, что они, позабыв смирение, явились состязаться с хозяином в богатстве, чваниться драгоценностями. Нет, они не посмеют здесь щеголять.

Перед юртой Повелителя уже не стоял Шах-Малик, и на ковре уже не громоздились груды поздравительных подношений, но ковер по-прежнему, широко раскинувшись, алел на снегу.

Недолго постояли, скинув туфли, перед ковром. Когда были позваны, оставляя снаружи всех сопровождающих, вдвоем, встав на колени, придвинулись к юрте.

Упав перед входом, они кинулись целовать землю у порога Повелителя.

Земли перед входом не оказалось — ее застилали ковры.

Мутаххартен на брюхе переполз через порог и распростерся, не поднимая лица.

Кара-Осман-бей во всем следовал ему, не уступая в усердии.

Так, прижавшись лбами к краю ковра, на котором сидел Тимур, они услышали незнакомый голос:

— Поднимитесь.

Видно, Тимур дал знак своему писцу, стоявшему поодаль, и тот сказал это единственное слово.

Они отогнулись от пола, не вставая с колен.

Тогда их людям дозволили внести подарки.

Тимур терпеливо выслушал их приветствия, ожидая, когда они скажут причину, приведшую их из Арзинджана в стан.

Мутаххартен вытянул из-за ворота мешочек, висевший на красной ленте, и вынул из мешочка скрученное трубочкой, но сплющившееся письмо.

— Получил. От Молниеносного султана Баязета.

Тимур сказал Мутаххартену:

— Прочитай-ка нам, я плохо вижу.

Но Мутаххартен тоже оказался неграмотен.

Тогда Тимур взглянул на своего писца, и тот, не вставая с колен, приблизился, взял из рук Мутаххартена столь уже измятое письмо и кончиками пальцев привычно раскрутил свиток.

Тимур нетерпеливо и сурово поторопил чтеца:

— Ну, что там?

— Баязетом писано.

— Уже знаем это.

— Пишет: «Управителю Арзинджана и области той. Собери подати с города и с округи и доставь мне. Не медли».

Услышав снова это приказание, Мутаххартен опять упал ниц, целуя край ковра перед Повелителем.

— Горе мне! Ой, беда! Милости, милости мне. Молю: заступничества! Верен вам, о амир! Верен! О!..

— Оробел?

— Ведь это твои земли, о амир! Если взыщет с меня Баязет, чем же платить мне тебе? Это твои земли! Их захватил Баязет, пока ты ходил в Индию. А теперь, о великий амир, ты вернулся, а он, будто не видит тут тебя, требует. Меня правителем ты поставил. Без тебя он с меня силой подати брал. Силой. А теперь со мной твоя сила. Твое могущество. Не дай в обиду.

— Когда пришло письмо?

— Как только ты поехал через Арзинджан сюда, так оно и пришло. Едва ты от нас выехал, оно и пришло. Видно, они следили за тобой.

Тимур шевельнул бровями. Это редко бывало, это сулило, как дальняя молния, приближение большой грозы.

— Он потребовал подати с моих земель, когда я сам был там. Меня своим данником почел?

— О амир!..

— Дерзких надо карать.

— О амир! Жесточайше!

Тимур повернулся к стоящему на коленях Кара-Осман-бею.

— А?

— О милостивый амир! Жесточайше! — торопливо и сердито поддержал Мутаххартена белобаранный Кара-Осман-бей.— Чтобы понял злодей, кто есть ты и кто такой он!

У Кара-Осман-бея ничего своего не уцелело, он сбежал от Баязета в Арзинджан, а его племя перекочевало

к Баязету. Приютился у Мутаххартена, помня многие свои дела, которые ему напомнил бы беспощадный султан Баязет. Напомнил бы недавние дела в Сивасе, да и прежние...

Кара-Осман-бей упрямо верил в свою судьбу, ждал, пока она вернет ему его племя и аллах кинет под его коня победу. И он выхватит ее на скаку из-под конских ног и втащит в седло, как золотого козла в сутолоке козлодранья.

Тимур помолчал, упершись взглядом в ковер, и между его глазами поперек носа пролегла глубокая, как черта, морщина.

Он поднял голову и как-то насквозь посмотрел через Мутаххартена. И хотя никто не помнит, чтобы он смотрел людям в глаза, тут он посмотрел в глаза Мутаххартена.

Под этим пытливым взглядом Мутаххартен повторил:

— О милостивый амир!

— Я тебе верю.

Тимур позвал Шах-Малика.

Шах-Малик торжественно вступил в юрту впереди воинов.

Гуськом, длинной чередой вошли самые юные воины, празднично наряженные, поблескивая доспехами, надетыми поверх длинных шелковых рубах, в новых мягких сапожках, красуясь мехами шапок, стыдливо опустив глаза.

Каждый внес подношенье. Сперва подали воинскую справу. Высокий шлем иранской работы Шах-Малик взял из рук воина и подал Тимуру.

Тимур своей рукой надел шлем на преклоненную голову Мутаххартена.

Сверкающий панцирь Тимур приложил к груди гостя.

В левую руку дал ему знамя на древке, сверху донизу наискосок обвитом золотой проволокой.

В правую руку, как знак власти, дал ему бунчук, увенчанный золотым месяцем и под месяцем — красным хвостом.

Опоясал его тяжелым поясом из красной кожи, покрытым золотыми бляхами. Пояс означал, что Тимур принял Мутаххартена в круг своих вассалов, оставив ему высокую власть над областью.

Воины, отдав дары, выходили, но входили другие, внося новые подарки, уже не воинские, а богатые, дорогие дары — одежду из самаркандского бархата, сибирский мех, некогда отнятый у Тохтамыша, серебряную чашу из Ирана.

Дали подарки и Кара-Осман-бею. Не обидели.

Позвали гостей на пир.

Оставили гостить на все то время, пока продлятся праздники в честь новорожденного правнука, погостить вместе с военачальниками, вызванными на курултай.

Выходя, они не спохватились бы обуться, если б не слуги, кинувшиеся их обувать, подсаживать в седла, поздравлять.

Все встречные поздравляли их с великой милостью Повелителя.

2

В один из вечеров, когда стан затихал и костры затухали, Тимур тайно позвал к себе Мутаххартена.

Внутри юрты в полутьме горел лишь один светильник, и Мутаххартен не разглядел, а только чутьем воина угадал место, где его ждал Повелитель.

Лепесток пламени освещал лишь медное лоно светильника, и оно отсвечивало розоватой гладью.

Столь же отсвечивали и гладкое лицо Тимура, и его красная крашеная борода, и его красная крашеная косица, выпростанная на ночь из-под тюбетея. Тюбетей на его голове тоже был красным, но расшит золотыми извилистыми буквами — словами молитвы или благопожелания.

Разоблачившись к ночи, Тимур любил такие мягкие тюбетеи и мягкий халат поверх простой холщовой рубахи: ночами его тело зудело и ныло, если он ко сну не снимал с себя шелковое белье. Обтекаемый спокойными складками мягкой одежды, он неподвижно ждал, повернув к гостю медную гладь крепких скул.

Тимур смотрел на гостя, привалившись к большой кожаной подушке, которую возили следом за ним по бесчисленным длинным дорогам его непоседливой жизни.

Быстро ответив на приветствия, Тимур спросил:

— Можешь рассказать мне о Баязете-султане?



— А что рассказать, о великий амир?
— Что знаешь.
— Наслышался о нем всякого. И насмотрелся.
— Вот и скажи.
— С чего начать?

— Мы слышали, его, султана, там судили! Притом он, сказывают, от казия, судьи, потребовал суда по всей строгости мусульманского права.

— Перед народом играет.

— Играет?

— Было и так: он уличил человек восемьдесят казиев во мздоимстве, в неправом судействе, нечестном. Приказал всех их запереть в тесной палатке и велел сжечь их, считая, что народ возликует от такого наказания судьям. Но сострадательные мусульмане прогнали поджигателей и кинулись к Баязету, говоря:

«Остерегись их казнить. Сам-то ты по закону ли живешь? Всегда ли по закону взимаешь подати? Народ такие подати называет тоже мздоимством. Сам ты не нарушаешь ли тут право? И не стыдишься ты, султан, своих беспутных забав с пленными мальчишками. И забавляешься на пирах среди голых красавиц. А народ все видит, все помнит, всему знает цену. Пощади оплошавших казиев, да не стал бы народ сличать зло от тех казиев со злом от твоих забав».

Тимур удивился:

— Смело говорили!

— Смело. Но Баязет стерпел. Казиев же там подержал для острастки, а когда они измаялись в ожидании лютой кары, вдруг отпустил их. И народ зашумел, народ восславил султана Баязета за справедливость, за милосердие, а сами те казии до сего дня помереть готовы за доброго султана.

Тимур согласился:

— Видно, он справедлив!

— Сам видишь!

— Почему же ты от него отпал, пришел под мое знамя?

— Не я один, многие беи! Он сказал, что наши земли — не наши, если есть люди достойнее нас, если они согласны платить ему великие подати, давать своих воинов в его войско. Иные беи еще терпят, еще ему кланяются, а в душе у них досада, ведь Баязет таит замысел — восстановить царство сельджуков, каким оно было до монгольского нашествия, при старых султанах, лет за двести до него, владеть таким царством. Уж он поспел взять Сивас. Ныне зарится на Арзинджан, на Арзрум. Тянется к землям Диарбекира, где поселились уйгуры,

которых ты привел в прошлый свой приход туда. Он за свое считает все, что ты, о амир, навоевал тут себе.

— Мое считает своим?

— О великий амир! Это не мои слова, это его дерзость.

— Не бойся, не бойся. А если их поманить?

— Иные и подойдут под твое знамя, многие же поостерегутся.

— Чего же?

— Ты придешь и уйдешь, а Баязет останется. Думают: лучше ему услужить, чем оказаться во врагах ему, когда ты уйдешь.

— Им мерещится мой уход? Почему?

— А зачем тебе здесь оставаться? Ты уже приходил сюда, брал города, одерживал победы, взял добычу и ушел. Ушел в Индию за новой добычей. Так думают они: опять навоюешься, снова уйдешь. Прости, о амир, это не мои, это их слова. Они помнят предостережение от мамлюкского султана Баркука покойного: «Тимур — это степной ветер. Подует, поломает сады и стены обрушит — и уйдет дальше шуметь и ломать. А Баязет тут останется, ему уходить некуда, он, мол, нам опаснее, доколе смотрит на нас!»

— Они были в крепком союзе, Баркук с Баязетом.

— Пока был жив Баркук, его опасался Баязет. А как они тебя называли, я не смею сказать.

— Да не бойся, скажи, ведь это не твои слова.

— Звали степной лисицей. Когда ты ушел отсюда в Индию, Баркук смеялся: «Хромая лиса удирает!»

— Если б не язычники в Индии, взбунтовавшиеся против истинной веры, я бы не туда пошел, а отнял бы Миср у Баркука и, как степная лиса, сам бы перегрыз ему глотку! Сам бы! Он моего посла убил!

— Мы не осудили бы тебя за Баркука.

— Не поспел — помер Баркук!

— В походе. Выпил дурной воды.

— Кто ее ему налил?

— Никто не знает.

— Может быть...

Воины уже давно внесли много светильников.

Тяжело пахло горелым маслом. Становилось душно.

Когда за юртой, похрапывая, забили копытами землю и зазвенели уздечками лошади, Мутаххартен дога-

дался, что лошадей привели ему, что Тимур так приказал, не предвидя, сколь затянется эта ночная беседа. Но теперь Тимур не отпускал его, снова и снова спрашивая о людях, в чьи земли пришел.

Когда Мутаххартен вышел, ему подвели серого коня, звеневшего серебряными цепочками богатой сбруи, и он понял, что это новый подарок за долгую беседу.

А в юрте отпахнули край тяжелой кошмы, и к Тимуру ворвался тугой, быстрый степной ветер, задувая светильники и выметая наружу застоявшийся чад.

Прохлада освежила Тимура. Не спалось.

Бледный от обиды, он твердил:

— Хромая лиса!..

И, сощурившись, представлял себе, как она бежит, убегает в степь, подбитая, хромая.

Заснуть он долго не мог.

Лег и думал о скорой встрече на большом курултае со всеми своими полководцами.

3

Всю ту ночь снилась лисица.

То мчалась, протянувшись, по жухлой, осенней, поблекшей степи. То ее, беспомощно распластавшуюся, поднимали с земли, а на том месте, оказалось, кишели рыжие муравьи. Но лиса была жива, и ее перекладывали на другое место отдышаться. Он отчетливо видел ее глаз. Красный, подернутый синевой. Этот глаз он видел, даже проснувшись, пока неподвижно лежал, не поднимая головы.

Проснулся Тимур невыспавшийся. Сам не зная, чем недоволен. Может быть, его разбудили слоны, затрубившие на рассвете.

Заседланные лошади, стоявшие, по воинскому обычаю, на приколе неподалеку от юрты, встревоженные ревом слонов, фыркали, били землю копытами. А Тимур, словно поднятый тем ревом к битве, встал.

Вышел наружу. Вдыхал, словно принюхиваясь, холодный сырой ветер, несший рассвет.

Стан просыпался. Там кричали громче, перекликались неприветливо.

Лошади с приколов косились в сторону Повелителя. Натягивали арканы.

Вернувшись к теплому одеялу, Тимур вызвал писца Саида Ахмада Бахши. Звание Бахши было дано его дедам, служившим писцами еще у монгольских ханов — Хулагидов. Из поколения в поколение переходило их умение составлять грамоты и красиво писать.

Подолгу обдумывая каждое слово, Тимур сказал письмо к султану Баязету:

— «Слава аллаху, владыке неба и земли слава!

По воле аллаха, по великой его милости ныне покорились мне все семь климатов, а их повелители и властелины склонили головы под моим ярмом.

Властители самых больших орд не увернулись от меня.

Все богатства и сокровища вселенной в моей руке.

Да будет милостив аллах к смиренному рабу своему, знающему пределы, дарованные ему, ибо я не преступаю их дерзостной стопой.

Всем известно твое высокое происхождение. И человеку такого происхождения не приличествует надменно преступать положенный тебе предел, дабы не рухнуть в бездну бедствий.

Тебе лучше вести себя поскромней, соблюдать меру своей власти.

Нам известны твои войны против христиан. В этих войнах мы не мешали тебе. Мы молили аллаха о даровании мусульманам новых побед над неверными.

Ныне же ты возгордился и отдаешь приказы, превышающие твою власть. Тем навлекаешь ты на себя беду. Не ценишь ты свое благо и спокойствие.

«Не бери пример с шайтана, вздумавшего творить дела, предназначенные другому».

Запомни эти слова и держи их перед глазами. Не накликай беду на свою голову!»

Писец, дописав, прочитал это вслух.

Тимур кивнул, отпуская писца переписать письмо набело.

Когда в темноте отзвучала первая молитва и весеннее утро лениво поднималось в голубеющем тумане, Тимур вышел на холод и поехал рысцой по стану.

Стан гудел обычным гулом от проснувшегося множества людей. Не приказано было отвлекаться от дел, ко-

гда мимо проезжал Повелитель. Барласы охраны, не отставая, следовали за ним, но он ехал чуть впереди, чтобы они не мешали ему смотреть по сторонам. Так было всегда, и в стане дивились бы, если бы долго его не видели. Его поездки по стану — повседневная привычка, ставшая обычаем.

Он приметил много новых юрт, поставленных не в обычных рядах, а обочь рядов,— юрты прибывших на курултай. Юрты, шатры, ковровые кибитки, некогда служившие иранским полководцам, здесь поставлены Тимуровыми военачальниками, прибывшими на курултай из Ирана и прочих завоеванных областей.

Оттого столь обширен вышел этот новый стан, что каждый, прибывая издалека, ехал сюда с охраной, рабами, слугами; порой и рабыни сопровождали военачальников, и мальчики для услуг: ехали не только на совет, а и гостить, радоваться встречам с давними соратниками, с кем много всего всякого испытано и пережито. Для каждой такой встречи заранее что-нибудь было припасено и привезено сюда. Главные же подарки запасены были для Повелителя в честь рождения правнука, о чьем появлении на свет все уже были оповещены во всех концах света. Тимур любил подарки из разных мест, стран и городов, чтобы каждый такой подарок был изделием того места, откуда привезен, свидетельством мастерства тамошнего народа. Порой нелегко было найти такой подарок.

Понимая, что праздники во славу новорожденного не пройдут без больших конных игр, а игры не обходятся без богатых выигрышей, гости привели с собой резвых лошадей, отобранных, выверенных, чтоб не осрамиться на глазах у Повелителя. Таких лошадей привели под глухими длинными попонами, укрывая скакунов не только от холода или сырых ветров, но и от сглаза, ибо от иных завистливых, недобрых глаз не охранят обычные тумары — треугольные ладанки, подвязанные к уздечкам или нагрудникам.

Всему этому нужно удобно разместиться. Бывало, что и коню ставили особую юрту, когда такой конь стоил дороже десятка рабов.

Здесь шума, толчеи, беспорядка оказывалось больше, чем в воинском стане, строгий, размеренный уклад

карабахской зимовки здесь нарушался, как на недолгом привале в походе, где так бывало людно и толкучно, когда все оказывались возбуждены случаями и слухами истекшего дня, недавней битвы или стычки.

Тимур проехал и здесь. Здесь, случалось, не все и не сразу его узнавали, а приметив, кидались либо укрыться, либо упасть с поклоном.

Он, проезжая, приглядывался, прислушивался к тому, новому стану, ожидая, пока наступит тот день, когда все здесь уляжется, притихнет, и, значит, люди, сюда съехавшиеся, успокоились и могут не только ликовать и праздновать, но и размышлять.

Все эти дни прибывшие являлись поздравлять Тимура, и на ковре, принимая подношения, порой садился сам Повелитель. Тогда поздравители, ревниво волнуясь, изловчались, дабы превзойти друг друга в богатстве и необычайности даров. Тимуру их ревность нравилась.

Уже прежде проезжал через их стан Тимур, но в этот раз он наконец уловил то затишье, когда, наговорившись и назабавлявшись, прибывшие могут спокойно сесть на совет в том издавна установленном порядке, какой соблюдал у себя Тимур.

Нигде не было юрты, в которой поместилось бы столько людей, сколько позвано на этот совет.

Неподалеку от юрты Повелителя под открытым небом по траве, смешанной со снегом, расстелили большие плотные ковры, поверх ковров — стеганые длинные подстилки.

Среди коврового поля поставили трон Повелителя. Трон тоже покрыли стеганым одеяльцем и обложили подушками, чтобы Повелитель мог сидеть, поджав под себя ногу, и опершись о подушки. Это было место курултая.

Клубились серые облака, а в редких просветах уже проглядывала весенняя бирюза.

Порядок, издавна перенятый Тимуром от монгольских ханов, строго определял место каждого перед лицом Повелителя.

Все должны были расположиться вокруг трона, как сияние, как нимб вокруг луны.

Потомки пророка, судьи, ученые, богословы, старцы, вельможи помещались справа.

Военачальники, амиры, ханы, десятитысячники, тысячники, сотники, десятники, соблюдая старшинство, садились слева.

Диванбеги, председатели совета, и визири — против трона, а у них за спиной — правители областей и знать.

Избранные воины, за отвагу получившие звание бахадуров, богатырей, и другие отличившиеся в битвах, прославленные подвигами садились позади трона за правым плечом Повелителя.

Военачальники конницы — позади трона за левым плечом.

Военачальник передовых войск — перед троном.

Старейшина приставов становился напротив трона у входа на курултай.

Люди, прибывшие в поисках правосудия, помещались на левой стороне позади участников курултая.

Воины и слуги стояли на тех местах, куда поставлены, и не смели ни менять, ни покидать предуказанное место.

Четверо придворных, поставленных по одному на каждой из сторон, строго следили за порядком на своей стороне — справа, слева, впереди, позади трона.

В тот день за спиной Тимура сели его сыновья — Шахрух и покаянный Мираншах. Сели внуки — Халиль-Султан, Абу-Бекр, рожденные от Мираншаха, и Султан-Хусейн, рожденный от Тимуровой дочери. Сел чингизид, Султан-Махмуд-хан, от имени которого Тимур чеканил деньги. Хан, молодой, коренастый, краснощекий, удобно поджав ноги, пригнулся, посапывая, и казался безучастным ко всему, что делается вокруг. Временами Тимур прикидывался лишь послушным вассалом этого хана, будто не сам решает дела, выполняет указания этого Султан-Махмуд-хана. Справа от Тимура сидел Шах-Малик, хранитель печатей Повелителя, его визирь.

Шах-Малик вставал и выходил вперед, когда в начале курултая награждались военачальники и простые воины, отличившиеся в битвах и походах минувшего года.

Радующемуся, гордящемуся, порой тяжело израненному герою Шах-Малик, по слову Повелителя, вручал копье, увенчанное знаком власти, или бунчук, или значок, означающий новое звание воина и новое жалованье,

и отводил героя под приветственные клики всего курултая на новое место, где отныне ему полагалось сидеть на курултаях, на великих советах Повелителя.

С пестрыми, издалека заметными наградами, в праздничных дорогих халатах, накинутых на них Шах-Маликом, награжденные, пошатываясь, спотыкаясь, смущенные, пробирались к новому месту на ковре, и этот краткий путь был им труднее, чем длинная дорога сквозь битвы и вражеские ряды, где аллах вложил в их сердце отвагу и пощадил их жизнь.

Когда отшумели награждения, поздравления и приветственные слова, военачальники и вельможи заговорили о воинских делах.

Говорить начали младшие, чтобы мысли и мнения старших не смущали их. От младших Тимур часто слышал более смелые, менее осторожные слова. Теперь они жаловались на недостачи в чем-либо и сообщали об удачах в их сотнях или отрядах.

После говорили старшие, из коих многие побывали во всех походах Повелителя, были отмечены его милостями.

Богослов и кадий Ходжа Абду-Джаббар встал, и сидевшие с ним улемы тоже поднялись и встали рядом с ним. Стоя среди улемов и вопросительно, как бы заблаговременно испрашивая их согласия со своими еще не сказанными словами, Ходжа Абду-Джаббар назидательно сказал:

— О милостивый амир! Все мы обогащены твоими мудрыми мыслями, и аллах избрал тебя вершить его волю. Будет ли исполнением его воли, если мы, тюрки и мусульмане, поднимем меч на тюрок и мусульман? Доселе мы сокрушали твердыни безбожников, язычников, неверных. Ныне же всему свету ведомо: султан Баязет, следуя по стопам своего покойного отца — султана Мурада, пронзает своим мечом сердца неверных. Ныне он готовится сокрушить заветную их твердыню Константинополь. Угодно ли аллаху, чтобы мы помешали тому? Не затеваем ли мы войну не священную, а братоубийственную? Как это, пойти тюркам на тюрок, суннитам на суннитов, истинным мусульманам на истинных мусульман? О милостивый амир, ничто, как лишь благочестивые заботы тревожат меня. Аминь.

С поклоном он сел.

Из давних сподвижников Тимура встал Худайдада. Следом за ним встали самые испытанные, самые опытные соратники Повелителя, боевые друзья Худайдады.

Встав, они прижали руки к груди, выражая покорность, упав на колени, просили внять им.

Разведя свои узкие старые ладони, стертые рукоятками сабель, Худайдада сказал:

— Ты, амир, задумал новый большой поход. Собираешься на новую войну. Мы это видим. Видим и думаем: куда? На кого? Видим твоих врагов. Не было того, чтоб твои враги не были нам врагами. Однако...

Худайдада повернул голову к своим ровесникам, стоявшим на коленях справа и слева от него.

Тимур смотрел на эту бритую голову, с которой свисала седая воинская коса.

— Однако, амир, войскам не просто далась Индия. Оттуда, из Индии, пришли, а отдышаться в Самарканде не поспели. Не отдышавшись, опять пришлось идти. Надо так надо. Пошли. А легко ли далось это, карабкаться по горам Грузии, пока угомонили грузин. Измыкались все между камнями Армении. Но армянам и грузинам был объявлен газават, священная война. Усмирить их следовало. Иначе как было быть? Священная, без пощады для неверных. Но и нам там легко ли с горы на гору перелезать? Так нарубились, поныне плечи болят. У нас половина воинов изранена, изломана. Ходят — задыхаются, никак не отдышатся. С такими идти в новый поход сил нет. И лошадей не стало хватать. И вот мы думали-думали и видим: пойдешь ли на Багдад, на Дамаск, там войско у египетского султана стоит свежее, молодое, горячее. На Баязета ли пойдешь, у того султана тоже отдохнувшие, свежие воины, и у него их больше, чем у нас. Мы тоже слушали многих людей, что приходят оттуда. Наши войска против тех не выстоят. Не устоят. Наше слово: отложи поход на два года. Дай всем своим воинам отдохнуть. Соедини тех, что нынче стоят в Иране, с нами. Собери свою орду воедино, а тогда со свежей силой мы за тобой, куда скажешь, пойдем; кого укажешь, победим. Таково наше слово.

Это слово старейших и знатнейших на великом совете. Вслед за ними некому стало говорить.

Тимур заметил смущение и раздумье на лицах у многих окружавших трон. Понял, что многие согласны со

словами старейших. Молча приглядываясь, замечал, что число этих, одобряющих Худайдаду, возрастает.

Слово было за ним, но он медлил.

Тогда он ли дал знак, аллаху ли было так угодно, но на тропе, проходившей неподалеку от ковров, вдруг появилось все могучее ужасающее стадо слонов.

Они надвигались, важно раскачиваясь, но в строгом порядке, как это было указано хилыми, зябкими индусами, неподвижно восседавшими над головами слонов.

Один за другим все они сурово проходили мимо, а некоторые, проходя, протягивали хоботы к трону Повелителя, как бы присягая ему. Все притихли, глядя вслед слонам.

Подождав, пока слоны удалятся, Тимур повернулся прямо к Худайдаде. Глядя в упор в его плоское, едва прикрытое редкими кудряшками бороды большое голое лицо, сказал:

— Испугались превосходства в числе у Баязета? А разве я побеждал числом, а не воинским разумом? Разве не против сильнейших ходили вы и побеждали? Где же ваша отвага и где ваша сила? Бывало, мы не спали неделями, чтоб напасть на врага раньше, чем он нас ждал. А вы советуете мне поступить так, как поступили те, кого мы побеждали. Мы их побеждали потому, что они отдыхали, теряя воинское время. Они искали удобств, а мы пренебрегали удобствами. Я не узнаю вас. Вы перестали верить в свою силу? Но ведь самое малое сомнение в своей силе всегда и всех ведет к гибели. Вера в себя приносит победу в самый последний час, если эта вера крепка до последнего часа. Я спрашиваю еще раз: пойдете? Или будете ждать, пока враг ослабеет. А он почему ослабеет, если мы его не разгромим? Он тоже накопит силы, пока вы два года проваляетесь на коврах. А?

Никто ничего не решился ему сказать. Он дернул головой, отчего его крашеная косица откатилась на затылок, и громко крикнул:

— То-то!

Потом тише, примирительно, словно согласившись с ними, сказал:

— Из Ирана наших нам ждать некогда. Сами управимся. Собирайтесь.

Видя завершение курултая, от мулл встал Ходжа Абду-Джаббар. Подняв к небу взгляд тяжелых неповорот-

ливых глаз, он прочитал молитву, испрашивая милость божию и милосердие на всех ныне предстоящих и молящихся.

Ходжа Абду-Джаббар возгласил молитву нараспев и высоким голосом. Она звучала, как стихи, как касыда.

При словах молитвы Тимур встал на колени, и все его военачальники, вельможи, беки и ханы, все властительнейшие люди необозримой страны поспешно упали на колени.

Тимур, не вникая в слова молитвы, привычно уткнулся лицом в землю. И все люди, шепча молитву, набожно и самозабвенно уткнулись в землю лицом.

Раньше других подняв голову, Тимур увидел на всем пространстве распростертых своих соратников, павших ниц по его знаку, и охвачен был сознанием своей власти и снова уткнулся в землю лицом, уже не для молитвы, а чтобы скрыть ликование от избытка своей силы, своей власти.

ГЛАВА V

КАРАВАН

1

Величественный, многолюдный караван Мухаммед-Султана шел через пустыни, через степи, где из века в век, из тысячелетия в тысячелетие мерцала бессменная своя жизнь. Шел и проходил, как проплывают по земле тени облаков.

Изначальная, неприметная, безмолвная жизнь мерцала вокруг, как мерцает песок при свете луны или солнца, жизнь, распростершаяся во всю ширь необозримого простора: быстры пробеги ящериц; мгновенны, как полет стрелы, рывки змеи, тяжки движения черепах; бессчетны там и тут взлеты и перелеты птичьих стай, то возникавших над грядами песков, над весенней порослью, то опять приникавших к земле, словно они только померещились.

Позвякивали колокольцы. Беззвучно вышагивали верблюды. Всхрапывали лошади. Порой кто-то затягивал песню или ударял по струнам.

И все это проходило, а степная жизнь длилась, трепетала, вспархивала, жестокая и справедливая, однообразная и никогда не повторяющаяся. Проходил мимо безучастный ко всей этой жизни большой караван Мухаммед-Султана, проходил, пронося мимо свою тоже нелегкую и непростую жизнь.

То оставались позади зыбкие, неверные, как призраки, песчаные барханы пустынь, а впереди растекались во все стороны зеленью и голубизной весенние поросли степных трав, поднимались деревья над трепетным, как птица, ручейком, выглядывала из-за холмов или из-за деревьев стена селенья, притаившегося, как пугливый джейран. То, вдруг поредев, оставались позади травы, а впереди вновь протягивались пески, пески.

От колодца к колодцу, от стоянки к стоянке шел караван.

То через ночь, следуя за проводниками, когда те, возвышаясь на поджарых конях, тонких, как натянутые струны, заслоняя звезды большими папахами, молча поглядывая в путеводные письмена созвездий, безучастно и одиноко ехали впереди.

То по утренней прохладе, когда алое золото света приподнимает из тусклой мглы каждую складку гор, каждую морщинку земли, каждый холм в стороне от дороги, барханы, курганы, руины.

Среди песков безмолвные, обветренные, размытые зимними ливнями горбятся, как прилегшие верблюды, груды былых городов, где за тысячу лет до того отзвенели арфы певиц, боевые клики кушанов, где за пять столетий до того отблистало золото в венцах Саманидов, рухнули их расписные дворцы, а из разграбленных сокровищниц рассыпались, смешались с песком, почернели деньги — фельсы и дирхемы,— освященные словами молитв, вчеканенных в медь и серебро вместе с именами халифов и властелинов. Сурки стали властелинами былых городов, и караван проходил мимо. Мимо через пустыню, где на утренней заре розовеют, распластавшись, обветренные гряды песков, словно тысячи обнаженных красавиц, еще усталых от ночных забав, медлят очнуться на своих ложах, проходил, торопясь к дневной стоянке, к колодцу, чтобы утолить жажду и обрести покой, большой караван Мухаммед-Султана.

Верблюды, тянувшиеся друг за другом, войско, сопровождавшее царевичей, а где-то тут и сами царевичи, и слуги их, и охрана, и купцы, и кони под вьюками, и товары, запасенные купцами, и прикрытые пестрым тряпьем корзины, где везли женщин — невольниц и наложниц, и обернутые кошмами тюки с оружием, и желтые тыквы, и черные бурдюки с водой, и молодые барашки, привью-

ченные к седлам. И псы, сурово и разумно бредшие сбоку от каравана или, лениво и безучастно, вслед за верблюдами.

Все это проходило, внимая мерному, как биение сердец, перезвону колокольцев, негромкому и грустному, как перезвоны струн, очнувшихся под медлительными пальцами, когда певец, еще не запев, уже вникает в горестный смысл предстоящей песни.

Когда шли ночью, вокруг расстилалась тьма, казавшаяся тем непрогляднее и опасней, чем ярче поблескивало звездами беспредельное небо. И небо казалось тем беспредельнее, чем шире растекалась тьма по земле.

Уже много дней шел караван.

Одежда путников пропылилась, пропиталась песком и потом. Тело зудело и ныло. Как ни прикрывали лица краями тканей, спущенных с чалм, как ни надвигали на лоб войлочные колпаки, как ни нахлобучивали до самых глаз лохматые шапки, кожа на лицах шелушилась от ветров и суховеев, глаза воспалялись и слезились, едва выглядывая из-под опухших век. И стало тут уже нелегко отличать воинов от царевичей, слуг от купцов, кто тут военачальник, а кто бесправный раб.

Станом становились либо возле колодцев, где земля вокруг была вытоптана, загажена скотом, запятнана золой очагов. Либо за надежными стенами рабата, чисто подметенного, где проезжих уже ждали, где можно было сменить ослабевших лошадей или верблюдов, где можно было безбоязненно отоспаться, напиться свежей воды, наесться пропеченного мяса, наговориться со встречными путниками.

Но и отсюда, едва под вечер спадал зной, снова вставали, складывались, вьючились и выходили на дорогу, еще душную, не остывшую от дневного зноя. И уходили, не оглядываясь ни на верблюдов, ни на лошадей, оставленных в обмен на свежих, ни на людей, обессилевших или заболевших. Лишь псы бессменно шли весь путь с людьми вместе.

Уходили навстречу прохладе, которую сулила ночь, и вскоре погружались во тьму, встречавшую их и густевшую с каждым шагом. В этой тьме справа и слева от дороги опять сутулились какие-то холмы или большие барханы, горы или руины.

В неделю раз, а то и реже караван доходил до больших рабатов, обстроенных селеньями, обросших садами, окруженных огородами, где текли ручьи, где в кувшинах хватало воды, а в очагах топлива.

Время от времени с нетерпением, с вожделением входили в города — погулять по базарам, понежиться в жарких банях или украдкой уйти к услужливым хозяевам укромных караван-сараев, где гостей тешили покорные и шаловливые невольницы. А тем, кто предпочитал горячую лепешку, густую похлебку в тяжелой глиняной чашке, душистую зелень на сочных кусках жареного мяса, тем было милее в харчевнях среди чинных бесед. Иные же шли отдыхать к водоемам под сень чинар, где у прохладной воды, развалившись на полосатых паласах или почтительно притаившись в сторонке, слушали славных хорезмийских певцов, бухарских дойристов или мечтательных ферганцев, оживлявших струны. А многие любили слушать словоохотливых чтецов или сказителей древних историй, где царственная поступь великих преданий сменялась приглушенным смехом над бесстыдной перебранкой ненасытных любовников, ибо нет в жизни бессменного величия и на смену любым утехам приходит раздумье.

Каждый по себе искал городских утех, от коих каждый, захлебываясь, спешил глотнуть хоть глоток, каждый из сотен путников, сопутствующих Мухаммед-Султану, направляющемуся к деду, к Повелителю Вселенной, в невиданные дальние страны, в пределы царства Рум, где за крутизнами незнаемых гор протянулись берега невиданных морей, где в непочатых городах скоплены соблазнительные сокровища.

В городах застаивались и на день, и дольше. Не только прохлаждались и тешились, но и запасались припасами, штопали и латали одежду, чинили сбрую и всякое дорожное снаряженье, пока не наступал срок. И тогда, переждав часы зноя, к вечеру снова поднимались в длинный, долгий, извилистый путь.

А пока вьючили и приторачивали поклажу, от караванного головы, а то и от самого царевича отправлялись гонцы.

Засучив рукава, подоткнув халаты, они на резвых конях кидались вперед, неся весть о караване, письма или указы правителям предстоящих городов, старостам раба-

тов, хозяевам постоялых дворов. Иные же отправлялись и дальше — туда, где за песками, за реками, за дальними горами стоял стан самого Повелителя.

В отряде личных царских гонцов, носивших на шапке лисий хвост или красную косицу, ехал с караваном и гонец Айяр. До поры до времени Мухаммед-Султан держал таких гонцов про запас, наготове, пока не понадобится послать вперед не только письма, но и такое, что нужно передать лишь на словах.

Много раз случалось Айяру ездить этой дорогой. Но все здесь виделось теперь иным, чем бывало, когда он успевал лишь поглядывать на все это со скачущего коня.

Теперь впервые Айяр проезжал здесь столь медлительно, без спеха, смотрел во все стороны, разглядывал всякую мелочь.

Порой из тьмы возникали руины, стены зданий или отроги гор, для остальных в караване непонятные, как ночные видения, и только Айяр мог припомнить весь их дневной облик — эта тьма была для него полна обликов и очертаний, озаренных светом памяти.

И однажды на утренней заре, торопясь до зноя достичь Рабат-Астана, караван прошел через покинутое людьми зимовье, мимо мазанок с осевшими кровлями, мимо стен, изрытых трещинами. В канаве ветер шевелил шерсть на какой-то падали, да в чахлой траве желтели глиняные черепки.

Кровь прилила к сердцу Айяра. Горечь тоски резнула по глазам до слез. Заныла обида, какую никакими словами не выскажешь, потому что и сам ее не понимаешь: на кого, на что обида? А как выскажешь то, чего сам не поймешь? Он только поправил привычно ладонью свою жиденькую бороденку, чтобы стереть с лица, заслонить и от людей, и от самого себя досаду и тоску.

Мимо той стены так близко, что можно было, вытянув руку, коснуться ладонью, проехал Айяр, мимо той самой стены, где некогда Анарбай выхватил себе жену из толпы пленных. Тут еще в позапрошлую зиму жила рябоватая хромоватая девушка, милее которой не было у Айяра никого на земле. Девушка, для которой в переметном мешке Айяра в шелковом лоскутке хранился драгоценный подарок. Однажды он вез его ей. Но было драгоценней иранского браслета, искристых самоцветных камней, что вез он ей самого себя. А когда привез к этой стене,

нашел тут лишь клок кошмы на пороге да разбитый кувшин возле обвалившегося очага.

И некого было спросить о дороге, по которой она ушла, лишь пустая степь разлеглась во все стороны да вокруг безмолвствовали такие же оплывшие безлюдные мазанки. Так и остался подарок в неразвернутом лоскуте.

С той поры возит и возит свой дар Айяр из стороны в сторону мимо пустой стены нежилого зимовья.

Тут Айяра оповестили, что в Рабат-Астане, как только дойдут туда, его потребует к себе Мухаммед-Султан: будь, мол, наготове, лихой гонец, кончается твое шествие в караване, открывается тебе горячая дорога, где надо так поскакать, словно под копытами огонь и, чуть промешкаешь, сожжешь копыта.

Мухаммед-Султан, сидя в седле и поддаваясь бодрому шагу коня, сочинял бодрое послание к деду, где, оповестив о благополучном пути каравана, выспросит указаний на остатний путь, а изустно передаст через гонца несколько слов в похвалу своей распорядительности, послушанию и несколько слов порицания про ослушника Искандера, влекомого среди верблюдов обоза на расправу.

Бодро, в шаг коню, повторил, чтоб не позабыть, снова и снова те слова, которые велит написать, когда позовет писца, и те, короткие и твердые, которые скажет гонцу для изустного пересказа.

2

Грузное серое здание рабата возвышалось вокруг широкого двора. К углам прислонились коренастые башни с бойницами, с глухими подземельями, где можно было надежно укрыть любые товары и припасы. Надежны были и стены полутемных келий, соединявшихся сводчатыми тесными переходами. Все было крепко сложено еще в давние времена. Когда случалось рыть землю, под стенами оказывались древние стены, залежи черепков или осколков расписной штукатурки. Заступы и мотыги упирались в каменные столбы, и рыть глубже оказывалось невозможным. Рабат высился на руинах былых зданий, неведомо кем сложенных, неведомо что видавших.

Но среди двора, обложенный истертыми мраморными плитами, по-прежнему зиял колодец, где во тьме глуби-

ны светилась живая чистая вода. Ею и жил рабат. К ней и тянулись отовсюду караванные пути и жаждущие путники.

Ни вокруг рабата на иссохшей, безводной равнине, ни внутри двора, истоптанного мягкими стопами верблюдов и стадами, ночевавшими здесь, нигде не было ни ростка, ни былинки, и лишь у колодца в расселине между мраморными плитами бился за жизнь пыльный, изломанный, топорщась колючками, маленький пучок какой-то одинокой травы.

Теперь вокруг колодца столпились, заглядывая в глубь и оскользаясь на плитах, расплескивая воду из кожаных ведер, люди каравана. Где незадолго перед тем было пусто, теперь стало тесно.

В углу двора, разувшись, оголившись до пояса, Мухаммед-Султан помылся под длинношеими медными кувшинами, поднятыми над ним робкими, послушными слугами. Потом сам взял в руки кувшин и, присев на корточки, совершил омовение. Надел свежую рубаху. Костяной гребенкой расчесал бороду.

Подошло время молитвы, и царевич, став позади имама, освеженный студеной водой, распрямившийся после долгого сидения в седле, строго и равнодушно выполнил недолгий обряд.

На таких стоянках молитва проходила торжественно и ободряла людей: в степи, где в колодцах едва хватало воды для скота, нередко случалось перед молитвой вместо омовения водой тело обтирать песком. Здесь же все молились освеженные, чувствуя себя чистыми, и это было не столько обращение к богу, как утешение земной плоти, обретшей покой. Помолившись, все разошлись по своим повседневным делам.

Перед Мухаммед-Султаном расстелили скатерть и положили стопку зачерствелых лепешек, серых от припекшейся золы. Принесли еще теплый кумыс. Остудить не успели. Накрошили ломти вчерашней баранины. Разломили головку чеснока. Посыпали мясо серебряными кольцами лука, посолили крупной темной солью. Проголодавшимся с дороги некогда было ждать, пока на кухне испекут свежий хлеб или освежуют барашков.

Поглядев на скатерть, на всю еду, наложенную сюда, неожиданно, как это порой с ним случалось, он вспомнил царевича Искандера, провинившегося перед дедом

и теперь влачившегося со своими людьми где-то в глубине каравана, дабы получить от деда заслуженную кару. И подумал: дед, пожалуй, спросит, как вел себя Искандер в пути и как Мухаммед-Султан к нему относился. И если дед будет суров, Мухаммед-Султан ответит, что вез его без почестей, среди простых царедворцев, а если дед сочтет унижение Искандера унижением их царского звания, Мухаммед-Султану нечего будет сказать. Не отрывая глаз от кусков баранины, пронизанных сладкими прозрачными жилками и хрупочками, велел позвать царевича Искандера, которого за все время пути ни разу не звал к себе, всегда тяготясь встречами с дерзким насмешником, который неожиданным вопросом или ответом всегда может озадачить или высмеять собеседника. Решив выказать младшему брату свою милость и великодушие, Мухаммед-Султан тут же хотел было отложить это на какой-то другой раз, но посланные уже бежали к двери, и достоинство не позволило ему изменить свое слово на глазах у всех этих исполнительных и торопливых слуг.

Здесь, в старом рабате, Искандеру досталась сводчатая келья с узкой бойницей взамен окна. Перед кельей на широком каменном пороге было довольно места, и когда слуги Мухаммед-Султана добежали сюда, они увидели порог, застланный отличным алым майманидским ковром, шелковую узорную скатерть на ковре и стопу румяных горячих лепешек, видно едва только вынутых из очага. Запах свежего хлеба, смуглые куропатки, обернутые в какие-то широкие листья, чашка сливок, обложенная мелко наколотым льдом. Ожидая, пока Искандер выйдет из кельи, слуги наследника удивленно смотрели на скатерть: когда успели все это приготовить и подать Искандеру, если прибыли они все вместе, в одном караване, и другие еще заняты стряпней, а здесь все уже готово? И откуда свежий хлеб, и откуда в этой жаре лед?

Слуги Мухаммед-Султана спешили сюда выказать милость и великодушие своего властителя человеку отверженному, погрязшему в ослушании. И они продолжали удивляться благолепию того, что видели, когда, пригнувшись, из низенькой дверцы вышел Искандер.

Он был одет запросто — в просторную белую рубаху, длинную, до колен. В удивительно белые широкие штаны. Лицо его было не только спокойно, что тоже удивило слуг, глядевших на человека, прогневившего самого ве-



ликого Повелителя, его лицо было светлым, почти радостным, приветливым, почти улыбающимся под белой островерхой тюбетейкой.

Не бывши зван к Мухамед-Султану нигде на прежних стоянках, где случалось вдосталь свободного времени,

Искандер был застигнут врасплох, когда увидел кланяющихся ему слуг Мухаммед-Султана. Лицо его померкло и взгляд его потупился, но, неторопливо повернувшись к ним, лениво спросил:

— Чего вам?

Иранец Каджар Али, служивший у наследника писцом и чтецом, сложив на животе руки, истово поклонился:

— Милостивый владыка наш Мухаммед-Султан, да благословит аллах его имя, велел звать вас к его трапезе, да ниспошлет аллах изобилие его хозяйству.

Искандер, нахмурившись, спустил правую ногу с порога, вдевая ее в туфлю, и долго нашаривал левой ногой другую туфлю, пока наконец встал на обе ноги. Ответил:

— Пойдемте.

Он пошел вслед за слугами, сопровождаемый всего лишь тремя из своих людей, через всю сутолоку и суету, через двор, где висел сизый чад подгорелого лука и сала, где все были чем-то заняты и все спешили.

Он один шел неторопливо, удивительно белый среди пыльных и выцветших халатов, между людьми, испуганно расступавшимися перед ним. Шел, сторонясь верблюдов, с которых совьючивали какую-то кладь; поглядывал на расседланных лошадей, которых обтирали мягкими тряпками, и наконец по истертым косым плитам каменной лестницы легко поднялся к просторной зале, где разместился Мухаммед-Султан.

Едва взглянув на Искандера, Мухаммед-Султан обиделся: ослушнику оказана честь и милость, а он явился в затрапезном обличье, будто к себе в баню зашел. Видно, не понимает, что не к брату на пирушки зван, а к наместнику и наследнику Повелителя!

Но выходило, что все же к брату и к угощению, ведь чужих не зовут так запросто разломить лепешку, разделить хлеб.

Пришлось встать, чтобы встретить гостя и усадить его к трапезе.

Но, усадив и разламывая перед ним лепешку, Мухаммед-Султан молчал, давая время своей досаде утихнуть.

Однако нельзя предлагать угощение молча. Мухаммед-Султан, протянув ладонь к скатерти, проворчал:

— Кушайте.

Искандер, ответив молчаливым поклоном, взял ломоть зачерствелой лепешки и, прежде чем отломить от нее, выковырнул уголек, припекшийся к ней.

Мухаммед-Султану не понравилось и это невольное движение гостя, хотя не жевать же уголь с хлебом!

Мухаммед-Султану нравилось, когда в походе приходилось довольствоваться простой едой: хлебом, печенным на углях, мясом, обгоревшим на пламени костров, похлебкой, пропахшей дымом. Втайне он собой любовался, что тут вот на дороге, как простой воин, не гнушаясь лишениями похода, он грызет непропекшееся мясо, похрустывает черствым хлебом, дышит ветром, полным полынных запахов, смешанных с запахами лошадей и политой земли.

Он объяснил Искандеру:

— На углях пекли. Кроме негде было.

— Разве нет очагов в караван-сараях?

— Не мне тут кухни обшаривать.

— А повара зачем с нами?

— Повара мясо готовят. А свежего хлеба где тут взять?

— Не знаю, они обо мне сами заботятся.

— Так мы ведь в походе.

— А и в поход, думаю, не ради лишений идут. Не камни глодать. Когда негде взять, не надо. А когда есть, отказываться зачем?

— Видно, люди не могут, когда негде взять.

— Бывает, могут, а не спешат. Бывает, будто и нет, а ищут.

— Значит, мои люди не хороши?

— Я не о людях, я о лепешках.

— Я бы и сам рад был свежему хлебу.

— Тогда уж дозвольте, брат, принести. Ну-ка!

И один из ферганцев, мелькнув белым узором на черной своей тюбетейке, выбежал во двор и вскоре возвратился с припасом, завернутым в скатерть.

— Дозвольте, брат, поделиться и мне своим хлебом. Попросту, как в походе.

Мухаммед-Султан молча кивнул, разрешая.

Появилось все, что осталось нетронутым перед кельей Искандера, и то, что поспело у повара после ухода царевича.

Мухаммед-Султан лишь принюхивался к заманчивым запахам этого подношенья, не сумев сдержать любопытства:

— Когда же успели?

— Не знаю. Пусть он вот скажет,— взглянул Искандер на своего прислужника Мамед Керима,— он у меня и хлебодар, и всеми припасами ведает.

— А мы всегда так: либо своего человека вперед каравана шлем, либо через гонцов оповещаем, чего нам надо. Да и припас при нас. Своего государя мы походом не отягощаем. Да и самим легче, когда ему веселей.

— У меня с собой людей больше.

Мамед Керим, играя тонкими усиками, насмешливо вскинул голову:

— Тут, государь, не люди, тут заботы нужны. Попеченье. Как мы о нем, так и он о нас.

Мухаммед-Султан не стал слушать дальше. Он протянул руку к холодной сметане и макнул в нее теплый ломтик лепешки.

Так они долго ели молча, а люди при молчании царевичей не смели между собой разговаривать и не могли понять, о чем думают эти безмолвствующие братья, занятые неторопливой едой.

Еда эта уже подходила к концу, но досада Мухаммед-Султана не затихала: его раздражало, что Искандер не перечил ему, даже приказал нести сюда еще всякого варева и печенья, которое за это время поспевало у его поваров. И все это, казалось Мухаммед-Султану, несравненно вкуснее и лучше приготовлено, чем удавалось поварам правителя необозримого Мавераннахра. Чем вкуснее оказывались поданные на китайских блюдах изделия Искандеровой кухни, тем острее становилась досада.

И совсем его рассердило, когда, став на колени, остроглазый Мамед Керим, продвигая новое блюдо к середине скатерти, сказал своему царевичу:

— В этих местах джейраны хороши. Я послал людей на охоту. К ужину свежей дичи привезут.

Искандер встрепенулся:

— Жаль, прежде не сказал. Я бы с ними сам съездил.

Мухаммед-Султан пренебрежительно заметил:

— В эту пору что за джейраны? Весной они тощи, не разжуешь.

Но Мамед Керим, прежде чем ответил Искандер, возразил:

— В самаркандских степях еще тощи. Здесь же весна раньше приходит. Здесь степи давно зелены. Здешние стада в самый раз как нагулялись. А ближе к лету, когда трава выгорит, нагул спадает. Сейчас джейраны в самый раз. Однажды, проездом, здесь царевич Халиль-Султан охотился. Я при нем был, знаю — в самый раз!

Мухаммед-Султан смолчал.

Мамед Керим принадлежал к ширванской семье, которую Тимур принял и отличил, хотя и знал, что Ширваншах Ибрагим недоволен такой его милостью к своим недругам. Но в обычае Тимура было поощрять тех или других недругов своих друзей и тем напоминать о своей независимой воле.

Мамед Керим четыре года жил и учился в Самарканде и сперва сопутствовал Халиль-Султану во многих делах, а потом Искандеру во всех его похождениях и проказах. Но Мухаммед-Султан, легко расправившийся со многими Искандеровыми дружками, отнять Мамед Керима не решился — дедушка был благосклонен к его семье.

Теперь, поглядывая на длинные костлявые и потные пальцы ширванца, Мухаммед-Султан заподозрил, что через верных людей дед, пожалуй, расспросит ширванца обо всех обстоятельствах спора между своими двумя внуками, а ширванец расскажет такое, о чем Мухаммед-Султан сам не знал или не задумывался в Самарканде. Ширванец сам порасскажет своим родичам о самаркандской жизни, а родичи кое-что перескажут людям Тимура или распустят всякие слухи. А сколь опасны слухи, дедушка остерегал не раз. Другие, родом и домом привязанные к Фергане или Самарканду, поостерегутся распускать язык, а этот верткий проныра не боязлив.

Но Халиль-Султан в поход его с собой не взял, оставил на попечение Искандера. Видать, отвага этого ширванца годна не для битв.

Халиль-Султан был милее других Мухаммед-Султану — его единоутробный брат, сын его несчастной матери, хотя и от другого мужа, был ближе, чем Пир-Мухаммед, сын его отца, хотя и от другой жены.

Мухаммед-Султан уже давно не видел Пир-Мухаммеда, которого дед оставил править в завоеванной Индии.

Теперь, как известно, он подбирался там к сокровищам Ормузда. Но сегодня и Халиль сердил Мухаммед-Султана: стараешься служить деду, угадывать его волю, усердствуешь, не щадя сил, не щадя жизни, и уж вот-вот можно блеснуть подвигом, как вдруг что-то мешает подвигу. Можно было обрушиться на монголов и гнать, гнать их через всю степь до Китая, захватывая и несметные сокровища, и необозримые просторы земли. И вдруг без спроса, без разума все вырвал из рук ослушник Искандер. А Халиль тем и славен, что и дедушкино доверие, и милости от Великой Госпожи, и почтение воинов, и славословие горожан — все захватил невзначай, ненароком, с маху, врываясь в бой, когда никто его туда не кличет, совершая подвиги, без которых войска обошлись бы, поскачет куда-нибудь, покричит что-то, и уж дедушке кажется, что без Халиля там не было бы ни успеха, ни добычи. Нечаянный герой. Вот только со своей девкой оплошал: дед сердит, что ее ему в снохи прочат, Великая Госпожа обижена, что к ней в родню базар нагрянет, а Халиль закусил удила и несет, несет в свою сторону. Да и не в свою, а в эту... в слободу своей Шад-Мульк. Шад-Мульк!..

Вдруг он приказал пустить сюда музыкантов и позвать плясуний. Не зря же везут их по всем этим степям в спокойных плетенках на десяти верблюдах.

Музыканты, сев у стены, зазвенели струнами, заплакали на жалейках, и лебедем выплыла первая танцовщица, кое-где то взмахивая руками, то смыкая их над головой, то изредка пощелкивая пальцами. Плавный целомудренный танец сдержанной страсти.

Но напев сменился. Застонал барабан, глухо зарокотал бубен и, полуприкрытые прозрачными шелками, поблескивая алыми ладонями, позвякивая бубенцами на запястьях и на щиколотках, кося глазами, растопыривая пальцы, поводя бедрами, на ковер вступили три новые плясуньи.

Это явились ученицы тех индийских танцовщиц, которых, наскучившись ими, Великая Госпожа незадолго перед тем подарила Халилю, тщась отвлечь его мысли от негодницы Шад-Мульк.

Мухаммед-Султан гордился, сколь точно, во всех подробностях повторяют эти девушки каждое движение, каждый поворот своих делийских наставниц.

Привезенные пленницами, плясуньи из Индии, как и прочие мастера, собранные в Самарканд по воле Тимура, получили учеников, дабы передать им свое уменье.

И они передавали, пока жили под приглядом Великой Госпожи.

Танец их учениц, этих девушек, избранных из своих рабынь, только раз видел Мухаммед-Султан и взял их с собой в дорогу.

Под прозрачным шелком обшитых золотом юбок тела казались белее и нежней, чем были, бедра казались шире, а обнаженные поясницы — тоньше и гибче над широким взмахом пышных шелков, животы — смуглее и крепче.

Пальцы, чудилось, поднимали невидимые чаши, полные до краев, и внезапно роняли их. И, выронив, благословляли, распростирая ладони над незримыми осколками.

Так виделось Мухаммед-Султану, и он не без торжества покосился на Искандера: взволнован ли?

Он уловил равнодушный и даже пренебрежительный взгляд. Это озадачило Мухаммед-Султана, и успокоившееся было раздражение снова зашевелилось.

Барабан вздыхал, словно от приглушенной страсти, бубны все настойчивей, нетерпеливей нагнетали движение, и девушки одновременно то поднимали над собой узкие покрывала, то слаженно, как одна, роняли их на себя, то отстраняли прочь, все чаще открывая свою наготу.

Но возбуждение, согретое пляской, упало, и мысли об Искандере заслонили прозрачных девушек непроглядной пеленой.

Наконец не без усилия он снова взглянул на Искандера. Увидел тот же рассеянный взгляд. И пытливо не то сказал, не то спросил:

— Индийские плясуньи.

Искандер, устало взглянув ему в глаза, улыбнулся:

— Ну какие же индийские?

— А что?

— Вот у Халиля танцовщицы! От Великой Госпожи.

— Эти, пожалуй, даже и моложе! И не столь широконосы.

— Я не о носах, я о плясках. Там пляшут — сказку рассказывают. У них пальцы дают знак, за знаком знак. Во всем смысл.

— Откуда же ты научился читать их знаки?

— У Халиля одна из них мне разъяснила. Их с младенчества обучают этому. И движение бедер — знак. Там бедра играют, а у этих, тут, вихляют. Не поймешь, чем двигает: не то бедром, не то задом. Не пляшут, а завлекают. Одна перед другой хочет выглядеть завлекательней

— Нет, я смотрю на этих, а вижу тех. Точь-в-точь. Ты, вижу, придирчив.

— Вы, брат, верно заметили: точь-в-точь как те. Переняли каждое движение. Только не знают, в чем смысл этих движений. Не понимают, о чем говорят. Вызубрили стихи на чужом языке. По звуку точно, а в чем смысл, не смыслят. Точь-в-точь как те. И раз навсегда — точь-в-точь. А те каждый раз по-иному, рассказывают, как скажется. Иной раз так, в другой —иначе. А эти, разбуди их среди ночи, они и спросонок повторят все точь-в-точь. В том и разница. Велите им снова сплясать да приглядитесь, не прав ли я.

— А что ж, я и велю: пускай опять спляшут.

— И чем точнее повторят, тем меньше души в их пляске. Ведь известно: чем больше сходства с учителем, тем меньше мастерства.

— Ну вот, опять пляшут.

Опять застонал барабан, снова зарокотал бубен и делийским напевом запела, заплакала дудочка.

Мухаммед-Султан снова смотрел на девушек. Теперь, когда он ждал более уверенных движений, осмысленных знаков, волнения танцовщиц, он примечал все ту же, неизменную, прилежно вызубренную пляску — привычно двигалось тело, молчала душа.

— Куклы!..— сказал он, не глядя на Искандера, и прогнал плясуний, не дав им доплясать.

Теперь в нем сложились две досады — что плясуньи, переняв, не поняли перенятое и что Искандер оказался прав.

Его отвлекло известие, что на кухне поспел плов.

Он поспел и у поваров Мухаммед-Султана и у поваров Искандера. И те и другие внесли тяжелые блюда и поставили белый, с горохом самаркандский плов перед

Мухаммед-Султаном, а красный, ферганский, перед Искандером.

Мухаммед-Султан смутился: что же это за пир, если каждый будет есть свое отдельно от других? Есть свой плов, обидно для гостя. Есть плов гостя, а куда же деть свой?

Но Искандер, улыбаясь, предложил:

— Поменяемся! Прошу вас принять мое угощенье.

— А я прошу принять мое! — с облегчением согласился Мухаммед-Султан.

И тотчас люди Искандера сели вокруг самаркандского плова, а правитель со своими людьми потянулся к ферганскому.

Они погружали руки в плов, наслаждаясь не столько едой, сколько теплом еды, ее обилием, сочным, жирным обилием еды.

Они почти не разговаривали, ограничиваясь хлебосольным мановением рук, приглашая друг друга еще и еще кушать.

Мухаммед-Султан мог бы съесть еще три горсти плова, еще пять горстей мог бы съесть, хотя был уже сыт. Мог бы, и ему хотелось продолжить еду. Но он отвалился от блюда, и эти вожделенные горсти остались невзятыми: пусть ими насладятся его сотрапезники, которым надлежало быть сытыми, довольными, дабы охотно и усердно ему служить.

Он протянул руки, и слуги подскочили с кувшином теплой воды, с тазом, с полотенцем.

Он помыл руки, смыв жир с пальцев, с ладоней, оплеснул теплой водой усы, губы. И зубы, и язык. Он помытой ладонью провел по губам, удостоверяясь, что все чисто и жир весь смыт.

Он был сыт. Но, освежившись водой, он мог бы снова приступить к плову, с наслаждением еще поесть. И, может быть, столько же, сколько уже съедено. И, может быть, больше. Но он хотел, чтобы больше досталось тем, кто служил ему, и чтобы они заметили, как он уступает им свою недоеденную долю. Терпеливо, откинувшись к подушке, он ждал, пока они доедали остатки на блюде, догладывали оглодки костей и великодушно угощали друг друга.

Он не догадывался, как, съев остатки, они втайне думали, что плова могли бы им подать больше, что, пожа-

луй, на самаркандском блюде его было больше, да и жирней он там; и каждому из них казалось, что никто не поел вдосталь. И каждый из них душил в себе досаду на Мухаммед-Султана: когда он угощает, они едят не так и не столько, как у себя, когда сами себе хозяева.

Не то было у Искандера. Он ел наперебой со своими людьми. И он и они ели торопясь, чтобы захватить и съесть побольше. И не было у них надобности угощать или упрашивать друг друга. Ели молча, и если не хватало ему, не хватало и остальным. И никто не оставался в обиде, никто не думал, что царевич более сыт, чем остальные, когда все видели, что он ел наравне со всеми, и если он не ропщет, не на что и им роптать; если он этим довольствуется и доволен, как могли не быть довольны они!

Вскоре Искандер ушел к себе, а Мухаммед-Султан, проводив гостя до порога, возвратился к своей подушке. Досада не затихала: все, что казалось устойчивым, ясным, удачным, становилось сомнительным после встреч с Искандером. Он здесь ни о чем не спорил и не оправдывался, он больше отмалчивался, чем говорил, больше улыбался, чем спорил, но все, что было бесспорным, стало сомнительным.

И когда, убрав скатерть, слуги напомнили о делах, он, томясь, занялся делами.

Ему сказали, что еще с рассвета ждет царский гонец Айяр, отобрав и подготовив лошадей для себя и своей стражи.

— Гонец?

Вчера Мухаммед-Султан знал, какое письмо пошлет деду, знал, что передать через гонца на словах. Но теперь не было уверенности в этих словах, то, что еще вчера он мог спокойно сказать деду, сегодня он не решился бы сказать — появилась робость перед дедом. Когда он поступал, как дед, когда удавалось повторить какое-нибудь из дел деда, возрастала его уверенность в себе. Сегодня он был взыскателен, но и снисходителен, как дед. А уверенности в себе не было.

— Гонец? — переспросил он слугу.— Пусти ко мне.

Айяр вошел, поясно, по обычаю, поклонившись с порога, и встал у двери.

— Ты в караване всем доволен?

— Как все. Укрыт от зноя и стужи плащом вашей заботы.

— Если тебе чего надо, скажи.
— Кони готовы. Мои люди в седлах.
— Я не о том.

Айяр тронул было бородку, но тут же опустил руку, удивленный, что правитель не сразу говорит о деле.

— Я только хотел спросить, каково вам, гонцам, в караване. Ступай. Когда понадобишься, кликну.

Айяр сбежал по ступенькам во двор и, удивив воинов, уже готовых скакать за ним следом, приказал им отпустить лошадей. Он в раздумье гадал: что случилось?

Но, привычный ко всему, скинул дорожный чекмень и пошел обратно к прочим гонцам, помахивая белым ремнем плетки.

Когда подошло время, караван снова поднялся в путь-дорогу, открылись ворота Рабат-Астана, на свежих конях тронулись впереди всех проводники и стража, следом за ними Мухаммед-Султан, по обе стороны от него его вельможи, потом, позвякивая картавыми колокольцами, верблюды, покачивая вьюки, корзины, черные бурдюки, раздутые от избытка воды. За ним следом снова воины. И снова верблюды, позвякивая и постукивая колокольцами...

Все это уходило через ворота навстречу надвигающейся тьме.

И вслед всему этому не то удивленно, не то испуганно смотрели девушки-танцовщицы, покинутые здесь по приказу Мухаммед-Султана.

ГЛАВА VI

ЮРТА

1

В предрассветную прозелень неба вился, вился тонкой шерстинкой дымок над одинокой юртой в безлюдной котловине среди сутулых предгорий и недальних гор, обступивших котловинку, будто серые юрты гигантов. И чем дальше, тем выше, тем шире, теснясь и громоздясь, темнели суровые юрты до самой той высоты, где облака, изгибаясь и наползая, пытались заглянуть в глубь каменных куполов и поклониться их обитателям.

Благостная тишина сливалась с простором неба, опершегося о безмолствующее нагромождение гор. И небо начинало румяниться, в прохладе предчувствуя утро.

Вдруг верхнее облако заблистало, как златое диво.

Но мгла еще лежала в укромной котловинке, где притулилась одинокая юрта и вился дымок.

В темном тяжелом обвисшем халате Тимур стоял возле юрты и смотрел: над весенней травой взлетела и опускалась, трепетала и падала огромная пестрая бабочка, то словно цветок весны, то словно прошлогодний осенний лист, то взблескивая, как брызги утра, то померкнув в стеблях сухой травы. Невиданная бабочка чужой страны, куда снова пришел Тимур, где снова поставил свою юрту.

Он захотел побыть здесь один, пока с карабахских зимовок и становий сходятся его воинства в новом походе,

Заслоненные горбами предгорий, застывших плотным кольцом вокруг всей котловины, по всем межгорьям и ущельям, словно груды валунов, намытые древним океаном, стеснились юрты походного стана.

Стан. Становище. Там щетинились копья, там толклось полчище, занятое повседневными воинскими заботами, играми и делами. Там на склоне холма на виду у всего стана высилась островерхая богатая белая, охваченная алыми широкими полосами палатка Тимура, увенчанная золотым шишаком. Перед ее входом, вонзаясь в облака, алел шест, вознося над всем станом черные косы, перевитые золотыми жгутами и перехваченные красными узлами, а на вершине шеста мерцал золотой полумесяц — навершие великого Повелителя, его бунчук, известный не только всему мирозавоевательному воинству, но и всем тем воинствам вселенной, с коими довелось повстречаться Тимуру на дорогах войн.

Стража несла здесь строгий караул, на приколах сменяли заседланных лошадей, временами по холму к палатке поднимались сверкающие всадники. И никто во всем стане не знал, чем занят сам он, волей всемогущего аллаха поставленный повелевать ими и владеть вселенной.

Но ни караулы, охранявшие тот холм, ни стражи, сменявшиеся у входа в палатку, ни блистательные всадники, проезжавшие вблизи палатки, не видели самого Повелителя, не смогли ни поглядеть его выход, ни услышать его голос, и от этого страх перед ним возрастал и могущество его становилось непостижимым.

А он стоял. Один. И вся эта котловинка вокруг, эта утлая юдоль, была пуста, безлюдна.

Позади его маленькой юрты в каменистом овраге, где протекал студеный и шустрый ручеек, повара копали землю и перекатывали валуны, ладя очаги. Мыли котлы, свежевали баранов, перекладывали в светлых струях черные потливые бурдюки с первым весенним кумысом. Отсюда никому не было видно юрты, к которой карабкалась крутая прерывистая тропинка, охраняемая узкоглазыми барласами, беззвучно стоявшими между камнями.

Но и от юрты не было видно этого ущельица,— казалось, тропинка от юрты проваливается сразу в преисподнюю, а дальше разлеглись такие же холмы, как и везде вокруг.

Тимур стоял, глядя, как вспархивает и витает серебристо-алая, шелковая, стеклянная, редкостная бабочка.

Склонив голову, сбычившись, не отрывая взгляда, он следил за ее полетом, словно озадаченный непредвиденным явлением в еще неизведанной стране, куда пришел...

В овраге, в тесном ущельице, сторонясь поваров и не приближаясь к страже, четверо писцов, понуро стоя или присев на корточки, ничем не занятые, не зная, чем бы заняться, обменивались чаще вздохами или взглядами, чем словами. Вдруг суетливо оправляли халаты, оглаживали бороды, отряхивали колени и локти: никто отсюда не видел Повелителя, но каждый, чем бы ни был занят, внимал малейшему шороху оттуда, куда поднималась похожая на окаменевший ручеек узенькая тропинка, где вонзалась в небосвод, обозначая местопребывание Повелителя, темная струйка дыма. Одна только эта горсточка людей знала, что не на царственном холме, не в ханской высокой палатке, а в этом неприметном затулье есть он сам.

Четверо писцов, давно сжившиеся друг с другом, прошедшие бок о бок многие походы, то запахивали свои тесные темные халаты, то откидывали щекотавший шею конец пышной белой чалмы, то — в который уже раз — рассматривали друг у друга письменные наборы, у каждого разные, бережно хранимые каждым. У одного старинный булгарский медный пенал свисал с пояса на короткой серебряной цепочке. И на такой же цепочке свисала медная чернильница, русская, с изображением единорога, борющегося со львом. У другого за пояс заткнут пенал, длинный, как ножны кинжала, желтой меди, арабский, с шестигранной чернильницей, припаянной на конце, где надо б было быть рукоятке. Третий вынимал из-за пазухи, оглядывал и снова засовывал за пазуху укрытый полосатым шелковым чехлом деревянный иранский пенал, пестро расписанный зелеными и золотыми узорами, обрамлявшими длиннобровых розовых красавиц в прозрачных шальварах. Четвертый писец, длиннолицый, густобородый бухарец, неразговорчивый и нелюдимый, скатанную тонкой трубочкой лощеную бумагу хранил в завитках чалмы, откуда она гордо торчала, а круглую глиняную чернильницу и свежезачиненные тростинки завертывал в лоскуток, бережно закатав его в склад-

ки кушака, отчего кушак на животе вздувался, вызывая грубые шутки и усмешки. Но бухарец Саид Ахмад Бахши пренебрегал этими намеками и знал свое дело.

Все они собрались сюда в овраг служить и повиноваться — слуги, укрывавшие от теплого ветра бурдюк с кумысом, единственный, первый в эту раннюю пору весны; повара, то разгребавшие, то сгребавшие жар под котлом, чтоб не остыла, но и не перестояла похлебка, уже готовая; гонцы в подбитых серыми степными лисами халатах, разлегшиеся с плетками в руках прямо на сырой, свежей земле, пахнувшей разоспавшимся телом, но готовые тотчас вскочить и, хлеща коней, мчаться по любой из дорог вселенной, едва Повелитель даст знак; воины охраны, неподвижно, хищно следившие за каждым.

Но Повелитель не торопился.

Желание побыть одному не проходило.

Следя за полетом бабочки, неведомо почему явившейся на свет столь преждевременно, когда и весна едва лишь начиналась и утро еще не разгорелось, Тимур вдруг потерял ее и пошел к тому месту, где она только что сверкала, где вдруг сразу исчезла. Его зоркий взгляд нигде не мог ее сыскать — ни на земле между прошлогодним сухим быльем, ни на бурых корявых стеблях. Как тут густо теснились эти иссохшие прошлогодние стебли, царапая голенища сапог...

Вспугнутая его шагами, она вдруг взлетела из-под самых его ног. От неожиданности он замер, и, успокоенная, она вновь тут же исчезла.

Он пошел осторожно. Не. взлетая, она на мгновенье раскрыла крылышки и тут же опять исчезла. Остался лишь бурый листок на буром стебле. Но стебель полынный, а листок вишневый. И он совсем было подошел к этому листку, но, когда покачнулся, ступив больной ногой, листок вновь стал бабочкой. Тревожно вспорхнув, она умчалась легким полетом вдаль.

Тимур задумчиво пошел назад к юрте. За сапоги и за полы халата цеплялась густая, непролазная, мертвая трава минувшего лета, а может быть, многих минувших лет. Он остановился над этой травой, подумал о чем-то и проговорил:

— То-то!..

Почесал щеку.

Огляделся вокруг. Увидел разрумянившееся небо, иссиня-голубые горы и хлопнул в ладоши.

Как из-под земли, из оврага явились стражи.

В овраге все ожили, зашевелились. Наверх по тропе торопливо, припадая на отсиженную ногу, кинулся сотник караула.

Тимур стоял возле юрты у запахнутого входа и смотрел куда-то далеко, в сторону снежных гор.

По знаку сотника воины подняли свисавший на дверь косяк войлока и, скатав его свитком, стянули ремешками над резной двустворчатой дверцей. Толкнув створки, слуги шмыгнули внутрь юрты свернуть постель, прибраться, приглушить очаг, врытый в землю, расстелить скатерть.

Душный, пропахший дымом и кошмами воздух вытекал наружу.

Из оврага высунулся повар. Странно под стеганым колпаком выглядела его голова, словно у него и не было тела. Он поглядывал деловито, безбоязненно — близилось его время, он ждал зова.

Стая каких-то бойких птиц опустилась неподалеку, засуетилась, застрекотала, то взмывая, то, приземлившись, шныряя в чащобе нетоптаных сухостойных трав.

Наконец под своим присмотром повар привел слуг, величественно несших подносы и чаши, но Тимур все это приказал отнести назад, а себе взял лишь холодное баранье ребрышко и чашку густого золотистого холодного кумыса. И раздумчиво, неторопливо, острым ножом састругивая узкие ломтики баранины, долго ел, пока на кости не осталось ничего, что было бы можно срезать, соскоблить или выковырнуть.

Потом маленькими-маленькими глотками допил кумыс, выплеснув со дна чашки одну лишь черноту, осевшую в последних каплях. Когда слуга хотел было снова наполнить чашку и наклонил над ней морщинистое горло бурдюка, Тимур отмахнулся:

— Не надо.

Когда же кликнули писцов, Тимур сидел в глубине, у деревянной решетки юрты, где из-под приподнятой кошмы веяло свежим, но не холодным ветерком и виднелась молодая трава, уже залоснившаяся под лучами.

Опершись на подушку, он наклонился вперед, словно нечто разглядывая в этой траве, и забыл ответить на их поклон.

Они на пестром войлоке опустились на колени и разложили перед собой письменные наборы, а бухарец Саид Ахмад Бахши раскрутил свой узелок и вынул из чалмы свиток бумаги.

Почти распластавшись над кошмой, придерживая левой рукой бумагу, четким, изысканным почерком, тем разборчивым насхом, который нравился Тимуру, бухарец начал писать.

Тимур с удивлением следил за ним.

— Еще не сказано, кому и что, а уж пишешь!..

Многим, кому доводилось слышать прямые вопросы Тимура, чудилась в его голосе угроза, и тех, кого он так спрашивал, бросало в дрожь, и в горле у них обрывалось дыхание.

Но Саид Ахмад Бахши разогнулся не прежде, чем упрямо дописал строку. Только тогда приподнял над бумагой тростинку и, не вставая с колен, выпрямился. Листок бумаги тотчас снова свернулся трубочкой. Бухарец спохватился, не смазались ли чернила, но трубочку не тронул, ожидая дальнейших слов Повелителя.

— Надо написать...— сказал Тимур и, уже ни к кому из остальных не обращаясь, одному бухарцу повторил: — Надо написать...

Он сощурил глаза и отвернулся, будто опять к чему-то приглядывался там, за решеткой юрты, и не решался сказать, пока не досмотрит то, что ему виделось вдалеке отсюда. Наконец кивнул:

— Пиши..

Но опять замолчал.

Птичья стая пропорхнула мимо юрты.

Оживившись, он решительно заговорил:

— Туда пиши. Этим, которые ушли отсюда. Туркменам, чьи выпасы тут были. Не хану их, беглому Кара-Юсуфу, а им самим. Ушли, мол. А что дал вам хан? Дал он пастбища? А? Сыт ваш скот? Сами-то сыты ли? Небось нет! А зачем было уходить от нас, когда мы одной крови. Братья. Кто бы вас тронул, когда бы вы прогнали прочь хана и прибегли к нам? Паслись бы тут, как до нас, на своей земле. Ханы прельстились дарами Баязета, как собаки костью. А вам от того что? Скота у вас

прибавилось? Вот так и пиши. Пускай, мол, не артачатся, а идут к нам. Не тронем ни самих, ни скота. А коль ханы заартачатся, пускай их вяжут да ведут к нам — ханам будет одно слово, а людям другое. А какие старшины захотят сами прийти, одарены будут. А какие не хотят, пускай там остаются, Баязету пятки чесать. Пиши все это.

И когда бухарец, раскрутив бумагу, снова распростерся над ней, Тимур повторил:

— Пускай приходят. Без страха.

И опять перебил начавшего писать:

— А сверху-то ты что написал?

— О Повелитель! Я, как надлежит, начал: « Во имя бога милостивого, милосердного...»

— Нет, срежь это. Начни так: «Мир вам, братья!..» А дальше пиши, как я сказал.

Бухарец писал. Тимур, отвернувшись, смотрел вдаль за решетку юрты.

Трое незанятых писцов застыли, боясь шелохнуться. Высунув кончик серого языка, бухарец старательно писал. Вдруг резко положил тростинку. Не разгибаясь, наспех почесал ляжку и снова склонился над письмом. Наконец он разогнулся и поклонился Тимуру.

Тимур, заметив его движение, продолжал разглядывать горы.

— Написал?

Так же, не поворачиваясь, он уловил кивок писца и велел:

— Читай.

— «Мир вам, братья! Повелитель Вселенной амир Тимур Гураган — да жалует его милостивый, милосердный!— указывает вам: свяжите ханов ваших — да ниспошлет на них меч гнева своего и да истребит их аллах всемогущий! — вернитесь на свои пастбища со своими стадами, и мы помилуем вас, ибо созданы мы единым богом всемогущим и от единого Адама род наш и ваш. И от щедрот милостивого, милосердного будет благо вам. Ныне повелеваю вам...»

Тимур гневно оборвал его:

— Нет! Я проповедей не сказывал писать! Я мулла, что ли? А дальше как? «Повелевает!» Тебе б не бумагу марать, а ханом стать, ты б тогда повелевал! А когда у них свои повелители есть, тогда что будет? Я повеле-

ваю, ханы повелевают, старейшины повелевают, Баязет повелевает. Кого ж им слушать? А нам надо, чтоб слушали нас! Пиши, я сам буду говорить: «Мир вам, братья! Амир Тимур говорит вам: я пришел к вам, а вас дома нет. Ваша земля пуста. Где прежде ваш скот нагуливал жир и тешил ваш взор, ныне трава немятая, нетоптаная, жалко смотреть. Весна идет. Новая трава пробивается, свежая, сочная...» Вот тут помяни бога: мол, «по щедрости своей напоил он ваши поля влагой, покрыл изобилием трав, а вы, пренебрегши его щедротами, его милостями, как язычники, отвернулись от милостей аллаха ради подачек ханских. Сами ушли и скот угнали по указам неразумных людей, нечестивцев, отвернувшихся в гордости от даров бога милостивого! В том велик грех, когда человек покидает землю, данную ему от рождения на радость и пропитание. Теперь небось топчетесь в тесноте по чужим землям, где ни стадам пастбищ, ни самим вам кормления неоткуда взять. Что натворили? А люди мы одной крови. И речь наша одна. И сердце наше едино. От единокровных братьев бежали. Искать защиты у одноглазого султана! А от кого защиты? Чем мы обидели вас, когда шли к вам, как гость к хозяину? Вашего ничего нам не надо — ни земель, ни стад, ни табунов. Идите к нам. Возвращайтесь домой! Но если ханы повелят вам лить нашу кровь, творить зло нам, берегитесь: бог милосердный покарает вас как братоубийц, нашлет падеж на скот, мор на людей, ручьи иссякнут, пастбища выгорят. Бойтесь страшной кары от бога нашего милосердного, карайте сами врагов своих, богоотступников, подобных язычникам, когда вздумают отговаривать вас от исконных, отчих ваших земель, где ныне вас нет и где травы гнутся, никем не потравленные, никем не топтанные, где птицы одиноко пролетают над всходами трав, бабочки сверкают, а вас дома нет! Возвращайтесь домой, братья. Ждем вас! Мир вам!..» Написал?

Бухарец, приподняв лицо и слегка отодвинувшись от бумаги, взглянул как бы со стороны на написанное и убежденно одобрил:

— Слово сочетается со словом, как зерно с зерном на нитке четок. Птицы, бабочки... Я б не додумался!..

Лицо Тимура непривычно смягчилось. Его глаза потеплели. Привыкшему к почестям и лести нехитрые слова



чернобородого бухарца оказались очень приятны. Но Тимур поспешил скрыть это удовольствие от взора посторонних:

— Птицы, бабочки — это чтоб им там видно было, как здесь пусто.

Писец ждал.

Помедлив, Тимур приказал:

— Прибавь еще: когда увидят, как мы идем в поход на самого султана, чтобы не смели вступать в бой за султана. Коли не смогут сами поддержать нас, пускай отойдут с дороги. Нам и того довольно.

И как бы себе самому пояснил:

— Как дойдет дело до битвы, Баязет позовет их. Их там много. Тысяч сорок конных воинов!

И велел остальным писцам:

— Спишите это. Чтобы было таких писем много. И вечером снесите их все сюда. И писать разборчиво, ясно, без кудрей! Возьмите у него и ступайте списывать. А ты останься.

Трое поднялись, сгибаясь в поклонах, и вышли, не разгибаясь, Саид Ахмад Бахши остался на своем месте.

Словно забыв о письме, Тимур велел слуге звать тысячника.

Когда тот, еще с порога валясь на колени, явился, Тимур приказал:

— К вечеру отбери гонцов. Двадцать ли, тридцать ли. Знающих здешние места. Таких неприметных, чтоб, минуя османов, добрались до туркменских становий. До племени Черных баранов и до прочих всех племен, что до нас тут жили. Отбери надежных. Может, из караванщиков, что здесь хаживали... Иди.

Тысячник, пятясь, вывалился из юрты и ринулся по крутой тропе в глубь оврага.

Тогда Тимур, как бы только что вспомнив о бухарце, спросил:

— Что ж не пишешь?

— А кому, о Повелитель!

— То письмо начал без спроса, а теперь ждешь?

Саид Ахмад Бахши снова склонился над чистым листком. Тимур присмотрелся.

— Бумага хороша ли?

— Китайская, а лощенье наше, бухарское. Лучше не бывает.

— Ферганская небось лучше?

— Наши мастера тамошним не уступают.

— Тогда пиши, как начал. Обращаемся мы к султану Баязету. Пиши миролюбиво, почтительно: да хранит,

мол, его милостивый, милосердный!.. Он природный султан! Красиво пиши, достойно. Понял? Начинай. А дальше так...

Но в это время за юртой сверкнула бабочка. Та ли, другая ли... И вдруг Тимуру вспомнилось, как давно когда-то он осмеял внука, маленького Улугбека, любившего гоняться за бабочками. Внука осмеял, а сам ныиче!..

Он закрыл глаза, чтоб яснее вспомнить и понять. Спохватившись, не заметил ли его раздумий писец, нахмурился. Но понемногу успокоился, глянув, как, ничего не видя вокруг, бухарец, прикусив губу, искусно писал. Хотя по неграмотности Тимур не мог прочитать, складно ли пишется, но был доволен: слова не сплетались в хитроумные завитки, а ложились строго и ровно.

Тимур отодвинулся в глубь юрты: снаружи затолклись струи дождя, приминая седину прошлогодней травы и умывая свежую. Прислушался, как застучали они по юрте, будто пальцы по тугой дойре.

Посвежело. Острее запахло всем, что было вокруг. Для Тимура были равны все запахи, смрад ли то, благоухание ли, пахло ли промокшей землей или проволгшим седлом.

Сидя на поджатой ноге, он вдруг поднял плечи, напрягся, словно не на кошме сидел, а смотрел с высокого седла в ту даль, что еще заслонена весенними ливнями и облаками, но полна сокровищами городов и людскими скопищами народов.

Он сидел один, разослав военачальников и слуг исполнять то или другое. За отворотом юрты ничего не виднелось, кроме дождя и белого, как вата, неба. Но ему и надо было, чтоб никто не мешал сквозь всю эту мглу пробиваться теперь своей мечтой к цели.

Он представил себе, как, сделав лишь шаг вперед, примет встречные удары. Они неминуемы, как встречный ветер, когда выходишь на степную дорогу. Здесь, рядом, не степь, здесь горы. Но и с горных круч порой такой ветер дует, что сбивает с седла. Когда ветер бьет навстречу, крепче шаг идущего вперед. А предстоящий путь надлежало пройти крепким шагом: впереди простирались земли и страны, какие султан Баязет считал своими или намеревался взять себе, хотя известно, что земля принадлежит аллаху, а кому ее он, милостивый, пожелает дать, о том легче судить Тимуру, ибо он Меч Аллаха.

2

Трое путников вошли в котловину, где стоял стан Тимура.

Над двоими высились островерхие войлочные колпаки дервишей. Их рубчатые халаты развевались при быстрой ходьбе. Холщовые штаны прижимались к тонким ногам. У одного на животе билась свисавшая с шеи на длинном ремешке скорлупа кокосового ореха, у другого эта чаша для подаяний была медной и держалась на веревке, привязанной к поясу. Но подаяний в их чашах не было.

Двое шли по дороге, постукивая обтертыми посохами, а третий ничем не был на них похож: и бороды не носил, а только усы, и круглоголов, когда те длиннолицы, и походка была приплясывающей, а не степенной, монашеской. На нем зеленела короткая куртка, а штаны он надел красные, узкие, и не колпак, а плоская шапочка покрывала голову щуплого человека. Он вел с собой рядом, а то и поднимал на руки серую обезьянку, и, оказываясь у него на руках, она, будто благословляя, клала ему на голову лиловые морщинистые ладони. Это шел базарный затейник, пристав к столь чуждым ему людям, как часто бывало в те времена, когда одинокому путнику опасно идти от селенья к селенью по безлюдной дороге.

Так они шли, и обезьянка то волочилась, натягивая цепочку, вслед за ними, что-то выискивая на дороге, то, поймав руку хозяина, мгновенно взбиралась по руке ему на плечо и с той высоты взирала на всю ложбину.

А ложбина впереди темнела от множества людей, от шатров и юрт стана, от всадников, скачущих из конца в конец того многолюдья.

Здесь, задолго до стана, путников остановил караул.
Караул заспорил с путниками, повторяя:
— К стану никому нет пути.
Базарный чудодей смеялся:
— Я шел потешить воинов, завоевателей вселенной.
— Нам тут и без тебя весело.
— Однако ж... Обезьяны-то у вас нет.
Воин прикрикнул:
— Что нам надо, у нас все есть.

Подъехал сотник. Вглядчиво присмотревшись к каждому из троих, спросил дервишей:

— А вы?

— Бога славим.

У Тимура среди дервишей много ходило своих людей по всем мусульманским краям. Не велено было отгонять дервишей, идущих в стан.

— У нас тут ханаки нет. Зачем вам сюда?

— К самому Повелителю. Дело есть.

Сотник приметил, что в дервишеских чашах не было следов подаяний. Чаши изнутри даже запылились оттого, что давно ничего там не бывало.

Сотник приказал дервишей под стражей пропустить в стан, но без чародея.

Дервиши заступились:

— Пусти и его. Он с нами. Мы его давно знаем. Наш человек.

Сотник, похлопывая плеткой по голенищу, еще раз молча оглядел чародея. Смилостивился:

— Ладно. Ступайте все втроем.

И отъехал, будто занятый более нужными делами.

Их провели в стан, но не допустили до белой палатки Повелителя, не раз расспрашивали — то один военачальник, то другой — и наконец довели до бека проведчиков.

Бек проведчиков не признал среди них ни одного, кого он под одеждой дервишей засылал в чужие места.

Тогда они ему открылись, что-то шепча на ухо, и, разрывая одежду, доставали оттуда какие-то доказательства прошептанных слов.

Все это делалось тихо, еле слышно, но опытный бек поверил им.

Несколько барласов плотно окружили их и отвели в баню, где, пока они мылись, быстрые руки умело обшарили всю одежду прибывших.

Одевшись, они прошли мимо белой палатки Повелителя. Гости забеспокоились: почему же мимо? Еще больше забеспокоились, когда, предводимые самим беком и сопровождаемые теми же отмалчивающимися барласами, пошли в сторону от лагеря в пустынное, вечереющее, безлюдное предгорье. Когда ввели их в глубокий овраг,

не смогши преодолеть беспокойства, один из дервишей испуганно воскликнул:

— О бек!

Бек обернулся без любезной улыбки и как-то торжественно, степенно кивнул:

— Тут рядом.

Это не утешило недобрых предчувствий, но путники примолкли, и только обезьянка вертелась и кривлялась на хозяйском плече.

Они успокоились, лишь заметив в овраге очаги под котлами, поваров и прочих людей, сидевших от котлов неподалеку и мирно разговаривавших.

Здесь пришельцы подождали, пока бек ходил из оврага наверх по каменистой тропинке.

Пока ждали, повара угостили их. Поели впервые за весь день. Приободрились: задумав убить, не кормили бы, такого обычая у Тимура не было, хотя они и не знали обычаев Тимура. Но, насытившись, и умирать легче.

Повара подошли к обезьянке, спросили у хозяина, чем ее покормить. Покормили. Она, по привычке, за подачку показала им свое уменье. Чародей велел ей:

— А ну, покажи, как султан Баязет в баню ходит!

И она показала. Очень похоже, как, гордо запрокинув одноглазую голову и небрежно поволакивая левую ногу, почесываясь, идет султан Баязет.

Кроме прибывших, здесь не было никого, кто видел бы самого Баязета, но все ясно представили его теперь.

Повара смеялись, удивлялись уму обезьянки. Сам чародей не выступал.

— После вашего угощенья поясница не гнется.

Вдруг сверху их позвал бек.

Они взошли по крутой тропинке.

Пошли вслед за беком снова в степь к неприглядной одинокой юрте.

Прежде чем они вошли, их встретил молодой человек с веселыми, незлыми глазами.

Он был одет не по-воински — в широком белом белье под распахнутым дорогим халатом.

Неподалеку от юрты он снова расспросил их, и они снова открыли ему свои имена.

Тимур видел эту беседу из-за решетки юрты, где край кошмы был приподнят.

Тимура удивило и озадачило, зачем Халиль-Султан беседует с какими-то бродягами.

Халиль-Султан, оставив прибывших, вернулся один в юрту к дедушке и пересказал свою беседу с дервишами. Тимур было перебил его:

— А третий-то вовсе не дервиш.

— Они все вместе.

Дослушав, Тимур заторопился:

— Ведите ж их!

И путников ввели на белый ковер Повелителя. Это, переодевшись, чтобы обмануть заставы султана Баязета, пришли к Тимуру владетельные беки. Их землями завладел Баязет, устанавливая там свои налоги, ставя там своих людей. Наследственные владетели удельных бекств в Анатолии, они сносили власть султана Мурада, но, когда тот пал на Косовом поле, объединились для борьбы за свои права.

Лет десять назад клич кликнул Ала-ад-дин-бей, глава рода Караман-оглы. Столицей его была Конья. Он призвал всех беков гнать прочь османских ставленников, брать власть над отчими уделами.

В годы султана Мурада они породнились и примирились с Мурадом. На дочери султана, на сестре нынешнего Баязета, был женат саруханский бек Хазыр-хан. Нынче он пришел с обезьянкой к порогу Тимура.

Двое, одевшиеся дервишами, тоже оказались в родстве с Баязетом, беки Гермиана и удела Айдын.

Восстание их Баязет подавил, явившись в Анатолию в союзе со своим тогдашним другом Мануилом, императором Византии. Десять лет Баязет продержал под стражей непокорных беков, забыв заветы отца: править ими добром, а не силой. Десять лет беки прикидывались, что сознают свою оплошность.

И вот перехитрили стражей Баязета. Ушли. И пришли к одинокой юрте, куда добрались, обдирая одежду о чертополох и репейники безлюдной котловины.

Беки вступили на белый ковер Повелителя, и после приветствий Тимур их спросил:

— Что принесли вы сюда, высокородные беи?

Стесняясь здесь своей базарной одежды, Хазыр-хан прикрыл грудь большими руками и, вздохнув, ответил:

— О амир! Милостивый! Справедливый! Мы принесли досаду, обиду, боль.

— Кто раздосадовал вас?

— Жестокий осман Баязет. Подавил наши права. Завладел уделами. Понасажал править нами своих сыновей, родичей, покорных слуг.

Они рассказали один вслед за другим, как налоги и подати Баязет забирает себе, а их десять лет держал под стражей.

Хазыр-хан кивнул в сторону обезьянки, притихшей на цепочке у входа:

— Не добудь я эту тварь, не прикинься базарным шутом, не уйти бы мне и поныне из Бурсы мимо караулов Баязетовых.

Каждый рассказал, как удалось ему вырваться из заточенья, как встретились все, чтобы втроем предстать здесь, молить о защите.

— Все тюрки едины, а он поступил так, будто и не мусульмане мы, а пленные язычники. Ты один истинный Повелитель мусульман. Дозволь нам опереться на твою милость.

Один из дервишей простонал:

— Он отнял у нас могущество, короны, унаследованные от прадедов.

Тимур нахмурился:

— Один аллах дает человеку могущество и корону. Он один властен отнять то, что он, единый, дает человеку.

— Но ведь руками Баязета! — вскричал бек.

— О Баязете и говорите.

— Дозволь стать нам в твоем войске, коли оно идет на Баязета.

— Войск у вас при себе нет. Чем мне поможете?

— Верностью.

Двое других беков поддержали этого:

— Клянемся.

— Когда придет время, покажете себя. Я разгляжу вашу верность. А ваши уделы верну вам.

— Мы не одни. Один из нас не дошел сюда, он в Синоне. Но мысли его заадно с нами.

— И ему поможем, если в нужное время сослужит нам.

Стемнело. Внесли свечи, как бывало, когда принимали знатных гостей. Запахло воском, медом. Обезьянка завозилась, увлеченная игрой пламени.

Покосившись на свечи, Хазыр-хан сказал:

— О амир! Ты принял своих рабов, как гостей.

Тимур резко прервал его:

— Нет! Вы здесь не гости.

Он посмотрел на всех и договорил:

— Вы мои сыновья. И что положено моим сыновьям, то и вам положено.

Он позвал Халиль-Султана.

— Довольно ютиться в сей юрте. Моих сыновей, ниспосланных нам аллахом, поведем в наш стан.

Тимур пошел, тяжело хромая, к выходу, полой халата задев обезьянку, прижавшуюся у двери, и вышел к лошадям.

С факелами явились конные барласы.

Бекам подвели заседланных лошадей, и по освещенной факелами дороге все поехали в стан.

Хазыр-хан говорил, счастливый, что за десять лет дождался сесть на хорошего коня, богато заседланного, как в былые счастливые годы.

Бек говорил:

— Мы тюрки. Мы одной крови, о амир! Владей нами! Да будут наши земли крошками твоей земли. Только б сгинул лукавый Баязет. Ты глава тюрок. Твой родной язык и нам родной.

Тимур:

— Баязет тоже тюрок.

Хазыр-хан:

— Но не всяк истинный.

Тимур:

— Истинный тот, кто справедлив и добр.

Хазыр-хан:

— Запомню на всю жизнь.

Сбросивший колпак, но все еще облаченный дервишем гермианский бек прислушивался и поддакивал.

Бывало время, лет за двадцать до сего, когда султан Мурад подозвал Баязета и сказал: «На твою голову снизошло счастье. Гермианский бек дает тебе в жены свою дочь». Слава о красоте той девушки была всеобщей. Восхваляли ее ум. Ее звали Давлет Хатун. Видя, что Баязет задумался, Мурад объяснил: «Не только красотой овладеешь: среди беков нет бека богаче гермианского. Нет удела завиднее, чем его удел. Радуйся, зять гермианского бека!» И она вошла снохой в семью султана Му-

рада. Нынешний бек гермианский ей родной брат. Но уже давно от нее отвернулся Баязет, поддавшийся голубоглазой сербиянке, взятой в жены после Косовой битвы. А Давлет Хатун вошла в дом султана не только с караваном, привезшим драгоценное приданое, она принесла Баязету небольшой сверток. Развязав его, Баязет удивился: в шелковом платке ничего не оказалось, кроме простой земли. Баязет вскрикнул: «Что это?» — и заподозрил насмешку или загадку. Но Давлет Хатун спокойно ответила: «Земля моих предков. Отныне ее всю я принесла тебе». И он завладел полями и городами на той земле, изгнал исконных ее хозяев, и вот потомственный бек той земли радуется, что снова едет на хорошем коне, на хорошем, но чужом.

Тимур был доволен: если беки, бывшие опорой в делах султана Мурада, перебегают от султана Баязета, надо осчастливить их, чтобы и прочие сюда сбегались. Ведь, устав от поборов и власти Баязета, их прежние подданные верят, будто природные беки вернут им прежнюю жизнь. Можно от имени этих нежданных сыновей писать воззвания и сулить посулы жителям далеких бекств, богатым городам благословенной Анатолии.

Под рев ликующих труб беки сбросили ненавистные лохмотья и приняли одежду, которую надели на них Тимуровы вельможи, возглавленные Шах-Маликом.

Их посадили направо от Повелителя, где полагалось сидеть его сыновьям и внукам.

В широкий круг между пирующими под ворчание дойр вошли двое борцов, выставленных из воинов Абу-Бекра и Халиль-Султана, двух внуков Повелителя, двух сыновей Мираншаха. Силач Абу-Бекра, Великан, был тяжелым, суровым. Силач Халиль-Султана уступал ростом, но был жилист, подвижен, насмешлив. Его звали Малышок, хотя над остальными воинами он тоже возвышался на голову.

Оба были наги до пояса. Оба закатали исподние тонкие штаны до колен, а плечи и спины смазали маслом.

Насмешливый Малышок дразнил Великана едкими шутками, тот сердился и кидался на увертливого Малышка. Великану удалось сграбастать противника, но юркий Малышок выскользнул из опасных объятий.

Гости перешептывались, заспорив: одни ставили на

Великана, другие — на Малышка. Ставками были лошади, рабыни, серебро из добычи.

Великан попытался сорвать пояс с Малышка и тем его опозорить перед всеми. Малышок увернулся, и Великан едва устоял на ногах. Малышок, улучив мгновение, схватил Великана за шею. Великан выпрямился, и Малышок повис у него на шее. При этом нечаянным движением Малышок коснулся подмышек Великана. Тот взревел от смеха — Великан боялся щекотки. Теперь Малышок знал слабое место противника и дразнил, дразнил его, уверенный, что миг победы недалек. Оставалось изнурять и сердить Великана.

Потеряв терпенье, рассерженный Великан всей силой и тяжестью кинулся на Малышка. Но не поостерегся подножки и грузно рухнул навзничь. Малышок возликовал.

Тимур недовольно смотрел вслед ликующему победителю — Повелитель загадал на Великана.

Тогда незаметно для всех, забытая хозяином, на пир пробралась обезьянка, волоча за собой цепочку: она одна в темноте прибежала сюда вслед за людьми.

Подбежав к Хазыр-хану, она увидела Тимура, сидевшего наискосок от нее между блюдами, и пошла по скатерти к нему, согнув, как неживую, правую руку и тяжело припадая на хромой ноге.

Вышло столь похоже на Повелителя, что все, кто ее заметил, замерли в ужасе или заслонились рукавами, чтобы скрыть опасный смех.

Но Тимур не видел ее. Он смотрел вслед уходящему победителю. Хазыр-хан успел поймать конец цепочки, и обезьянкина прогулка закончилась.

3

Проходя верхней открытой галереей, висевшей над Бурсой, султан Баязет привычно косил глаз на тесноту города, где все здания, как бы ссыпанные сюда, к подножию дворца, казалось, громоздились одно на другое. И все здания, все строения сейчас, в озарении весеннего утра, выглядели не только обновленными, но и иными, чем обычно: стены казались золотыми, а балконы, своды, карнизы — работой искусного чеканщика, а загородные

сады — коврами из розоватого румского бархата. Не город, а неизъяснимая сокровищница, словно вдруг распахнули ее перед султаном в завоеванной стране, сваленная грудой несметная добыча. И весь он жил тысячами жизней, наполнявших его. Султанского уха достигало множество звуков и голосов, слившихся в единую песню, так сотни голубых дымков, поднимаясь там и сям, сливаются в единое небо, распростертое надо всем городом.

После этого сияния темной пещерой показалась комната, куда он вступил: обитая темным деревом, с низенькими узкими диванами вдоль трех стен, с красновато-черным ковром на полу, с громоздким, свисавшим с потолка деревянным светильником на тридцать свечей над низеньким, на уровне диванов, черным восьмиугольным столиком. Два окна светились в таких глубоких нишах, что на подоконниках, постелив тюфячки, можно было лежать, поглядывая вниз, во двор, через кованые прутья клеток, защищавших окно. Только через цветные стекла окон на ковер падали и сияли многоцветные блики—алые, зеленые, желтые, как осколки стеклянных чаш.

Когда султан вошел, с подоконников поднялись трое его сыновей, старшие, уже женатые,— Иса, Мехмед, Муса,— успевшие отличиться в битвах и в иных делах, удостоенные права присутствовать на отцовских совещаниях. В течение дня они редко встречались: у каждого были свои друзья, свои любимцы, свои воины, свои дворцы. Младшие же сыновья, обитавшие возле матерей, допускались только на приемы, где неподвижно стояли или сидели в тяжелых драгоценных одеждах среди изобилия украшений, коими сверкал султанский дворец в Бурсе.

В зале пахло курениями, тяжеловатым дымом ливанских смол, а от царевичей — тонким благовонием магрибской мастики.

Лет двадцать или более тому назад, когда эти сыновья, еще несмышленыши, пробуждались на рассвете, султан, выходя в гарем в одних лишь шальварах, любил прижимать их тепленькие со сна тельца к своей голой груди и слушать, как бьются их сердечки в лад с его большим крепким сердцем, как, притихнув, они тоже к чему-то прислушиваются. Теперь они заняты лишь биением своих сердец.

Среди старших сыновей не было царевича Сулеймана, которого в прошлом году Баязет поставил правителем Сиваса. Не было и другого сына, который находился с войсками под Константинополем, завершая окружение того великого города, чтобы, замкнув кольцо осады, завладеть всем величием и соблазнами, накопленными надменной Византией.

Сам султан провел среди этих войск всю зиму. Чайки кружили над парусами османских кораблей, когда Баязет провожал войска через Черное море в тыл к византийцам. Ржание коней могучей султанской конницы заглушало шум моря, когда по зыбким сходням конница грузилась на корабли. Острый, густой запах лошадей был тяжелее и устойчивей, чем свежие ветры с Босфора. Сила и твердость наполняли султана гордыней, когда с холмов он видел сквозь жемчужную мглу, как над городскими стенами высоко на холме мерцает над всем городом, словно опрокинутая серебряная чаша со следами стершейся позолоты, святыня византийских святынь — храм Софии, Премудрости Божьей, венчанный как бы парящим в воздухе золотым крестом.

Воины Баязета уже хозяйничали на островах многих морей — Ионического, Мраморного, Эгейского... Султан намеревался перешагнуть через Константинополь и, не задерживаясь, идти дальше. Впереди стояли и Афины, и Рим — страны легендарных богатств и завидного плодородия. Но сперва он хотел войти в Константинополь. Он хотел, как всегда бывало, сам возглавить тот завершающий удар, когда впереди отборной конницы он вонзался в ряды дрогнувшего врага и овладевал победой и славой.

Слава служила ему, как быстроногий передовой отряд, чтобы, еще прежде чем султан двинет войска на приступ, она уже пронзала сердца врагов страхом, сомнением, отчаянием. Взятие Константинополя, к коему было привлечено напряженное, тревожное внимание всего христианского мира, поставило бы Баязета перед всем христианским миром в ореоле неодолимого могущества. Такая слава мчалась бы день и ночь, сверкая золотыми подковами, впереди Баязета, уже не как передовой отряд, а как сила более могучая, чем войско султана: и воины, придя к цели, не вынимая сабель из ножен, лишь брали бы то, что устрашено и обезоружено силой такой

славы. Константинополь был драгоценным ключом ко всему христианскому миру, и султану казалось, что ключ этот уже заткнут у него за пояс рядом с кривым кинжалом.

Тогда пришла досадная весть о появлении орд Тимура на восточных рубежах Баязетовой державы, в окрестностях Арзинджана, на османских дорогах. Там стояли от Баязета только небольшие караулы внутри городских стен. Не слишком опасаясь диких степных войск этого хромого кочевника, чабана, Баязет послал часть пехоты, стоявшую в запасе и предназначенную для охраны Константинополя, когда само войско, взяв город, пойдет в дальнейший поход. Пять или шесть тысяч сабель, отобранные из сербов, а более всего из мусульман. Возглавлял их турок, круглолицый, усатый, веселый Мустафа. Он повел их в Сивас, дабы укрепить власть царевича Сулеймана, а Тимура устрашить и обуздать. Назначив на лето решающий приступ, последнюю битву за Константинополь, султан оставил другого своего сына продолжать осаду и завершать окружение города, а сам возвратился в Бурсу, чтобы вникнуть в дела государства и успокоить свои восточные рубежи заботой и попечением.

4

Сыновья стояли возле окон, и султан ответил на их поклоны миролюбиво, благодушно кивнув головой.

Он сел на среднем диване, на то место, перед которым на полу лежал маленький коврик, а на стене позади этого места висел небольшой узкий ковер, некогда белый, но давно пожелтелый от возраста,— ковер султана Мурада, сопутствовавший ему во многих походах. На этот ковер, как сказывали очевидцы, положили грозного Мурада, когда в битве на Косовом поле сербский богатырь Милош Обилич ударил турка копьем в грудь так, что острие вышло из спины завоевателя. Баязет, став первым турецким повелителем над порабощенными сербами, албанцами и валахами, повесил этот ковер перед глазами, и он висел там, доколе жил убийца, доколе не была отомщена кровь отца. Когда аллах дал Баязету кровь Милоша, Баязет перевесил ковер сюда, себе за спину.

Едва султан сел, старший из присутствующих сыновей подошел к отцу с длинногорлым золотым кувшином; второй сын — с глубоким тазиком, покрытым по краю узором из лалов и топазов; третий — с длинным полотенцем.

Баязету плеснули душистой воды на руки. Дали вытереть их. В комнате запахло казанлыкскими розами.

Когда Баязет, поджав ноги, удобнее уселся на диване, впустили его ближайших советников.

Проницательный Баязет приметил в своих вельможах беспокойство, смущение, затаенные мысли. Под прямым взглядом султана старые вельможи потупляли глаза, отводили свой взгляд в сторону, а когда не подозревали, что султан следит за ними, даже переглядывались между собой.

Ведавший разведкой и гонцами Куйлюк-бей должен был начинать изложение всех новостей и посланий, скопившихся за ночь, но в это утро Куйлюк-бей отсутствовал: султан послал его к стенам Константинополя, где обострилась неприязнь между сербами — воеводами, возглавлявшими сорокатысячную сербскую конницу, и турком, которому Баязет подчинил этих воевод.

Без Куйлюк-бея начать беседу надлежало старшему по возрасту из присутствующих вельмож. Старик — ровесник и соратник еще султана Мурада,— наименее осведомленный о делах и новостях, может быть, и не столь грузный, каким делали его широкие и тяжелые халаты, казался раздувшимся, когда сел и халаты встопорщились. Он о чем-то размечтался, то пожевывая пухлыми губами, то ловко дуя в круглую пушистую бороду, и не ожидал, что султан обратится к нему. Он обмер, услышав вопрос султана:

— Какими вестями вы намерены просветить нас? Какими мыслями желаете обогатить нашу беседу, преславный бей?

Напряженно выкатив глаза, словно что-то застряло у него в горле, старик прохрипел:

— Арабы...

Баязет вздрогнул от этого слова, и ярость, и смятение сверкнули в глазах султана. И прежде чем он успел их подавить, опытный царедворец уже заметил эти чувства, промелькнувшие в душе повелителя, но, не понимая, чем оплошал, смешался:

— Сирийские арабы из каравана, из того, что нынче вошел в город, сказывают: в Арзинджане со своим войском татарский Тимур. С ним, ему служит, ему предан Мутаххартен, что в прошлом году сбежал от нас к Тимуру...

Имущество Мутаххартена, его стада, табуны год назад достались Баязету. Султану неприятно было узнать, что Тимур приютил беглеца. Неприятно было и еще одно подтверждение, что город, где Баязет держал свои караулы и уже собирал дань, захвачен татарами, как звали здесь воинов Тимура, и, значит, они не боятся прогневать султана Баязета.

Баязет столь же застал врасплох военачальника Орхан-бея, когда, быстро повернувшись к нему, спросил:

— А ты что об этом знаешь?

Орхан-бей, посланный из Сиваса царевичем Сулейманом и прибывший в Бурсу лишь вчера вечером, не успел подготовиться, чтобы приступить к делу с надлежащей осторожностью. На прямой вопрос прямо высказал цель своего приезда:

— Царевич просит помощи. Из Арзинджана Тимур может двинуть войска на Сивас.

— Я послал туда Мустафу. Сивасские армяне на татар злы. Там каждый будет за двоих биться.

— Если они будут стоить даже десяти тысяч, этого мало, чтобы город смог устоять.

— А стены! А башни! Там каждая башня одна другой крепче! А рвы! Вода во рвах есть?

— Воды полно, но...

— А есть вода, под стены не подкопаются: вода зальет подкоп. А без подкопа таких стен не пробьют!..

И вдруг вспомнил, что еще сегодня на заре осуждал Ахмада Джалаира, что понадеялся на крепостные стены Багдада и потерял великие сокровища своих предков и древних царей Персии и ныне ютится здесь, в Бурсе, под Баязетовым кровом. Вспомнил и мамлюкского султана Фараджа, что ныне отмалчивается, надеясь отсидеться в Каире за толщиной стен. Вот и сам он заговорил о толщине стен, а не о подготовке к битвам. И поправился:

— Толщина стен и вода во рвах — хорошо. Для защиты города хорошо. Воин должен оборонять и стены и город. Под крепким воином каждая стена крепка. Под

слабым воином никакая стена не крепка. Сила стены — в силе воина.

Султану Баязету довелось на своем веку брать приступом немало городов у многих и разных защитников. У болгар и у греков, у валахов и у венгров. Он еще при жизни отца осаждал вражеские крепости и брал их. Уже сам став султаном, за какие-нибудь десять лет завоевал Болгарию, Македонию, Фессалию. В Греции он сровнял с землей город Аргос в наказание за упорство защитников. Он на кораблях водил турок к греческим островам и сокрушал там и древние стены, и мужество защитников, а мужество врага — это тоже крепость, это тоже стены, еще более толстые, чем сложенные из камней. Разве не страшной стеной встали перед Баязетом христианские рати, возглавленные венгерским королем Сигизмундом? Пять лет прошло с той битвы на берегу Дуная. Под знаменами папы Римского соединились многие христиане — венгры и немцы, поляки и французы, сто тысяч христиан. Короли послали в эту битву знаменитейших рыцарей и лучшие войска. Французов повел маршал Бусико, немецких рыцарей —Фридрих Гогенцоллерн. Даже папа послал своих попов и монахов с крестами и молитвами.

Разве это не стена, когда перед твоими глазами встает сто тысяч врагов — мечей, копий, щитов, лат, крестов и хоругвей!

Султан Баязет пробил эту стену, она рухнула, он ее истоптал своей конницей, овладел отменной добычей и тысячами пленных. Но победа обошлась дорого, потери среди Баязетовых войск оказались велики. Всех пленных монахов Баязет раздал своим беспутным соратникам, которые пренебрегали ласками женщин. Однако королю Сигизмунду удалось ускакать. Самому ненавистному врагу удалось ускользнуть из рук Баязета, как за несколько лет до этого на Косовом поле спасся безбоязненный Милош Обилич, когда на глазах у Баязета копьем пронзил насквозь султана Мурада, выдернул копье и, этим копьем подпираясь, тремя невиданными прыжками ушел, прежде чем кинулась на него оторопевшая конная стража.

Тогда в отместку за отцову кровь Баязет, еще не успев стать султаном, но уже от султанского имени, приказал казнить царя сербского Лазаря, а его дочь взял к се-

бе в гарем. Там же брат Баязета Якуб по праву старшинства попытался провозгласить себя султаном. Баязет возразил: «Сперва надо похоронить отца». Там, на Косовом поле, зарыли сердце султана Мурада, а тело его повезли длинной дорогой в Бурсу. И пока отца везли к могиле, Баязет уложил в могилу и своего несговорчивого брата Якуба.

Баязет никогда не оборонялся. Он был стремителен, нежданно-негаданно кидаясь на врага или на того, кто мог стать врагом. Его удар был всегда внезапным и крепким, как удар молнии. За это враги и друзья прозвали Баязета Молниеносным. Но быстрота хороша в наступлении, в нашествии, в битве. Он весело пробивал стены, сминал ряды врагов, приступом брал города. Теперь же надлежало подумать об обороне своих городов, о защите своих данников от неведомой и необузданной силы, надвигающейся из глубины далеких, диких степей. Впервые в жизни приходилось думать об обороне и защите. Быстрый удар по врагу здесь не годился, а каким следует быть, когда наступают на него, он не знал. Не знал, и это приводило его в ярость. Он пытался подавить и скрыть свою ярость от присутствующих собеседников, и, чтобы собраться с мыслями, он с ненужными подробностями и медлительностью давал указания Орхан-бею, как следует укреплять оборону городов. От усилий подчинить ярость разуму голос султана срывался, хрипел, горло пересыхало, и это было видно и понятно всем, кто его давно знал и понимал.

Чтобы скрыть губы, дергающиеся и вздрагивающие вопреки усилиям, Баязет прикрыл рот ладонью, притворяясь, что расправляет усы, что в раздумье разглаживает бороду.

Он отпустил Орхан-бея и сидел молча, давая себе время успокоиться, когда через порог переступил резвый Касим, один из его младших сыновей, и, деловито помахивая руками, в халатике, излишне просторном и длинном, прямо пошел к отцу.

Никому из младших сыновей, никому даже из вельмож не дозволялось появление в этой комнате, где длился совет.

Царевичу довелось два или три раза на торжествах принимать от послов царские или королевские грамоты и нести их отцу—султану. Этот обычай, перенятый от ка-

ких-то древних, может быть еще вавилонских или египетских, владык, соблюдался при многих властителях Востока. Султан Баязет не придавал значения, кто из его сыновей исполняет этот обычай, но маленький царевич ревниво следил, чтобы не другой кто-нибудь, а он сам и впредь передавал отцу все послания, все грамоты царственных лиц. А от кого же еще могла быть эта грамота, когда ее торжественно несли чужеземцы?

Не оборачиваясь к двери, до порога которой вслед за ним кто-то бежал и где теперь приглушенно, но тревожно переговаривались какие-то люди, мальчик дошел до отца и протянул ему свернутый свиток. Протянул с тем особым, торжественным поклоном, как прежде делал это на глазах у сотни гостей.

Но султан, взмахнув хохолком чалмы, откинулся от протянутого свитка, еще не поняв, что хочет от него малыш, и удивленный настолько, что сразу успокоился.

Один из старших сыновей, Муса, подоспев к отцу и взяв свиток из рук маленького брата, спросил:

— Что это?

Мальчик счел вопрос излишним, когда все видели, что это свиток.

— Где ты взял? — спросил царевич Муса.

— От посла, который примчался.

Оказалось, во дворец прибыли какие-то посланцы, привезшие грамоту, и когда они несли ее перед собой как знак на право войти к султану, им встретился маленький царевич и потянулся за свитком:

— Дайте мне. Я отнесу.

Помня такой обычай при дворе своего повелителя, решив, что и здесь такой же порядок, посланцы отдали свиток мальчику и пошли следом. А когда вельможи попытались перехватить мальчика, тот успел переступить за порог запретной залы, где совещался султан и куда уже никто не посмел идти.

Так без обиняков и окольных путей грамота появилась перед султаном.

— Откуда? — спросил успокоившийся султан и протянул руку, чтобы посмотреть странный свиток.

Мальчик покачал головой:

— Не знаю. Я их никогда не видел.

Тогда султан послал царевича Мусу:

— Кто такие? Узнай.

И пока старший сын шел к двери, султан осмотрел туго скрученный, помятый, похожий на обрубленный палец, желтый пергамент свитка, заклеенный круглой облаткой, и повертел в руке.

В это время перед Мусой сразу за дверью предстали, с ужасом глядя на него, всполошенные турки, вельможи вперемежку с янычарами из караула, упустившие маленького царевича.

А за спинами турок стояло трое рослых людей неведомого племени. Красные усы, подбритые бороды, красные косицы, свешивающиеся с высоких шапок. Бесстрашными, жесткими глазами чужеземцы разглядывали царевича Мусу. В суматохе их так и забыли остановить, они спокойно шли позади турок, бежавших за ребенком. Думая, что таков обычай в этом дворце, посланцы дошли почти до самого султана.

Глядя на своих вельмож, Муса спросил:

— Откуда он взял свиток?

Не зная, кого из них спрашивают, они отвечали сбивчиво, второпях перебивая друг друга:

— От послов. От гонцов. От этих вот...

И все поспешили расступиться, надеясь перевалить гнев с себя на этих пришлых людей.

— Откуда вы? — спросил Муса, разглядывая странную их одежду, пыльные, забрызганные грязью грубые рыжие дорожные чекмени, обшитые красной, почернелой от пота и пыли тесьмой; плетки, свисавшие на истертых ремешках; смуглые лица, обожженные весенним ветром. В таком виде никакой посол не посмел бы ступить даже во двор дворца, эти же встали у самого султанского порога.

К сему порогу они не чаяли попасть так внезапно и запросто. Но им не дали времени ни помыться, ни почиститься. Старший из посланцев принял случившийся переполох за обычный испуг, какой везде внушало их появление. Как все, переполошились и турки! Поэтому с нарочитым достоинством и даже надменно ответил:

— От великого Повелителя Вселенной, Меча Справедливости, амира Тимура Гурагана здешнему султану привет и письмо.

Муса, не зная, как следовало бы встретить таких послов, какую встречу пожелает оказать им султан и

как считать их, послами ли, гонцами ли, смешался и кивнул:

— Постойте тут...

Чувствуя, что поддается непривычному смятению под немигающими, жестокими, бесстыдными взглядами гонцов, взирающих на него, как никогда никто не смел на него взглянуть, он хотел бы тотчас выдворить их отсюда, но, не смея этого без воли султана, молчал, стоял, не зная, что же им сказать, и не решаясь уйти, ничего не сказав.

Но свиток уже вертелся в руках султана. Дожидаясь возвращения Мусы, султан небрежно сковырнул заклейку и рассеянно то раскручивал, то снова скручивал свиток, не пытаясь в полумгле комнаты заглянуть в него. Прежде чем дать чтецу, он хотел узнать, кем это послано.

Присутствующие с любопытством и беспокойством, не чая добрых вестей, ожидали царевича, заслоненного створкой двери. Они догадывались, что там произошла какая-то неожиданность. Тревога их возрастала. Все они явились сюда возбужденные многочисленными недобрыми вестями и темными слухами о движении пока еще далекого Тимура, избегая и боясь заговорить обо всем этом с султаном, пока он сам их не спросит, и не смея долго скрывать то, про что уже говорят по всему городу. Никому не хотелось, никто не решался начать столь досадную беседу, хотя каждый из них шел сюда с ноющим сердцем, с тяжелыми раздумьями в это раннее весеннее утро.

ГЛАВА VII

СИВАС

1

Слухи, что Тимур из Арзинджана движется на Сивас, давно доходили до Сиваса. Передовые конные части то тут, то там показывались на дорогах, останавливали караваны, заворачивали их в свою сторону. Но жители, навидавшиеся многих нашествий, еще надеялись, что гроза пройдет стороной.

Сивасцы, с надеждой посматривая на войско, присланное Баязетом в город и здесь уже обжившееся, любовались и оружием, и воинской выправкой своих защитников и продолжали повседневные дела.

Каменщики, стоя высоко на стенах над многолюдными улицами, завершали своды базарных рядов. Каменный ряд подошел к древней бане, уцелевшей от римских времен.

Строили старательно, по заветам отцов, строителей старинных, трудолюбивых, наглядевшихся на древние здания и перенявших правило строить навечно.

Новый каменный ряд вплотную подошел и к подворью, которое здесь называли ханом. Там жил Мулло Камар. Его спутник Шо-Исо перебрался на другой край базара — к мечети, во двор, обнесенный каменной стеной, и там ютился в темной маленькой келье, как ядро в скорлупе ореха.

Мулло Камар остался на верху того же подворья, древнего хана, ровесника римской бани. Ему теперь стало как-то тягостно ходить в ту баню. Двор хана напоминал двор языческого храма. У византийцев здесь мог процветать монастырь, а у сельджуков — мадраса с уютными кельями. Двор хана со всех сторон обступали огромные мраморные столбы. В раннюю византийскую пору много новых зданий украшали столбами, свезенными в это место при разрушении языческих капищ, из покинутых храмов и римских дворцов. К могучим столбам пристроили круглые своды и на эти своды поставили такой же ряд языческих колонн, не столь больших, но столь же стройных. Наверху над колоннами сложили кельи поменьше. В одной из них и приютился Мулло Камар, тихо, украдчиво приглядываясь к торговой жизни, теснившейся внизу, во дворе.

Между большими колоннами помещались склады товаров или торговали чужеземные купцы. Позади этого двора был и другой двор. Там ставили лошадей и теснились кельи для слуг и рабов.

Верблюдов здесь не держали — для них в Сивасе было немало площадей, густо устланных скользкой соломой и ломким сеном.

Этот мир нравился Мулло Камару, и, как все пришлые купцы, выжидавшие лучших дел, он вел небольшую торговлю и постепенно стал для Сиваса привычным, своим человеком.

Но его неотступно томила тоска по утраченной пайцзе, как порой юношу гложет тоска по сбежавшей возлюбленной.

Внизу, в одном из складов, забитом вьюками товаров, готовых к отправке в путь, среди тяжелых мешков в темном углу поместился горбун-караванщик Николас, венециец, готовясь вести караван по горным тропам в Трапезунд, откуда Николас вернется, а какой-нибудь корабль повезет эти мешки по морю, через Босфор, в христианскую Византию, а то и далее, минуя Мраморное, в Эгейское море, мимо зеленых островов, в смуглую ли Геную, в розовую ли Венецию.

Мешки громоздились до самых сводов. Пахло сушеным мясом, столь ценившимся в заморских странах; пахло лощеным шелком, крашеным сафьяном. Опытный караванщик, много исходивший со здешними товарами,

Николас по запаху мог узнать не только товар, наглухо зашитый в мешках, но и каков он. Даже цвет сафьяна горбун различал по запаху — зеленая краска пахла иначе, чем желтая.

Бывал в том дворе и рослый турок с золотой серьгой в маленьком ухе, но уже давно он ушел с караваном в Бурсу, повез такие же мешки сушеного мяса, каким славился Сивас на разных базарах. Многие тут умело готовили это: по всему городу на карнизах домов висели ряды провяливающегося мяса. Плоские ломти, снаружи обтертые солью и красным перцем, подолгу провяливались на свежем ветру, пока не затвердевали, сохранив в себе животворные соки, а наструганные тонкими лепестками оказывались прозрачны, багряны, мягки. Годами они могли храниться, и нечем было их заменить в долгих дорогах, в безлюдных и бесплодных просторах, где проходили длинные караванные пути.

Сафьяна вывозили отсюда меньше—его умели делать греки и торговали им армяне. А шелк ткали и лощили отсюда вдалеке, его в Сивасе только перевьючивали с каравана на караван. И много всего иного делали здесь или перепродавали на таких тесных торговых дворах. И эти плоды труда из века в век кормили и радовали людей Сиваса.

Приходил сюда и белобородый благочестивый старец, владевший таким же большим ханом. От него ходили большие караваны на юг, в страны арабов, откуда к нему везли сушеный инжир и финики.

Много людей изо дня в день сходилось сюда. О чем-то спорили, торговались, чему-то вдруг радовались или смолкали в отчаянии.

А каменщики строили, удлиняя сводчатые крытые ряды былого византийского торжища и возводя открытые лавки, удобные для торговцев коврами, седлами, медными котлами, многообразными посудами гончаров.

Со стройки целые дни доносились стуки и окрики, порой обрывки неизвестной песни, которую запевал и прерывал всегда один и тот же голос, — почти всякий труд в ту пору был молчалив.

Запахнувшись в серенький халат, сшитый уже по здешнему покрою, Мулло Камар зорко смотрел, словно ястребок, выглядывая сверху тех беспечных пичуг, среди которых всегда есть птичка для поживы.

Порой он стремительно спускался во двор, хватал кого-то под руку, отводил в сторону и либо что-то спешил продать, либо торопливо покупал, пока другие не спохватились.

Он уже многое тут высмотрел и узнал и был бы полезен Повелителю Вселенной, если б знать, как уцелеть, когда сюда нахлынет нашествие.

Среди посетителей караван-сарая Мулло Қамар давно приметил немолодого человека, поджарого, гибкого и легкого, как юноша. Он входил во двор, и с ним шла его охрана — трое или четверо высоких широкоплечих воинов, одетых в короткие узкие халаты, опоясанных широкими ремнями, увешанных саблями и кинжалами, оправленными серебром. В их руках всегда были короткие ременные плетки, и они придирчиво оглядывали каждого, кого встречали тут, во дворе.

Двор затихал при их появлении.

В один из дней они уходили и возвращались несколько раз.

Мулло Қамар слез во двор разузнать о тех всадниках, входивших сюда пешком, оставив лошадей за воротами.

Едва он сошел, они вдруг возвратились, и главный из них направился прямо к Мулло Қамару так быстро, что Мулло Қамар оробел и попятился под немигающим, беспощадным взглядом красновато-черных глаз.

Брови, сдвинутые над переносьем; глаза, поставленные близко друг к другу; усы, из-под короткого носа круто спущенные к уголкам рта; голый подбородок, остро выдвинутый вперед.

Он смотрел на пятящегося купца в упор и надвигался прыгающей походкой. Страх, охвативший Мулло Қамара, никогда прежде не охватывал его, даже когда случалось представать перед гневом самого Повелителя.

Всадник же, подступив, резким гортанным голосом нетерпеливо спросил:

— Ну, явился?

— Я?

— На кой мне ты? Горбун есть?

— Горбун? Дак он вон там!

— Там заперто. Замка, что ль, не видишь?

Мулло Қамар осмелел:

— А видишь замок, чего ж спрашивать?

— Может, он где-нибудь между вами?
— Не видал.
— Гляди! Ежли скрываешь, гляди!
— Он мой, что ли? Живет тут, а мне зачем?
— А ты слыхал, когда он пойдет?
— Куда?
— Караван вьючит?
— Уходит. Это я слыхал, а вьючится ли, не знаю.
— А куда идет?
— Будто на Трапезунд.
— Про то я и спрашиваю. Вьючится?

Мулло Камар заметил, как плотно его окружили эти четверо, готовые одним рывком разорвать купца на четыре части.

— Ну ни к чему мне, ну ни к чему!
— Гляди, старик!
— Я с ним не разговаривал. С утра его не видел.
— А утром он был?
— Мы вместе в харчевне сидели.
— А где харчевня?
— Направо за углом.

И разом все четверо отвернулись от купца и скрылись, будто их и не было.

У Мулло Камара отлегло на душе, но казалось, что чем-то он оплошал, не так надо было говорить с незнакомыми, да и совсем не надо бы говорить — он у них не в услужении. Он здесь сам по себе. Подумал: «Вот наскочат такие, спросят: «Ну-ка, где твоя пайцза?» Не увернешься, пропадешь без милости».

Купец подошел к привратнику.

Тот, как индийский идол, не шевелясь сидел на своей скамье, поджав ноги и скособочившись.

Мулло Камар мигнул в сторону ушедших:

— Кто это такие? Знаешь их?
— Чего ж не знать? Черные бараны. Старший — это ихний степной султан. Кара-Юсуф. Нагоняет страху, сохрани и помилуй.
— Зачастил.
— Горбуна ищут.
— А на что он им?
— Горбуна с утра нет. А им понадобился.
— Зачем бы такому султану горбун?
— Горбун караван строит. Может, им по пути?

— А я вижу: в черной, в лохматой шапке, а шея голая, красная.

— А ведь, слава богу, жара. Самое лето. Им нипочем, они все при всякой погоде в шапках.

— Ну, когда они черные бараны. Так и ходят, доколь не остригли.

— Этих спроста не острижешь. Начнешь стричь, сам изрежешься. У этого султана сын нашего Баязета в полном послушании. Они тут, что ни день, пируют вместе. И предводитель войска Мустафа при них. Опасные князья.

Перед самым тем временем, когда пришла пора запирать ворота, горбун возвратился.

Маленькое туловище на длинных ногах, одетое во франкский камзол, прошло деловито. Горбун едва кивнул на поклон привратника.

Утром, как всегда в это время, на чисто выметенном и оплесканном водой дворе толпились и теснились озабоченные своими делами купцы, разносчики, всякие люди.

Тогда на уже многолюдном дворе узнали, что горбун найден среди своих мешков. Мешками ли, обвалившимися на его ложе, на мешках ли задавлен, по иной ли причине, но мертв.

Подозревая всякое, хозяин хана строго выспрашивал у привратника обо всех, кто в то утро побывал во дворе. Привратник клялся, что приходили только завсегдатаи, а из тех, кто бывает редко, были четверо черных баранов в неизменных шапках, седобородый старец, хозяин соседнего караван-сарая, турок с золотой серьгой, накануне вернувшийся из Бурсы, да один разносчик, торговавший вразнос нижним бельем, какой прежде сюда не захаживал, хотя другие такие разносчики по базару торговали бойко: зажившиеся в караван-сараях постояльцы и собиравшиеся в дальнюю дорогу купцы часто запасались бельем и прочей одеждой у таких услужливых продавцов, дававших одежду и выбирать и примеривать.

В тот же день горбуна похоронили, хотя и не по правоверному обряду. Но редко какая смерть вызывала во дворе столько разных толков, догадок, сомнений.

Нашлись непоседы, спешившие доискаться истины. Пошли по городу, спрашивая, с кем в тот день встречался горбун, куда ходил, чем занимался.

Утром из харчевни не вернулся в сарай, а пошел к верблюжатникам строить караван. За день на многих площадях побывал, многих верблюдов осмотрел, с кем-то сладился и через день-другой собирался вьючиться.

Ему говорили, будто дорога на Трапезунд перекрыта татарскими войсками, а он отвечал: «Через Тимура пройдем. Я сумею». Его спросили: «А не боязно? Он ведь, говорят, головорез». А он отвечал: «Меня не тронет». Это, пожалуй, были его последние слова: сколько ни спрашивали людей по Сивасу, больше никто его не запомнил и никаких его других слов не повторял.

Непоседы донимали своими расспросами обитателей караван-сарая, тех, кто первым заметил непонятный сон горбуна: дверь его склада чуть отзынута, а горбун не выходит, когда уже все пошли в харчевню либо тут хлопотали у очага. Первыми, постучавшись, вошли в глубь склада привратник, конюх и мальчик-посыльный.

— Что же вы увидели? — допытывались непоседы.

— А увидели, что из-под мешков, на него навалившихся, торчит его рука и лежит он не на своей постели, а обочь. И что чудно: спать он лег без штанов. Хоть он и не мусульманин, но кому же охота среди пыльных мешков да в одиночестве спать без штанов. Чудное дело. Мы было кинулись помочь, выволочь его из-под мешков, потянули за руку, а она как деревянная. Ну мы и стали скликать людей. Только и всего. А там мешки с него сбросили, снесли его во двор, да обмыли, да схоронили. И больше говорить нечего.

— Ладно! — сказали непоседы. — Тут надо еще расспрашивать, не помнит ли кто, не бывал ли он без штанов и в другое время?

— Нет, — сказал привратник, — никогда его так не видал.

Могли бы еще что-нибудь узнать, если бы еще день-другой походить непоседам по Сивасу, но этих дней им не выпало: к ночи дошел слух, что хромой злодей вывел свои войска на подступы к Сивасу. Оставалось два перехода до города.

Сразу всем стало не до горбуна.

Когда слух о нашествии Тимура достиг ушей Шо-Исо, памирец своим скорым верблюжьим шагом двинулся к Мулло Камару.

Шо-Исо нашел келью купца незапертой, скудную утварь оставленной там, где, видно, владелец той утвари спокойно сидел в тот день. Но ни самого владельца, ни его истертой заплечной сумки, ни дорожного посошка нигде не было.

Шо-Исо догадался, что Мулло Камар, никому не сказавшись, ушел из Сиваса.

Шо-Исо понял, что был нужен Мулло Камару как опытный горец, чтобы перейти перевал. Видно, теперь Мулло Камар опасался чего-то больше, чем перевалов.

Ранним утром Кара-Юсуф из дворца царевича Сулеймана торопливо пошел к себе.

Он шел через базар, мимо караван-сараев и торговых рядов. Купцы и караванщики в этот ранний час, когда в рядах еще не началась торговля, уже выочились, торопясь каждый в свою дорогу. Один Кара-Юсуф здесь знал, что из города никто не выйдет. Но эту новость было решено скрывать от жителей, чтобы спокойно готовиться к обороне.

Раньше других Кара-Юсуф узнал от верных людей, что передовая конница Тимура уже обложила Сивас со всех сторон, перекрыв дороги.

От тех же людей, от чернобаранных туркменов, узнал он и о том, что передовую Тимурову конницу привел заклятый враг — Кара-Осман-бей, глава белобаранных. Это особо встревожило Кара-Юсуфа: случись им встретиться, от того бешеного волка пощады не будет.

Кара-Осман-бей сюда доскакал намного раньше, чем рассчитывали военачальники Тимура. Они не знали, как спешил бек к Сивасу, считая его своей законной добычей. За год до того под этими стенами он, осадив город, обманом выманил наружу правителя Бурхан-аддина и сам зарубил его возле ворот, но не поспел ворваться в город: стражи успели закрыться, и Кара-Осман-бей ударился в запертые ворота. Единственной добычей Осман-бея осталось окровавленное тело старика, которого считали хитрейшим из правителей того времени наравне с проницательным и осторожным мамлюком Баркуком. Ныне из этих трех союзников против Тимура жив остался один султан Баязет.

Кара-Осман-бей бросил у ворот Сиваса непогребенное тело Бурхан-аддина и с остатками своих войск бежал, услышав о приближении Баязета.

Баязет пришел. Ворота распахнулись перед ним, он вошел и объявил Сивас навеки своим.

Правителем Сиваса султан поставил своего сына Сулеймана. Теперь здесь стояло четыре тысячи отборных воинов, возглавленных Мустафой-беем.

К царевичу Сулейману принес Кара-Юсуф роковую весть о появлении опасной конницы.

О коннице вскоре узнал и Мустафа-бей, едва из загородных караулов возвратились его встревоженные разъезды.

Когда ранним утром Кара-Юсуф шел к себе в хан, где размещался со своей охраной и челядью, хозяин того обширного и нового хана длиннобородый Бахрам-ходжа возвращался с молитвы, исполненный благодати.

Видя столь статного воина, своего щедрого постояльца, Бахрам-ходжа посетовал:

— О львуподобный бек! Беда. А? Тимур уже идет на нас! А?

— Идет, отец. Вы все дороги знаете, скажите-ка, как уйти.

— А куда?

— Куда бы ни было.

— Через татар или в обход их?

— Через татар.

— А нет, что ли, обхода?

— Уже нет.

— О аллах милостивый!

— Так что ж делать?

— Без пайцзы не пройдешь.

— Где ж ее взять?

— Недавно в руках держал. Разве я знал?

— Где ж она?

— Да с ней, пожалуй, уже ушли либо вот-вот выйдут.

— Где ж она?

— У него ли она, не знаю, он уже готовил караван.

— Где ж она?

Видно, в голосе Кара-Юсуфа явилось нетерпение, если Бахрам-ходжа отстранился.

— Не грози мне, бек. Не стращай, жизнь наша в руках аллаха.

— На его ладонях, я знаю. Но где пайцза?

— Я сам держал ее. Пришел караванщик Николас, венециец. Горбун. Он ее нашел, по-нашему он неграмотен. Пришел: «Прочитай, дедушка, от кого она и на что годится». А я ему: «Откуда знаешь, что я грамотен?» — «А вы, говорит, весной в бане этим хвастали». Я ему и прочитал. В две строчки написано: амир Тимур и три кольца над этим. «Это, говорю, через татарские заставы». Он закивал: « А мне через них и надо. Пайцза мне в самый раз!» Заплатил мне дирхем за прочтение и пошел.

— Мне бы поскорей. Где он? Я ему здорово уплачу за нее.

— Продаст ли, ему самому идти.

— Да где ж он?

— Не пугай, бек. Не пугай, а то не скажу.

— Да говори же! Я и тебе уплачу.

— А сколько?

— Вот он дирхем!

— Ишь ты! Не пойдет.

— Ну десять!

— Положи тридцать.

— Вот они!

— Пойдем, я тебя проведу.

И богатей, владелец многих караванов, в то время несших его товары где-то по далеким дорогам, прежде чем идти, долго увязывал деньги в замусоленный кисет, висевший на дочерна засаленной веревочке у него на шее под рубахой.

Так они и вошли вместе в тот Румский караван-сарай, где горбуна не застали.

Так для Кара-Юсуфа начался тот день, который Мулло Камар и горбун Николас начали, отправившись вместе в харчевню, где вместе поели из глиняных чашек душистую похлебку из требухи.

2

Новый день Кара-Юсуф провел у царевича Сулеймана, в его высоком дворце, оставшемся еще от сельджуков, тесном, неудобном, который царевич задумал перестроить, но не успел.

По длинному каменному переходу, куда глядели низенькие двери ряда небольших комнат, протянулся неши-

рокий ковер, глушивший шаги. Сквозь толстые стены сюда не проникал уличный шум.

В тишине под низеньким потолком, на низеньком угловом диване, застеленном зеленым ковром, сидело трое собеседников.

Почесывая широкую бороду, тронутую сединой, Мустафа медленно, отставляя слово от слова, говорил:

— На султана нашего Баязета замахнулся дикий степняк. Прежде не касался нашего султана, нынче полез. Сивас я ему не дам, но мне тут трудно будет. Трудно будет, а не дам.

Кара-Юсуф молчал, ожидая слов от царевича. Сулейман сказал:

— Султан, мой отец, не допустит, чтоб Сивас достался татарским грабителям. Он придет сюда с войском. Выручит! Когда белые бараны осадили Сивас, отец пришел, и Кара-Осман удрал с позором.

— Еле успел! — подтвердил Мустафа.

Кара-Юсуф молчал, в упор глядя на Мустафу.

Снова сказал Мустафа:

— А не успел бы, мы бы его тут на двенадцать кусков разрубили и кинули бы двенадцати волкодавам: ешьте, мол, бешеного волка. Ешьте!

— Теперь Кара-Осман-бей опять под стенами Сиваса.

— Теперь не с прежней своей силой, а всего с тысячью всадников, которых ему Тимур дал.

Кара-Юсуф:

— То и беда, что всадники от Тимура, — они знают, как брать города, немало с ним походили.

— Город крепок! — твердо возразил Мустафа. — Нам не первый раз отбиваться! Царевич с нами останется, султан Баязет скорее к нам придет.

— Мне надо пробираться к отцу. Вести его сюда.

— Он и сам дорогу знает.

— Я уговорю его поспешать.

Мустафа, уткнувшись бородой себе в грудь, опустил между коленями длинные руки в узких голубых рукавах.

Кара-Юсуф осторожно, негромко посоветовал:

— Царевичу надо к отцу. Верней будет.

Мустафа, не шевельнув опущенными руками, усомнился:

— Выйти отсюда уже нелегко.

Кара-Юсуф:
— Попробую его вывести.
Мустафа:
— А ты, бек, тоже?
— А чем я помогу?
— К нашим четырем тысячам с тобой тут отборные две сотни.
— Тимур сюда идет со всей своей силой... Ее у него не менее двухсот тысяч.
Мустафа упрямо сказал:
— А у меня четыре тысячи, но я не уступлю!
Кара-Юсуф:
— Надо решить, как быть. Едва начнет темнеть, попытаемся выйти.
Мустафа, не поднимая руку, тяжело опершись локтями о колени, молчал.
Наконец он повернулся к царевичу:
— Я остаюсь один. Я тут буду один. Но город не отдам. Пусть султан наш это знает. Если решит скрестить ятаганы с Тимуром, пускай спешит. Не захочет трогать Тимура, ему виднее. Сивас не отдам.
И встал:
— До вечера недалеко. Седлайте! Идите.
И, не прощаясь, ушел неслышно по длинному переходу.
Царевич, долго глядя вслед Мустафе, заколебался:
— А сумеем ли уйти?
— Попробуем.
— Пробьемся?
— Нет, людей надо брать немного. Чем меньше нас будет, тем надежнее.
— Не пробиваясь? А как?
— Схитрим. Взглянем, кто кого перехитрит.
— А не подождать ли?
— Надо скорей, пока не подошел сам.
— И значит, сегодня?
— Перед ночной молитвой нас выпустят наружу из города.
— А там темнота. Дорогу не разглядишь.
— Я тут дорожки знаю.
Они шли рядом по узкому переходу.
Ковры оставались на своих местах. Светильники свисали с потолка. Под крышей соседнего дома видны были

вялящиеся ломти мяса, красноватые от перца. По крыше прыгала серенькая трясогузка, то вскидывая, то опуская длинный черный хвостик. В небе сгущалась теплая летняя синева. Облачко неподвижно висело ярко-белым комочком. Было удивительно тихо.

Но издали, со стороны базара, слышались негромкие стуки: каменщики, узнав, что к городу подходят враги, торопливо, не щадя рук, спешили поспеть завершить кладку до битвы.

Каменщики завершали купола над базарным рядом, а резчики внизу высекали узоры, обрамлявшие знаки огня и вечности. Узоры в белых камнях, поставленных над арками дверей. Мастера спешили завершить давно задуманную, полюбившуюся им стройку.

Клали крепко, расчетливо, на века. Хотя это было обречено на гибель, как и весь город.

Оно было обречено на гибель в эти дни августа, но они строили это на века.

Оно было обречено, но они спешили вложить в это всю красоту, какую могли себе представить.

Царевич снова спросил:

— Как же нам пройти-то?

Кара-Юсуф, сняв черную шапку, достал из зеленой подкладки небольшую бляху, где багряно-красная медь отливала лиловатым загаром.

— Пайцза.

— Что?

— У монголов, у татар тоже, это проездной знак. Надо поспеть, пока не подошел сам, а эти должны пропустить, им тут предостереженье.

— На нее и вся надежда?

— Не надо опасаться. Попытаемся. Другого пути уже нет.

Царевич неохотно, боязливо согласился:

— Ладно... Может быть...

И снова слышны были только отдаленные перестуки каменщиков, их молоточков о звонкие кирпичи.

3

Ночь.

Ни луны, ни звезд. Непроглядная тьма в небе, редкая для августа в том краю.

Всадники выбирали путь с краю от дороги, где была помягче земля, неслышней стук подков. Но выбирать в такой тьме путь не просто.

Останавливались, вслушиваясь. Голоса и ржанье слышались неподалеку.

Оставляя надежду на пайцзу, больше надеялись на привычную осторожность.

Когда, казалось, выбрались из кольца вражеских засад, поехали было быстрее, и тут конь Кара-Юсуфа, ударив подковой о камень, сверкнул искрой, и мгновенно над беком просвистела стрела. Он тихо остановил спутников: в эту сторону наугад могли снова стрелять, рассчитывая на скорость лошадей.

Может быть, впереди пролетали еще стрелы.

Может быть, приложившись к земле, враг вслушивается в их топот. Стояли неподвижно, опасаясь, чтобы чья-нибудь лошадь не вздумала в нетерпении бить землю ногой.

Переждав, крадучись, поехали дальше.

Царевич Сулейман негромко сказал беку:

— Плотное у них кольцо. С одной тысячью такого кольца не поставишь.

Кара-Юсуф ответил еще тише:

— Их тут уже больше.

Лишь перед рассветом прибавили рыси, а когда поняли, что уже вырвались из кольца, погнали во весь опор, спеша уйти дальше от опасных мест.

Еще и утром они продолжали спешить сколько хватало сил.

Так, далеко уйдя от Сиваса, делая лишь немногие остановки, дошли до Малатьи.

Здесь тоже среди жителей росли тревоги, опасения, страхи. Некоторые торопились уйти подальше отсюда.

В Малатье, малом, тесном уютном городке, которым правил тогда сын Мустафы-бея, царевич Сулейман и Кара-Юсуф расстались.

Сулейман повернул на Бурсу, Кара-Юсуф — в степь, рассчитывая найти там многих из своих друзей, ибо земли вокруг Халеба Баязет дал под пастбища туркменам из племени Черных баранов, которым правил Кара-Юсуф.

Обмотав всю голову лоскутом клетчатого шелка, чтобы ветер не раздувал бороду, Мустафа-бей вышел на верх башни в раннюю утреннюю пору, едва видно стало.

Отделенный высотой могучих стен и широким, полным воды рвом от дорог, окружавших город, он смотрел вниз.

Как наводнение, волна за волной, обтекало Сивас нашествие несметного войска.

Видно было, что они натекали сюда всю ночь и теперь уже приостанавливались на достигнутых местах, приноравливаясь стать поудобнее, как устраиваются те, кто намерен пробыть здесь долго.

Сначала Мустафа не всматривался в отдельные отряды и части войск. Он оглядывал со своей высоты сразу все войско и понял, что оно обложило город со всех сторон и что останавливается очень широким поясом, глубину которого не везде было видно: тылы сливались с предгорьями, и казалось, сами холмы громоздились, как живые хребты этого войска.

Он наконец различил толпы людей, волочивших странные длинные телеги, которые упряжные лошади не в силах оказались везти по неровному берегу крепостного рва, и лишь дикие крики и плетки возниц заставляли лошадей, сперва вздыбившись, рывками двигать ту тяжесть.

Волокли какие-то высокие горбатые, сколоченные из толстых бревен орудия.

«Стенобитные! — понял Мустафа. — Для наших стен они слабы».

Воины кишели там в различном обличье. В кольчугах, в латах, в халатах.

Вдали видна была конница. Она остановилась позади войск, придвинутых ко рвам. В осаде конница пока была бесполезна.

В стороне, высясь над рядами пехоты, стояли слоны. До них отсюда было далеко, и при осаде они тоже были бесполезны.

Вдруг Мустафа напряг зрение: сторонясь скопища войск, неторопливо, верхами на нетерпеливых лошадях, часто осаживая их и останавливаясь, проезжал десяток всадников.

Мустафа всматривался в них, прижав к бороде раздуваемый ветром свой клетчатый лоскут. Он не слышал



их разговора, но лица их, обращенные к городу, видел четко — Мустафа был дальнозорок.

Тимур ехал, приметливо разглядывая стены Сиваса.

Следом, то равняясь с ним, то приотставая, ехали Шахрух и Мираншах. Его военачальник Шейх-Нур-аддин

в черных доспехах и на вороном коне, а с ним царевичи Халиль-Султан и Султан-Хусейн немного опережали остальных.

Они оглядывали городские стены, башни, рвы. Золотисто-розовое озарение на стенах перемежалось с глубокой синевой теней.

В этом свете стены казались стройней, но тени показывали всю упрямую силу башен.

Почти объехав все четыре стороны укреплений, Тимур оглянулся на сыновей.

— А?

— О чем, отец? — спросил Шахрух.

— О Сивасе.

— Крепок.

— Как, Мираншах? Сколько понадобится, чтобы его взять?

— За три месяца, отец! — твердо пообещал Шахрух.

Тимур переспросил:

— А? Мираншах!

Тогда и Мираншах согласился с братом:

— За три месяца можно.

Тимур, прищурившись и не отворачиваясь от стен, сказал:

— А я возьму за восемнадцать дней.

И повторил громче, чтобы слышали внуки:

— Э, Халиль! Ты памятлив. Запомни: беру за восемнадцать дней. И вот обещаюсь: как не возьму за восемнадцать, на девятнадцатый день уйду отсюда. Пускай останется, каким был до нас, цел-невредим.

— Бьюсь об заклад, дедушка.

— Давай на твоего сокола. Каким перед всеми красуешься. А, Халиль?

— А что мне, как уйдем на девятнадцатый день?

— Любого из моих коней. На выбор.

Халиль согласился:

— Ну что же, на коня! Дадите Чакмака?

— Дам.

Тимур знал лошадей. Дорожил ими. Дозволить такой выбор означало либо необычную щедрость деда, либо самоуверенность.

Уже в то утро осада началась.

Началась осада не там, где стены окружали рвы. Вода во рвах не иссякала: она била из недр земли, ни отвес-

ти ее, ни спустить из рвов никто не мог. Тимур это понял. Он сосредоточил осадные силы там, откуда никто ни в коем веке не пытался брать Сивас, — со стороны его сильнейших башен и самых высоких стен.

Подволокли к стенам неповоротливые длинные телеги с пушками, проданными Тимуру купцами из Генуи. Такими пушками он уже грохотал в Индии.

Подвезли бревенчатые башни, обшитые медными толстыми листами.

С высоты башен начали стрельбу зажигательными стрелами.

Пушки, извергая огонь и зловонный дым, стреляли каменными ядрами, целясь в одни и те же места стен.

Ядра то откатывались, ударившись о стены, то раскалывались, как орехи, а на стенах оставались лишь неглубокие зазубрины. Кладка держалась нерушимо.

Кое-где загорались пожары. Но разгораться им не давали. Весь народ встал на оборону.

Загорелся дворец царевича Сулеймана, и получился самый большой пожар в городе: дворец оказался заперт, и, пока сумели сбить запоры и водоносы добрались до огня, многое там погорело.

Пытались приставлять длинные лестницы, и воины Тимура, прикрываясь щитами, с мечами и копьями наперевес, карабкались кверху. Тут же, невзирая на потоки стрел, защитники, а среди них и сам Мустафа, обрушивали на карабкающихся завоевателей стрелы, камни, кипяток, кипящую смолу, и с визгом, воем, бранью раненые прыгали со смертельной высоты, лишь бы не гореть на лестницах. Вслед за ними и лестницы рушились вниз, грохоча и разламываясь.

Такого отпора Тимур не ожидал: его проведчики клялись, что в городе не насчитать и пяти тысяч воинов.

В наказание за недогляд Тимур приказал этим близоруким проведчикам отрубить по одному пальцу.

Проведчики клялись, что счет их верен.

Тимур настоял на своем: по пальцу им отрубили.

Кто был ранен, вынимал из-за пояса черную горную смолу — мумиё, смазывал ею раны: она сращивала перебитые кости. Сосали ее горьковатый, с яблочное зерно, комочек, чтобы пересилить боль. Каждый бывалый воин носил при себе снадобья, древние, как человечество: индийское тутиё, прояснявшее зрение, настойки из толче-

ных крылышек и панцирей мелких жуков, сушеные травы и коренья и многое иное, чему верилось.

Были и лекари, но в разгар битвы не успевали откликнуться на каждый крик, на каждый зов.

Так повторялось изо дня в день, с восхода солнца до наступления ночи.

Каменные ядра били в те же места, по тем же двум углам высокой стены.

Через неделю кое-где в кладке образовались трещины, вывалились из стены камни.

Уже тысячи из воинов Тимура отдали жизнь в первые дни приступа.

4

На стенах Сиваса стояли те же четыре тысячи защитников. Они не были неуязвимы или бессмертны: мирные сивасцы вставали на место погибших, брали их щиты и мечи и продолжали стойкую оборону.

Всюду, где завязывался опасный бой, являлся Мустафа и кидался в самое горячее место.

Порой, прикрываясь большими щитами и вытянув вперед длинные копья, завоеватели успевали добраться до верха лестницы и вступить на стену. Тогда на эти копья кидались защитники и, схватив врагов в объятия, вместе с ними падали вниз, а вслед удавалось обрушить и лестницы.

Мустафа, невзначай, в ветреное утро повязавший голову клетчатым лоскутом, подвернувшимся тогда под руку, теперь уже повязывал тот лоскут постоянно, ибо не только все в Сивасе, но и среди Тимуровых войск знали этот лоскут, он стал тут приметен, как знамя. На нем темнели пятна крови, но Мустафа не замечал своих легких ран.

Короткие августовские ночи не давали защитникам времени для отдыха. Изможденные, они порой обессиливали столь, что засыпали мгновенно, едва случалось уткнуться лбом в стену ли, в спину ли соратника, положить ли лицо на ладонь. А у других в то время не было сна. Едва закрывали глаза, представлялись лица врагов, желтые оскаленные зубы, желтая пена в углах рта, остекленевшие яростные глаза, и в защитниках вставала такая

ярость, такой приступ злобы, что сон отступал и хотелось снова подняться на верх стен, снова, изловчась, бить мечами и копьями в эти желтые зубы, в эти остекленевшие зрачки.

К ночи, сменившись, защитники Сиваса спускались со стен на отдых. Одни присаживались у костра, пили воду, другие искали уголок потемнее, чтобы, привалившись к чему-нибудь, уснуть, подремать, поговорить между собой после дня, полного криков и брани.

Снаружи шум не затихал.

Завоеватели, тоже сменившись, лезли наверх с новой яростью, и тысячи глоток ревели, и визжали, и горланили там, сливая свои голоса в единый страшный рев беснующегося исполинского зверя, хребтом подпирающего небеса.

Но уши защитников свыклись с тем ревом и уже не внимали ему.

Не было и ночной тьмы — тысячи костров пылали вокруг города, взметая искры. Алое зарево этих костров всю ночь полыхало в небе, и в Сивасе было светло. Горели и свои пожары, как жители ни боролись с огнем.

В одном из укромных углов собрались защитники. Не спалось: хотелось сперва покоя, прежде чем перейти ко сну.

Каждый в полутьме, обагряемой заревами, рассказывал что-нибудь о себе, что с кем случалось удивительного. Тут перестали сторониться друг друга, остерегаться, обманывать — многие из сограждан погибли на глазах у всех. Другие готовы были встать и умереть вслед за теми.

Один рассказывал, как, когда он еще был мальчишкой, его обсчитал купец.

— И я, подросши, лет пять ходил мимо его лавки и бормотал: «А я с тобой разочтусь, я разочтусь». И один раз он зазевался, а я взял у него пару яблок и одно успел запихнуть за пазуху, а другое ему протянул и говорю: «Получи за это яблоко». А он засмеялся и говорит: «А ну плати-ка за оба, они у меня считанные!» Так я опять ходил мимо и думал: «Придет время, разочтусь!..»

— Ну? И расчелся?

— Расчелся. Раз я его ночью встретил на улице. Кругом никого не было. Я его остановил и заколол.

— Это ты про Инана?

— Про него. Ты знаешь?

— Тогда по всему городу гадали, кто бы и за что бы его убил.

— Это я.

Второй собеседник попрекнул:

— Зачем врешь?

— Я?

— А то кто же? Ты ведь тогда со мной в Кейсарию скот гонял. Про Инана нам сказывали, когда мы вернулись. Его грабитель убил.

— А все равно. Будь я тогда в Сивасе, его убил бы я.

— Твое дело! Зачем на себя наговаривать? Не будь этой осады, ты и не знал бы, как это — убивать!

— Право, убил бы! Только теперь лучше б сумел.

Тогда третий из собеседников, рослый и задумчивый, сказал:

— Я тоже раз убил. Как обещал, так и сделал. Деньги были нужны.

— Дорого дали?

— Двадцать дирхемов.

— Не щедро.

— Торговаться было некогда.

— Как же это ты?

— Одного горбуна. Маленький человек, а держал при себе медяк, который другому был нужен. Предложили продать, а он отказался. Что ж было делать, когда он нужен? Позвали меня: отними, говорят, медяк, он, мол, у него в штанах зашит. Я пошел. Я тогда бельем вразнос торговал. Приношу полную связку всяких штанов. Давай, говорю, штанами меняться. А он только что проснулся, от моих слов спросонок окосел и хвать рукой за то место, где медяк у него запрятан. Я смекнул: оттуда, не сняв с него штанов, не вытянешь. Хватил его ребром ладони по переносью, он и повалился на мешок. А там кругом были нагорожены мешки с сушеным мясом. Тяжелые мешки, он около них и спал, они над ним нависали, на таком же мешке постель стелил. Я вижу, надо скорей, скорей кончать это дело. Штаны с него сдернул, чую, медяк у меня. На горбуна глянул, как, думаю, он без штанов, и удивился: зачем убогому горбуну этакое? Даже позавидовал: непостижима щедрость аллаха! Скорей, от греха, повалил на него сверху мешки, он даже хрястнул. Тем дело

и кончилось. Дирхемы получил, они тут при мне, а медяк отдал кому надо.

— А кому это было надо? Да и зачем?

— Я тебе так объясню: человек тогда спокойнее живет, когда меньше у него любопытства.

— Кто же это тебе сказал?

— Это говорил хозяин того подворья, где горбун жил.

— Я знаю это подворье. Со столбами.

— Знаешь, так помалкивай.

— Поспать бы.

Тогда второй собеседник сказал:

— И ты небось врешь. Как это своих убивать?!

Первый рассказчик, укрываясь войлоком, ответил:

— Время ночное, почему бы и не поврать!.. О том, кому чего хотелось.

Отсветы костров уже сливались с заревом зари.

Светало. Начинался новый день отваг и подвигов.

В городе жили, дети играли кожаными мячиками между домами, ласково нянчили меньших братьев. Женщины варили еду и стирали белье — еды и воды в городе хватало.

Мустафа строго приказывал даром раздавать всем хлеб. Пекарни пекли хлеб. Родники били чистой водой в самом городе, и ни отвести эту воду, ни отравить ее Тимур не мог.

Улемы и армянские попы призывали к молитвам и говорили короткие поучения о гневе божием на тех, кто губит мирную жизнь городов и людей в тех городах.

Но бог таил свой гнев, и завоеватели не страшились бога.

5

Тимур считал дни, потраченные на бесплодные попытки. У пушек не хватало зарядов.

Такого отпора он не ожидал, высчитывая время осады.

Вот-вот, казалось, придется внуку взять у деда лучшего коня.

Оставался последний день из подсчитанных восемнадцати.

Приказали всем пушкам бить в одно место, только туда, где объявилась трещина.

И настал час, когда стена в том месте рухнула.

Тимур послал в пролом самых бывалых и отважных. Конница давно была спешена. Конные воины бились в пеших рядах.

Нельзя было разобраться в той схватке, что корчилась, как в судорогах, в тесном проломе.

Виден был клетчатый лоскут Мустафы-бея.

Но завоевателям приказали бея сохранить и взять только живьем.

Едва рухнула стена, к узкому пролому хлынули пехота и спешенные конники Тимура, но получили отпор. Пролом оказался узок, и втиснуться в него много воинов не могло.

Завоевателям, кому удалось протиснуться, тяжело приходилось. Такая сеча могла длиться долгие дни — теснота пролома уравнивала силы.

Грохот рухнувшей стены ужаснул жителей города. Женщины, дети, безоружные люди, как случается при наводнении, когда горный поток, переполнив русла ручьев, растекается по берегам, сокрушая и губя все вокруг, с воплями, с причитаньями все кинулись на крыши родных домов, надеясь, что там их настигнут не столь скоро. Эти вопли, сливаясь, наполнили весь город, дрогнули и защитники.

С одной из башен крикнули Тимуру, что Мустафа-бей хочет говорить с ним.

Тимур приказал воинам остановиться.

Наступила внезапная тишина, нарушаемая лишь стенаньями жителей Сиваса.

Ворота под одной из восьми надвратных башен раскрылись, и к Тимуру пошли Мустафа, немногие из его военачальников и духовенство Сиваса, возглавляемое кадием. Вышли и старейшины городских общин — мусульмане и армяне.

Уже выйдя из ворот, идя тесным проходом между расступившимися завоевателями, Мустафа размотал свой грязный, окровавленный лоскут, борода, оказавшаяся совсем седой, снова раскинулась по груди, а лоскут он еще нес в кулаке, пока не выронил.

Тимур сидел перед ними в седле. Вороной конь, сердясь, приседал под ним, но Повелитель, не замечая коня под собой, сидел неподвижно.

За его спиной видны были другие всадники, богато

вооруженные и смотревшие на одного Мустафу с удивлением и без злобы.

Тимур долго молчал, разглядывая пришедших.

Наконец он снисходительно спросил:

— Я остановил своих. Что вы скажете?

— Я прошу за людей. Сохрани им жизнь.

Повернувшись к кадию, духовному главе Сиваса, Тимур повторил вопрос:

— А вы?

— Во имя аллаха милостивого, могущественнейший амир, прекрати кровопролитие, ибо нельзя истинному мусульманину лить кровь истинных мусульман. И я прикажу мусульманам прекратить сопротивление.

Тимур чуть покачнулся на резко повернувшемся коне.

— Согласен. Клянусь не пролить ни единой капли крови мусульман. Пусть выйдут сюда все воины Сиваса.

Мустафа спросил:

— Куда им выйти? На то место первым пойду я.

— Нет, ты постой здесь.

Тимурово войско вошло в город.

Защитников вывели из города и поставили на краю крепостного рва.

Тимур приказал разделить защитников на мусульман и христиан.

Их разделили и поставили друг против друга.

— Стойте и смотрите один на другого! Я дал слово не проливать кровь мусульман. Я держу слово. Но я не дал слова щадить христиан.

Мустафа закричал:

— О амир! Клятва есть клятва! Мусульмане либо христиане все они мои дети, я их вместе поставил против тебя.

— Армяне сюда сбежали от меня, когда я победил их в Армении. Тут они скрылись, теперь я их настиг. Им не будет пощады.

— О амир! А клятва?

— Стой, и смотри, и запоминай.

Военачальников Сиваса, пришедших с Мустафой, отвели и поставили среди защитников.

Тимур крикнул:

— Истинные мусульмане из вас должны уничтожить этих христиан. Мечи при вас, начинайте!

Из мусульманских рядов никто не двинулся.

Но несколько человек, бросив мечи, вышли и стали рядом с армянами, видя там тех, с кем росли вместе, с кем рядом сражались.

Тимур дал знак своим воинам, те оттеснили христиан на край рва и, рубя их, кидали тела в ров.

Когда это сделали, Тимур приказал:

— Теперь берите мусульман и кидайте их к армянам.

— О амир! Клятвопреступник! Стыдись!

Тимур на этот крик Мустафы не откликнулся.

— Теперь валите на них землю!

Тысячи Тимуровых людей бросились исполнять его волю, заваливая живых защитников, оказавшихся во рву, землей, а сверху на них уже катились камни разрушаемых стен.

Только тогда Тимур спросил кадия:

— Видел?

— Я не хотел бы это видеть, о амир!

— Запомните и свидетельствуйте перед аллахом: я поклялся не пролить ни единой капли крови — и ни единая капля не пролита. А жизнь я им не обещал, их отвага слишком дорого стоила моему войску. Таких не щадят.

Он разрешил уничтожить в городе всех христиан, но сильных велел оставить: они были нужны, чтобы обрушить во рвы городские стены. Он приказал снести их до основания, и это оказалось еще труднее, чем завоевать их, ибо сложили их давно и крепко.

Мусульман, оставшихся в городе, он пощадил, но обложил их тяжким налогом, называвшимся выкупом души.

Только тогда он подозвал Мустафу.

— Видел?

— Лучше б было не видеть! Убей же! Я жду.

— Нет.

— Чего ж ты хочешь? Я не боюсь.

— Ты и не боялся. Бери пайцзу, чтоб тебя не тронули. Тебя выведут на дорогу. Ступай к своему Молниеносному султану и расскажи, как я твердо держу клятву и слово и как я беру города день в день, как того хочу.

И, отвернувшись от Мустафы, усмехнулся, глянув на внука:

— Твоего сокола, Халиль, отдашь мне на охоте.

— Вы его сами выберете, дедушка!

Приближенные засмеялись, но все смотрели, как в это время Шах-Малик вручал Мустафе пайцзу, серебря-

ную, прямоугольную, как маленькая дощечка, обеспечивающую неприкосновенность везде, где бы он ни встречался людям Тимура.

Тимур спросил Мустафу:

— Твоя семья была в городе?

— Нет. Сын ждет, чтоб прикончить тебя, если пойдешь на Малатью, а остальные у султана в Бурсе.

Тимур приказал проводить бея в дорогу.

Некогда Баркук, тогдашний союзник Баязета, убив в Каире Тимурова посла, отправил к Тимуру очевидца рассказать об этом.

Так повелители перекликались между собой.

6

Он велел кадию и улемам идти впереди и следом за ними въехал в город.

Стены сносили, но город он не позволил разрушать.

Кадий и улемы покорно шли впереди по улицам, закиданным убитыми.

Тимур вступил в Сивас той же улицей, по которой когда-то пришел сюда Мулло Камар.

В бане мылись женщины и дети, и когда Тимур проезжал мимо, он видел, как они выходили, наскоро накинув на себя покрывала, ведя детей за руку, а дети вели за руку своих младших, несли медные тазики и узелки сырого белья. Весть о гибели города запоздала в баню, и только теперь эти купальщицы, выйдя из-под мирных сводов, вступили в город, где прежняя жизнь уже рухнула.

Испуганные, ужасаясь, они шли узкой улицей, теснее прижимая к себе детей, когда конная охрана Тимура, барласы на рослых карабаирах, свернула в эту тесноту.

Барласы торопились окружить площадь, куда въедет Повелитель, осмотрев город. Надо было площадь окружить до его прибытия. Они, нахлестывая лошадей, спешили.

Когда они промчались по переулку, там никого не осталось. Только истоптанные тела вперемешку с окровавленными клочьями одежды да измятый тазик, откатившийся к стене.

Проехав мимо бани, Тимур проехал и мимо хана,

приостанавливаясь, чтобы глянуть на древнюю мечеть или гробницу.

Многое уцелело здесь от византийцев, даже от римлян. Но больше от сельджукских султанов, любивших Сивас и застроивших его зданиями, какие даже монголы не сумели сокрушить. А кое-что построили и монголы.

Теперь тут везде лежало множество мертвецов, еще вчера живых, радовавшихся жизни и надеявшихся на счастье. Но это не мешало победителям смотреть здания, порой не похожие на те, что случалось видеть раньше.

По всем окрестным странам славилось место, куда направил Тимур своего коня, осматривая поверженный Сивас.

Здесь находилась лечебница, основанная задолго до того сельджукским султаном. Высокий ступенчатый свод ее портала, украшенный цветными изразцами, отражал погожее небо того летнего дня.

Напротив портала лечебницы стоял еще более высокий вход в мадрасу, где изучалось лекарское дело. Здесь над воротами тоже высился ступенчатый свод, покрытый пестрыми изразцами. Ворота смотрели в ворота, и проезд между ними был тесен.

Задолго до въезда в этот промежуток завоевателя встретили трое наиболее прославленных лекарей, наставники многочисленных учеников славной мадрасы.

Все трое древних лет, седобородые, увенчанные полосатыми чалмами, обвитыми вокруг высоких, островерхих синих колпаков. Смиренно прижав руки к груди, они пошли впереди Повелителя Вселенной, прозванного Мечом Справедливости, ибо он назывался и Мечом Аллаха, Рожденным Под Счастливой Звездой.

Сопровождаемый знатной свитой, он проследовал через поверженный Сивас между рядами его обреченных жителей.

Следом ехали оба его сына — длиннобородый Шахрух в белой одежде персидского покроя и тяжело сидевший в седле, поникший и казавшийся ко всему безучастным Мираншах. Из внуков ехал Абу Бекр, а следом Шах-Малик и Мутаххартен. Было много и других всадников — вельмож и воинов. Но впереди их всех неторопливо выступали трое старцев в островерхих колпаках.

Достигнув ворот, они остановились. Справа ворота лечебницы, а слева распахнутые ворота мадрасы, и в них

теснились, оттискивая друг друга, справа — больные, небрежно одетые, слева — опрятные лекари и ученики.

Тимур, видя перед собой остановившихся старцев, так резко осадил коня, что конь присел и попятился.

— Вот, — сказал старший из старцев, — здесь посвятили мы жизнь делу милосердия. А здесь, налево от вас, о амир, учатся и живут те, кто тоже отрекся от забав жизни во имя исцеления немощных и раненых. Воины наносят раны, лекари исцеляют раненых.

Тимур строго, угрожающе напомнил:

— Един аллах знает, кого низвергать в ад, а кого миловать. Не тщитесь ли вы стать милостивее аллаха?

В свите кто-то одобрительно охнул, как бывало, когда виновному предъявлялась неопровержимая улика и на том решалась его участь.

Но старец спокойно отвел укор:

— Не думаете ли, о амир, что аллах, направив нас по стезе милосердия, направил нас против его же слов о милосердии, сказанных в Коране? О амир, где сказано, что не лекарь, творящий милосердие, а воин, терзающий мусульман, выполняет волю аллаха?

На это Тимур не ответил, но в свите примолкли.

Вглядываясь в ворота, откуда больные, осаживаемые стражей, смотрели на него со страхом и любопытством, Тимур спросил:

— Сколько их там?

— Семьдесят, выведенных на путь к жизни. Остальные ждут.

— А когда аллаху угодно призвать к себе человека, бессильны все ваши знания и снадобья!

— Но разве, о амир, вы сами не обращаетесь к лекарям?

И опять свита притихла.

Подавляя гнев, Тимур спросил:

— Я за лечение плачу деньги, на то даруемые мне аллахом. А вы почем берете?

— Мы? Безвозмездно.

— Чем же питаетесь?

— Сельджукские султаны пожертвовали этим двум зданиям много земли, доход от нее — больным на лечение, лекарям на пропитание.

Отвернувшись от лечебницы, Тимур осмотрел портал мадрасы.

По обе стороны этого портала гордо высились большие минареты или башни. Тимур спросил:

— Там мечеть? Оттуда зовут на молитву?

— О амир, они высятся, чтоб больные издали видели, где им дадут исцеление.

— Тогда их надо поставить над лекарней.

— Так было угодно создателям сего.

— Без толку поставили. И своды тут ступеньками, а у меня в Самарканде своды гладкие.

Один из старцев посочувствовал:

— Это отсюда далеко.

Тимур ответил назидательно:

— Не далее, чем оттуда досюда.

Старший старец смиренно поклонился.

— Это зависит от дороги, о амир!

Не вслушавшись в персидские слова собеседника, Тимур снова поднял голову к двум минаретам. Тимуру не нравилось, что такой мадрасы, где изучают лекарское дело, в Самарканде нет.

Глядя на минареты, Тимур строго сказал:

— Для мадрасы довольно одной башни.

Шах-Малик спросил:

— Свалить?

— Одну. Лишнюю.

— Одну снесите! — крикнул Шах-Малик какому-то из сотников.

Услышав это, тяжело сидевший в седле Мираншах ободрился и громко, радостно захохотал.

Тимур удивленно обернулся к сыну и, яростно дернув поводья, грудью коня оттолкнул одного из старцев.

Свита тронулась за ним.

Но Тимур, спохватившись, задержал коня и сказал Шах-Малику:

— Напиши указ: на будущее время содержание, что прежде давалось больным и лекарям, то и впредь давать им.

Повелитель выехал на площадь, повсюду уже обставленную барласами охраны. Перед большой мечетью раскинулись ковры и стояли Абду-Джаббар, возглавлявший духовенство Тимуровых войск, и муллы, ожидая победителей, дабы возблагодарить милостивого, милосердного за победу.

Ковры были здешние, многоцветные, а узор их повторял тот же ступенчатый свод, какой был у сельджукских порталов и у самой этой мечети. Муллы, стоявшие по краю ковров, были самаркандские, весь поход идущие с войском, дабы учить воинов добру и славить милосердие, как надлежит наставникам. Впереди мулл стояли ученые, а им предстоял здесь Ходжа Абду-Джаббар.

Сойдя с седла, Тимур уже шел по коврам к своему месту перед мехрабом, когда к Повелителю, отодвигая идущих следом вельмож, протолкался Шейх-Нур-аддин.

— О амир! Наших лошадей конокрады угнали.

— Что?

— Всех наших лошадей с пастбищ.

— Каких лошадей?

— Когда конных воинов спешили для осады, лошадей отогнали к табунам на пастбище. А их оттуда всех угнали.

— Куда?

— А кто ж знает?

— Кто угнал?

— Пока мы тут воевали, чернобаранные туркмены с пастбищ угнали всех наших лошадей. И твой табун тоже. А куда — еще не знаем. Но говорят, в сторону Абуластана.

Тимур остановился.

Шествие благоговейно замерло. Некоторые подумали, что тут совершается какой-то обряд по народному обычаю.

Тимур оглянулся. Заметив рядом с собой Шахруха, подозвал его.

— Бери, у кого уцелели, лошадей и гонись за ворами. За конокрадами. Выручай табуны. Помни, такой беды ни один враг нам не придумывал.

— Куда ж мне за ними?

Шейх-Нур-аддин повторил:

— Они ушли, думают, на Абуластан, там их земли, их выпасы.

— Баязет, что ли, их подослал?

— Они сами по себе. Тут их отчие земли. Кара-Юсуф ими правит.

— Опять этот проходимец! Догоняйте, и никому никакой пощады. Чтоб не осталось подлого племени. Чтоб сами камни про них забыли.

Шахрух в широком праздничном халате, едва поспевая за рослым Шейх-Нур-аддином, поспешил с ковров к своему седлу.

Тимур, не вслушиваясь в славословия и не внимая молитве, стоял впереди молящихся.

— Без лошадей нам как быть! — шепнул он, становясь на колени чуть впереди Мираншаха.

Мираншах согласился, часто закивав головой, увенчанной огромной розовой чалмой, где сверкал редкостный алмаз, выломанный изо лба золотого будды в индийском походе.

Нежданная беда озадачила Тимура: спешенные конники — это не конница, а войско без конницы — это уже не Тимурово победоносное воинство.

Тимур дольше задерживал лоб прижатым к прохладному коврику, а окружающим казалось, что он молится усерднее, чем всегда.

Встав с колен, Тимур сказал:

— А теперь поедем к могиле, куда положили двенадцать тысяч самых отважных из нас, которым я приказал взять этот город. Которые его взяли.

И уже не грохотом победителей, а в безмолвии, каждый невольно размышляя о своей воинской судьбе, они поехали за город к свежим могилам.

Не было могилы только у четырех тысяч защитников Сиваса. Они лежали во рву, заживо закиданные землей, полузалитые водой, а в ров валились тяжелые обломки сносимых укреплений.

Нужен был долгий труд множества подневольных людей, чтобы снести эти стены, столько веков оберегавшие город.

Мутаххартен и Кара-Осман-бей отправились назад, к себе, в Арзинджан и Арзрум, править землями, оставленными Тимуром на попечение Мутаххартена.

Сивас он не дал Кара-Осман-бею. Тимур оставил Сивас Мираншаху. Сносить эти стены, расчищать город от мертвецов и завалов, собирать выкупы и подати со всех окрестных городов и селений, уже взятых и еще лишь обреченных на завоевание.

«Выкуп души», взысканный Тимуром с мусульман, жителей Сиваса, исчислялся в золоте, а если золота не хватало, пересчитывался на серебро.

Особым откупщикам, всегда следовавшим за войском,

дано было право отбирать из мужского населения покоренных стран молодых, здоровых, способных к тяжелому труду юношей. Мусульман забирали для работ в землях Мавераннахра, откуда коренные жители уходили в мирозавоевательное воинство; иноверцев отсылали на рынки Самарканда или Бухары, где продавали их в рабство. Ремесленников всяких дел набирали для Самарканда «собиратели умельцев».

От мусульман Сиваса откупщики потребовали тысячу девушек и с пониманием выбрали самых красивых, здоровых, чем-либо привлекательных, чтобы отправить их в Самарканд.

Этим красавицам обратного пути в Сивас не было — они уходили в неведомую страну на всю жизнь, чтобы дети их, рождаясь там, ту даль считали своей родиной.

Тысячу девушек, отобранных опытными откупщиками, придирчиво осмотрел царевич Мираншах. Их прогоняли перед ним заплаканных и посиневших от страха. Он стоял, наклонив вперед розовую тяжелую чалму, венчавшую его широкий, как у быка, лоб.

Некоторые показались ему перезревшими, и он велел заменить их. Подумав, он решил и этих оставить.

— Сыщутся и на них седоки!

А со стороны крепости время от времени тяжко ухало и грохотало, вздымался прах от сокрушаемых стен.

Мираншах поселился в небольшом доме, где прежде жил Мустафа-бей. Комнаты казались темноватыми, но царевич не засиживался в них. Ежедневно с утра он приезжал смотреть на труд разрушителей, валивших обломки в ров.

В толще одной из башен открылся тайник. Там нашли скелет воина в заржавевших латах и при нем меч с серебряной рукояткой, но с иззубренным лезвием. На черепе сохранились длинные усы, концы их были стиснуты крепкими зубами. На серебряной рукоятке, когда ее обтерли, оказался двуглавый, без корон орел с прижатыми крыльями.

Видно, возводя стены лет за пятьсот до того, строитель, по древнему обычаю, замуровал в стене самого отважного из воинов, оказывая ему великую честь — стать частью крепости, передать ей свою силу и вечно стоять на страже города.

Он и простоял пять столетий, а может быть, и вдвое против того.

Мираншах крикнул:

— Он не выстоял против нас. Мы его выволокли. Быть же ему в одном полку вон с теми, которые там, во рву! Одна цена им!

И показал, чтоб кости сбросили на защитников в ров. Туда же скатили и череп.

Рукоятку Мираншах взял себе, а бесполезное лезвие кинул вслед за костями.

Ров сровнялся с землей, когда обрушили в него и всю эту башню.

Но высока на земле, выше крепостных стен, добрая слава Сиваса.

7

Из Сиваса путь лег на Малатью, небольшой торговый город, менее чем за год до того отбитый Баязетом у мамлюков и еще не успевший восстановить стены и рвы, пострадавшие в ту осаду.

Взяв Малатью, Баязет бросил вызов своим союзникам, каирским мамлюкам, издавна владевшим здесь и землями и городами.

Баязет изгнал из Малатьи мамлюкского правителя и посадил на свое место сына Мустафы-бея, которого любил как своего давнего друга и ценил за твердость.

На землях вокруг Малатьи раскинулись пастбища чернобаранных туркменов. Они прежде платили подати мамлюкам, а теперь эти подати собирал с них Баязет, но при этом дал им льготы и поблажки. Этим он поощрял Кара-Юсуфа за его ненависть к Тимуру.

Потворствуя туркменам, султан добивался их верности, ибо у него в войсках туркменская конница была хотя и немногочисленна, но быстра и отважна.

Это была еще одна дорога на Баязетовой земле, которую безнаказанно топтали копыта и сапоги Тимуровых полчищ.

Полчища шли, выдвинув вперед те конные части войска, где сохранились лошади.

Потом несли знамена, бунчуки, знаки тысячников, идущих в походе.

Следом за знаменами, порой покрываемый их тенями, ехал Тимур. Спереди его надежно оберегали конные воины Халиль-Султана, на крыльях, справа и слева, — барласы.

Такая осторожность была нужна. Уже за один этот год не раз ему грозила опасность. В последний раз при выезде из Сиваса, когда он ехал узким проездом между руин, к нему кинулся христианин, византиец или генуэзец, весь покрытый кровоточащими язвами, больной проказой или другой неизлечимой болезнью, пытаясь поцеловать Тимура, ловя хотя бы его руку для поцелуя. Худайдада едва успел грудью коня оттолкнуть этого мстителя за убитых единоверцев.

Когда Повелитель объезжал Сивас, меткие стрелки, укрывавшиеся среди крепостных камней, пустили две стрелы, и они обе застряли в кольцах кольчуги под левым плечом. А Тимур, случалось, ездил и без кольчуги.

В этой стране охрану Повелителя было велено усилить: без него не было бы ни завоеваний, ни походов, ни войск. И пришлось бы знамена, бунчуки и хоругви сложить в угол какой-нибудь мечети или поставить над гробницами былых соратников Повелителя.

Позади, вслед за пешим войском, шли строем тысячи конников, оставшихся без лошадей.

Обозленные дерзостью похитителей, непривычные к пешему строю, они плелись, широко расставляя ноги, спотыкаясь на жесткой дороге, задыхаясь в пыли. Когда прежде пыль шла от них, а они правили своих лошадей по ветру, пыль пахла полынью, родиной, порождала тоску.

Теперь они не украшали войско, а прежде внушали страх врагу, блистали славой среди соратников и подвигами в битвах.

От Шахруха, гнавшегося за украденными табунами, не было известий: конокрады далеко ушли, и погоня, выбиваясь из сил без отдыха, ничем не могла порадовать Повелителя.

Худайдада приблизил свое стремя к стремени Повелителя, когда Тимур кивнул ему, подзывая.

Худайдада пригнулся в седле, и Тимур сказал:

— Дорого Сивас дался.

— Кто ж знал?

— А проведчики верно сосчитали: там против всех нас набралось всего не более четырех тысяч защитников.

— Усталый воин не опаслив. Вот и полегли.

— Я это от тебя слышал. Два года отдыха для нас — это отдых и для врага. Мы с силами соберемся, и враг успеет новые силы собрать.

— Но ведь двенадцать тысяч похоронили, а ранеными и больными весь Сивас заселили на попеченье царевичу Мираншаху.

— Если тут каждый город так отбивается, через десять осад у нас войска не будет, останутся только полководцы и лошади.

— Да и лошадей мало.

— Кто это с лошадьми поспел? Я б того на куски изрубил!

— Царевич Шахрух изрубит!

— Мягок рубить. Хоть догнал бы!

Внук Повелителя, сын Мираншаха Абу Бекр Бахадур, хотя внукам и не следовало говорить, пока дед не спросит, сказал:

— Сивас лекарями славится. Раненых поправят.

Ответил Худайдада:

— Из леченых многие боязливыми станут.

Тимур признался, понимая, какие опасения тревожат их всех:

— Я вызвал войско из Самарканда. Мухаммед-Султан уже ведет сюда. Нынче послал в Иран, велел и оттуда к нам собираться. Утром пятеро вербовщиков выедут в наши края вербовать новых воинов, со свежими силами.

Худайдада качнул головой, и его коса вывалилась из-под шапки.

— Идти-то пойдут, да когда-то придут.

Тимур промолчал: с этим старым спутником они думали одинаково, хотя порой и не соглашались друг с другом.

Послали вперед к правителю Малатьи посланца с двумя провожатыми. Тимур предлагал городу сдаться, обещая жизнь жителям и пощаду воинству.

Правитель, может быть, по молодости погорячился и посадил посланца на цепь, а сопровождающих прогнал назад, сказав: «Я уступлю город в битве, если вашей конницы хватит одолеть мою».

Возвратившись, они передали эти слова Тимуру. Отказ сдаться не удивил его: многие этак храбрились, за что после дорого расплачивались либо, плача, вымаливали пощаду. Тимура рассердил намек на пропавших лошадей. Откуда в Малатье узнали, что нынче прежней конницы в Тимуровом войске нет? На Малатью-то и уцелевшей конницы хватит, но откуда они узнали про пропажу лошадей? Не из них ли кто изловчился с этой напастью?

Тимур счел правителя Малатьи недостойным, чтобы писать ему. Были вызваны охотники снова сходить в Малатью.

Такая поездка к безрассудному правителю могла плохо кончиться, но охотники нашлись: за смелость им полагалась хорошая награда, десятник мог стать сотником, а это вдвое увеличивало его долю при дележе добычи.

Выбрали двоих, и Тимур сам им повторил слова, которые слово в слово им надо сказать правителю:

— Повелитель Вселенной велел сказать: он каждого посла слушает, благодарит и отпускает, с чем бы посол ни пришел. А ты, щенок, видно, учился уму у Баркука, что послов губишь. Если нашего посла не отпустишь, а Малатью добром не отдашь, горько покаешься, но пощады не выплачешь. Так говорит тебе Повелитель Вселенной.

Сын Мустафы-бея одного из двоих охотников оставил, другого отпустил сказать:

— Вселенная принадлежит султану Баязету, моему государю, а тебе, хромой степняк, скоро пешком придется бежать в свою нору, да и то без хвоста, который останется нам на память вместе с хвостами всего твоего табуна.

Это был уже не намек, а прямая угроза, и Тимур, дав войску отдых среди бела дня на виду у врага, неожиданно, едва стемнело, собрался и к рассвету уже встал у стен Малатьи.

Битва длилась весь день.

Конница Халиль-Султана встретила дерзкий отпор. Но опыт преобладал у Халиль-Султана, и, хотя сам правитель Малатьи рубился смело, пересилили Тимуровы клинки.

Полегло много конников с обеих сторон. Но поле боя досталось Халиль-Султану.

Пользуясь наступившей тьмой, правитель Малатьи бежал в Бурсу.

Войско Тимура ворвалось в город, озаряя улицы пожарами.

Здесь тоже пощады никому не было.

8

Шахрухова погоня уходила через степи к предгорьям.

Шли по землям, еще не завоеванным войском Тимура. Шли, не зная, кто и куда угнал лошадей. Не зная, что за враг подстерегает их за холмами, куда вели следы табунов.

По склонам порой показывались мазанки селений, бедных и беззащитных.

Встречались люди. Их хватали и у них выпытывали, не проходили ль тут табуны и кто их гнал.

На краю селенья, где спутники Шахруха выволакивали из хижин темные ковры и медную утварь, а рухлядь брезгливо наподдавали прочь, расспрашивали туркмена, смотревшего злобно, но отвечавшего на все вопросы. От него узнали, что все эти земли, пастбища, селения и кругом весь скот принадлежат туркменам, чернобаранному роду Кара-Коюнлу.

— Кому подчиняетесь?

— Как это кому? У нас есть свой бек. Никакому другому не покорны.

— Какому беку?

— Кара-Юсуф наш бек. Кто ж еще!

Шахрух, зная о ненависти Тимура к этому ловкому, неуловимому врагу, встревожился:

— А сам Кара-Юсуф где?

— А здесь, между своими.

Эта весть обрадовала Шахруха. Если он где-то здесь, надо его ловить — такая добыча многих табунов стоит. За такой привоз отец щедро отплатит.

— Как он сюда заехал?

— Из Сиваса сперва заехал в Малатью. А оттуда с тамошним правителем сходил назад в Сивас. Отбили там лошадей, да и пригнали к себе на пастбище. Правитель к себе в Малатью ушел, а наш бек тут, глядит лошадей, разбирает. Есть на что посмотреть, есть на что глянуть.

— Ты откуда знаешь?

— Я же ходил с ними за теми лошадьми.

— Как же вы их там взяли?

— Их, может, вовсе и не берегли — все Сивасом занимались, стену перелезали... Мы к городу не пошли, взяли лошадей, тысячу лошадей, да назад, к себе. Там еще другие наши оставались, тоже лошадьми поживились. Мы ведь это по обычаю: как захватили чужой скот на своих выпасах, гоним к себе. А там везде наши собственные земли, отчие.

— Разбойник ты.

— Помилуй аллах, всю жизнь среди скота живу: пасу, ращу, тем и тешусь. И земля не краденая, дана султаном Баязетом, не кем-нибудь!

— А где природная ваша земля?

— Неподалеку. Там хромой разбойник, головорез, прибывший неведомо откуда, пограбил нас, выпасы потравил, повытоптал, мы и ушли сюда. Султан Баязет, милостивый, сказал: «Спасайтесь тут». Тут мы и пасемся, скот растим. Таимся от разбойника.

— А где табуны?

— Что из-под Сиваса?

— А то какие же?

— Тут прошли. Теперь пора им быть на горах. Туда вам не добраться.

— А что там?

— Узко идти. По руслу рек. А по бокам горы. А на горах камни, вот-вот сорвутся. А сорвутся, там и отодвинуться некуда, как на тебя покатятся.

— Кони на камнях, что ли, пасутся?

— Кони прошли на свежие пастбища. На приволье. Туда прошли этой вот дорогой. Уже ухоженные шли. А под Сивасом они паслись заседланные, будто долго седло снять. У иных подпруги расслабли, седла лошадям под брюхо сползли. Мы их долго от того мученья освобождали. Теперь небось пасутся чистые, гладкие, переливаются на все масти. Да, туда вам не дойти.

— Не то что дойдем, а ты же и дорогу нам покажешь!

— Я? Откуда мне знать туда дорогу? Там горы, а я природный степной.

И не пошел. Остался лежать в степи с вывернутыми руками, с разрубленной головой. Черную папаху шевелил ветер поодаль.

Шахрух опять спешил по следу...

Снова расспрашивали встречных...

Встречались разговорчивые, им не верили: «Пылят в глаза!» Встречались молчаливые, таких не берегли, лишь бы отвечали поскорее.

Шахрух давно сменил праздничный халат на суконный. Опоясался ремнем. Мягкие сапожки сбросил, надел простые, чтоб стремя не жгло.

Дороги становились круче. Ехали изо дня в день наверх.

В одной из долин росло огромное раскидистое дерево — чинар из семи могучих, мускулистых стволов, поднявшихся от одного корня. Казалось, срослись семь необхватных деревьев, а это было одно, столь раскидистое.

Неподалеку от чинара стояла глинобитная кибитка, а в ней сидел купец, араб из Халеба. Торговал мелочью, какая бывает нужна пастухам в горах. Горы горбились везде вокруг, и оттуда спускались к арабу покупатели. Место купец выбрал себе такое, что до каждого из ущелий оказалось одинаково идти — не очень близко, не очень далеко.

Царевич Шахрух, оставив своих воинов, продолжавших путь к горам, подскакал к кибитке взглянуть на нее.

Под бугристым стволом, прислонившись к корню, выступившему наружу, праздно развалился маленький щенок. Шахрух его приметил и спросил араба:

— Вдали от жилья откуда щенок?

— Таков обычай в этих горах: у кого ощенится хорошая собака, хозяин приносит щенят сюда. А здесь, кому надо, берут, выбирают себе, чтоб у каждой собаки было свое пристанище.

Шахрух посмотрел на еще несмышленого щенка и пошутил:

— А жеребят не подкидывают на выбор?

Араб отшутился:

— Хороший конь сам себе хозяина выбирает!

Шахрух не вник в смысл этой шутки — не во всякой шутке бывает смысл.

Он отъехал от мазанки к воинам, спешившимся у холодного ручейка напиться и напоить лошадей.

Араба не тронули. Он сказал, что не видел никаких табунов, эти дни проболел и не приходил сюда. Ему поверили.

Здесь была развилка дорог, и Шахрух не знал, по какой из них вести погоню.

Осмотрели все семь дорог, расходящихся отсюда, и на одной увидели множество конских следов. По ней и пошли.

Помня грозные слова зарубленного туркмена, вступив в узкое ущелье, не шли по дну, а выбирали тропу повыше. Только там, где она прерывалась, спускались ниже.

Шейх-Нур-аддин, выбрав место пошире, где над каменистым ложем ручья выдвинулся мыс мягкой зеленой земли, посоветовал Шахруху постоять здесь до ночи.

В этой тесноте все спешились.

Костров не зажигали.

Когда стемнело, быстро затянули подпруги, вскочили в седла и, как могли скоро, въехали в узкую часть ущелья, где еще засветло приметили огромные камни, висевшие наверху.

Почти все миновали это место. Впереди ущелье становилось круче, но расширилось. И тогда позади загрохотал большой обвал.

Но почти все успели пройти, а кто не успел, на тех не оглядывались.

Поток стал стремительней, шумней, ворочал камни. Эхо заглушало топот лошадей, оскользавшихся, карабкавшихся среди валунов, но послушно поднимавшихся выше.

Еще рассвет не наступил, когда из ущелья выехали на широкие горные пастбища.

Заржали тысячи лошадей, приветствуя прибывших.

В сумерках перед рассветом видны были бегущие люди, покидавшие ночлег, спешившие к лошадям.

Это было то горное приволье, куда на лето переезжали скотоводы со всеми семьями, со всем скарбом пасти скот с весны до снегопадов, набираться сил на зиму.

Войско Шахруха, небольшое и усталое от горных троп, не ожидало сопротивления. Но туркмены, ожесточенные вторжением на их пастбища, посягательством на их стада, с неожиданной яростью кинулись на воинов Шахруха.

Только опыт Шейх-Нур-аддина помог ему устоять, хотя и с большими потерями.

Битва за лошадей длилась весь день среди зеленых холмов, скользких от трав, между табунами, испуганно шарахавшимися в сторону, словно лошади тоже отбивались от захватчиков.

Лишь к вечеру часть табунов удалось отбить, но туркмены и семьи их покинули свои летники, ушли.

Убитых закопали. Раненые кто как мог заботились о себе сами.

На рассвете туркмены, отогнав в сторону большую часть табунов и скота, снова попытались свалить завоевателей с гор.

Еще был день битвы среди крутых обрывов, между мечущимися табунами.

Умелая, умная воля направляла туркменов, ни в отваге, ни в военном разуме они в этот день не уступали упорству Шейх-Нур-аддина и смелости Шахруха, нигде не уклонявшегося от опасности.

И опять наступил вечер, когда собирали убитых. И опять туркмены угнали скот дальше, выше, покидая свои высокие летовки, где Шахрух приказал ничего не щадить, не оставлять камня на камне.

Ничего не щадили. Никого не оставляли для плена. Уничтожали всех, дабы сломить волю уцелевших. Имущество, не нужное воинам, уничтожали. Камни, сложенные в основе мазанок, раскатывали во все стороны.

Стало известно, что защиту возглавлял сам Кара-Юсуф. Значит, он был где-то среди туркменов. Он их одушевлял. Он их направлял.

Шумела битва за битвой, и горы обезлюдели. Немногие уцелели, чтобы защищаться.

Среди убитых туркменов не нашлось ни одного, схожего с Кара-Юсуфом. Некоторые из воинов Шахруха примечали и узнавали туркменского бека, когда он врубался в тесноту сечи.

Многие табуны уже перешли к Шахруху. Досталось ему уже много скота, большие стада, бесчисленные отары.

Кольцо вокруг защитников сжималось.

Отбитый скот завоеватели начали сгонять с гор в долину, и стада потекли сплошным, густым потоком по руслам ручьев.

Из туркменов лишь немногим старым пастухам дозволили гнать скот вниз, доверяя опыту скотоводов.

Но табунщиками стали воины Шахруха. К лошадям приставили раненых, негодных для последних сеч, пока сечи все еще вспыхивали. Никто из туркменов не сдавался, и по-прежнему в их разумных действиях чувствовалась крепкая рука Кара-Юсуфа.

Самому Тимуру со столь малыми силами не удавалось вести такую успешную оборону, как это смог здесь Кара-Юсуф.

В сложенной из больших валунов летовке, где в средине круга, обложенного каменной стеной, ставился на ночь скот, а в хижинах по краям круга жили семьи скотоводов, заметили табун отборных лошадей.

Шахрух узнавал их, среди них были любимые лошади Повелителя. Но там, у этой высокой летовки, отделенной от Шахруха ущельем и крутым ложем ручья, видны были вооруженные люди, и Шахрух решил повременить, собрать силы, дать своим воинам отдышаться. Оттуда никто не мог выйти — летовку обложили со всех сторон.

Наконец спокойно зажгли костры. Веселя людей, запахло жареное мясо. Впервые всей грудью воины вдохнули чистый воздух гор, наслаждаясь его густой, как холодный кумыс, прохладой.

Ночью, перед рассветом, хлынул тот горный ливень, когда вода низвергается не струями, а сплошными ручьями. Крутящийся водоворотами поток кинулся в узкие русла, где еще шли вниз завоеванные стада.

Опытным пастухам удалось спасти скот. Там, внизу, шла борьба с водой, смывшей много людей, но скот удалось спасти. Об этом Шахруху рассказали позже, а сам он на рассвете накрылся кожухом. Такой кожух стоил дорого, но все мечтали иметь его в походах, никогда не приостанавливаемых из-за причуд погоды.

Выглянув из шатра, Шахрух постоял, осматриваясь среди шума воды, тревожного ржания, перекриков воинов.

Тучи спустились к самой земле и ползли мимо Шахруха серым непроглядным туманом.

В этом тумане, когда брюхо тучи временами приподнималось над землей, царевич рассмотрел на другой стороне ущелья круглый загон и удивился: там понуро стояло всего несколько лошадей. Столь мало их там осталось.

Но тут же разглядел и узнал самый табун, выведенный из загона и сопровождаемый конными туркменами в обвисших от ливня шапках, и впереди на отличном, стройном коне стройного туркмена, который разговаривал с несколькими воинами из Шахруховой конницы.

Вскоре Шахруховы воины расступились, и приметный всадник выехал из их кольца с небольшим табуном и своими туркменами.

Шахрух свистнул и послал туда узнать, что это за беседы вела его стража с осажденными людьми Кара-Юсуфа.

Пересечь бушующий поток было нелегко, доехать к заставе удалось не скоро.

Когда посланные возвратились, стоял уже день. Дождь прошел. Тучи тоже поднялись и отползли в сторону. Кругом было светло и тихо.

Призванный оттуда сотник сказал, что застава выпустила этих туркменов со всеми лошадьми, когда их хозяин по имени Кара-Юсуф сказал, что он послан за этими лошадьми самим Повелителем Вселенной и что с ним идут его люди.

Свои слова Кара-Юсуф подтвердил, показав пайцзу с именем Повелителя, и застава не посмела медлить, отпуская туркменов, ибо все знают, как строг Повелитель, когда осмеливаются спорить против его пайцзы.

Шахрух, потоптавшись около валявшегося на мокрой земле кожуха, робко спросил:

— По какой же дороге они пошли?

— Они тут все дороги знают.

— И это Кара-Юсуф поехал?

— Он так назвался. «Что ж, говорит, ты меня не видишь, что ли? Повелитель мне велел забрать отсюда своих лошадей. Эту знаешь?» А ее все мы знаем, на которой он сидит, — Золотой Чакмак! «Вон, говорит, у нее на крупе тавро Повелителя — три кольца. Глаз у тебя, что ли, нет? А есть глаза, так не задерживай!» Он свои длинные усы в рот запихнул, зубами стиснул, а глазами поигрывает. С таким не разговоришься: чжик клинком — и нет тебя. Наш Повелитель таких любит.

— И ушли? И отпустили?

— Пайцза!.. Медная. Круглая. С именем Повелителя.

Испуг охватил Шахруха: «Как сказать отцу, что лучшие из его коней уведены на глазах у сына?»

— И Чакмак?

— Он сам на нем поехал.

— Они разбойники. Конокрады!

Сотник решился спорить с царевичем:

— Да они ж к Повелителю повели его лошадей.

Потоптав свой изощренно тисненый скользкий кожух, Шахрух пошел прочь, уже не радуясь своей добыче, своей удаче, что догнали, отбили свои табуны, да в придачу

взяли столько скота, что и сосчитать невозможно, но думая только одно, только одно: «Как сказать отцу?» Попробовал было себя успокоить: круглая пайцза, такую Повелитель давал только сам и только самому они возвращались, никто не смел остановить никого, кто показывал ее. И тут же снова ужаснулся: но ведь лошади-то Повелителевы! И ушли!

9

Тимур в те дни шел на Халеб.

По пути он завоевывал города и селенья. Некоторые из городов оборонялись лучше, чем Малатья, другие, объятые ужасом, просили только пощады. Щадил он неохотно, упорно изо дня в день надвигаясь на Халеб, несокрушимо укрепленный двойными рядами стен, густо населенный, торговый, богатейший из арабских городов, принадлежавший мамлюкам, ныне подвластный Баркукову сыну, малолетнему Фараджу, пребывающему со своим двором в Каире.

Это будет первый город египетских мамлюков, именовавшихся вавилонскими султанами, где Тимур намерен был начать свою месть покойному Баркуку.

Войско медленно двигалось, вступая в битвы, отдыхая от битв и, едва отдохнув, направляясь к новым битвам.

Широко по всем сторонам этой дороги, как и по всем прежним дорогам, пройденным за десятки лет завоеваний, везде, где прошел Тимур, оставались холмы взрытой земли, под которую положены лежать и воины, забредшие в эту даль убивать и жечь, и те, кто здесь мирно жил. Вскоре земля оседала, зарастала травой, ибо некому было над ними потосковать, некому хранить память о тех, что некогда здесь пели, любили, творили добро.

Только маленькие, рыжие хомячки боязливо хлопотали в сизой траве о своей недолгой жизни.

ГЛАВА VIII

ВАСИЛИЙ

1

В Москве дождило.

Давно не бывало столь сырого августа.

Великий князь Василий Дмитриевич прихварывал после поездки через болотистые леса, когда ездил в Коломну рядить суд над двумя боярами, продавшими ордынскому Едигею большой обоз с оружием, посланный Москвой на укрепление русских застав на рубежах Золотой Орды. Обоз перехватили и поворотили в Коломну. Народ, прознав про то, зашумел, но бояре те знатны, и судить их следовало самому князю — и судить при народе, чтоб все видели, сколь дорого и надобно оружие для русской земли.

Судил сурово. Пренебрегши их родовитостью и былыми услугами, наказал предателей жестоко.

На обратном пути не поостерегся, остудился и занемог. Отлежался бы, да понадобилось встать: из далекой Грузии, от тамошнего царя Георгия, прискакали послы — царский племянник Константин, а с ним их знатнейшие мужи и епископ Давид. Не степенно прибыли, как послам положено, а, как простые гонцы, прискакали наскоро. Едва на подворье почистились, в баню не сходивши, к великому князю в палату принять и внять им просятся. При такой их суете Василий дозволил Тютчеву привести грузин. А грудь совсем заложило — и не кашляется и не дышится.

Покряхтывая более от досады, что пришлось встать, нежели от хвори, Василий поднялся с постели и вышел из теплой опочивальни в прохладу трехоконной столовой палаты.

Подошел к окну. Там темная туча, белые пузатые облака да мокрые крыши. Оттуда пахнет грибами.

Великая княгиня Софья Витовтовна, заглянув в столовую, велела подвинуть под Василия тяжелую скамью поближе к столу, еще не накрытому.

Василий сел за тяжелый дубовый стол в расстегнутом кафтане. Упершись в столешницу грудью, наклонился над потемнелой гладью стола. Из одной дубовой доски вытесана вся эта огромная столешница, за которую при Дмитрии Ивановиче Донском усаживалось все его семейство со всеми родичами, человек сорок. На доске чернели ожоги и щербинки от прежних ли пожаров, от недогляда ли челяди, когда на стол падали фитили догоравших свечей. За этим столом, оставшись один, Василий любил читать вечерами. Чернел ровный кружок — перед кем-то раскаленную сковороду поставили. Многие тут посидели, потрапезовали, немало поопустошили чаш и брашен.

Долго разглядывать не довелось: старые служанки накрыли стол драгоценной парчовой скатертью. За всем приглядывала сама Софья, везде поспевала.

Василий было поправил ее:

— К чему парчу стелете, сами прихорошились? Люди подумают, мы перед ними кичимся, а они в разоренье.

— Да как же быть, когда царевич? Помыслит, мы его за бедность не чтим, а бедность-то его от бедствия, от нашествия.

— И так верно. А откуда про них знаешь?

— Купцы тебе при мне сказывали.

— А мне тоже, что ль, щегольнуть?

— Застегнись, и ладно.

Василий послушно запахнул кафтан и застегнулся. Облокотился локтями о стол, опять прислонился грудью. В эти дни полежать бы, пока распогодится, а потом, как всегда после отдыха, ревностней приняться за дела. Но какое ж лежанье, когда у людей нужда.

«Досадно будет, коли царь Егорий этак сватов заслал, кого-нибудь у нас высмотрел, кого-то с кем-то роднить,

высватывать. Для такого дела не стоило б из опочивальни выходить. Грузины русских невест любят. Да и грузинок привозят, чая женихов тут выглядеть. Невесты их статны, но смуглы и непоседливы: все б им пиры пировать да песни играть, а дети растут не холены, не кротки, крикуны. И правил не знают: в церкву придут, к алтарю спиной становятся. По отчеству москвитяне, а облик птичий».

На такие свадьбы Василий не охоч ходить: шуму много, а степенства нет.

«Гостем, что ль, царевича счесть, да незван прибыл. Послом принять? А чего ж он тайно скакал, кого опасался?»

Заслышав в сенях шаги, Василий не встал со скамьи. Выпрямился, положив ладони на колени.

Вступил Тютчев, с порога отвесив большой поклон.

За ним вошли грузины. Следом за худощавым царевичем ступил узкобородый монах в тонкой рясе. Монах перекрестился на образа.

Тютчев, отшагнув в сторону, объявил имена и звания прибывших — царевича Константина, епископа Давида, князей. Семь имен. Не назвал только Андроника, давно прижившегося в Москве и призываемого сюда при нужде в переводчике.

Василий встал.

Тютчев, обратясь к грузинам, пояснил:

— Государь наш великий князь Московский Василий Дмитриевич занемог. Однако ж внял вашему моленью, принимает вас наскоро, но запросто, по-домашнему. Не взыщите.

А Василий соколиным, мгновенным взглядом окинул их обличье.

«Легки, поджары. Кафтаны кургузы, еле до колен достают».

От своих купцов, торговавших в Грузии и в Ширване, Москва подробно знала о разорении той страны завоевателями. О нашествиях Тохтамыша и Тимура, а прежде — монголов, персов. Многие оттуда семьями прибегали к Москве. Строились тут, расселялись по городу. В Зарядье даже церковь себе сложили.

Едва Тютчев назвал их, грузины снова поклонились Василию.



С царевичем Константином Василий трижды обнялся.

От Давида принял благословение.

Вельможам на их поклоны откланялся.

Похрипывая, объяснил:

— Остудился. Ослабел. Сяду. Уж и вы садитесь.

Константину показал место напротив себя за столом. Епископу Давиду — по правую сторону стола. Андроника поставил стоять позади царевича. Тютчев сел на длинной скамье рядом с грузинами лицом к Василию.

Константин оказался худощав. Лоб прикрыт черной челкой, ровно подрезанной.

«Бородка невелика и со щек подбрита, как у персиян, бывавших в Москве с товарами. А глаза хороши — темны, но вглядчивы. Лет не дашь более тридцати пяти».

— Ась? — спохватился Василий, когда показалось, что Константин что-то сказал.

Константин, не поняв вопроса, вскинул брови, и они скрылись под челкой.

Из-за пасмурного дня пришлось раньше времени зажечь свечи. Лица собеседников потеплели. Грузины у стены приметили, что великий князь не столь хвор, как ему казалось: спокоен, а когда взглядывал, быстр и тверд был его взгляд. И, может быть, зная это, он часто опускал глаза, как бы задумываясь, — хорош тот взгляд, который утаивает, а не выдает чувства.

Лицо Константина оставалось неподвижно, как и весь он. Но пламя свечей, передвигая по лицу легкие тени, оживляло его.

— Ась? — повторил Василий, теперь уже в ожидании слов, с коими так спешил сюда Константин.

Константин замер, ища эти слова: он и Василия думал видеть иным, и слова готовил к торжественной встрече торжественные. А тут нужны простые слова. Торжественные сказывались легко, простые требовали большего смысла.

Василий ждал.

Вдруг Давид перекрестился:

— Во имя отца и сына... Говори, царевич.

Константин сказал:

— Государь! Не счесть лошадей, сколько мы сменили, спеша к вам.

Василий заметил, как грузины на скамье задвигались — царевич не так начал, — и помог Константину:

— А ну их, лошадей. Зачем спешили-то?

— У нас беда.

— Болею за вас душой. А какая?

— Едва поднялись от Тохтамышева разоренья, хромой Тимур напал. Этот вовсе ничего не оставил. Всю землю истоптал. Сады повырывал с корнем! Такого еще не случалось.

— Что ж собираетесь делать?

— Отбиться бы.

— А как?

— Воинов осталось мало. Скликать их неоткуда.

Теперь перекрестился Василий:

— Чтим память павших.

— Но есть и живые. Готовы идти в битву. Да их мало.

— А как быть?

— Дядя мой, царь Георгий, предлагает союз вам. Просит вас к нам. Самому вам, государь, прийти и со своей ратью.

Василий молчал, ожидая, не скажет ли Константин еще что-то, но царевич умолк: ему показалось, что все сказано.

Тогда заговорил Давид:

— Волею божией мы с вами единой веры. Братья во Христе. Апостолы учат нас выручать брат брата, егда на одного падет беда, другие помогут. Так учит нас церковь наша. История являет нам тоже многие случаи собратства нашего с древнейших времен. Еще внук вашего пращура Владимира Мономаха, князь Изяслав Мстиславович, взял за себя сестру царя нашего Георгия Третьего, и бог благословил тот брак, дав им потомство великое и славное. А мало времени спустя сама царица наша Тамара сочеталась узами брачными с князем Суздальским Юрием, сыном великого князя Андрея Боголюбского. И с той поры не счесть, сколько русских сочеталось с грузинами под покровом единой церкви нашей. И так до сего дня.

Грузины на скамье перемигнулись, одобрительно поводя бровями.

«Так надо было начать речь, примерами из житий древних царей, а царевич с лошадей начал!»

Но Василий, едва епископ смолк, строго ответил:

— Сочетаются. И по сей день. Однако братство наше не в том. Бывает, из Орды берут и женятся. И детей родят. А вот когда народ сим не льстится, а от завоевателей

отбивается рядом с другими народами, крови своей не щадя, свое имя спасая, вот те народы между собой — братья. У тех веками мысль едина и едино горе. Тут наше братство.

Константин просветлел.

— Значит, дадите рать? Мы полководцев своих поставили бы. У нас есть.

Тютчев качнул головой:

— Наши воины ваших полководцев не уразумеют.

Василий ответил с досадой:

— Орда рядом. Нам своя сила тут нужна, чтоб жить мирно. Миролюбие надобно ратью хранить: чем крепче рать, тем неколебимей миролюбие. Буде я рать уведу, басурмане тут святыни наши порушат, города поломают. Кто мне простит такое? Собратством с вами не оправдаешься. Да и не привычен я по горам карабкаться.

Константин, помертвев, повернулся к епископу:

— Как нам дальше быть, отче?

Давид, считая, что Василий ответил им и спрашивать его не о чем, воздев руки, воскликнул:

— Отныне на единого бога уповаем!

Осталось встать и ехать в обратный путь.

Но Константин, прежде чем встать, укорил Василия:

— Мы от басурман пытались освободиться после славной победы отца вашего, упокой его, господи. Верили: сын тоже побед жаждет.

Василий вскинул на царевича свои желтые глаза.

— Мой отец завершил дело, коему народ копил силы более чем целый век. С терпением и разумом готовил.

Повернулся к Давиду:

— И наша церковь богу верила, о небесной помощи молилась, а копила земную силу. Крестный отец мой, преподобный Сергий, с амвона народ поучал упорству в битве.

От природы молчалив, Василий тут вдруг заговорил, о чем за года наболела душа. Сказал Константину:

— Освобожденье длительней завоеванья. Для завоеванья довольно дерзости, скорости и злобы. Для освобожденья силы нужно вдвое, отваги превыше дерзости, любви превыше злобы. Ибо злость удваивает силу на короткое время, а на долгое время сила взрастает от любви, от горести. Более века наш народ таил в себе горесть, ею пи-

тал любовь к своей земле, к своему обычаю. С тем мой отец и вышел на Куликово поле. С тем и весь народ наш встал. И той силой победил завоевателей. А они грозны были, не слабей, чем нынешний Железный Хромец. Он и на нас было шел, до самого Ельца дошел. А как про силу нашу прознал, до самого моря откатился. И вам надо своему народу дать время отдышаться, одуматься, свежую силу взрастить в любви к своей матери-земле. Горячи вы, знаю, а тут нужно терпенье. Свою жизнь завоевателю под ноги кидаете. Тем гордитесь. А врагу того и надо, чтоб вас жизни лишить. Надо отвагу сочетать с разумом, тогда она на пользу. Ну пошел бы я к вам, кликнул бы рать, поднял бы хоругви, затрубил бы в трубы, зазвенел бы мечами о мечи. А кто подпер бы нас сзади? Народ истерзан, у воинов свежие раны, молодое поколение пока не возросло. Надо вам народ поднимать не на битву, а на работу — землю пахать, города чинить, дать ему наесться досыта, своим обычаем пожить. Тогда от года к году скопится сила для битвы за освобожденье. Коль есть доброхоты, пускай губят захватчиков. Пускай помнит захватчик, как сидеть на чужом сиденье. Но народная сила и гнев зреют медленно, тут надобно терпенье. Сила не прискачет, сменяя лошадей без счету, сила приходит постепенно. Не поучаю, проповедям не учен. Говорю про вас, а про Москву думаю, как мы победу копили.

И снова Давиду:

— Поучайте, отче, свою паству: страна, мол, наша мала. Сила не в единении. Не в том сила, что в каждой деревне у вас по князю посажено, спесь их потешая. Сила, мол, в вас, в простых людях. Князья промеж себя то роднятся, то ссорятся, а надо им не разобщаться, а единиться — тому поучайте со строгостью христианской.

Грузины на скамье заворочались, переглядываясь.

Константин, погладив челку, сказал:

— От ваших слов, государь, задумаешься.

— Это не я придумал, это все у нас помнили, как на Куликовскую битву снаряжались. На свято поле. Я тогда млад был, а помню. Не ко времени захворал, а то и еще сказал бы.

Константину показалось, что великий князь этим закончил беседу. Но не знал, как встать: первому ли, дож-

давшись ли, пока встанет Василий. Заколебался: «Значит, отказ?»

Василий разгадывал на лице царевича заколебавшиеся, как призрачные тени от свечи, мысли — досаду, горесть, испуг...

Улыбнулся приветливо и простодушно:

— Оставайтесь. Доскакали, так уж кроме спешить некуда. Потрапезуйте с нами по-домашнему, запросто, чем бог послал. Гостей-то мы не чаяли принимать. При такой погоде трапеза хворь гонит, сил набавляет.

Встали.

Глядя на высоколобого плечистого грузина, на голову возвышавшегося над рослым Тютчевым, Василий спросил Константина:

— Таких богатырей у вас много ль?

— У нас, государь, страна тесная, вот и растем кверху.

— И в битвы такие богатыри ходят? Перед таким любой враг оробеет!

Богатырь, заподозрив обидный намек — вот, мол, таким в битву надо, а не в посланцы, — не дожидаясь слова царевича, сам сказал:

— Ныне, кто здоров, все в борьбе. А мне одной левой рукой как рубиться?

Василий смутился: только тут он заметил у грузина пустой рукав, засунутый за узенький ремешок опояски.

— Куда ж девал правую?

— От Тохтамыша потерял.

Константин сказал:

— Ираклий в нашем народе славен.

— Доблесть мы чтим. Завтра сведу тебя, Ираклий, с нашими богатырями. Увидишь тех, что бились на поле Куликовом. Подвиги роднят подвижников.

Василий не знал похвалы выше, как приравнять чью-либо славу к священному подвигу Куликовской битвы.

Внесли и поставили перед грузинскими посланцами длинный стол. А по большому столу поверх парчи раскатили белую скатерть.

Великая княгиня Софья к столу не пришла.

Пошли по столам блюда грибные и рыбные. Холодные, а потом горячие. Встали рядами соленья в стеклянных венецийских судках, что дороже золота. Потек медок в тяжелые серебряные чаши и кубки, потек то золотистый,

то рубиновый, на разных травах и ягодах настоянный. Поставили и заморское вино, виноградное, многолетнее, но грузины, отхлебнув медок, на вино не польстились. И когда эта непривычная для них снедь наполнила их, узнали, что это было лишь начало трапезы. Пошли кулебяки и пироги, рассыпчатые, с начинкой из рыбы, из перепелов с грибами, из гусятины с черносливом. А затем и сами перепела под разными подливами, и цесарка под вишнями. И многое еще такое, что и отодвинуть жаль, и съесть не во что.

Давно потайно друг от друга расстегнули пояса, но помогло мало.

А когда запахло свежими белевскими антоновскими яблоками, грушами в сладком уксусе, когда поставили медовые, ягодные варенья, палата уже шаталась в глазах гостей.

Василий наконец встал.

— Видно, время вам отдохнуть с дороги. Как встанете, вам баньку натопят, там усталь свою смоете. Нонче мы закусили наскоро, попросту, чем бог послал, а завтра — праздник, Преображенье, так уж пообедаем по-праздничному. Там и отвечу вам о вашем деле. Я за вами пошлю.

На том откланялись.

Андронику велел ночевать в сенях, сперва поужинав в поварне.

— Небось тут зубами щелкал, пока мы закусывали.

— Особенно к медам влекло, государь!

— Ты, видно, правильный человек. Еще мой батюшка говаривал: «Люди болеют не от питья, а от закусей».

Андроник, давно обстроившийся в Зарядье, оплывший от московских медов, при грузинах говорил по-русски тяжело, с надрывом, а оставаясь с русскими — как коренной москвитянин. На слова Василия он радостно отозвался:

— Сие премудро говорено, государь-батюшка, со смыслом!

Василий попросил себе квасу с хреном.

Софья забеспокоилась:

— А не холоден ли?

— Тепла кругом довольно...

— Ну гляди, не остудись. А мне завтра к утрене вставать, я у мамушек лягу.

Он отпустил ее и один вошел в опочивальню.

2

Василия в опочивальне охватил нежный воздух.

По всем углам и под перинами здесь уложены были пахучие травы и корешки, отчего по всей опочивальне пахло, как на сеновале.

На постели пирамидой высилась стопа подушек, от большой, во все изголовье, до крохотной думки, что порой под ухо подкладывали. Она и была-то не больше уха, хотя и вершила всю стопу.

Вместо пуговок у той думки пришиты серебряные колокольчики. Придумав, их, великая княгиня призвала из Андроньева монастыря преславного старца, серебряника, и он выковал ей пуговки-колокольчики. Теперь, как подымешь ту думку, она звенит нежным звоном, за что и прозванье ей — Серебрянка.

Много затей у Софьи Витовтовны, и Василию все они милы. Не одной себе радость измышляет, а всегда такую, чтобы радовала она обоих их. От этой мысли теплело на душе, и все тревоги и тяготы великого княженья затихали, когда он приходил в опочивальню и погружался в мягкий, как лебяжий пух, покой.

Он ложился рано, чтобы еще затемно приступать к делам. Чем тайнее и тревожнее бывало дело, тем раньше он его решал.

А когда на рассвете шел завтракать, многое уже бывало сделано, самое трудное уже решено.

С грустными раздумьями о бедствиях Грузии вошел он нынче в опочивальню, велев пораньше звать к себе ближних бояр.

Видно, меды и трапезы помогли в тот вечер — дышать стало легче.

Когда грузины, порозовевшие после бани, пришли, приняли их уже не в столовой, а в стольной палате, где принимали послов и вершили дела государства.

Но и здесь их не заставили стоять, как послов, а усадили. Константину с Давидом Василий показал место неподалеку от себя, остальным — на скамье напротив окна. А спиной к окнам сели большие московские бояре, которых грузины еще не видели. Один из бояр, Челищев, был сыном славного Бренка, павшего под великокняжеским знаменем в Куликовской битве, двое других, князь Петр Белозерский и Андрей Бородин, сами бились там в рядах

Засадного полка. Из их рассказов многое осмыслил Василий в пору юности. Теперь он назвал их имена, гордясь ими. Видно было, что бояре уже давно сидят тут и о чем-то уже побеседовали с великим князем, но теперь они снова оправили дорогие одежды и приосанились.

Василий говорил Константину:

— Вчерась, я сказывал, как Железный Хромец являлся до Ельца нас пугать. А сам сбежал, как увидал, что мы не пугливы. Он перед тем на Золотую Орду навалился, на Тохтамыша, тож вашего разорителя. Они схватились под Чистополем, а мы поглядывали. Когда волки друг дружку жрать начинают — хороший знак: видать конец стае. На место Тохтамыша Хромец своего выкормыша Едигея посадил, а сам еще воинствует. А и ему конец будет.

— Пока сгинет, он и наши горы поспеет с землей сровнять.

— Не заглядывая вперед, победу не выкуешь.

— Дядя мой царь Георгий инако мыслит, он помощи ждет, с победой не медлит.

Василий усмехнулся:

— Победа хороша, когда она надолго. Такую рывком не вырвешь. Та, что наскоро далась, скоро и минет. А царь Егорий брата своего уж и к Тимуру Хромцу послал милости просить, о дружбе сговариваться. А какая между ними дружба? Пощаду молит. А коей ценой?

Грузины тревожно переглянулись между собой. Давид привстал.

— Дак ведь царевич в один день с нами выехал. Он туда, мы — сюда. Откуда ж поспели прознать?

— Слухом земля полнится. К нам слухи спешат, не меняя лошадей, оттого они вас и обогнали.

Давид тяжело сел, вытягивая из широкого, как колокол, рукава длинные четки.

Константин угрюмо опустил глаза: у Тимура просит пощады, у Василия — сил против Тимура. Чем обелить Георгия?..

Василий миролюбиво сказал:

— Егорий с горя горячится. Я не судья ему. Порядимка, чем помочь вам. Как сказывал, у нас у самих враг рядом. Денег одолжить? Да ведь на чужие деньги силу не купишь. Сила изнутри берется, а не на стороне. Можно б обоз семян на посев вам дать, да наша рожь у вас не

приживется. Вот что выходит, когда нужду вашу обмыслишь.

Он замолчал, глянул в окно, почти заслоненное спиной Челищева, подождал. Тут Константин опомнился и встал:

— Государь Василий Дмитриевич! Прежде чем о деле говорить, забыли мы просить: примите от царя Георгия даренья. Вчера мы на подворье их запамятовали взять, а нынче, к вам поспешая, принесли малое, что смогли к седлу приторочить.

Он дал знак одному из спутников, и тот медленно, подняв на серебряном блюде, понес подарки Василию.

Константин не признался бы и на пытке, как готовили они это подношенье. Привезши от Георгия икону в золотом окладе и древнюю нагрудную золотую царскую цепь с крестом, считали, что православному князю такой посыл хорош. А осмотревшись в палате у Василия, поняли, что тут своего достатка довольно, когда вокруг довольство и твердость. Поутру Константин снял с пальца широкий перстень, наследованный от деда-царя, где на редкостном камне вырезан был святой Георгий, пронзающий копьем змея-злодея. Они знали, что как ни дорог на родине этот перстень, тут он получит драгоценный смысл, ибо так изображен Георгий, покровитель Москвы, на знаменах великого князя Московского.

Перекрестившись, Василий поцеловал икону богоматери. Цепь оставил на подносе, а кольцо, подняв к глазам, внимательно рассмотрел.

— По-гречески сие зовется камеей. Вековая. Царьградская. У нас с вами один покровитель — Егорий Змееборец. Нынче наш черед со змеем бороться, а Егорий вперед нас с вами. Добрый знак. Но вчерась я видел сие кольцо на твоем пальце, там ему и место. Носи об нас на добрую память.

И отдал кольцо смутившемуся Константину. Тютчев принял из грузинских рук блюдо с дарами, а Константин надел на палец кольцо.

Василий, стоя перед столпившимися грузинами, сказал:

— А есть у меня обоз с оружием. Там полной воинской справы, с головы до ног, на три тысячи воинов. Оружие доброе, новое. Там кольчуги отменные, мечи стальные, шлемы кованые. Тот обоз даю вам, царю Его-

рию отдарок, народу вашему на борьбу. А ты, отче Давид, пригляди, чтоб пошло оно на крепкие воинские плечи. У нас ковачей довольно и ковален хватит, а вам нынче ковать станет негде, как Хромец потребует от вас тишины и покорства. Примите во имя святого Егория.

Такого дара Константин не ждал. За год не наковали бы у себя в горах.

Василий сказал:

— Вчера посидели по-будничному. Теперь пойдем, сядем за единый стол по-праздничному. Поднимем чашу за царя Егория, да пошлет господь силу плечам его, да просветит разум его, да поднимет из руин города ваши на вечное бытие нашего брата — народа вашего.

И впереди, ведя с собой за руку Константина, пошел к столам.

● ГЛАВА IX

БАЯЗЕТ

1

Каменистая земля похрустывала под ногами множества лошадей и скота, спустившегося с гор в эту долину.

Стада стекали вниз плотно, как лавина, но медленно уходя отсюда навсегда.

Ехали воины, оберегавшие стада, бежали пастухи-туркмены, длинными посохами возвращая отбившихся и отставших.

Один из туркменов, погнавшись за баловной овцой, подбежал к одинокому дереву, где торговал его знакомый араб.

— Э, араб! — крикнул туркмен. — Торгуешь?

— А ты уходишь с ними?

— Воры. Разбойники. Конокрады! Они захватили наших лошадей и весь наш скот. И они всех убили. Женщин, наших матерей и детей — всех убили. Уходи, араб. Никого не осталось. Некому покупать твои бусы, чашки, нитки. Некому. Конец. И нас убьют, как только стада дойдут.

— Возьми вот щенка. Кому ж теперь он тут останется?

— Давай. Я его туда донесу. Там приживется где-нибудь. Чего ж его тут губить!

— А ты бы сбежал от них!

— Как это? От своей земли? От своего народа?

— Земля запустеет, а народа твоего уже нет.

— И я со всеми! Одному куда ж бежать?

— А то спасался бы. Вон притулись за деревом. Они пройдут, а ты останешься цел.

— Нет. Давай щенка. Я не отойду от народа.

Забрав под мышку щенка, туркмен поспешил вслед за овцой, возвращавшейся к стаду.

Шли с гор табуны, стада, отары. Впереди издалека уже слышен был гул, там своим путем шло войско Тимура, и стадо выходило на тот же путь. Уже стада своими передними гуртами коснулись потока войск и уже вливались в него, а позади отставших еще стлался по земле их запах, еще пахла скотом еле осевшая пыль, день угасал.

И на этот след прошедшего скота, на вытоптанную, на выглоданную землю выбежал араб.

Он спешил, он уходил отсюда, перекинув через плечо суму, куда поместилась вся его торговля — глиняные чашки, деревянные ложки, иголки и нитки.

Он торопился, один перед назревающим заревом заката, не противясь нарастающему страху. Вокруг застилало мраком холмы и горы. Где прежде по вечерам загорались костры и откуда, бывало, доносились мычанье, блеянье, лай собак, теперь было темно, безмолвно — никого не осталось.

Араб бежал, пересекая дороги, где уже некому ходить.

Бежал, боясь оглянуться.

А перед ним, охватывая небо, разгорался закат, обычный в тех местах, золотисто-кровавый, когда надвигаются тучи, светящийся. Так светилась бы кровь, если бы она светилась. А тучи внизу под заревом клубились тяжелые, черные.

Становилось холодно. Сыро. Темно. И он уже не увидел бы гор, если бы оглянулся.

Он не оглянулся.

Впереди, посверкивая на закате остриями пик и рогатыми месяцами бунчуков и знамен, шло слившееся в единый поток войско, а с краю от дороги тем же путем пастухи гнали гурт за гуртом захваченные стада.

Тимур все еще ехал к пристанищу, где ему готовили ужин и постель.

Он уже плохо различал в темноте лицо Шахруха, когда сын говорил ему о стычках и сечах в горах, об упорст-

ве чернобаранных туркменов, о несосчитанных стадах, взятых с гор.

Тимур, никогда не ценивший боевых дел Шахруха, книголюба и начетчика, впервые похвалил его:

— А ты добычлив!

— Ведь я ваш сын, отец!

— Добычлив!

— И ваш ученик. Ученик!

Тимура каким-то теплом согрело это настойчивое сыновнее почтение уже немолодого сына.

Теперь бы и следовало сказать, когда отец так запросто слушает и отвечает, что злодей Кара-Юсуф увел любимый табун Повелителя. Но, видя, как нынче ласков и доверчив к нему отец, Шахрух не решился нарушить этот мир в душе отца. Не решился, промолчал, чтобы потом сказали об этой беде другие люди в иной час.

Но, когда они достигли ночевки и прошли мимо костров к шатрам, поставленным для них в неведомой степи, Шахрух, отойдя в сторону с племянником своим Халиль-Султаном, сказал ему о потере табуна.

Халиль-Султан успел узнать это еще засветло от Шейх-Нур-аддина.

Халиль-Султан сказал:

— Не надо сейчас об этом говорить. Пусть дедушка сперва отдохнет с дороги.

— Пускай отдохнет! — живо согласился Шахрух.

И они разошлись на ночь. Каждый к своему месту.

Но Тимур не заснул.

Это была одна из последних ночей на землях, принадлежащих султану Баязету.

Земли Баязета здесь не исконные, не отчие его земли, а захваченные силой, принадлежащие ему по праву пролитой крови за обладание ими.

И вот Тимур прошел по этим дорогам, взял Сивас, Малатью, наказал жителей за их приверженность Баязету и ждал, что Баязет соберет все свои войска и заступится за свое владение. Тогда один на один они скрестили бы свои клинки, они решили бы спор, кому из них владеть вселенной.

Баязету было дано время собраться и прийти сюда — с начала весны Тимур вошел в Баязетово владение. Ранней весной послал ему первое строгое письмо. Баязет не пришел.

Еще перед походом в Индию Тимур, разорив Багдад и оскорбив мамлюкского султана Баркука, попытался скрестить мечи с кем-нибудь из троих союзников — с Баркуком, Баязетом или Бурхан-аддином, который не могуществом своих владений, а прозорливым умом усиливал их союз. Но скрестить мечи с каждым порознь, пока они не успели соединить силы.

Проведчики тогда рассказали Тимуру, что от Баркука к Баязету прибыл посол, привез ему в подарок тяжелые чаши, отлитые из золота, найденного в могилах фараонов, большие бронзовые кувшины с удивительными надчеканами серебром и золотом, редкостных лошадей, сабли дамасской работы, книги, искусно переписанные золотыми чернилами, много всяких диковин и даже жирафов, ручных, как верблюды. И в ответ Баязет послал Баркуку подарки не менее ценные, но, не имея лошадей, равных арабским, или жирафов, не обитавших во владениях османов, он в придачу к драгоценным вещам послал девять юных рабынь, взятых из балканских стран, и девять резвых мальчиков, пойманных на островах в Эгеевом море.

Тимур понял, что союзники держат дружбу между собой и что в битву выйдут вместе. Он понял, что, когда они окажутся вместе, он не сможет их одолеть, и, прервав этот поход, ушел в Индию.

Узнав об этом, Баркук сообщил Баязету:

— Степная хромая лиса кинулась наутек!

Эти слова вскоре знал весь народ, и арабы и османы запомнили это прозвище и смеялись над Хромой Лисой.

Баркук умер. На его место сел ребенок, самонадеянный Фарадж. Бурхан-аддин убит. Его место пусто, а владения его, захваченные Молниеносным Баязетом, ныне покорены Тимуром. Подошло самое время сразиться с каждым порознь — с Баязетом здесь, с мамлюком Фараджем в его стране.

Попытка заманить сюда Баязета, пока все его войска разбросаны по разным краям, не удалась. Наскоро Баязет не пошел, а ждать, пока он надумает принять вызов и явится во всей силе, не годилось Тимуру.

Остановись Тимур здесь в ожидании, Баязет успеет соединить свои силы, успеет и присоединить к ним смелые арабские войска Фараджа.

Не разумно ли теперь, пока Баязет отмалчивается, всей своей силой вторгнуться в его страну и уже не окра-

инные, новые владения, а все основные в его султанском хозяйстве подчинить себе? Везде поставить надежных людей, а когда тут пыль осядет, спокойно уйти на Китай. Тогда можно не тревожиться ни за эту сторону, ни за Иран, куда некому станет вторгаться и откуда поэтому можно будет всех взять с собой на Китай.

Китай стоял перед Тимуром как главная цель всех его военных замыслов. В Китае некому бороться. Китай достанется ему, как спелый плод, свисающий над головой: кто там чуть тряхнет ветку, тому и достанется этот плод, подобный гранату необъятной величины, набитый, как зернами, неисчислимыми ценностями.

После Китая овладеть всей остальной вселенной станет легче, чем заарканить джейрана на охоте, где отлично мчится, быстрее и выносливей любого джейрана, золотой конь Чакмак.

Пора бы и поохотиться, но хороша ли здесь охота, Тимур еще не узнал.

Баязета заманить сюда не удалось. Может быть, самому туда вторгнуться? Но Баязет хитер. Он опытен. Он умеет биться и побеждать. Он вдруг догадается заманить Тимура, допустить его в глубь страны, а сам той порой соберет свои силы, снимет осаду Константинополя, подзовет конницу, недавно овладевшую Коньей, подойдут десятки тысяч воинов, отдохнувших в Анатолии, в Смирне.

А Тимуровы войска есть и в Иране, и в Мавераннахре, и хотя войско, находящееся здесь, готово к походу, едва ли его хватит для одоления Баязета. Может не хватить. И тогда не останется ни похода на Китай, ни захвата остальной вселенной. Все развалится в битвах с османами.

Нет!

Тимур задул ленивое пламя светильника и накрылся меховым одеялом от ночной свежести.

2

Утром во всем войске уже знали, что они идут на Халеб.

К Тимуру пришли из его близких людей Худайдада на широко расставленных ногах, похлестывая по сапогу неразлучной плеткой, покряхтывая и похрипывая, как бы устав дышать; Шах-Малик в узком синем халате с неиз-

менной белой чалмой, повязанной туго, но с выпущенным за плечо длинным ее концом; пришли и некоторые из других старейших военачальников послушать решения Повелителя на начинающийся день.

Он твердо сказал:

— Пойдем на Халеб.

Некоторые уже прежде думали, что идут туда. Но Худайдада, зная замысел Повелителя, считал, что надо сворачивать на османов. Он тоже знал, что войска Баязета расставлены на больших расстояниях одно от другого и, если идти быстро, Баязет не успеет их собрать к решительной схватке.

Худайдада ворчливо возразил:

— А Баязету подставить бок! Он и ударит, и одних из нас откинет направо, а других налево.

— Пускай бы! Мы его и зажмем, как жеребца, между коленками.

— Каков-то будет жеребец, а то и скинет нас оземь вместе с коленками.

— Пока что-то он не собирается, а когда соберется помочь арабам Фараджа, мы с ними уже управимся, и останется султан без союзника.

Но Худайдада ворчал:

— С самой весны воинство без отдыха, без покоя. Битва за битвой, а толку мало: тут места не добычливы.

— Усталость пройдет. Мухаммед-Султан идет из Самарканда. Ведет свежее войско. Я велел привезти из индийской добычи серебро, будем всем воинам платить за прежние годы и за три года вперед. Сразу за семь лет рассчитаемся. Повеселеют, усталости не выкажут.

Худайдада, похлестывая сапог плеткой, покорился:

— Рассчитывайся. Может, повеселеют.

В тот же день войска узнали и о предстоящем расчете. И повеселели, и уже готовы были врубаться в любые ряды врагов, лезть на любые стены.

3

Мудрецы замечали, что завоеватели, разорившие многие города, любят строить богатые здания, наивно полагая, что потомки будут судить о их делах не по разрушениям в чужих краях, а по зданиям, возведенным у себя дома. И там, дома, всегда находятся историки, упоенно

славящие созидателя, умалчивая, что разрушил он во сто раз больше, чем выстроил.

Разрушители любят созидать.

В то лето, когда Тимур разорил Сивас, султан Баязет во многих своих городах строился. Кое-где еще строили, а в других местах уже завершили стройки. Поставили мечеть в Эдирне, как назвали прежний Адрианополь, в память павших под Никополем: в той недавней жестокой битве Баязет разгромил христианское воинство, благословленное Римским папой на новый крестовый поход против мусульман. Этой битвой Баязет надолго устрашил рыцарей всей Европы и гордился ею как началом дальнейших побед над неверными, исподволь замышляя новые походы на Запад, когда управится с Константинополем.

Выстроили мечеть в Македонии для обращенных в ислам славян. В Кутахии и в Балахсаре.

Воздвигли большую соборную мечеть в Бурсе и назвали ее прозвищем строителя — Илдырым-джами, что значит — мечеть Молниеносного. Он построил мадрасу, где кроме богословия начали изучать математику, астрономию, историю. Кроме ученейших из своих подданых он пригласил учителями греков и славян из покоренных стран. Но с особой заботой и щедростью строили другую мадрасу в Бурсе — для обучения лекарскому делу по примеру сельджуков, основавших такую же в Сивасе. Теперь около мадрасы строили лечебницу, где будут лечить простых людей. Этой больнице и мадрасе он придал богатые земли на содержание больных и лекарей.

Теперь на высоком месте в Бурсе заканчивали мечеть возле султанского дворца, украшаемую мраморными столбами из римских храмов, разваленных, чтобы взять эти столбы. Свод сводили византийские каменщики, и свод вышел хорош. Но минарет, почти было возведенный, рухнул. Благо, что не на дворец, а в сторону склона, и все сооружение с грохотом скатилось под гору. Теперь, изменив основу и большую часть минарета прижав к стене мечети, его возводили снова.

Взяв город Конью, он и туда послал строителей, приказав им построить ханаку, приют дервишей, в память и во славу великого поэта Джелал-аддина Руми, некогда жившего и погребенного в Конье.

Построение мечети в Бурсе султан доверил своему зя-



тю, мужу дочери. Этого зодчего звали Али Шейх Бухари, ибо род его некогда прибыл из Мавераннахра, прибыл еще в те далекие времена, когда в Конью пришли сельджукские султаны из Хорасана, а с ними поэт Джелал-ад-дин, прозванный Мавлона, и многие знаменитые люди той страны.

Баязет, когда успевал побывать дома, едва возвратившись из похода, отправлялся смотреть на труд строителей.

Во дворце на стороне, обращенной к новостройке, ему устроили из резного дерева навес, где поместилась широкая тахта и еще оставалось место для собеседников.

Отсюда, опершись о перильца, он мог высунуться и говорить со строителями, ободрять или попрекать их.

Тахту застелили перинкой, покрытой желтым шелком с узором из узеньких зеленых листьев. Опираясь о круглые розовые подушки, распахнув голубой легкий халат, он поджал под себя длинные босые ноги, а глубокие красные туфли валялись возле тахты.

На лоб над пустой глазницей — глаз был потерян в битве с сербами — спускался бахромчатый край золотисто-белой чалмы.

Он наконец отдыхал после многих отличных побед этого лета. Запад неохотно, битва за битвой, отступал перед натиском Баязета.

Император византийский Мануил странствовал по Европе. Из Франции, отгостив у короля Карла, собирался в Англию к Генриху Четвертому Ланкастеру, о коем в Бурсе известно, что сей король в буйном помешательстве сидит за решеткой, доколе не опомнится. После помещения короля за железную дверь в Англии взяли за обычай всех благородных ворчунов обвинять в помешательстве и запирать до их исцеления — так надежным лордам спокойнее и в государстве тише. И с Мануилом было бы благоразумнее поступить так, а не раскрывать перед ним двери высоких дворцов для бесплодных собеседований: везде Мануил просит помощи у христианских королей против султана Баязета. А перед стенами Константинополя стоят султанские войска, и на азиатском берегу Босфора уже расположился турецкий базар, построены две мечети, и крепкий хан для постоя купцов, и ханака́ для бродяг мусульманской веры. Баязет сам побывал на том базаре и смотрел на купола Святой Софии, купающиеся в синеве приветливого неба. Стены Константинополя высоки над Босфором, но у них есть и та сторона, где Босфор их не обтекает. Мануил выпрашивает у христиан войска, чтобы поставить на эти стены; золота, чтоб нанять продажных воинов. Но христианские владыки скрывают отказ за улыбками, а щедрость ограничивают подарками,

ибо уже пытались сломить Баязета под Никополем и помнят, что оттуда немногие вернулись целы, а Баязет цел и войска его стоят под Константинополем. И с Эгеева моря приходят одна за другой вести, что остров за островом сдаются Баязету. Уже в Средиземное море выходят османские корабли и, прикрываясь черными парусами пиратов, захватывают корабль за кораблем, под каким бы из христианских флагов ни плыли они, везя ценные грузы и людей, пригодных для рабства, ибо шариат никогда не осуждал рабовладения.

Воле Баязета противятся многие беки, по праву наследования владеющие своими княжествами на османской земле. Но Баязет считает себя наследником всей державы сельджуков, какой она была в годы могущества, при султане Кей-Хосрове, задолго до вторжения монголов и крестоносцев. Одного за другим Баязет усмирял беков, и нужно всего несколько лет, чтобы все они, послушные, щедрые, стояли здесь на коленях перед его тахтой, перед его желтой перинкой. Так он взял у беков Караман-оглы Конью со всеми городками, ее окружающими, и поставил туда свое войско, и приказал подновить там мечеть времен сельджуков и могилы султанов в той мечети покрыть прекрасными коврами, а под сводами слева от алтаря, куда поэт Мавлона Джелал-аддин Руми собирал дервишей для радений и чтения стихов, он велел собрать все книги поэта и все барабаны, под которые плясали дервиши во славу аллаха. И, чтоб снова дервиши сходились туда отовсюду, он послал в Конью зодчего построить им ханаку.

С рассвета, едва строители собрались на работу, султан Баязет поднялся от пленительной Оливеры, своей жены, дочери сербского царя Лазаря, и пришел сюда, но в его бороде еще дышали удивительные благовония жены, и голова от них слегка кружилась.

Так сидел Баязет в тот день.

Сидел распахнувшись, даже кушака не повязав, чтобы ничто не стесняло его отдыха.

Высунувшись, султан постукивал по перильцам большим перстнем, украшенным византийской геммой с изображением головы Александра Македонского в шлеме.

Тогда пришли к нему двое сыновей. Из них Сулейман, его старший сын, накануне прискакал из Малатьи. В сече за Малатью он рубился вместе с сыном Мустафы-бея

против конницы Халиль-Султана. Сулейман бился без щита и без кольчуги, и в сече ему рассекли плечо.

Военачальники Баязета подослали сына сказать отцу о движении Тимура от Сиваса к Малатье и о том, что, утратив этот город, Баязет оставляет перед Тимуром османские земли открытыми.

— А где они? — спросил Баязет.

— Кто? — не понял Сулейман.

— Те, кто подослал тебя ко мне.

— Они тут, за дверью.

— Позови их всех.

— Всех?

— Да, поговорим.

Сначала вошел великий визирь Ходжи Фируз-паша. Он мало следил за собой. Был сухощав, даже костист, борода клокаста, не подстрижена, не разглажена. Короткий толстый нос закрывал все его синеватое, со впалыми щеками лицо. Глаза полуприкрыты длинноволосыми бровями.

Баязет из-за своей спины выхватил и дал ему круглую подушку, пока черные рабы несли подушки для всех.

Вошел Мустафа-бей, успевший отдохнуть в своей семье: ее Баязет гостеприимно держал в Бурсе, дабы Мустафа-бей вдали отсюда был мыслями здесь.

Пришел второй визирь, Али-паша, прославившийся веселой храбростью под Никополем, где он словно играл среди вражеских мечей и сабель, увлекая за собой то конницу, то пехоту в те узловые места боя, где решалась судьба всей битвы.

Но без боя, дома он был тих, застенчив, молчалив. Только грустно и приветливо улыбался собеседникам.

Все сели на ворсистый ковер, и тут же рабы обложили всех шелковыми и парчовыми подушками.

Недолгое время посидели молча.

Как бы затем, чтобы эта встреча казалась обычной, Баязет перегнулся за перильца. Внизу неподалеку стоял зодчий Али Шейх Бухари. Баязет спросил его:

— Ну как?

— Снизу мы облицуем минарет мрамором, плитами. Ждем, сейчас привезут от каменотесов.

— На здоровье! — ответил Баязет. — Облицовывайте.

Круто поджав под себя босые ноги, султан запахнул халат и спросил Мустафу-бея:

— Как этот степной табунщик брал Сивас?

— За восемнадцать дней. Моя вина, была возможность биться еще несколько дней.

— Если столько сил он потратил на один Сивас, значит, не столь он силен?

— Силен, пока не нарывается на отпор.

— Вот и Малатью взял. Взял за день, но ведь и это ему дорого стоило. Ведь Малатью некому было отстоять. Едва ли твой сын набрал тысячи две воинов.

— Две? Двух у него не было!

— А что он теперь?

— Он здесь. В семье.

Великий визирь сказал:

— Надо бы нам собрать все силы и ударить грязного табунщика. У него с собой не все войско. Таким мы его одолеем.

— Вы тоже так думаете, Али-паша?

— Почти так.

— Нет! — возразил Баязет. — Это ж степняк. Он потопчется там между городами до зимы, а на зиму уйдет в свою берлогу. Пойдет на Токат, выйдет на Кейсарию. Там есть крепкие стены и хорошее войско. Сивас со свежими воинами брал двадцать дней против четырех тысяч, а теперь силы его уже не те, а наших войск в Токате и в Кейсарии намного больше, чем оказалось в Сивасе.

Али-паша согласился:

— Не намного, но больше.

— Ну мы туда пошлем подмогу.

— Можно послать.

— Он хотел бы меня туда заманить, пока надеется на свои силы. Но ведь мы за это время воевали-воевали. Опять воевать? Нет, он потопчется и уйдет.

Великий визирь возразил:

— Может и не уйти. Пойдет на Кейсарию. Там втянется в осаду.

— Вот и хорошо. Нам надо собрать силы, пока есть время, и пойти туда. А нашего союзника Фараджа позовем пойти на него от Халеба. Степняк очутится как волк в облаве: справа и слева мы, а позади его обозы. Бежать ему некуда. Тут ему и конец.

— Фарадж мал, чтобы это решать. А согласятся ли его полководцы?

— Я пошлю к ним. И к Фараджу пошлю послов.

Али-паша:

— Фараджу нужно время на сборы. А есть оно?

Султан Баязет:

— Успеем! Пишите ему письмо.

И сказал Али-паше:

— А в помощь Кейсарии... Нет, я сам пойду в Кейсарию. Только войско из-под Константинополя снимать не надо. Константинополь мы возьмем, куда бы ни сунулся этот грязный табунщик. Если его имя означает — железо, то меня прозвали Молниеносным, а вы знаете, что молния легко расплавляет железо!

Великий визирь улыбнулся. Али-паша покивал головой. Сыновья внимали и запоминали.

— Зачем он сюда явился? Вон, освобождал бы своих сородичей из-под ига китайцев. Шел бы туда. Он давно туда нацелился. А наше дело — завоевывать Европу, неверных обращать в ислам.

Али-паша оживился:

— Золотые слова. У него свое дело. У вас — свое. Так было угодно аллаху, разделившему вселенную между вами.

— Так! — облегченно и весело воскликнул султан. — Соберемся, и пойдем, и наподдадим его от Кейсарии!

Визири ушли.

Мустафу-бея султан задержал.

— Смелы ли они?

— Как дикие звери.

— Но тебя отпустил! Это благородно.

— Так и звери делают: матку сожрут, а дитя оставляют, чтоб мясо нагуляло.

— Ждет, чтоб ты снова перед ним явился?

— А хоть сейчас!

— Пойдешь с нами?

— А как же!

Баязет, отпуская его, не глядя вниз, нашаривал туфли длинными ступнями. Видя, что отец не достает их, сын подвинул ему туфли, а Мустафа-бей достал из-за пояса пайцзу и на ладони протянул Баязету:

— Вот, он дал мне. Отпускная.

Баязет оглядел серебряную дощечку и улыбнулся:

— Под монгольскую подделана. Как у Хулагу-хана чеканена. Табунщик ведь кичится, что восстанавливает государство Чингисхана, в тех пределах. Записался к нему в потомки! Вот и шел бы на Китай, как Чингисхан. Но боится. Нас боится. Мы, думает, все его победы себе назад заберем. Вот и топчется тут. Чингизид! Ха, ха!

— Возьми ее, султан, на память о моем позоре.

— Спасибо. Беру как память о твоей доблести.

Перегнувшись через перильца, он крикнул Али Шейху Бухари:

— Вы тут без меня сумеете ее достроить?

Бухари отозвался:

— Трудно нам, отец. Но постараемся. Вон везут плиты!

Оставшись с сыновьями, Баязет спросил Сулеймана:

— Болит?

— Уже заживает.

— Терпи. Чем просторнее рана, тем быстрей заживает. Царапина дольше саднит. По себе знаю.

— Заживет до Кейсарии.

— Заживет? Мы медлить не будем.

— Заживет!

Заметив, что Иса хочет спросить, но медлит, Баязет улыбнулся:

— Пойдешь и ты.

— Вот это я и хотел...

— Пойдешь.

Султан неодобрительно повертел почетную серебряную пайцзу Тимура, прочитал на ней его имя.

Он пошел в глубину комнат, то затемненных от осеннего солнца, душных, полных своих запахов, то светлых, где через распахнутые окна, развевая занавески, гулял ветер из сада и пахло плодами.

Тонкий большой нос Баязета чутко улавливал все разнообразие запахов, наполняющих вселенную, от тяжких, животных до нежнейшего дуновения женских волос, листьев и раковин.

Султан не знал, что не всем дано такое острое, чуткое обоняние, но радовался этому богатству, как не скрывал радости от хороших песен, от разнообразия оттенков листвы на деревьях и столь же радостного различия в оттенках мастей, когда лошади идут табуном, голубые, бледно-зеленые, розоватые, багряные, синие. Баязет любил свою

вселенную, где аллах дал ему столь много места и не мешает то место расширять.

Он зашел в комнату, где на полках от пола до потолка хранились книги. Многие были неповторимы, приняты еще султаном Мурадом из рук поэтов и ученых, заказанные изысканным переписчикам, привезенные из многих стран, изложенные на многих языках.

Сюда приходили ученые, если он верил их знаниям и разрешал здесь читать. Выносить отсюда книги запрещалось: книга, как птица, вырвавшись наружу, не любит возвращаться.

Здесь кропотливыми, опытными, бережливыми стариками хранились летописи, письма и архивы былых султанов и мудрецов, редкостные рисунки многих художников мира.

В этой комнате у окна стояла почерневшая тахта, привезенная из Каира в подарок от мамлюкского султана Баркука, украшенная золотыми ветками и узорами из жемчужин. На ней Баязет любил сидеть, читая книги или слушая чтецов. Сам он не умел читать стихи: во всех искал смысл, а было много стихов, которые красивы лишь потому, что бессмысленны, но звучны.

Баязет рассердился, увидев окно распахнутым, на тахте безмятежно перекликались какие-то понятливые птички, быстро выпорхнувшие, едва он вошел.

Султан приказал закрыть окно и не проветривать книгохранилище.

— Ветер несет пыль, и движение воздуха иссушает книгу.

Здесь и сыновья султана любили читать или беседовать с близкими друзьями. Книги как бы одухотворяли беседу, протекавшую возле них.

Старец книгохранитель спешил показать султану две новокупки — обе книги излагали историю. Одна оказалась тяжела, и старец, гордясь своей находкой, сам раскрыл ее, положив на тахту.

Куплена у караванщика из Сиваса. Ей четыре сотни лет. Писана для сельджукских султанов. Тут вот в конце приписано, когда и кем заказана. Эти события нигде, кроме как здесь, не упомянуты. А великие дела сказаны! Великие дела.

Султану хотелось забраться на тахту, посидеть над этой книгой, но не было времени над ней сидеть.

А старец нес уже другую.

— Сей труд не столь древен, но ведь и в нем большая жизнь описана. На арабском писана, но тоже жизнь! Купил ее у беженцев из Багдада. Уцелела от тимуровского разгрома. О делах халифов. Писал очевидец, и она тоже единственная, другой нигде нет.

Султан полюбовался узором, но заметил, что бумага пропустила насквозь надпись, сделанную на обратной стороне.

— Виновата не бумага, государь, а чернила. Что годилось для пергамента, оказалось ядовито для бумаги.

— Бумага в ту пору была им новинкой.

— Вот и я это хотел сказать.

— История — это наша память. Без памяти нельзя усвоить знание! — ответил султан.

Баязет, вспомнив, вынул пайцзу и дал старцу:

— Возьмите и эту надпись. Она от Хромой Лисы.

— Почерк груб, будто палкой по песку писана.

— Как умеют!

Побыв еще у старца, Баязет ушел по лесенке вниз, прошел через двор в женскую обитель, где жила его жена, сербиянка Мария Оливера Деспина.

Дочь убиенного короля Лазаря, сестра нынешнего сербского короля Стефана, она взята была четырнадцатилетней девочкой, десять лет тому назад, и до сих пор ни с одной из четырех жен ему не бывало так легко и просто, как с ней. Она одна не только его любила, но и понимала. Она одна.

Он не забыл начало.

Он был молод, когда вышел на Косово поле в великую битву со славянами. Битва кончилась, когда король Лазарь, рубившийся среди своих войск, пал. Но пал и победитель, отец Баязета, султан Мурад.

Баязет, еще не успевший стать султаном, шел среди павших и увидел тело короля Лазаря. Сербам не на что было положить своего героя. На голой земле постелили простой рушник, и на том рушнике лежал король. Рушник оказался короток. Ноги Лазаря протянулись в траву. Белое длинное лицо, обрамленное гладкой черной бородой, было строго. Один глаз чуть приоткрыт и смотрел на Баязета, прижавшего ладонью надрубленное плечо.

Но молодому Баязету не до короля было, когда неподалеку на тяжелом ковре, пропитавшемся кровью, ле-

жало тело родного отца, еще в утро того дня полное надежд и силы.

Тогда привели королевича Стефана и сохранили ему жизнь.

После битвы Баязету отдали королевну Марию, ему понравилось ее второе имя, Оливера, и так зовет ее до сего дня.

Когда он впервые пришел к ней мужем, она отошла, взяла из ниши кувшинчик и сказала:

— Сперва вымой руки.

— Они чистые! — удивился Баязет.

— На них отцова кровь, и я не дозволю меня трогать, пока не помоешь.

— А что это?

— То есть святая вода от владычицы нашей богородицы. Она одна смоет с тебя кровь.

И он, торопясь, угодил ей и с той поры во всем ей угождал.

Одиннадцатый год он любит ее. Ее одну, хотя от других жен у него родилось много детей. Одних только сыновей семеро.

Оливера встретила султана, сверкая, как огнем, двумя широкими браслетами на крепких, широких запястьях ее бледных рук.

Бриллианты, теснясь один к другому, лишь по краям были обжаты золотым ободком. Не было счета алмазам, собранным на ее запястье. Он ей подарил после победы под Никополем на память о том дне, когда все христианские войска, собравшись под крестом, присланным папой Римским, закованные в латы, с хоругвями, с пением молитв двинулись на него, а он сокрушил их. И крест, и все их хоругви повалились под копыта Баязетовой конницы. Немногим удалось бежать.

Собрав пленных рыцарей, князей и полководцев, Баязет прошелся перед ними, поставленными в ряд. Заметив, как многие из них дрожат, словно в ознобе, Баязет приказал отобрать из их числа семьдесят самых знатных и прославленных.

Когда тех вывели и они, онемев от ужаса, подошли, султан их спросил:

— Вы кидались на наши копья без страха, доблестно. Зачем же теперь боитесь?

Старший из них поклонился.

— Мы привычны к бою, но плен для нас впервой. Смерть в бою и казнь со связанными руками — разница!

— Разве вы связаны?

— Еще нет. Но перед казнью свяжут.

— Добивать раненых и пленных, оставшихся без оружия, — это не мой обычай. Приберитесь к пиру. Я приглашаю. А отдохнув, поедем на охоту. Каждому будет по десятку собак и по десятку лошадей. А после охоты я дам вам волю. Наберите еще раз войска, и еще раз сразимся. Мне понравилось побеждать вас! Греки прозвали это место Никополем — городом победы. Я готов еще раз подтвердить это название.

Когда они собрались на охоту, каждому привели по десятку гончих. Семьсот отборных собак. И у каждой на ошейнике сверкал драгоценный алмаз.

Так он одарил этих пленных.

После охоты и пира поутру он снова призвал их:

— Разъезжайтесь по своим родинам и готовьте свежее войско. Давайте опять сразимся, чтобы вы тверже запомнили нас в бою.

Старший из них, поклонившись, возразил:

— Нет, милостивый султан! Вы на всю жизнь победили нас. Не ятаганами, а великодушием.

Баязет отпустил их, и они разъехались, уводя с собой собак с их драгоценным украшением. Но добыча и радость в той битве оказались столь велики, что ему хотелось радовать всех своей щедростью, своими подарками.

Оттуда он привез своей Оливере эти браслеты, чтобы и она радовалась победе под Никополем.

Она всегда надевала эти браслеты, когда он приходил к ней среди дня: ибо не к женщине, а к другу приходил он к ней среди дня. Она стояла перед ним, закинув за спину струи золотых волос, увенчанных голубой бархатной шапочкой, широколобая, широкобедрая, плотная, глядя ему в глаза глазами теплой голубизны, какой на древних греческих эмалях изображалось небо.

Он сказал ей, что уйдет в новый поход.

— Поучу табунщика, как надо сражаться.

Она забеспокоилась, но такова судьба жен, провожающих мужей в битву:

— Разве без тебя не управятся?

— Нет. Он хотел меня выманить туда, а я ждал, чтобы он сам сюда двинулся, здесь мы накрыли бы его. А он там толчется. Сюда прийти боится: оглядчив! А чтобы он не подумал, будто я боюсь, там дам ему урок боя.

— Да он и не оценит.

— Я освобожусь от него. Буду свободней для покорения неверных.

Ей хотелось, чтобы всю эту осень после многих битв и походов он провел с ней. Но сломить его волю, когда он спешил на врага, она не умела.

Чтобы развлечь его, она взяла тар. Подзванивая себе струнами, она спела турецкую песню «Позабыл ты меня». Он любил эту песню, и, случалось, у него навертывалась слеза, когда он ее слушал.

Ей не хотелось звать рабынь, чтобы они ей играли, а она плясала перед султаном.

Так они сидели вдвоем, пока не наступил вечер.

За год до того Баязет занял земли, которыми прежде владел Бурхан-аддин. Маленький осиротевший мамлюкский султан Фарадж послал к Баязету посольство с подарками и письмом, где спрашивал, зачем Баязет занял земли, считавшиеся мамлюкскими, ибо Бурхан-аддин был не только другом Фараджева отца, но и данником Баркука. Он ждал, что Баязет возвратит захваченный край и такие города, как Малатья, и предлагал восстановить союз, существовавший между Баркуком и султаном Баязетом.

Баязет зарился, управившись с Византией, взяв Константинополь, повести освободившиеся войска на мамлюков и, пока Фарадж еще мал и неопытен, водрузить свое османское знамя над великими городами мамлюков.

Баязет одарил Фараджева посла, отправил Фараджу щедрые подарки, но на письмо не отозвался. Отмолчался.

Теперь, когда приход Тимура раздосадовал Баязета, султан прислушался к советам великого визиря и велел в письме предложить Фараджу союз и дружбу, какая была прежде, когда жил Баркук.

Один из владетельных беков, Тадж-аддин Оглу Ахмет, повез в Каир это письмо и подарки.

Султан Баязет повел войско на Кейсарию.

Войско шло погожими осенними днями, когда на полях собирали урожай.

Земледельцы, завидев на дороге зеленое знамя султана и самого Баязета под тем знаменем, сбегались к дороге, падали на колени, призывая милость аллаха к делам султана.

По пути он узнал, что войско Тимура уже прошло далеко за Малатью.

Баязет, с каждым днем ускоряя движение своих войск, поспешил в Токат, в небольшой город с большим, многолюдным базаром, где уже давно стояла Баязетова конница, посланная вперед.

Токат радостно, с облегчением встречал Баязета, уверясь, что нашествие степных татар теперь не грозит городу.

Но Баязет негодовал: великий визирь, так торопивший Баязета, оказался прав. Тимур ушел. Тимур ушел по дороге на Халеб, на арабов.

Впервые Молниеносный оказался медлительным. Он не погнался за Тимуровым войском, сказав великому визирю:

— Поистратив силы на арабов, Хромая Лиса уберется к себе, далеко в Самарканд.

Недолго постояв в Токате, Баязет возвратился домой, к своим заботам о Византии.

⊖ ГЛАВА X

КАИР

1

На рассвете над Каиром протянулись длинными нитями облака, переливаясь и мерцая, как связки жемчугов, нежных и легких на грубой, тяжелой синеве неба, истаивая высоко над грудами черных теней, нагроможденных между строениями, над смуглой кожурой позлащенных рассветом стен, над всем этим смешением камней, тесноты, башен, минаретов, прижатых к стенам, над духотой и смрадом, над всем тем, что, насыпанное грудой на золотом подносе Африки, именуется — Миср.

Протянулись и уплывали вдаль связки жемчужных облаков.

С высоты крыш хорошо смотреть, как они уплывают к Гизе, где видны пирамиды, в этот час голубовато-прозрачные и как бы рассеченные поперек их громад зыбкими слоями утренней прохлады с Нила. Там, как миражи, слоилась вся даль, призрачная и прозрачная.

С высоты крыш многое виднее вокруг. На плоских каменных крышах, выложенных большими шершавыми плитами, легче дышать в темноте африканских ночей под черным небом, и тем легче, чем выше эта крыша, чтобы ничто не заслоняло струй воздуха, тех легчайших дуновений, что изредка проникают в неподвижный, застоявшийся зной Каира.

Самая высокая крыша распростерлась над дворцом султана. Дворец стоял надо всем городом на крутом, неприступном, обнесенном могучими стенами холме, где издревле была сложена крепость Каира.

Ее сложили здесь из огромных тесаных плит, с превеликим трудом переволоченных сюда от подножия пирамид Гизы и из Мемфиса, выломанных из стен храмов, дворцов, башен, когда-то воздвигнутых по указу фараонов и во славу фараонов, из плит, отесанных умелым и тяжким трудом нубийцев, сириян или иных рабов и пленников, когда все строили крепко, навсегда, ибо фараоны все создавали навсегда, веря в бессмертие и вечность.

С высоты розовато-желтого султанского дворца Каир внизу казался таким тесным и странно нагроможденным, словно не для жизни, не для наслаждения бытием соорудили его, но лишь для того, чтобы в его щелях, в этой тесноте и мгле укрыться от жизни.

На просторе крыши высился полосатый шатер, подъятый над ложем султана, положенным на шершавый базальт плит.

В этом распахнутом шатре навзничь лежал, повернув лицо к далекой Гизе, пятнадцатилетний подросток в широкой темно-синей, почти черной рубахе.

Едва проснувшись, он лежал, распластавшись на спине, не шевелясь, ожидая, пока какое-то желание ли, досада ли, прилив ли бодрости поднимет его вдруг.

Так, распластавшись, он любил размышлять, и, пожалуй, утро было единственное время суток, когда удавалось спокойно припоминать и обдумывать многие явления и события.

С младенческих лет он пристрастился к таким одиноким и тайным раздумьям, скрывая их от всех, кроме одного только наставника, с которым иногда делился своими мыслями, если они озадачивали и если он не мог найти им истолкования.

Никто не смел подниматься сюда без зова.

Мог появляться в любое время только один семидесятилетний наставник, ученейший Абу Зайд Абу-ар-Рахман ибн Мухаммед Ибн Халдун, магрибец, верховный судья Каира, призванный еще при жизни могущественного и просвещенного султана Баркука для воспитания и обучения нынешнего могущественного вавилонского султана

Фараджа ибн Баркука ан-Насира Насир-аддина, которому ныне шел пятнадцатый год.

Это было лестное право наставника. Но Ибн Халдун не часто пользовался этим правом и, не мешая султану спокойно пробуждаться, сам в ранние часы утра работал над своей книгой или вникал в чужие старые рукописи, каких много хранилось в каирских домах, мечетях, сокровищницах султана, по кельям ученых из Аль-Азхара.

Некогда он и направился сюда в поисках таких неведомых ему рукописей и книг, ибо жадно искал новых и новых сведений обо всем, стремясь день за днем расширять пределы знаний и всегда новые сведения сопоставляя с познанным прежде. И Каир из своих тайников, укромных трущоб и прославленных книгохранилищ дал Ибн Халдуну, магрибцу, столько никому не ведомого, что не хватало ни свежих утр, ни долгих дней, чтобы все это объять и осмыслить.

Поистине Каир заслуживал, чтобы ученый человек поселился здесь на годы, а может быть, и на всю жизнь, если стремится к познанию.

Султан Фарадж еще лежал, запрокинувшись, у откинутой полы тонкого шатра, когда уловил почти неслышные шаги легких босых ног по тяжелым плитам крыши.

Но он не поднял головы и даже не шевельнулся.

Он закрыл глаза, чтобы вошедшему показалось, будто султан спит: мальчику хотелось еще хотя бы немного так полежать.

Но, пройдя через всю крышу быстрыми, как бы танцующими шагами, чуть приседая и откидывая на ходу длинную руку, в развевающейся тонкой и широкой одежде — голобии, Ибн Халдун вдруг появился перед откинутой полой шатра.

Его босые ноги остановились неподалеку от лица султана.

Фарадж, не открывая глаз, ясно представил себе эти узкие синеватые ноги с густыми пучками седых волос на больших пальцах.

Медлительный и певучий голос пророкотал:

— Мир и мир высокочтимому султану!

Это означало, что у наставника есть неотложное дело, если он не ждет пробуждения, а будит, словно султан сам не знает, когда надо пробуждаться!

Фарадж мгновенно, оттолкнувшись от атласного,

скользкого тюфячка, в длинной, по самые щиколотки, рубахе встал среди разбросанных розовых и голубых одеял, пышных, как облака, и резко, но не без смутного беспокойства ответил:

— И вам мир, учитель!

Он считал непозволительным спрашивать кого-либо о чем бы то ни было, ибо на этой земле со времен фараонов считалось, что властитель есть маг и сам знает все, что желает знать.

Темная рубаха была ему широка, отчего хилый подросток казался мужественнее и рослее, чем был.

Голос его в ту пору ломался, и султан то похрипывал, то неожиданно взвизгивал и тогда поспешно смолкал, порой на полуслове, чтобы горло успокоилось.

Эти внезапные причуды горла стесняли и смущали Фараджа, нетерпеливо желавшего выглядеть величественным, как подобает могущественному вавилонскому султану. Так звали его в окружающем мире, ибо и былой Вавилон, и Миср, некогда бывший Египтом, и Сирия с ее славным Дамаском, и другие многие города, великие своим прошлым, принадлежали ему по праву наследования, хотя все чаще и чаще приходилось подтверждать свое право острием меча.

Не единожды приходилось каирцам отстаивать эти пределы и от османского султана Баязета, с которым еще у Баркука был установлен союз, и от сирийских заговорщиков, замышлявших обособиться от Каира.

Теплыми ступнями султан соступил с одеял на плиты и стал засовывать зябкие ноги в зеленые сафьяновые туфли, у которых длинные острые носы с красными хохолками, круто запрокинутые назад, были туго обмотаны золотыми нитками. Обуваясь, Фарадж поднял подол своей рубахи, приоткрыв узкие розовые штаны с поперечными черными полосками.

Он был очень занят этими туфлями и ступнями, никак не влезавшими в обувь, хотя она была просторна.

Он возился с туфлями.

Топтался на месте.

Прежде чем приступить к беседе с наставником, желал предугадать, о чем будет эта беседа.

Он не хотел, чтобы Ибн Халдун застал его врасплох своими делами, с которыми подступил так торопливо и так настойчиво.

Но как Фарадж ни прикидывал, ни одно дело не заслуживало, чтобы ради него являться к постели султана в столь ранний час и прерывать сон.

Ибн Халдун, пренебрегая тем, что Фарадж столь занят сейчас зелеными туфлями, начал было беседу:

— Внимание, о внимание, высокочтимый султан!

Фарадж попытался оттянуть беседу:

— Учитель, вчера мы остановились на рассуждении о власти кесаря. Сейчас я смотрел на пирамиды. Взгляните, каменная вершина поднялась над основанием и висит единственно на дуновении ветра!

Ибн Халдуну пришлось взглянуть в сторону Гизы и подтвердить впечатление Фараджа: утреннее марево расслоило пирамиду.

— Кажется, это только кажется.

Но султан настаивал:

— Если тяжесть грузной вершины столь легко повисает в небе, почему бы и кесарю или султану не парить, возлежа над своей страной?..

— Но зачем, милостивый султан?

— Дабы не погрязать в тине суетного бытия низменных людей и бренных забот.

— Увы, все земное тяготеет к земле.

— Однако известно, языческие фараоны легко восходили в лоно богов, а пирамиды — это лишь ступени, лишь лестницы для тех божественных восхождений.

Почтительно поклонившись, чтобы скрыть улыбку в волнах пушистой седины, Ибн Халдун отшутился:

— Такие ступени крутоваты для восхождений.

И строго добавил:

— Благочестивые богословы ныне отвергают силу фараонской магии. Ее тьма рассеяна истинным светом ислама.

— О благословенный учитель! Как можно, изъясняя мне историю мира, умолчать о могуществе языческих божеств, хранивших царство Вавилона и царство Нила?

— Могущество языческих божеств... На то была воля аллаха.

— А почему всемогущий аллах столь долго был снисходителен к язычникам?

Ибн Халдун уклонился от этого спора, грозившего затянуться:

— Мы еще не начали урок истории, милостивейший султан. Еще не наступил час урока.

Вдруг старик спохватился, что время уходит, ибо еще с вечера он пытался пройти к султану, но пришел, когда султан уже играл с девушкой и султанскую дверь никто не смел открывать до утра.

Резким движением длинной руки откинув за спину свисший край бурнуса, Ибн Халдун твердо и настойчиво сказал:

— Тревожная весть.

Слово было сказано. Фарадж больше не мог уклоняться от неизбежных земных дел.

— Всегда слушаю со вниманием, о учитель.

Ибн Халдун наклонился к уху ученика и прошептал ему всего несколько слов, но мальчик побледнел, насторожился, на мгновенье задумался. Его горячие черкесские глаза сузились.

— Где же они?

— Пока на пути к Халебу.

— Скорей, скорей, все дело в этом!

— Повелите сзывать совет.

— Да, скорее! Скорей!

Этих слов и ждал Ибн Халдун. С резвостью, завидной и даже непростительной в его годы, он побежал вниз, в залы дворца, куда заранее уже вызвал участников совета.

День начинался.

Марево вдали рассеивалось. Даль становилась ясней.

С базара потянуло чадом от горелого мяса и лука. Зазвенели бесчисленные молоточки медников. Город начинал день.

Осторожно, чтобы не свалились с ног просторные туфли, медленно ступая со ступени на ступень, Фарадж сошел по крутой серой мраморной лестнице, вклиненной в тесный простенок.

Через бойницу он увидел угол крепостной стены и ярко озаренную утренним сиянием могучую круглую башню. Одну из тех величественных круглых башен, которыми славилась крепость Каира. По преданию, их воздвиг более чем за двести лет до того сам Салах-аддин, сын курда Айюба, прославленный победами над крестоносцами, которые звали его Саладином и складывали о нем сказки.

Издавна в этих круглых башнях, называвшихся бурд-

жами, размещались и жили каирские воины, набранные из рабов, из пленников или из пришлых людей, из наемников, льстившихся на добычу и жалованье, а то и просто сбредшихся неведомо из каких сторон утаиться тут от каких-то темных дел и погони.

Здесь жили и воины из черкесов, славившиеся отвагой и мужеством, поднявшие Баркука на султанский трон. И в честь своих соратников, вышедших из сих неприступных бурджей, Баркук дал своей династии, своим наследникам имя Бурджитов, чтоб всем помнились круглые башни Каира, хотя всем было известно, что сам Баркук в бурдже никогда не жил.

С такими башнями Каиру не был страшен никакой враг. Но надо ли ждать врага здесь? А если не ждать, тогда что? Как поступил бы отец?

Фарадж нежно и счастливо помнил о своем отце.

Баркук задолго до того, как стать султаном ал-Малик аз-Захир Сайф-аддином Баркуком, был девятилетним черкесским мальчиком, быстроглазым и шаловливым, когда в 1364 году на невольничьем базаре в генуэзской Кафе, в Крыму, его купили с толпой других ребят и перепродали на таком же базаре в Каире. Он попал во двор к просвещенному амиру Иль Богга, и тот отдал смышленого мальчика в школу. Мальчика, как самого знающего, после школы взяли во дворец султана ал-Ашрафа воспитателем к султанским детям. Воспитатель оказался так смышлен, что, едва умер воспитанный им султан, объявил себя султаном. Его поддержали черкесы, служившие в дворцовой страже. Враги вскоре заточили самозванца в темницу, но дворцовая стража его освободила. С того дня он правил Египтом, поощряя земледелие и науки, торговцев и ремесленников. Он построил семинарию, где обучение было бесплатно. Он призвал ученых из многих стран, и они до конца своих дней оставались здесь, ибо ни в одной иной стране их знания не ценились так высоко, как в Каире. Он приютил ученого беглеца из Магриба, престарелого Ибн Халдуна, и высоко его вознес, утвердив верховным судьей Каира, поручив ему воспитание своего сына Фараджа, и оградил от множества обвинений и козней, на которые не скупились каирские недоучки, раздосадованные успехом пришельца.

Так в Египте началась новая династия мамлюков, династия кавказских черкесов, называвшая себя Бурджи-

тами. Так кавказские черкесы возглавили государство, повелевая страной, которой некогда правили фараоны.

Три года назад Баркук умер, султаном провозгласили двенадцатилетнего Фараджа, но сын каждый раз, когда хотел что-либо понять без разъяснений наставника, представлял себе беседу с отцом и спрашивал у отца ответа. Баркук, то приветливый и улыбчивый, то горячий и вспыльчивый, отвечал сыну ласково и назидательно, как разговаривал с ним всего лишь три года назад.

Это успокаивало пытливого подростка, внушало уверенность в своем решении, помогало настаивать на выполнении своей воли, даже если наставник, или визирь, или кто-то из вельмож противился приказу юного султана.

Он хотел всегда быть твердым, как отец, милостивым, как отец, и столь же взыскательным. Если надо, беспощадным и всегда отважным, как истый черкес.

— Как поступил бы отец? — спрашивал Фарадж. И из глубины души слышал ответ:

«Кинешься на врага первым, устрашишь врага отвагой!»

— Но один не кинешься! — возражал он отцу и спрашивал: — А войско где? — и на этот вопрос не слышал ответа.

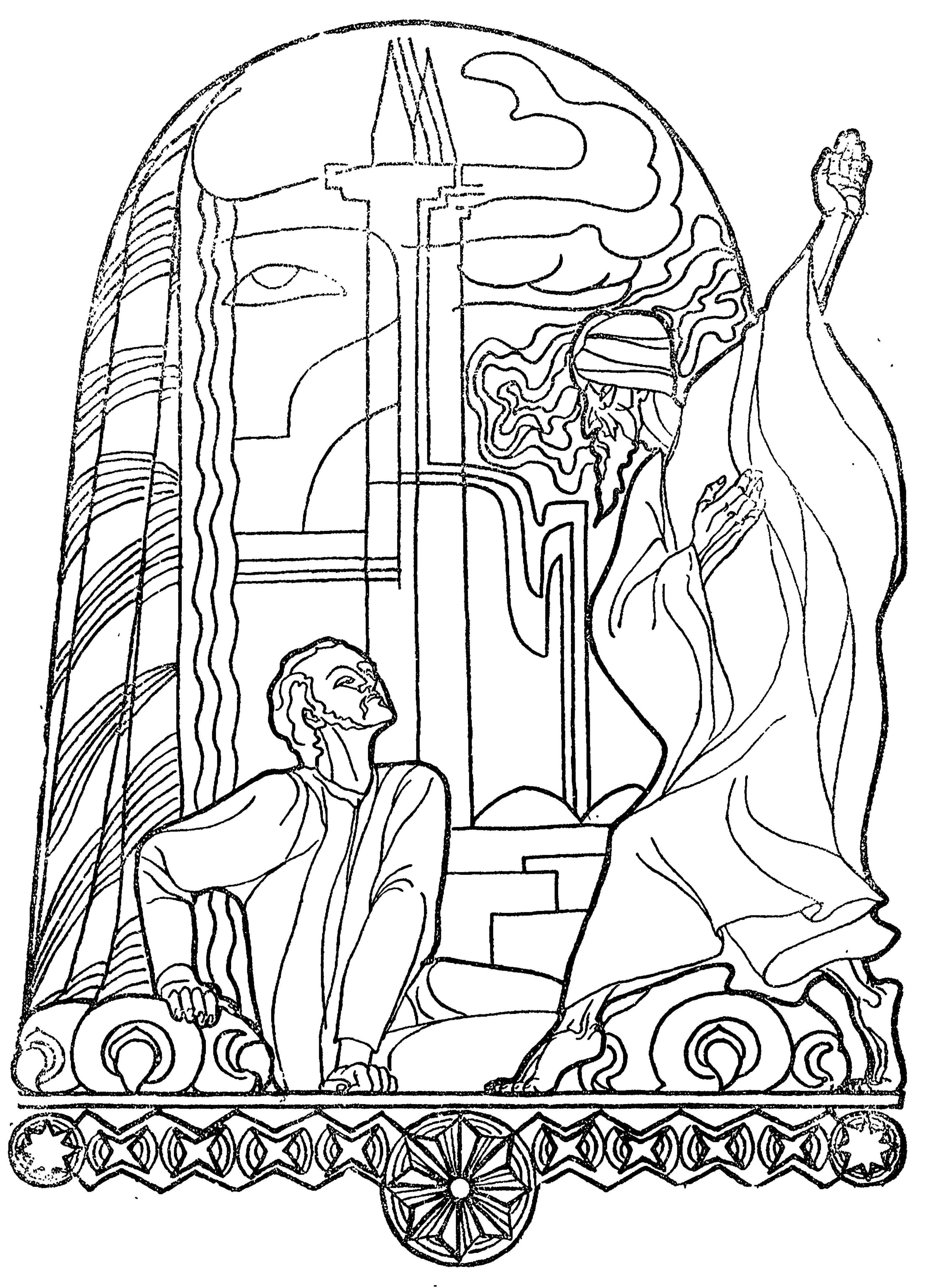
2

Он подошел к темной высокой зале старинного дворца, когда в нее через наружную дверь уже входили вельможи, вожди кочевых племен, старые воины, возвышенные еще отцом султана, поставленные во главе десятитысячных дружин, хмурые и властные богачи Египта, державшие в своих тайниках великие сокровища процветающей страны. Они входили поодиночке или по двое, но, видно, еще не все собрались.

Чтоб не показываться здесь раньше их и не уронить достоинства, Фарадж вернулся к лестнице, постоял, с досадой ожидая, пока все соберутся, но вскоре устал стоять.

Он сел на холодную серую ступеньку, но тотчас вскочил, едва почудилось, что кто-то идет по лестнице.

Он ошибся, никто не шел. Но он представил вдруг, как это будет унизительно, если кто-нибудь увидит своего султана восседающим на нижней ступеньке лестницы.



Он постоял в нише, переминаясь с ноги на ногу. И вдруг, крадучись вдоль стены и не замечая, как громко шлепают по мраморному полу его туфли, решительно прокрался мимо многолюдной залы и через темные переходы добрался до своей небольшой комнаты, где любил проводить дневное время.

Здесь перед узким зарешеченным окном, похожим на сияющий коврик, ибо в раму были вставлены цветные, зеленые, и пурпурные, и синие стекла, он торопливо сбросил с себя просторную рубаху и позвал слуг.

Ибн Халдун, понимая, что времени остается так мало, еще с вечера разослал гонцов по городу, сзывая к утру всех нужных людей и всех, кто составлял султанский совет. Но они собирались медленно, они не ведали, сколь велика опасность, надвигающаяся на них. А многих даже не оказалось в городе: лето заманило их в деревни, в прохладу оазисов.

И теперь Ибн Халдун прохаживался между собравшимися, затаив беспокойство. Присматривался к тем, кто, стоя в галерее или толпясь в зале, встревоженные неожиданным зовом, пытались дознаться друг у друга или общими силами понять, зачем султан созвал их сюда.

Когда об этом осмеливались спросить Ибн Халдуна, он уклонялся от ответа, отшучивался: не хотел ничего сообщать в отсутствие султана. Обо всем объявить первым надлежало визирю, но, если обращались с расспросами к визирю, он с испугом смотрел на вопрошавших неподвижными выпуклыми тяжелыми глазами и молча отходил прочь. Склонный к беззаботной мирной власти, визирь так увлекся личными делами каирцев, наблюдением за каждым из вельмож, что жизнь за пределами Каира мало его занимала.

О каждом, кого он здесь видел, визирь все знал. И многие, догадываясь об этом, спешили отстраниться от него, уйти подальше. Так среди людской толчеи визирь всегда оставался один и на виду у всех.

Ибн Халдун всюду искал случай показать султану, кто из них больше радеет о благе Египта, египтянин или магрибец, дабы не было повадно тем многочисленным завистникам, что не уставали сожалеть о пристрастии султана к верховному судье. Будто не был чужеземцем сам султан! Черкес, сын черкеса, купленного на крымском базаре!

Теперь Ибн Халдун покажет всем, сколь близоруки и беспечны бывают иные египтяне и как чутко стоят на страже иные из чужеземцев, не щадя сил во славу Египта.

Визирь уже догадался, что магрибец готовит ему удар. Но с какой стороны?

Плотный, смуглый, с карими глазами навыкате, с белками, налитыми кровью, как у пойманной рыбы, с черными пухлыми нубийскими губами, с тяжелыми скулами, изъеденными оспой, он посапывал от досады и от усилий понять причины этого призыва к султану.

Широко раскидывая руки, большими шагами широко расставленных ног, медлительно и хмуро визирь прохаживался по всей зале мимо людей, не глядя ни на кого, мимо затейливых узоров, отчеканенных отличными мастерами на смуглом базальте дворцовых стен.

Он понял, что верховный судья затеял с ним большую игру. Он готов был отразить любой выпад и сам был бы рад, улучив время, нанести крепкий удар, но не мог понять, с какой стороны грозит опасность: «Каким рогом ударит буйвол?!»

Визирь знал обо всех, кто посетил Ибн Халдуна за все эти дни. И кто был у него вчера, знал. Никаких известий ни из самого Каира, ни из каирской округи, ни из Александрии, ни из Исмаилии магрибец получить не мог. Вчера его двор посещали повседневные базарные разносчики обычных товаров. Большая часть этих разносчиков — люди, усердно услужающие самому визирю. Посещая все городские щели, все дворы, от лачуг бедняков до палат вельмож, они ко всему приглядывались, принюхивались, прислушивались, а их глазами и ушами ко всему приглядывался и прислушивался сам визирь.

Вчера у Ибн Халдуна рано утром шли уроки с юным султаном. Потом он восседал в суде, углубленный в чужие тяжбы. Потом два сирийских купца принесли ему древнюю книгу, привезенную из Дамаска. Но ветхая книга сирийского богослова — это не такая новость, чтобы из-за нее будоражить весь Каир!

«С какой же стороны он готовит удар?»

Все здесь толклись, постепенно более и более волнуясь от подозрений, опасений, тайных тревог, как и чем все это может сказаться на делах. Повысится ли спрос на финики или цена на рабов, или вздумают перекраивать земельные угодья, или у кого-то что-то отнимут, а кому-то что-то дадут...

Но все мрачнели, едва взглянув на Ибн Халдуна. «Чего доброго можно ждать от этого магрибца?»

А магрибец прохаживался, повевая своей просторной ярко-белой голобией, покачивая еще более белой бородой

и ни на кого не глядя, не то приседая, не то приплясывая на каждом шагу.

Опытные царедворцы по многим признакам поняли, что не визирь и не кто-то другой, а только верховный судья знает, зачем они сюда собраны. А если он один это знает, значит, и собирал их он! Слуги не визирю, а ему докладывают о каждом прибывшем, не перед визирем, а перед магрибцем пресмыкаются, ожидая указаний.

Но кое-где лениво беседовали.

— Я слыхал, вы вчера сбыли на базаре финики. Почем взяли?

— Отдал остатки. Так, поскребышки. Завалялись с осени, уступил за бесценок.

— А почем все-таки?

— Да какая там цена! Бог с ней... — отмахивался собеседник, который, выдержав время, не в начале зимы, когда все спешат сбыть весь урожай, а теперь, летом, привел целый караван, четыреста корзин фиников, и взял цену в два раза выше зимней. Он умел ждать, а почувствовав, что дождался, бил птицу на лету.

Его звали Бостан бен Достан, и он сам не знал, откуда у него, потомственного араба из Фаюма, такое странное имя, своим звуком похожее на колокол каравана, если произносить его подряд снова и снова: Бостан бен Достан, Бостан бен Достан... Он служил войску султана, в течение многих лет доставляя зерно на всех воинов, расположенных в каирской крепости. Он давно домогался поставлять также и мясо, но все знали, что тайно, через подставных купцов, мясо на всех воинов скупает и перепродает сам визирь. И никто не мог помешать ни этим, ни прочим делам визиря:

— О делах визиря много знает верховный судья.

— Напасть может тот, кто знает больше: всегда сильней тот, кто больше знает о другом.

— Кто же о ком, почтеннейший амир, знает больше, судья о визире или визирь о судье?

— Это известно только им двоим. Уже не первый год они не спускают глаз друг с друга.

— Я было заговорил с магрибцем. Он молчит, отводит глаза в сторону, будто оглох. А потом покачал головой: «Нетерпение и любопытство — порок стареющих женщин».

— Сегодня никто не смотрит никому в глаза. Что за день! — посетовал Бостан бен Достан.

— О, от магрибца не узнаешь даже цену на прошлогодние финики! — усмехнулся собеседник, воровато взглянув на Бостан бен Достана.

И Бостан бен Достан, быстро отвернувшись, ушел от этого собеседника.

Все теснились в большой зале. Сперва, скучая, судачили, прохаживаясь и косясь друг на друга. Но постепенно тревога охватила всех. Собеседники смолкали: беседы не ладились.

Визирь размашисто направился было к дальним покоям султана, когда султан вдруг сам вошел в зал.

Он сверкал новенькими стальными доспехами. Меч висел на бедре. Два кинжала на поясе. И только не было шлема на голове.

Всех озадачило: в какой поход собрался?

Он взошел на свой трон, сооруженный еще прежними султанами из ливанских кедров со столбами из черного дерева. В дерево были врезаны затейливые сочетания слоновой кости, перламутра, серебряных и золотых нитей. Получались как бы цветы и птицы, но, если присмотреться, ни цветы и ни птицы, ибо богословы осуждали изображение одушевленных существ.

С черных изузоренных столбов над сиденьем свисал черный индийский полог, затканный тоже серебром и золотом. Подушки, сшитые из того же шелка, лежали со всех четырех сторон, и султан сел среди них, поджав под себя тонкие ноги.

Но, едва выслушав неизбежные приветствия, тотчас пружинисто вскочил на ноги и встал среди подушек.

— Почему вы покойны? — спросил он. — Почему никто из вас не готов? Видно, забыли, что здесь было свершено пять лет назад?

Загадочные вопросы!

Все замерли: пять лет назад? А что тогда было?

— Разве не знаете вы, разбойничья орда монгольского Тимура хлынула на дорогу к Халебу.

У многих перехватило дыхание. Некоторые из тех, кто был постарше и служил еще при дворе султана Баркука, взглянули в левый угол этой залы, туда, где неподалеку от трона мрамор пола не был застлан ковром.

Все смолкли. Все поняли.

Все вспомним.

Здесь, в этой зале, султан Баркук принимал послов, явившихся издалека, не то из монгольских степей, не то с татарских кочевий.

Они тогда стояли тут в рысьих шапках, поводя рысьими глазами, в шерстяных коротких чекменях, опоясанных ремнями, а когда входили, один из них переступил через порог левой ногой и в зале нестерпимо запахло лошадьми и полынью.

Именем своего степного хана, которого они величали Повелителем Вселенной и который в самом деле поспел выжечь и вытоптать половину благословенных мусульманских царств, они потребовали покорности и повиновения от султана Баркука и чтобы впредь он платил их хану дань и служил ему как один из бесчисленных его слуг.

Чтец при всех громко и внятно читал написанное затейливым почерком, но грубым языком багдадских арабов послание:

«Велю тебе, вавилонский султан, служить мне верно, исправно, безропотно.

Будешь послушен и старателен, останешься в своем седле, в своей юрте.

А будешь противиться мне, не оставлю тебе седла и пущу на дым твою юрту.

Сам решай свою участь. Как решишь, так будет. Свое решение скажи моим послам».

Султан Баркук не был из тех, кто при имени завоевателя ронял меч из рук и распускал пояс на шальварах.

Султан Баркук прошел свою жизнь, как по канату над бездной, от базара в Крыму до высокого трона в Каире. Он привык, приветливо улыбаясь, смотреть в глаза многим опасным и коварным врагам.

Тот степняк был, видно, груб, зол, невежествен, если султану Египта посмел говорить, как своему конюху.

Не спуская с послов спокойных, даже улыбающихся глаз, глядя в глубь их черных зрачков, Баркук дал знак схватить их и приказал тут же, в зале, справа от трона, чтоб все это видели, перерезать им глотки, как баранам.

То и было исполнено.

Был пощажен только багдадский араб, читавший послание, и отпущен, чтобы все рассказать своему степному хозяину. За такой рассказ хозяин зарежет багдадца сам.

И многие из тех, кто стоял теперь здесь, у этого трона, вспоминали, как почернел от крови голубой ковер в углу.

Ковер вынесли. И с тех пор эту часть пола не застилали ковром.

Тогда же Баркук послал своих послов к османскому султану Баязету, считавшемуся уже и в те годы могущественнейшим и мудрейшим из земных владык, что, подобно Салах-аддину, разгромил многочисленное войско крестоносцев и теперь стоял на Босфоре, ожидая, когда престольный город Византии падет к его ногам.

И послы Баркука заключили с Баязетом союз против амира Тимура.

Разъяренный Тимур двинул было свои полчища на Каир, но вдруг свернул на Кабул и оттуда горными ущельями ушел в Индию.

Только теперь, вернувшись из Индии, он изготовился исполнить месть и обрушить на Египет гнев и расправу.

Вот почему все здесь задумались, опустив глаза. Только Бостан бен Достан, не заметив, как в полном безмолвии громок его голос, сказал собеседнику:

— До Халеба далеко. Я-то боялся, не здесь ли что!..

Все посмотрели на него, и поставщик зерна оробел:

— Я не то сказал?

— Не то! — крикнул султан. — Халеб и Каир — это один город, когда они оба наши!

Слово «наши» прозвучало со свистом, голос сорвался. Султан, наскоро откашлявшись, тяжело, густо пробасил:

— Наши!..

Сбычившись, глядя вперед исподлобья, положив правую ладонь на рукоятку кинжала, спросил:

— Почему высокочтимый наш визирь, следя за каждой соринкой города Каира, не знает, что там, где я султан, везде Каир?! Почему первый человек нашего султана, высокочтимый наш визирь, не первым узнал, что со стороны Кавказских гор на нас надвигается враг? Кавказские горы далеки, но надвигается он на нас.

И, сбросив ладонь с кинжала, султан поклонился в сторону Ибн Халдуна.

— О учитель! Станьте на эти тяжкие дни на место визиря. Не откажите нам!

Еще более легкой, еще более пляшущей поступью магрибец перешел к трону и замер возле султана на том месте, откуда, попятившись, неповоротливо отступил визирь.

Многие успели послать слуг домой, и к концу совета многие из вельмож и военачальников успели надеть доспехи. А некоторые не смогли — так долог был мир, что доспехи оказались тесны своим раздобревшим хозяевам. Только шлемы пришлись всем впору: головы ни у кого не изменились.

Когда поход навстречу Тимуру был решен, к османскому султану Баязету послали гонца с напоминанием о союзе и с просьбой о помощи.

Фарадж ушел.

Все торопливо пошли прочь: распоряжаться, собираться, обдумать нежданную беду.

И никто не хотел приближаться к Ибн Халдуну, неподвижно возвышающемуся возле трона среди пустеющего зала.

Магрибец смотрел, кто как уходит: те, торопясь и не оглядываясь, другие, пятясь, чтобы еще и еще раз откланяться новоявленному визирю, третьи, недобро поглядывая в его сторону из-под приспущенных покрывал, — видно, тут же, за порогом, спешат позлословить между собой о том Ибн Халдуне, без которого, не окажись он тут, враг неслышно дошел бы до самого Каира и лихо расправился бы со всеми этими злоязычными завистниками и неучами.

Только Бостан бен Достан верблюжьими большими шагами перешел через весь зал прямо к Ибн Халдуну и, прижимая ладони к животу в знак раболепного почтения, грубовато и громковато сказал:

— Я, что надо, заплачу за это, но только чтоб было твердо: мясо, которое поставлял тот визирь, буду поставлять я. А за поддержку я заплачу как надо. Мое слово твердо. А?

— Если аллах благословит, смогу ли я противиться воле божией! — тихо ответил магрибец.

И, больше ни на кого не глядя, высоко и царственно неся перед собой ослепительно белую бороду, отправился в покои султана.

Уже давно начался бы урок истории, если бы сама история не задала нынче Ибн Халдуну трудный урок.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

осада дамаска



⊕ ГЛАВА XI

ХАЛЕБ

1

Из Карабаха Тимуру подвезли новые орудия. Новые осадные орудия, метавшие большие ядра и огонь. Их повезли вслед за войском Тимура, шедшим к Халебу. Они нагнали обоз в степи неподалеку от города Антеп.

Тимур сам приехал посмотреть орудия. Их присоединили к прежним, но, по уверениям создателей, новые были совершеннее.

Громыхая громоздкими, длинными телегами, на которых везли орудия, войска подошли к Антепу.

Древний Антеп славился по всему Востоку зданиями, сложенными из белого мрамора, где римские храмы возвышались среди жилых домов, тоже белых, тоже построенных любовно, сохранявших совершенные размеры и линии. Славился перекидным мостом. Славился своими певцами. Арабы приезжали сюда полюбоваться искусством зодчих, насладиться голосами певцов, налакомиться изделиями поваров, готовивших лакомства, тайну изготовления коих хранили для одного Антепа. Жили здесь беспечно и перед нашествием оказались беззащитны — ни крепких стен, ни сильных войск у города не было.

Навстречу Тимуру выехали старейшины города заявить, что сопротивления не окажут, и прося лишь сохранить город, убереженный жителями за длинные века.

Когда Тимуру сказали о сдаче Антепа, он, отвернувшись, отказался слушать посланцев города.

— Мне не нужна их милость. Затеяли меня обдурить! Пускай обороняются, я возьму их силой.

И с досадой проворчал Худайдаде:

— Это они затеяли, чтобы пустить слух, будто я не смог бы взять Антеп, если б они сами мне его не сдали! Нет, пускай защищаются! Я возьму город силой!

С тем ответом антепцы вернулись домой.

Тимур приказал выдвинуть орудия. Он хотел их испытать.

Весь день орудия били ядрами по мраморным стенам, кроша и руша их.

Орудия понравились Тимуру — их сила, их грохот, их огонь, клубящийся тяжелый дым.

Беззащитные жители выбегали к войскам, моля прекратить разрушение, добровольно соглашаясь на рабство, на смерть.

Этих убивали или отсылали в глубь страны. Орудия продолжали бить и рушить.

Низвергнув все, что доставали ядра, Повелитель послал в город войско доломать остальное.

Антеп остался в развалинах, пустой, умолкший.

Испытав орудия, завоеватель двинулся дальше, раздосадованный, заподозрив, что жителям удалось утаить и упрятать сокровища в неведомых тайниках.

2

Едва весть о гибели Антепа дошла до Халеба, правитель города Темир-Таш понял, что нашествие на Халеб предрешено. Надежда, что Тимур пойдет на Баязета и увязнет там, не сбылась.

Ни минуты не медля, Темир-Таш послал гонцов с письмами к Фараджу в Каир, Содану в Дамаск, ко многим главам арабских племен, зовя их скорее идти на помощь Халебу, где должна решаться судьба всех арабов.

Имя Темир-Таш означало: железный камень. И он оправдывал это имя — коренастый, мускулистый, крепкоскулый, подвижный, он был похож не на араба, но на своих монгольских предков, около двух столетий живших

здесь, переняв обычаи и культуру арабов и накрепко полюбив новую свою родину.

В тот же день Темир-Таш объехал все городские стены, осмотрел рвы вокруг стен. Ночью созвал зодчих и приказал с рассвета начать работы по восстановлению и перестройке укреплений, показавшихся ему ненадежными.

Темир-Таш предложил жителям, боящимся долгой осады, уйти из города, пока дороги безопасны. К Багдаду, к Дамаску потянулись караваны беженцев. Остающиеся, собрав свои ценности, понесли их на хранение под защиту внутренних стен.

Цитадель возвышалась над городом. Это был второй ряд стен, еще более крепких и неприступных, чем нижние стены, тоже считавшиеся самыми надежными среди крепостей.

Тимур двигался к Халебу, но по пути встречались другие города, и он не мог обойти их, не покорив.

За это время пришли ответы на призыв Темир-Таша — войска арабов шли на защиту города. Пришли и мужественные монголы, сородичи Темир-Таша, и войска из Дамаска, возглавленные Соданом, и воины из небольших арабских княжеств с их вождями, из городов и уделов, из Траблуса, Хомса, Хама, Баальбека, Сафета, Каллат-ур-Рума — отовсюду, откуда успели прийти. Ибн Фарух из Сафета привел две тысячи, хотя и не велика его область, Гаиб-аддин из Траблуса пришел с семью тысячами воинов. Будь времени больше, привели бы и войск больше, но удивительным было единодушие, с каким откликнулись и явились за столь малое время столь готовые на подвиг. Всех собралось около шестидесяти тысяч — большое воинство.

Военачальники сошлись на совет в надвратной зале, поднимавшейся над мостом через ров. С ее высоты виден был весь город, все стены вокруг города, а за стенами — желтые, иссохшие за лето поля.

Темир-Таш, встав, постоял, присматриваясь к собеседникам. Иных он знал всю жизнь, других видел впервые.

— Враг пытался выманить Баязета, чтобы расправиться с ним без мамлюков. Не удалось. Теперь идет на нас, чтобы расправиться с нами без Баязета. Тут дело не в одном Халебе. Тут дело всех наших арабских племен. Что будем делать?

Сидели в полутьме просторной залы тесно. Прислонились к голым камням холодных стен.

Содан был росл, смугл, подстригал усы над губой, подкорачивал карюю бородку. Круглые плечи его двигались от нетерпения ли, от беспокойства ли.

Другие — сухощавые, длинноногие, дородные, на коротких ногах, сорокалетние рядом с юношами. Между ними старик, жилистый и длинношеий, игравший четками, положив поперек колен широкую, в желтых ножнах саблю. Позвали сюда и Низам-аддина, историка, задержавшегося в Халебе проездом на какую-то свадьбу. Позвали, чтя его знатное родство.

Помолчали.

Вдруг Содан громко ответил Темир-Ташу:

— Что делать? Бить их!

Монгол из жителей Халеба повернулся к нему:

— Еще бы! Но как?

Содан:

— Нас много. Мы сильны. Мы одолеем. Как? Увидим, но одолеем!

Темир-Таш:

— Объединение — еще не единство. Соединиться надо так, чтоб един стал наш разум. Едино чувство, едина цель, едина воля. Только в этом наша сила. Враг перенял завет Чингисхана: «Объединившись, можно одолеть любого врага». Но враг наш следует и другому завету: «Бить врага порознь». Свои силы собрать, вражеские — раздробить. Поняли? Подумаем, как нам не дать врагу исполнить те заветы в битве с нами.

Сказал длинношеий старик, отставив к стене саблю:

— Я пришел. Мои воины здесь. Однако много я слыхивал про сего врага. Его именуют Мечом Аллаха. Он единоверен нам. И не справедливо ли его так именуют? Ведь куда ни придет, везде ему победа. Иран взял, Индостан покорил, взял Хорасан, Сеистан, Хорезм. Не послать ли к нему достойного человека спросить, чего хочет, чего от нас ему надо, не договоримся ли миром решить дело?

Содан перебил его:

— Кто боится, тот проигрывает. Это всегда так. Наша страна не такова, как те страны, что вы назвали. Там стены глиняные, а у нас из камня и стали! Чтоб наши стены свалить, ему и года мало! Слава аллаху, между его вои-

нами и нами велика разница. Наши луки кованы в Дамаске, мечи у нас египетские, стрелы арабские, щиты у нас халебские. А если число его войск страшит вас, вспомните-ка о ближних городах и селениях вокруг нас. Их тысяч шестьдесят насчитается. Если каждое только по одному воину нам даст, к нашим шестидесяти тысячам еще придет столько же. Нас станет не меньше, чем врагов! И сражаться мы будем здесь, дома, за надежными стенами, а те — в открытой степи, заслонившись лишь щитами из бараньих кож да веревочными доспехами.

Но один из военачальников задумался:

— А может, отец прав, попытаться поговорить с ним? Ведь у нас жены, дети, беззащитные люди. Мы не можем забывать об их участи.

Содан:

— Нет! Мы собрались сюда не плакать о женах, а решать судьбу народа. Как одолеть врага? Говорите об этом!

Один из молодых военачальников сказал:

— Ко мне прибежал человек нашего племени. Он торговец с гор. Он видел, как в горах конница врага уничтожила целое племя. Руки их не дрогнули рубить детей. Выволакивали за волосы старух из жилищ и рубили их, одни перед другими бахвалясь зверством. Нет у этих врагов смысла человеческого.

Содан усмехнулся:

— И что же?

— Чем испытать это самим, не попытаться ли?.. Ну, послать к нему кадиев. Столковаться...

— Ха! Не враг ли тебя подослал стращать нас?!

Многие рассмеялись.

Историк Низам-аддин подумал:

— Мы смеемся тут, а судьба смеется над нами: пока мы намереваемся, она уже знает!

После всех споров наконец решили не выходить на открытый бой, кроме как для небольших разведок, держать врага в степи, бить его, не выходя за стены.

Уходя из башни, Темир-Таш за локоть удержал Низам-аддина:

— Вы здесь гость. Уезжайте, пока есть время.

Низам-аддин тихо возразил:

— Недостойно историка писать о событиях, убегая от них.

Все эти речи в уединенной башне с быстротой стрелы долетели до слуха Тимура, он понял намерения защитников Халеба и задумался, как перехитрить их.

Когда стража на башнях Халеба увидела передовые отряды Тимура, оповещая звоном щитов о нашествии, на угловую башню городской стены поднялись арабские военачальники.

Городские ворота закрылись. Мосты поднялись. Город отделился от степи, где шла неторопливой трусцой конница врага.

Конница шла странно: не прямо на город, как ожидали в Халебе, а как бы сторонясь городских стен, как бы опасаясь их, заполняя степь перед городскими воротами.

За незваными пришельцами наблюдали спокойно, даже насмешливо. Оказалось, пришло их не столь много. Оказалось, хваленое татарское войско не столь могущественно.

Ждали еще войск, но, кроме тех, что пришли за день, больше никто не явился.

Наступила ночь.

Всю ночь во внутренние стены приходили жители, отдавая в неприступное место на сохранение самое ценное из своего достояния.

Темир-Таш сам следил за порядком, чтобы после ухода врагов каждый мог получить обратно то, что сдает. Среди жителей был страх, но начавшееся было смятение улеглось: враг оказался не силен, слухи преувеличены.

Утром удивление возросло. Оказалось, став на виду у города, пришельцы всю ночь рыли глубокие рвы вокруг всего своего стана, сооружая за рвами легкие заграждения из кожаных щитов, из бараньих шкур, явно надеясь больше на рвы, чем на столь нехитрую ограду.

Всю неделю Халеб смотрел, как углубляются рвы, как высоко поднимаются валы вокруг стана, но не случилось ни одного столкновения, ни единой попытки испробовать крепость халебских стен.

На ночь стан врага затихал. Не горело ни одного костра, не слышалось оттуда голосов. Лишь изредка доносилось ржание лошадей, даже собаки молчали, как заговоренные.

Когда луну не застили облака, видна была в голубом мареве серебряная безлюдная гладь степи, а на ней темный безмолвный стан спящих врагов. Город успокоился, и ночью здесь тоже засыпали безмятежно.

Утром из стана, как на прогулку, выезжали конные сотни. Иногда их бывало больше, иногда меньше, но никогда не выезжало много.

Однажды, высмотрев такой выезд тысячи сабель, нетерпеливый Содан вывел из города тысячу своей конницы и сам повел ее на бой. Конница Тимура, уклоняясь от боя, отбивалась, отходя к стану, и скрылась за валы.

В другой день Содан решил перехитрить завоевателей и, выследив очередной их выезд, кинулся наперерез, оттесняя их от стана. Тем пришлось принять бой, и он длился весь день с переменным успехом, но из стана не вышло им подкрепление, и, потеряв больше сотни, враги пробились назад в стан.

Понимая, что враг не так опытен и смел, как о нем рассказывали, Содан решил заманить его дальше от стана. В тот раз враг показался в большем числе, ехало тысяч пять, но Содан вывел с собой столько же, а тысячи две, возглавляемые Гаиб-аддином, обошли завоевателей и зашли между ними и станом. В тот день битва сложилась жаркая. Павших оказалось много, но с обеих сторон. От большого боя и здесь завоеватели уклонились и, едва смогли, опять укрылись за своими валами.

Когда вечером в Халебе военачальники сошлись поговорить о минувшей битве, Содан сказал:

— Они рубятся хорошо, но мы сильнее. Войско их и не велико, и не рвется в бой. Наши стены крепки, а их заслоны годятся только для загонов, чтобы овцы не разбрелись, а для защиты от нас ничего не значат. Незачем нам отсиживаться, запершись. Не они нас, а мы их возьмем в осаду.

Темир-Таш заколебался:

— Мы сообща решили отсидеться. На что нам их стан? Постоят и уйдут, тогда мы и откроем ворота.

Но и Гаиб-аддин, уже вкусивший хмель битвы, хотел снова хлебнуть этой горечи в звоне клинков, кликах и ржании.

Убежденнее говорили те, что рвались в бой.

Было решено напасть на их стан. Глубокие рвы, настойчиво углубляемые, высокие валы из еще не осевшей

земли не смущали — все это казалось ничтожным перед могуществом халебских стен.

Войскам Халеба дали отдых. Несколько дней они набирались сил, не нарушая покой завоевателей.

Тимур понял, что это затишье означает сборы к решительной вылазке, и разгадал затею арабов.

В одно из утр городские ворота раскрылись, и Содан вывел половину всех войск в степь. Остальных оставил в городе, заполнив ими улицы, ведущие к воротам, чтобы в переломный час битвы в бой вошли свежие силы. Около тридцати тысяч наиболее опытных воинов ринулось на стан Тимура.

Тавачи, брат Худайдады, военачальник не менее опытный, не оценил сил Содана, и коннице Халеба, предводимой Гаиб-аддином, удалось врубиться в ряды завоевателей и ворваться в их стан.

Султан-Хусейн и быстро разобравшийся в обстановке Худайдада разделили войско арабов, начав оттеснять арабскую конницу к рыхлым валам. Лошади увязали в сыпучей земле, их подвижность ограничилась.

В горячке битвы Содан вдруг увидел: справа как из-под земли появляются неведомо откуда взявшиеся войска Тимура, а слева впереди пехоты неуклюжей рысцой, развернутым строем сюда спешат слоны.

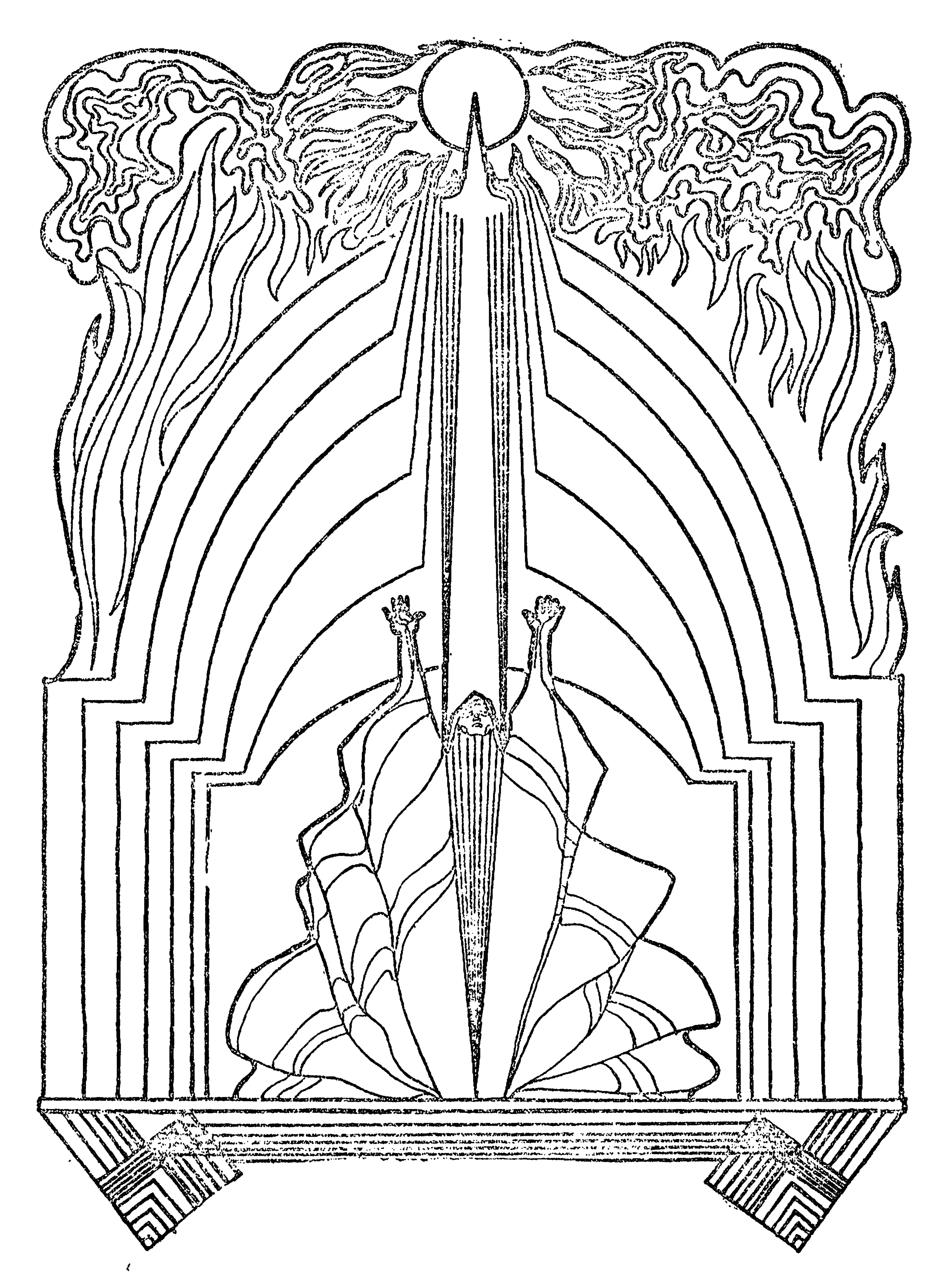
Содан с небольшой конницей кинулся назад к воротам, чтобы возглавить запасные силы, ожидавшие приказа выступить из города. Но к воротам уже приближалась свежая конница, тайно, в ночной тьме подтянутая к Халебу по приказу Тимура.

Содан успел заскочить в город, но несколько тысяч воинов дамасской конницы оказались оттесненными от ворот.

Тогда, пробившись через первые отряды набегающего врага, они кинулись уходить по дороге к Дамаску. Сначала вгорячах не заметили их ухода. Позже, уже ночью, в погоню за ними кинулся царевич Султан-Хусейн.

Конница Тимура вслед за Соданом ворвалась в город. В узких улицах завязалась жестокая сеча. Все войска, утром вышедшие из Халеба, оказались отрезанными от города, и на них надвинулись слоны.

Слоны еще только надвигались, когда не видевшие их мирные кочевники и земледельцы, собранные сюда из арабских оазисов, оцепенели от страха. Очевидцы впо-



следствии рассказывали, что люди при виде неведомых животных останавливались, потеряв волю двигаться и обороняться.

Кинулись бежать, но город уже не мог дать им убежища. Слоны, оттеснив к рвам, принялись давить их, под-

нимать хоботами и кидать оземь себе под ноги. Остервенение слонов нарастало.

В стане изрубленная, разобщенная конница Халеба тоже срывалась во рвы. Уже Гаиб-аддин на дне рва был задавлен срывающимися в ров лошадьми и своими соратниками. Уже и длинношеий старик, раненный в живот, скорчившись, привалился к земляному валу, потеряв старинную широкую саблю, глотая воздух. Но Тимур свои свежие силы еще только вводил в бой. И все новые и новые его войска входили в город.

Содан едва успел протиснуться за внутренние стены.

Затворясь в той же высокой башне, он, Темир-Таш и историк Низам-аддин видели, как слоны и завоеватели, наполнив до краев ров телами защитников, раненых и потерявших разум от ужаса и тесноты, подошли вплотную ко рвам, переполненным живыми людьми.

Тогда слоны, управляемые кроткими индусами, не вкушавшими мяса, наступили на эти ворочающиеся тела и принялись давить их, разгуливая и поплясывая.

Другие слоны в это время вошли внутрь города. Защищать город было уже некому. Враг растекался по всем улицам. Лишь во внутренних стенах, приняв остатки войск, закрыли ворота и готовились к обороне.

Слоны надвигались на толпы беззащитных жителей, спешили во все углы и переулки, где оказывались скопища людей, давя, хватая хоботами, победно трубя в упоении мести за волю, отнятую у них другими людьми в далеких джунглях Индостана.

3

По городу, сталкивая ногами с дороги окровавленные тела, к цитадели подвезли орудия.

Окружили цитадель со всех сторон. Тяжело дышали, изнемогая от усталости за истекший день.

С высоты башни Темир-Таш смотрел на это.

Он сказал Содану:

— Вот, мы договорились затвориться, а ты высунулся! Отвага хороша, когда крепок разум.

— Не ругай! Я добивался победы, а не этого.

— Мы бы и победили. Мы бы выстояли.

— Постоим теперь. Может, выстоим.

Низам-аддин, худенький, малорослый, поднял руки перед двумя этими воинами:

— Вы смеялись, а судьба была тут. Она смеялась над вашим смехом, ибо мудрость в том, чтоб не смеяться над неведомым, а опасаться его.

Темир-Таш:

— Поздно каяться. Запасы есть, будем стоять и выстоим.

Низам-аддин согласился:

— Каяться поздно. Но судьба не щадит смеющихся над будущим. Ибо в будущем могут явиться новые завоеватели и столь же самонадеянные защитники. Судьба одна знала, что мусульмане придут топтать мусульман слонами язычников.

Темир-Таш:

— Мусульмане мусульман! Такое бывало?

— Не знаю, моя память помутилась.

— Пока мы были едины, мы для него были крепким орехом. Он об нас зубы сломал бы, а разгрызть бы не смог. А начали каждый за себя решать, нас слоны одолели.

— Чувства были едины. В делах разошлись.

— Э, были бы мы едины!..

А орудия уже начали обстрел цитадели.

Каменные ядра, пробившие стену Сиваса, раскалывались либо отскакивали от стен цитадели. Били новые орудия, били прежние, стенам не было от них вреда.

Обстрел длился день, другой. Длился неделю. Стены стояли, как летом стояли стены Сиваса.

Когда завоеватели смотрели на цитадель снизу, она казалась высокой скалой, где на вершине орлы вьют гнезда.

Настал день, когда, откатив орудия от стен, Тимур выставил вперед отряд горцев.

Нашлись скалолазы из Ургута. Упираясь ладонями в скользкий камень, они показали невиданное — начали медленно подниматься по гладким стенам. Но их пронзили стрелами. Лезть в шлемах и панцирях они не сумели.

Так прошел еще день.

На рассвете защитники цитадели увидели взвивающиеся в небо бесчисленные веревки. Достигнув верха стен, они там застревали, зацепившись железными крючьями.

Так Тимур закинул на стены веревочные лестницы.

Попытки отцепить крючья и сбросить лестницы вниз были тщетны: снизу веревки туго натягивались и крючья впивались в зубцы стен. Перерубить веревки было невозможно — не доставали мечи, железные крючья были длинны. А по лестницам уже поднимались, прикрываясь щитами, бесчисленные воины. Часть их срывалась с высоты, но многие добрались до вершины и вступили в рукопашный бой.

Вслед за первыми поднимались другие, которых уже некому было сталкивать.

Бой шел по всей цитадели. На ее стенах, в ее дворах, внутри ее башен, и жилищ, и конюшен.

Ворота наконец распахнулись, и Тимур въехал во двор.

К Повелителю привели пленных.

Многие оказались израненными, иных судьба сберегла. Одни жались друг к другу в страхе, многие же встали перед Повелителем достойно и твердо.

Когда подвели коренастого Темир-Таша и рослого, крепкого Содана, Тимур присмотрелся к ним и спросил:

— Вы многих из нас погубили. Придется в том каяться.

Темир-Таш:

— Мы каялись бы, если бы мало погубили.

— Не надо б сопротивляться.

— А вас сюда звали?

— Раз мы пришли, покоряйтесь.

— А мы не хотим. Мы здесь дома.

Содан молчал.

Обоих отвели заковать в цепи.

Низам-аддину Тимур сказал:

— Историку надо описать нашу победу.

— Я ее видел, о амир, но совладаю ли с письмом...

— Историк должен славить победителя.

— Почему, о амир, победителя?

— Иначе ваше писание противно аллаху: он один знает, кому дать победу. Славить побежденного — значит противиться воле аллаха.

— Нужно время, чтобы понять эти слова.

Тимур, довольный своим пояснением, одобрительно кивнул:

— То-то! — и приказал проводить историка к своим ученым.

Поместившись в удобной комнате и отдохнув, победитель допустил к себе халебского кадия, умельцев и ученых.

Он сидел. Они стояли, теснясь, вдоль стены.

Пришли и встали слева от Повелителя его кадий Абду-Джаббар, богословы и законоведы, идущие в походе от самого Самарканда. Справа от Тимура встали два брата, Худайдада и Тавачи. По знаку Повелителя они сели. Халебцы остались стоять, робко ожидая своей участи.

Тимур долго молча рассматривал ученых Халеба, словно это был товар, выставленный на продажу перед глазами, видевшими столько подвигов и крови, столько людей и стран, красоты и бедствий, добра и зла. Под недобрым, прямым этим взглядом халебцы застыли, теряя силы: они понимали, что позваны на допрос и жизнь зависит от их ответов.

Наконец Тимур велел своему кадию спрашивать пленников. Абду-Джаббар не только помнил наизусть, торжественно читал нараспев Коран, но и говорил по-арабски.

— Спросите их, кадий... Вот за стеной еще лежат воины, павшие, убивая одни других, кого из них аллах примет как мучеников в садах праведных: наших ли, их ли воинов?

Абду-Джаббар перевел это пленникам.

Опустив глаза, боясь взглянуть друг на друга, они не решались отвечать.

Но один из них повернулся к ученому Шараф-аддину, говоря:

— Вот сей ученый мудрее нас. Он глава ученых, у него много учеников. Он скажет.

Шараф-аддин, взглянув на своих братьев по участи, увидел страх, овладевший ими, и понял, что их судьба в его ответе. Он вышел вперед, выпрямился и поклонился.

— О амир! Вы поставили меня в положение нашего пророка.

— Как это?

— Некогда к Мухаммеду, пророку нашему, явились трое предводителей племен и спросили, кого из них аллах примет как праведников, если им случится пасть под мечом врага. Один из них убивал и грабил, спеша разбогатеть. Другой воевал, стремясь прославить себя. Третий

ради чести, чтобы возглавить свое племя, убивал старейших своего племени. Пророк наш ответил им: «Аллах знает, я не могу решать за аллаха». И они заворчали, недовольные его ответом. Тогда пророк наш сказал: «Не отвечаю вам, но о воинах ваших скажу: если, доверившись вам, они умирали по вашему повелению, веря, что умирают за справедливое дело, им место в селениях праведных. Если они пали, веря, что жертвуют собой ради справедливого дела, эта вера оправдала их». Так говорил Мухаммед, пророк наш, и вы, амир, заставили меня повторить слова пророка.

Ответ показался Тимуру дерзким, но немыслимо было наказать ученого, сказавшего, что воины Тимура и воины арабов равны перед аллахом, ибо нельзя наказывать за слова, некогда сказанные пророком.

Тимур приподнял руку, как делают купцы на базаре, когда приподнимают коромысло весов.

— Ваши знания заслуживают поощрения.

Он скосил глаза, как бы разглядывая колеблющиеся чаши весов.

— Я подумаю о вас.

Так он отпустил их, и они, выйдя за порог, остановились, ожидая его решения.

Вскоре их позвали на ковер, расстеленный за порогом, и перед ними протянули длинную голубую скатерть, говоря:

— Милостивый амир жалует вас, прося разделить с ним скудный походный ужин.

Между тем Тимур, которому приготовили место во главе ковра, задерживался. К его уху наклонился Худайдада и шептал:

— Царевич Султан-Хусейн, погнавшись за уцелевшей дамасской конницей, шестой день не дает о себе вести.

— А кто пошел с ним?

— С ним семь сотен его конницы.

— Подождем! — ответил Тимур.— А пока вели Бурундуку взять с собой тех, кто покрепче, тысячи полторы, и пускай едут следом. Может, им нужна помощь.

Худайдада, пошатываясь от непривычки ходить пешком, ушел, а Тимур, подавив тревогу, собрался встать, когда пришел Бахадур, хранитель сокровищ Повелителя, казначей, сказать:

— Добыча неисчислима, о амир! Кладовые подвала, даже конюшни завалены сокровищами. Везде золото, золото. Не помню нигде такого прибытка.

Тимур, забыв о пропавшем внуке, поднялся.

Выйдя к соратникам и гостям, допущенным к ужину с Повелителем, Тимур был приветлив.

Подавали огромные подносы с мясом, подавали и птиц, покрытых дымящейся корочкой. Ни одно блюдо не повторялось, и одно было соблазнительнее другого. Хрустя и посапывая, завоеватели наслаждались едой, отодвигая недоеденные куски, тянулись к новым.

Только ученые Халеба, глотая слезы, не прикоснулись к изобилию, поставленному перед ними.

ГЛАВА XII

ДОСАДА

1

Выйдя из Халеба на дорогу к Дамаску, Тимур проезжал среди тихих безлюдных полей, мимо покинутых селений, небольших городов, где хозяйничали передовые его отряды, успевшие сами управиться с неумелым сопротивлением жителей, сурово расправляясь с малочисленной стражей, когда она пыталась отстоять родные места, полагаясь более на милосердие аллаха, чем на свою силу.

Наступила осень.

Небо темнело.

Случались холодные ночи, хотя дни сияли ярче, чем летом, и, если ветер дул из пустыни, бывало жарко. Гривы лошадей, вздуваясь на ветру, странно шипели, словно закипая.

Когда на стоянках калили масло для плова, горький чад из котлов голубым отливом вливался в прозрачную ясность дня и воздух становился домашним, милым, праздничным, заглушая повседневный смрад похода. Но Тимур помнил, что весь этот светлый уют на исходе и неизбежны ветреные, сырые дни, означающие зиму в Сирии.

Так в сиянии торжествующей осени выехал он на берега реки Барады, текущей через оазис Гутах.

Вокруг густо стояли сады, там не все деревья сбрасывали листья. Прозрачные желтые, розовые деревья пере-

межались с густой зеленью других. Это напоминало осень в самаркандских садах. Он остановил войска на отдых и решил здесь зимовать. Вести осаду Дамаска лучше было ранней весной, чем поздней осенью и под зимней непогодой.

Возвращаться отсюда на зимовку в Карабах показалось далеко и опасно: воспользовавшись этим отходом, арабы могли собраться с силами, и пришлось бы многие дела начинать сначала. Тимур решил зимовать здесь. Пастбища тут были хуже карабахских, но они были просторны.

Стан стал.

По неизменному порядку, перенятому из давних, Чингисхановых времен, стан окружили рвом, хотя и не столь глубоким, как было в степи напротив Халеба: больших нападений не опасались, некому тут стало нападать.

Прибыл гонец от Мухаммед-Султана из Карабаха. Войско из Самарканда благополучно пришло и теперь остановилось на отдых среди карабахских пастбищ, но царевича Искандера из Карабаха везут сюда, на дедушкино рассуждение.

Когда военачальники собрались на совет, Тимур сказал им о прибытии свежего войска из Мавераннахра. Многим из самаркандцев везут сюда разные домашние припасы. В ожидании тех присылок старые вояки повеселели: как ни обилен чужой хлеб, домашняя лепешка слаще. Под пылью походных дорог шевельнулась и вспыхнула тайно теплившаяся тоска по далекому родному очагу.

Военачальники и здесь сидели рядами, как на большом совете, чтобы Повелитель мог мгновенно увидеть каждого, кто нужен.

Худайдада, превозмогая тяжесть в затекших ногах, поднялся.

— О амир! Свежее войско царевича отдыхает с дороги. А шли они от Самарканда с отдыхом. А наши прошли половину вселенной, почти что каждый день то битвы, то осады. Сон не сон, еда не еда. Что ни день, то под стрелами, то затемно с постели на бой встают. А нынче опять впереди битвы да осады. Сил у воинства нет. Они ведь люди. Отвести бы их года на два в Карабах. Пускай ото-

спятся, отъедятся. А тогда они, належавшись, поднимутся с новыми силами.

Повелитель отвернулся.

— Уж я это слышал!

— А надо ль спешить? Поспеем. Как с зимовки вышли, дошли до самого этого Халеба. Все невеселые, молчат. А я вижу, о чем они молчат.

— И я вижу! И велел Мухаммед-Султану привезти из индийской добычи серебра. Велел наладить тут чекан. Рассчитаюсь со всеми за прошлые годы и за три года вперед дам каждому. Когда каждый сразу за семь лет получит, все повеселеют. Запоют, запляшут. Куда велю, туда пойдут. Бегом побегут!

Худайдада, переминаясь, заколебался:

— Ну, тогда, может, повеселеют. А то уж и не знают, зачем им идти, когда барыша нет.

Тимур укорил Худайдаду:

— Барыш?

— Надо ж им ради чего воевать.

— Из них кто похитрее, молчат, боятся проговориться. Нахватались, награбились, а тут глаза отводят! Подвезут нам серебро, они повеселеют.

Тимур расплачивался неторопливо. Расплачивался всегда после походов, после больших битв, когда приходилось платить меньше — меньше оставалось получателей.

С серебром сюда везли и резвого Искандера.

Вспомнив об Искандере, Тимур нахмурился. Щеки отвисли и посинели. Их синева казалась темней рядом с докрасна выкрашенной бородой.

Видя приступ гнева, совет забеспокоился, но Повелитель, властно подавив гнев, сказал:

— Хорошо тут зимовать. Некуда отсюда спешить. Тут и река, и выпасы. Надо тут строиться. Город. Мне построят дом. Кто из вас хочет, стройтесь. Наш город. По нашему замышленью.

Вскоре выбрали большой сад. Приступили к стройке. Нашли покинутые дворцы, римские или вавилонские. Отбирали самые белые из мраморных плит и самые цельные из отесанных камней. Непонятные языческие надписи стесывали, изображения срубали, и дворец Повелителя быстро рос.

Через двадцать дней он был готов.

Рядом, в соседних садах, нетерпеливо строили дворцы его сподвижники. Проводили улицы. Отстроили место базара, ибо базар — это нутро города, без нутра нет жизни, оно и сердце, и печень, и требуха.

2

Арабскую конницу, уходившую из Халеба в Дамаск, возглавил старый военачальник Ибн Вахид.

Пока лошади были свежи, шли быстро, нагоняя по пути толпы беженцев, спешивших уйти подальше от Халеба.

Беженцы шли на тяжело завьюченных лошадях, на мулах, многие торопились пешком. Все упрашивали не покидать их, все боялись отстать от своего войска.

Ибн Вахид понимал, что покинуть, оставить позади себя этих людей означало отдать их врагу. Он уже чуял, что следом спешит погоня. Вскоре он узнал и о том, что торопится за ним внук Тимура Султан-Хусейн, что погоня немногочисленна — полторы или две тысячи из конницы завоевателей. Он мог бы встретить такую погоню и отбиться от нее, но хотел увести преследователей подальше от Халеба, где остановилось нашествие, чтобы в битве к врагу не успела подойти помощь.

По пути нагнали двоих дамасских ученых, покинувших Халеб по указу Темир-Таша до прихода Тимура. Они выехали на крепких мулах, и мулы были еще бодры, но старцы изнемогали. Один из них был городским судьей, другой — тоже законовед, но возглавлял большую дамасскую мадрасу Альд-Адиб. Их пересадили на лошадей, освободившихся из-под воинов, смертельно раненных под Халебом.

В тот же день пристал к коннице Ибн Вахида и Мулло Камар. Он не решился из Сиваса идти в сторону Баязета, побежал в Халеб, но по той же дороге, спустя недолгое время, пошло и войско Тимура. В Халебе он было обжился, уверенный, что теперь ничто ему не грозит. Призыв Темир-Таша насторожил купца больше, чем остальных жителей: он один тут знал нрав Тимуровых воинов, когда они врывались в завоеванный город. Он успел купить сильного белого осла, и тот, перебирая тупыми копытцами, мелкими шажками теперь нес его подальше от опасных мест.

По дороге дамаскины Ибн Вахида настигли небольшое войско, человек полтораста на отличных, но усталых лошадях. Неизвестные воины отпустили лошадей на выпас, а сами жарили на кострах мясо, когда передовые всадники Ибн Вахида подъехали к ним.

Воины указали на своего бека, уводившего их из страны, захваченной Тимуром.

— Кто он? — спросил дамаскин.

— Бек чернобаранных туркменов Кара-Юсуф. Вон он у костра. Он ранен.

— Ранен? Кем?

— Среди нас и еще есть раненые. С Тимуровой конницей бились в горах. Оттуда хотели укрыться в Халебе, тамошний Темир-Таш не пустил нас в город. Вы, говорит, Баязетовы, уходите к нему. Уходите скорей. У нас без вас тесно. Мы и пошли на Дамаск. Идти в Бурсу нам нельзя, лошади не вынесут. Вот и уходим. А вы кто?

— Дамасские.

— У вас сабли хороши.

Пока так разговаривали, Кара-Юсуф поднялся с полосатой попоны, на которой лежал, и подошел. Перевязанную левую руку он придерживал правой рукой. Подбородок оброс бородкой. Чуть косясближенными глазами, осмотрел арабов.

— Вы откуда?

Он не опасался этих десятерых, когда рядом наготове, хорошо вооруженные и смелые, поднимались и шли сюда полтораста его туркменов.

— Кто у вас над вами?

— Ибн Вахид.

— Длиннорукий?

— Ибн Вахид!

— Где он? Он моего отца знал.

— Едет позади нас.

Кара-Юсуф приказал собирать лошадей со степи, куда, стреножив, их пустили.

Так в конницу дамаскинов вошли и туркмены Кара-Юсуфа. Золотого коня Тимура покрыли длинной попоной, какими в походах туркмены покрывали своих лошадей. Эти попоны служили в пути постелью, а порой шатром, когда останавливались на отдых вдали от селений, что случалось часто. В дождливую пору или во время песчаных бурь попону доставали из-под седла и продолжали

путь, надежно укрывшись ее плотной тканью. Попона прикрывала и хозяйское тавро на конском крупе, только ноги и голова у лошадей оставались снаружи.

Поехали рядом Ибн Вахид и Кара-Юсуф.

Вспоминали время, когда туркмены хозяйствовали на своих землях, когда их стада и табуны вольно паслись на просторных угодьях, когда Ибн Вахид был молод, а Кара-Юсуф юн. Как с отцом Кара-Юсуфа Ибн Вахид встречал золотоордынского Тохтамыша, то отбиваясь от его набегов, то вступая с ним в союз.

— Всегда был сметлив, всегда ненадежен.

— А я помню, как вы мне подарили коня.

— Конь-то и ныне у тебя хорош.

— Добыча.

— Откуда ж досталась?

— От самого Тимура.

— У татарского главаря спроста не вырвешь добычу.

— Рука доселе ноет от той добычи.

— Заживет.

— Под попоной и тавро Повелителя Вселенной.

Так вместе с дамаскинами уходил Кара-Юсуф от погони, терпя боль в ране, ожидая дней, когда полечится в Дамаске.

Коней кормили наскоро. Шли они хуже и хуже, но и у погони выпадало мало времени для отдыха. По пути, когда нагоняли изнемогших от долгой дороги беженцев, воины брали к себе в седла детей, поддерживали стариков. Дамасская конница обретала странный облик. Но все это шло к прибежищу, куда оставалось уже недалеко идти.

3

Султан-Хусейн настойчиво преследовал дамасскую конницу.

Лошади у дамаскинов и у преследователей устали. Короткие остановки не давали нужного отдыха. Карабаиры Султан-Хусейна оказались выносливее. Преследователи уже видели пыль от конницы Дамаска.

В один из вечеров те и другие остановились, издалека видя друг друга.

На заре Султан-Хусейну показали двоих всадников в развевающихся бурнусах, скачущих к нему от арабов.

Их встретили и привели.

Один из них назвался ученым улемом, другой — муллой. Оба дамаскины. Оба бежали из Халеба, и по пути их настигла конница земляков.

Возглавляющий эту конницу Ибн Вахид послал их к Султан-Хусейну с предложением:

— Нас, арабов, больше. Мы почти дошли до дому. Вас мало. Вы далеко зашли от своих. Разумнее нам поговорить, а не сражаться, ибо на победу у вас надежды нет.

— Он предлагает мне сдаться?

— Нет, встретиться для беседы.

— А как и где?

— Между нашими войсками. Посреди дороги от вас до нас. Вы возьмете двоих с собой, Ибн Вахид — нас.

Султан-Хусейн подозвал из близких своих друзей двоих и поехал на встречу с дамаскином.

Они встретились, не спешиваясь.

Ибн Вахид предложил им вдвоем отъехать от сопровождающих. Те четверо остались. Эти двое отъехали.

Ибн Вахид сказал:

— Мы знаем, вы царевич, внук вашего Повелителя.

— Это правда,— согласился Султан-Хусейн.

— Но внук от дочери?

— Да.

— Значит, при многих других внуках вам не на что рассчитывать.

— Мы все равны между собой.

— Пока жив дед.

Султан-Хусейн промолчал: он это знал и часто об этом задумывался.

— Чего вы требуете?

— Предлагаем.

— Что?

— Войдите в Дамаск правителем города.

— Зачем?

— Ваш дед не захочет разорять город, принадлежащий его внуку. А городу равно — платить дань мамлюкскому ли Фараджу, вашему ли деду. Нам нужен покой и мир.

— От чьего имени вы это говорите?

— От Дамаска.

— Кто дал вам право?

— Вон там двое дамаскинов, законовед и мулла. Я дам клятву.

— А когда я войду в город, вы меня запрете в темнице и сей мулла трижды освободит вас от клятвы.

— Но ведь никто не помешает мне взять вас в плен. Ваше войско не сможет долго защищаться. Лошади ваши крепче, но воины изнемогли. Я старый человек и вижу, все разлеглись на траве, чтобы отдышаться, а мои наготове, в седлах.

— Понял: вы меня обыграли.

Они подозвали сопровождающих и вместе поехали на Дамаск, возглавив дотоле невиданное войско, состоявшее из арабов в пыльных бурнусах и из потных, раскрасневшихся воинов Тимура с длинными воинскими косицами, что уподобляло их монголам, коими их и звали среди арабов.

В один из прохладных дней на путников внезапно подул, перехватывая дыхание, горячий, сухой ветер. А потом понесло песок из неугасимой Аравийской пустыни. Гуще и гуще. Казалось, сама пустыня опрокинулась над ними и валится вниз, на них.

Все побежали, ища какую-нибудь выбоину, бугорок, хотя бы чахлый кустик, чтобы заслониться, закрыться от хлещущих струй песка. И Мулло Камар, оказавшийся возле Ибн Вахида и Кара-Юсуфа, кинулся с ними в одну канаву под попону, расторопно свернутую с седла.

Чтобы обойтись тем нешироким покровом, они залегли в канаве, прижавшись друг к другу.

А песок над ними, заметая попону и всех, кто под ней, шелестел, гудел, взвывал, вдруг затихал и вскоре снова шумел, шелестел, струился под неровные края отяжелевшей ткани.

Ветер дул долго. Прислонившись к боку Кара-Юсуфа, Мулло Камар задремывал, но, очнувшись, опять, как во все многие дни от Сиваса, подумывал: сколь легче жилось бы ему, не было бы и этой дороги, уцелей при нем пайцза.

«Где она нынче? Кого хранит, кому открывает пути? Как страшно понять, что ее уже нет в руках у маленького человека, избранного великим Повелителем для тайных дел».

Порой, изнемогший, он костенел от этих мыслей, затихал от страха: за меньшие промахи проведчиков карали, отрубая им то палец, то руку, то голову. Быть казнимым

легко: взмах топора, меча или просто ножа — и казнь свершилась. А каково терзаться от долгих страхов!

Кара-Юсуф с Ибн Вахидом, соскучившись, тихо разговаривали, не стесняясь притихшего Мулло Камара: им казалось, он спит. Оба не могли прервать воспоминаний, выйти из мира, казавшегося обоим милым и добрым, ибо в памяти часто затухает былая горечь и печаль, о чем не хотелось помнить тогда, пока оно было недавним, но остается давняя радость, о которой часто вспоминается, если приходит поздняя печаль. Только счастливые люди забывают о минувших радостях.

Голос Ибн Вахида:

— Прозорлив был Баркук. Заведомо знал, остерегал, когда опять нам ждать Тохтамыша и с чем он идет — на союз ли с нами либо задумал завоевывать нас.

Голос Кара-Юсуфа:

— Бурхан-аддин тоже все наперед знал.

— Да. Знал. А вот ныне Тохтамышу не до набегов, сам в бегах от Едигея, Едигей его ловит.

— Кто это?

— Золотой Орды хан. Тимуров выкормыш. В Самарканде пресмыкался, а ныне сам на Самарканд зарится.

— Отец его знал?

— Не упомню. Пока прикинулся, будто Тимуру верен. А Самаркандом завладеть норовит!

— Как, бывало, Тохтамыш: на Москву зарится, а сам ей в братья сватается.

— До Москвы далеко.

— Оттуда она рядом с ними. Все они, пока им оружье из рук не вышибли, на чужое зарятся. Без того им власть не в сласть.

Ночью буря стихла. Не веря тому, еще полежали.

На зубах хрустел песок. Ноздри были забиты песком. Глаза слезились, запорошенные густой пылью.

Наконец сдвинули с себя попону, скинули ее и поднялись.

Ночь. К западу отходила темная туча, и там, где ее уже не было, трепетали ласковые звезды.

Кара-Юсуф оправил рукав над раненым плечом, намятым боком Мулло Камара, и поправил Тимурову пайцзу под мышкой в потайном карманчике, где она таилась среди нескольких золотых динаров, хранимых на случай дорожных превратностей.

Мулло Камару манилось к воинам Султан-Хусейна, к своему чагатайскому языку, но и боязно было: а вдруг там есть такие, что помнят его с пайцзой? Все же он ходил среди них, встречал и знакомых, и те обжились с ним: ходит — значит, так и надо, свой человек. Как бы жилось, будь тут пайцза, а ведь где-то, невесть на каких дорогах, незнакомый человек ходит с ней.

4

Посланные вперед улем и мулла предупредили горожан о договоре, заключенном в степи, и старейшины города оценили мудрость Ибн Вахида.

Султан-Хусейн встречен был с честью и в город введен с почетом.

Внук встал на защиту Дамаска от деда.

Тимур о поступке внука узнал на берегу реки Барады, глядя, как достраивают дворец из белого мрамора.

Худайдада стоял с этой вестью, привезенной возвратившимся Бурундуком, бывалым однокашником.

Наливаясь гневом, Тимур спокойно сказал:

— Измена.

— Ну, измена ли?..

Тимур повторил:

— Не ослушание, а измена.

Они разговаривали возле шатра. Тимур, оставляя позади собеседника, вышел на осенний ветер, на прохладу, долетавшую с гор. Подождав, пока Худайдада станет рядом, Тимур сказал:

— Тебе надо съездить в Дамаск. Не требуй, не грозись, как ты привык, а добром спроси их, не отдадут ли Султан-Хусейна нам на обмен, а мы отпустим Содана. Он им при битве будет полезней нашего беглеца.

— Когда ж ехать?

— Седлай, да и в путь. Чтоб их не пугать, много воинов с собой не бери. Возьми Бурундука, он при беде умеет и с малыми силами устоять.

— Я, что ли, не умею?

— Тебе надо разговаривать, подарки дарить.

— Я раскланиваться не умею.

— И не надо. Только кричать не смей. Говори твердо, но тихо.

— Попробую.

Оба остались довольны беседой: и дело сделали, и пошутили.

Так шутил Тимур только со старыми соратниками, с кем в давние годы, в горькие дни их тревожной юности, ладил усмешкой прикрыть беду и горесть. Нередко только сами понимали, что шутят. Соратники помоложе их шуток не понимали.

Тимур сказал:

— Ступай. Как тебе тут дом строят, я сам пригляжу.

Так Худайдада, оберегаемый тысячью сабель бывалого Бурундука, повез подарки от Тимура городу Дамаску.

Дамаск был встревожен противоречивыми слухами. Говорили о победах над татарской конницей. Но уже знали и о падении Халеба. Гадали и думали, пойдет ли завоеватель дальше и куда.

Жители Дамаска теснились на улицах, где проезжал Ибн Вахид вместе с Султан-Хусейном. Следом шло войско, успевшее почиститься от пыли, смахнувшее с себя усталость, ведь даже лошади, приближаясь к конюшням, идут бодрее и веселей.

Но беженцы отставали, видя знакомые улицы или гостеприимные ханы, где еще хватало места для всех.

Мулло Камар по совету спутников свернул в небольшой хан. Кара-Юсуфу с его полутора сотнями воинов и лошадьми нужен был хан побольше, и он отстал на большой торговой улице, называвшейся Прямой Путь, или, проще говоря, Большая Дорога.

Там, в хане, называвшемся Персидским, его встретил старик хозяин и, заботясь о ранах гостя, дал ему тихое жилье и послал за лекарем.

Султан-Хусейна ввели в большой дом, где прежде жил правитель города, незадолго до того переселившийся в другой, новый дом.

Ибн Вахид на собравшемся совете старейшин и дамасской знати рассказал о гибели Халеба, о битвах, в которых победа венчала вылазки из крепости, о последнем дне, когда как из-под земли выросли слоны, закованные в железо, непроницаемые для стрел, невредимые после сабельных ударов.

И наконец рассказал о клятве царевича Султан-Хусейна, явившегося защищать Дамаск, если и сюда придет нашествие.

— Сюда не дойдут! — уверенно сказал один из улемов, правнук халифов, самоуверенный старик.

Ибн Вахид заспорил:

— А если дойдут? Надо за благое время собраться нам для отпора. Есть весть, что султан Фарадж ведет мамлюкские войска на укрепление наших сил.

Правнук халифа упрямился:

— Этот внук обманщик. Его подослал дед.

— Нет! Тут его последняя надежда стать властителем.

Сомнения, подозрения отступили перед упорством Ибн Вахида. Его послушали. Выбрали посланцев к Султан-Хусейну с просьбой возглавить управление Дамаском и прилегающими городами.

Послали и навстречу султану Фараджу — просить его согласия на неожиданного правителя.

Раны Кара-Юсуфа воспалились. Лекарь снял пропитавшиеся гноем и кровью заскорузлые тряпки и наложил свои травы и мази.

Старый перс, хозяин хана, одинокий и шутливый старик, следил, чтоб постель больного была чиста и мягка.

Кара-Юсуф, может быть, впервые в своей жесткой, тревожной жизни удивленно радовался такой простой отцовской заботе.

Султан-Хусейн поселился в большом запущенном доме, построенном давно и неприютном. Пустые стены хранили следы чужой жизни. Здесь подолгу обитали прежние правители Дамаска, но Султан-Хусейн, обойдя дом, сказал своему любимцу, бродившему с ним из помещения в помещение, что это стойло недостойно истинного правителя.

— Соорудим себе дворец достойнее и подороже.

Мальчик заликовал:

— По-нашему!

Султан-Хусейн поощрил его:

— Умник!

Но неудовольствие от осмотра улеглось, едва пришли старейшины города: явились знатнейшие, множество отличных подарков наполнило угрюмый дом благоуханием, украсило сотнями редкостей.

Такой праздничной встречи, такого почета и лестных слов внук Тимура не получил бы под присмотром дедушки.

На другой день он смотрел дамасское войско, первое войско из воинов, готовых идти на Тимура и так весело, независимо проезжавших перед правителем. Первое войско, которое он мог возглавить без соизволения дедушки, наперекор ему... После этих многочисленных, и приветливых, и мужественных всадников на легких лошадях под яркими чепраками, хмуры, нелюдимы, дики, проехали его полторы тысячи, которых он привел с собой. Впервые он смотрел на них со стороны.

«Мыть их надо!» — думал он, отворачиваясь от их взглядов.

В пятницу впереди своих новых вельмож он молился в мечети Омейядов на виду у всех дамаскинов.

Мечеть блистала перед ним. Он не понимал, откуда и что здесь блистает. Он еще не различал почтенных людей, молившихся вокруг, не знал их имен, не внимал молитве, а только, подражая молящимся, то падал на колени, то вставал и стоял с покорным лицом, заодно со всеми предавая себя воле аллаха.

Но когда после молитвы шел через обширный двор между расступающимися дамаскинами, овладел собой и шел твердо и царственно, как истый правитель.

Дамаскины смотрели на него и надеялись как на верную защиту от нашествия и от гибели.

Следующая пятница для правителя не наступила: к старейшинам Дамаска прибыл посол амира Тимура Гурагана Худайдада.

Сопровождавшее Худайдаду войско не показалось ни большим, ни опасным: в то беспокойное время послы приезжали всегда с большими караванами, с крепкой охраной. Их всех впустили в город, и воинам не мешали разбрестись по городу, полюбоваться базарами, мечетями, встретиться со своими соратниками из воинов Султан-Хусейна.

Старейшины Дамаска вышли из ворот для встречи посла. Худайдада с Бурундуком во главе своего каравана, везшего подарки, въехал в город.

Послам дали день для отдыха и сборов и в назначенное время почтительно приняли их у главы мусульман Дамаска, сидевшего среди улемов, высших военачаль-

ников и городской знати. Правитель города царевич Султан-Хусейн не был зван сюда и, упоенный своей властью, развлекался дома. Накануне ему послали для новых забав то, что он любил.

Глава дамасских мусульман встал, принимая Худайдаду, что означало высшее почтение к пославшему его амиру Тимуру Гурагану. От своего Повелителя Худайдада передал поклон и привет.

— И ему мир! — ответил хозяин.

Подарки порадовали щедростью дарителя, красотой и выбором.

После общей беседы многие из дамаскинов вышли. Посол заговорил:

— Нечего зря чесать язык, он нужен, чтоб говорить о деле.

Муфтий предупредил:

— Дела человеческие на ладони аллаха.

Худайдада оказался настойчив:

— Пускай и он послушает, что у нас за дела.

— На то его воля, милосердного, милостивого.

— Воля его, а сговор нам нужен твердый.

— Что решим, скрепим молитвой и словом.

— И делом.

Муфтий согласился:

— И делом!

— А дело такое,— спешил Худайдада,— отдайте-ка нам беглого царевича, коего тут притулили.

— А будет ли его воля? Он правитель наш.

— А кроме его воли есть и покрепче воля — воля Повелителя амира Тимура Гурагана. Один он знает, куда ему вести войско, в сторону ли, мимо ваших ворот, а может, в ваши ворота.

— Наши ворота крепко заперты.

— И не такие запоры ламливали.

— Бывают запоры крепки, да стены глиняны.

— Это у Халеба-то глиняны?

— Халеб обманом взят.

— Обман тоже сила.

— Своих правителей Дамаск никому даром не выдавал.

— Кто ж говорит! Зачем даром? Баш на баш.

— Это что значит?

— Первое. Повелитель услуг не забудет, Дамаск не

тронет, опасений у вас быть не должно. Нешь это мало — от цельного наибольшего города отказаться? Столько сокровищ оставить вам?

— Ну какие же у нас сокровища?!

— Не беднись, знаем сами. Второе. В знак, что вас обижать не хочет, отдает наипервейшего вашего полководца Содана. А другого такого у вас нет и не видно. Не дал бы, задумавши на вас напасть. Прямая выгода сменять беглого вояку на столь именитого воителя. Мы ему цену знаем. Сами б взяли такого, да мысли его при вас, а не с нами заодно.

— Султан-Хусейн царевич, внук амира Тимура Урагана...

Худайдада с обидой поправил:

— Гурагана.

— А то еще выше!..

— Так вот... А останется при вас сей царевич, силой возьмем. Тогда и весь ваш Дамаск зашатается. К тому ж третье. На глазах у вас героя Содана разрубим нонче же к вечеру на четыре четверти и кинем тут для обозрения. Поглядите, мол, чего вам ждать от нас за неприязнь и самонадеянность. Я, помилуй аллах, не грожусь, о деле говорю. Вот и смекайте, с чем нам от вас ехать — с беглецом ли на поводу, с гневом ли на сердце?

Ибн Вахид, дождавшись разрешения от муфтия, спросил:

— А чем вы докажете, что без царевича нас тут оставите в покое?

Худайдада обиделся:

— А клятва?

— Клятву ваш Повелитель и Сивасу давал.

— А как дано, так и сделано: ни единой капельки истинно мусульманской крови там не пролил.

— Да и в живых не оставил.

— А уж тут воля аллаха, ежели они ему понадобились, он призвал их. Ты, вижу, с божьей волей не согласен?

— Была ли тут божья воля?

— А не слыхал, что ль, без его воли ни единый волос не упадет с головы человеческой.

— Читал это.

— А я не читал. Я понаслышке, как меня бог вразумил. Понаслышке, а знать знаю, на то и голова. Свое сло-

во я сказал, а сами судите, как вам быть. Да дело не тяните, а то мне у вас за воротами лошадей кормить нечем. Для себя у нас бараны пригнаны, а только лошади баранины не жрут, вроде индийцев.

Худайдада было встал уходить. Но посла не отпустили: ему приготовили обед, а готовить обеды в Дамаске умеют. Пришлось остаться.

Еще отяжелевший Худайдада, медля встать, насытившись и рыгая, выпрастывал из-под шапки воинскую косу, с монгольских времен означавшую достоинство воинов, а дамасские старейшины уже поднялись на совет.

Одни говорили о чести гостеприимства: не честь, мол, городу выдать гостя на поругание.

Другие оспаривали это: он у нас не убежища просил, а явился править нами. Наша воля, держать ли сего правителя, выбрать ли взамен другого. И не вернее ли судьбу города доверить герою Содану, чем оголтелому беглецу? Он, мол, от деда сбежал, а от нас при беде сбежать ему проще.

Третьи прямо требовали — обменять! Как Содана, дамаскина, владевшего в городе домами, главу многодетной семьи, дать разрубить, как баранину на базаре?

Четвертые — и к ним наконец пристал Ибн Вахид — напоминали, что с Хромой Лисой спокойнее держать мир, нежели его гневать.

— Отбиться мы отобьемся. Обманувши Халеб, нас не проведет, но крови, но бедствий при осаде не миновать. Решим полюбовно.

Послали почтенных старцев навестить Султан-Хусейна и рассмотреть, как он бережется, чтоб понять, каково будет взять его и отдать деду.

Старцы застали правителя за отдыхом. Слушал песни. Пил вино. Высказал свою волю:

— Эту конуру я перестрою. А с утра чтоб прислали мне людей выскоблить тут стены да облицевать их мрамором. Я к таким не привык.

— Мы и пришлем! — согласились старцы.

Утром, когда правитель еще тяжело спал, люди пришли, опоясанные передниками, как каменщики, и, прежде чем Султан-Хусейн проснулся, его связали, закатали в ковер и вынесли за городские ворота. На обмен Худайдада выпустил Содана, уже отмытого от цепей.

Войско, приведенное сюда Султан-Хусейном, повеселев, соединилось с воинами Бурундука.

А заодно с тем войском возвратился в лоно своих соплеменников и Мулло Камар. Купец знал, что среди воинов никто у него пайцзу не спросит, только бы не вздумал Тимур послать своего проведчика опять за пределы, охраняемые его караулами, но для этого не следует попадаться на глаза Повелителя в час, когда Повелитель посылает на дела своих проведчиков.

5

Весь Дамаск говорил, смеялся, размышляя над небывалым в истории города случаем: едва со всех сторон обговорили, обсмеяли, обмыслили нового правителя, как его рано поутру завернули в ковер и вынесли вон за ворота.

Кара-Юсуф у себя в тихой келье еще болел ранами, когда дошла до него весть о ниспровержении Султан-Хусейна в веселом пересказе перса-хозяина.

Кара-Юсуф, дослушав перса, решил:

— Мне надо уезжать.

— Зачем? — удивился перс.— Мы здесь можем теперь жить спокойно.

— Спокойно?

— Ведь нам дали клятву. Нашествие нас не тронет.

— Он с вами играет, как с детьми. Показал издали игрушку, а как подойдет поближе, схватит вас — и в мешок.

— А клятва?

— Схватит вас — и в мешок...

— Разве он такой?

— Я его не первый год знаю. Мне надо уезжать.

— Надо долечиться.

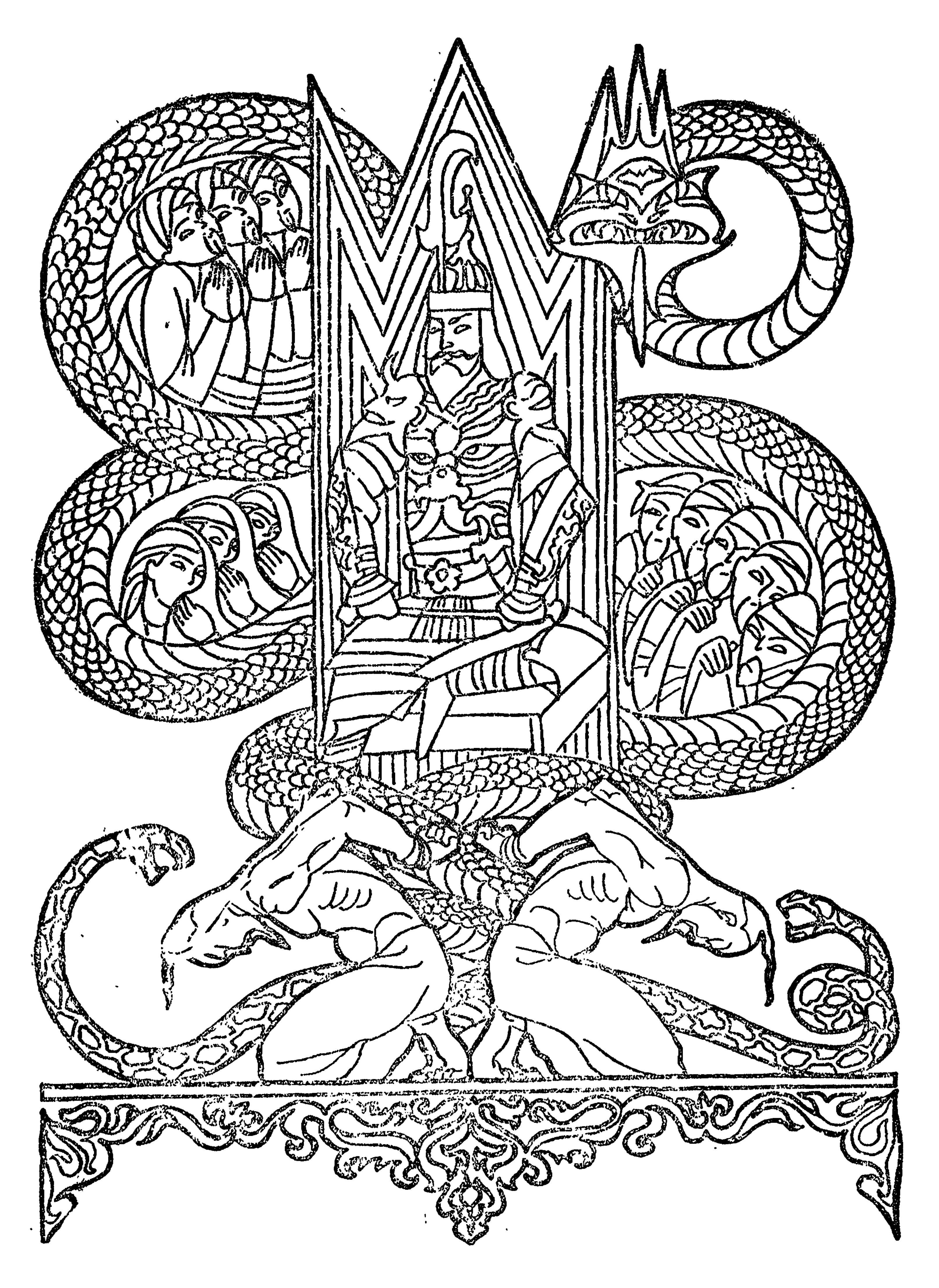
— Нет, не успею.

— Он стоит далеко. Строит себе город. Хочет с нами жить в добром соседстве.

— Он уже идет сюда.

— Как идет, когда стоит и строит город?

— Строит, и это тоже хитрость. Перед Халебом он ставил стан, какой строят на зиму. А нынче там остались только рвы. Да и те уже не рвы, а могилы. Если б Дамаском правил царевич, дело было б вернее — заложник.



А он дамаскинов перехитрил, выманил внука. Теперь он волен, руки развязаны. Я его нрав знаю.

— Отлежись. Долечись.

— Нет, отец. Поеду в Бурсу. Там моя семья. У Баязета спокойнее.

— Тебе виднее.

Через несколько дней, завьючив запасных лошадей, запасшись припасами, воины Кара-Юсуфа выехали за ворота Персидского хана.

Кара-Юсуф в своем пристанище, где болел и мечтал, прощался с хозяином.

Перс Сафар Али привык к своему гостю и подарил ему на память редкий ковровый чепрак.

Кара-Юсуф отдарил тем, что уцелело в его беженском хозяйстве. И, совсем уже попрощавшись, запахивая халат, учуял под ладонью Тимурову пайцзу.

— А вот! — доставая пайцзу, улыбнулся Кара-Юсуф.— Вам, отец, она понадобится. На выход через караулы завоевателя.

— Экая бляшка! Возьму на память, но завоевателя сюда не жду.

Они расстались в то раннее утро, и туркмены, следуя за беком на золотом коне, ушли из Дамаска, путем на Бурсу. И над всей их дорогой сияли погожие дни.

6

Перед Худайдадой ковер развернули, и к соотечественникам оттуда вывалился Султан-Хусейн, со связанными руками, с расплетшейся косой на макушке, и остервенело оглядел окружающих.

Окружающим было весело глядеть на такой переход от восседания на троне к возлежанию на пыльном ковре. Худайдада заботливо предложил:

— Оделся бы.

Кроме ночной рубахи, на царевиче не нашлось ничего. Дамаскины вслед за ним принесли всю одежду, вчера облачавшую дамасского правителя, его арабскую одежду. Другой здесь не оказалось, и Худайдада не предложил ему из своих запасов.

Так, в длинной голобии, накрывшись розовым бурнусом, он послушно забрался в седло, и его повезли к дедушке.

За эти дни достроили дворец Тимуру. Достроили и дом Худайдаде. Вокруг нового города станом стояли войска.

Задолго до того, как показались валы, окружавшие стан, везде виднелись многочисленные табуны, пасшиеся под надежным присмотром на обширных выпасах. Лоша-

ди из охраны Худайдады звонко, с игрой в голосах перекликались с лошадьми из табунов, и это ржание наполняло всю дорогу, пока посольство добиралось до нового дворца.

Султан-Хусейн и просил, и требовал у Худайдады какую-нибудь, воинскую ли, простую ли, самаркандскую одежду, но старик, сокрушенно кивая головой, всю дорогу отнекивался:

— Не взыщи, царевич. Нету. По старости лет не смекнул взять. Откуда было мне знать, что свою одежу ты скинешь. То мне и на ум не пришло. В другой раз как скинешь, так я тебе на смену прихвачу другую. А нынче не смекнул.

Так и ехал в арабском наряде, как белый грач среди черной стаи, в розовом бурнусе и под бурнусом тоже весь в арабском шелку, то неистовствуя, то смиряясь, Султан-Хусейн. Монгольская коса, спускаясь с макушки, одна напоминала, из какой стаи выдался сей грач.

Таким Худайдада поставил внука перед дедом.

Поставил и, ни слова не сказав, отошел в сторону.

Но Тимур, оглядев внука, подозвал Худайдаду:

— Вынь-ка нож.

— Вот он, амир, нож.

— Не идет коса к такому убранству.

— Как повелишь, амир.

— Срежь с него косу.

Таким бесчестьем карали предателей, отторгая их от воинского братства.

Султан-Хусейн заскрежетал зубами, склоняя голову перед Худайдадой.

Ловко, одним махом, как мог бы срезать и голову, Худайдада срезал толстую косу с царевича.

Держа ее в левой руке, Худайдада задумался.

— Куда ее деть?

Тимур кивнул:

— Кинь за дверь. Кому она нужна без головы?

Худайдада с сожалением посмотрел на недавнюю воинскую красу.

Тимур повторил:

— Косу брось, а насчет его самого соберем совет.

Султан-Хусейна отвели в юрту, где он увидел другого царевича, Искандера, доставленного из Самарканда в Карабах в караване Мухаммед-Султана и потом перевезен-

ного в стан к дедушке. Искандера Тимур еще не допустил к себе.

Оба долго сидели в темноте, не зная, о чем заговорить, и медля при свете взглянуть брат на брата.

Наконец слуги, не испрашивая соизволенья, сами внесли светильник и простую будничную еду.

Искандер сказал:

— Видно, ленивы брадобреи в Дамаске — голову брили, а щетину от косы оставили.

— Подумал бы, крепко ли держится твоя коса.

Больше за весь вечер они ничего не сказали, с тем и легли спать.

Еще затемно, чтобы с Повелителем отстоять первую молитву, малый совет собрался перед дверью Тимура.

Хмуро поглядывали барласы, уставшие за ночь и ожидавшие смены. Серебряным клювом чистил ржавые крылья беркут, привязанный к шесту. Близилось то смутное мгновенье, когда ночь переходит в утро и молитвой надлежит встретить его начало.

Однорукий Тимур не мог охотиться с беркутом, но давно, когда была цела другая рука, он любил эту охоту, стремительный гон с птицей на рукавичке, ловко направляя коня наперерез убегающей лисе или корсаку. С тех пор за ним возили беркутов или соколов, и часы одиночества он подчас коротал возле той или другой птицы. Ему порой казалось, что птица понимает его лучше, чем люди, спрашивал ее молча, стесняясь стражи, всегда находящейся где-то неподалеку.

Тимур вышел. Кадий прошел вперед. Помолились.

В мареве разгорающегося утра все сели в неизменном порядке, как следовало сидеть на совете, будь он большим ли, малым ли.

Не в первый раз приходилось Тимуру спрашивать соратников о проступках своих наследников. То о сыне, о Мираншахе, то теперь о внуках, Искандере и Султан-Хусейне.

Тимур сидел сурово, опустив глаза: тягостен стыд за свое потомство. Он выдвигал, возносил, облекал властью простых людей, отличавшихся в битвах, проявлявших ум и смелость, достигавших успеха в трудных делах. Но был требователен, жесток с потомками древних родов, если замечал их надменность: чем чванились, если получили свое не разумом, не доблестью, а по праву наследников!

Он их щадил, пока они выполняли его волю, но не миловал, если у него за спиной они презирали его за простое происхождение и только ждали времени, чтобы самим завладеть властью по праву происхождения. Ему казалось, что они втайне потешаются над ним. Если они улыбались, говоря с ним, он думал, что это означает их насмешку; если они смотрели на него без улыбки, ему казалось, что они презирают его. Он истребил всю царскую семью Куртов. К последнему из этой древней династии он подослал убийц на пиру, где юноша беззаботно смеялся, радуясь празднику. Он свернул шею двум самодовольным бездельникам из Караханидов. Еще недавно жил чернобородый, густобровый, но бледный, худосочный книголюб, единственный из потомков древнего Сиявуша. Тимур возненавидел его за пристрастие целые дни читать и рассматривать книги, за то, что хил и немощен, что выродился в затворника, хотя предки его были воинами и властными людьми. Тимур послал людей задушить того Сиявушида. Тимур внушал сыновьям убеждение, что правитель должен быть силен и суров. Из всех сыновей только Джехангир был таким, но умер, прожив всего двадцать лет.

И вот в одном из внуков возобладали не разум и доблесть, но только алчность и зависть. В другом, без спросу напавшем на монголов, сильнее разума взыграла удаль, словно не в поход пошел, а на охоту выехал.

Как всегда, ныла больная нога, и ныла в нем тревога за будущее своего рода, своего наследства, всю жизнь расширяемого, все более и более нуждавшегося в твердой руке.

Поздним вечером приходил Шахрух заступиться за племянника, за Искандера. И ночью Тимур не раз, просыпаясь от досады, думал: «Вот и Шахрух... Мягок! Будто племянник муллы, а не сын Повелителя!»

Досадуя, он внимал на совете соратникам, не решавшимся к ослушникам, своевольникам выказать строгость. с какой относились к воинам.

Тимур, не поднимая глаз, сказал:

— Когда изменяет воин, ему срезают косу, выводят в поле и пронзают стрелами. Султан-Хусейн перешел на сторону врага, надел его доспехи, вооружился его оружием. Говорите свое слово.

Люди совета тоже опустили глаза и молчали.

Тимур не торопил их, ждал.

Султан-Хусейн, обнаженный по пояс, стоял на коленях перед сиденьем Повелителя.

Но, как ни медлили, говорить надо, и Худайдада встал.

— По заветам хана Чингиса это называется суюргал. За такой проступок не казнят смертью. Казнят плетьми или палками. Надо сохранить жизнь. Жизнь для искупления вины.

Шейх-Нур-аддин:

— Не смерти воин страшится, идя биться. Про нее не помнит. Не ран страшится, когда врагов рубит. Павшим честь. Раненым слава. Но нашему воину страшней смерти, больнее ран бесчестье. По старому завету все мы носим косу. То знак воина. Взять косу воина — значит обесчестить его. Вот стоит царевич. А коса где? Срезана. Спрошен ли был совет, когда это сделали? Нет. А что ж теперь говорить, когда самая страшная казнь свершена? Про себя скажу: убей меня! Я готов, на то я и воин. Секи меня саблями, прочь не побегу. Секли, бывало, а не отступался. Но косу мою не тронь! Куда мне без нее? Вот и говорю: казнь свершена, а нынче к тому наш совет ничего не прибавит. Казнь свершена. И довольно.

Поднялся Шахрух:

— Он мой племянник. Моя кровь. Наш род. Что же будет, если начнем карать друг друга? Его позор станет всей нашей семьи позором. И за что? Он ушел в Дамаск. А мы осаждаем этот город? А мы воюем с дамаскинами? Нет. Не воюем. Подарками с ними поменялись, пленника им отдали. С кем воюют, тем пленников не отдают. Значит, не воюем, значит, против нас Султан-Хусейн не воевал, значит, это не измена, а так, одна шалость либо дурь. За что ж казнить?

Говорил и смотрел в лицо отца печальными внимательными глазами.

Тимур не сдержался:

— Ты добр. Что ночью мне говорил, а я не стал слушать, теперь перед всем советом сказал. Моих слов не послушал.

— С тех пор целая ночь прошла. После того люди и помолились, и успокоились. Можно снова подумать.

— Дак ведь ты после молитвы то же твердишь, что и прежде!

Но Тимур скрывал от них и себе не признавался, какое облегчение душе исходит от таких защитников: можно ли казнить смертью родного внука! Как повсюду заголосят враги о его жестокости! Какой позор ему из того провозгласят! Но и снисхожденья оказать нельзя: как быть строгим со всеми, если со внуками стать жалостливым? Нельзя. Но верно они говорят, не убивать же!

После всех говорил кадий Тимуровых войск Абду-Джаббар. Он напомнил, что сам аллах милостив, милосерд. Он прочитал стих из Корана, где пророк учит мусульман проявлять милосердие к мусульманам и щадить их жизнь. Он говорил долго, растянув, как напев, стих Корана.

Тимур, подождав, пока все успокоятся и смогут внимательно слушать, спросил виновника:

— Просишь пощады?

Султан-Хусейн вскинул лицо и строго ответил:

— Когда ж я ее просил, дедушка? Вы приказывали, я исполнял. Как скажете, так и должно быть.

— Сорок палок выдержишь?

Султан-Хусейн ждал худшего, но сорок палок — это еще раз позор. Зато жизнь дарована! Он проворчал:

— Стерплю.

Тогда, не сдержавшись, вскочил на ноги Шахрух. Но раньше его успел крикнуть Худайдада:

— По заветам хана Чингиса можно дать не более тридцати!

— У Чингисхана ни сыновья, ни внуки из его воли не выбивались. Соблюдали каждый его завет.

Но Худайдада повторил:

— Не более тридцати.

Тимур снова спросил виновника:

— Тридцать пять. Стерпишь?

— Вашу волю, дедушка, всю жизнь терплю.

— То-то! — сказал Тимур.— Тридцать пять. Приведите другого.

С коленопреклоненным Султан-Хусейном рядом поставили Искандера.

Тимур опять спросил у совета:

— А этому что?

Шахрух:

— Он от монголов вернулся с победой, какой никто над ними не одерживал. Вернулся с добычей, какой никто никогда у монголов не забирал. Показал нашу силу.

— И это ты мне говорил. И опять свое твердишь. Сердце твое мягко. Хочешь стать сильным, ожесточись. Иначе не управишься. А я, уходя из Самарканда, велел блюсти порядок, чтобы никто, прознав про наш уход, не кинулся на нашу землю, оставшуюся без войск. А он что? Никого не спросясь, крадучись, сходил в поход, растрепал монголов, ожесточил их. Теперь они нам не соседи, а враги. Думают, как им вернуть, что потеряли. В Китае нечестивый царь издох. Ныне у монголов с востока грозы нет. Соберутся, да и пойдут на Самарканд. А там защитников не хватит. Надо думать, не уйти ли отсюда, не завершив всего дела. А уйдем, так тут на наше место набегут всякие Кара-Юсуфы, всякие султаны, будто мы от них сбежали, не выдержали. Все, что взято, они назад возьмут, будто нас тут не было. Да и навряд ли мы сюда в другой раз соберемся. Надо в Китай сходить, а не то Китай на нас надвинется. Не было б этой заботы, кабы не ослушник, победитель. Мы бы поспели сами взять монгольские сокровища в свое время, когда здесь, везде у нас за спиной, было бы спокойно, твердо. А теперь... Нельзя так сразу отсюда уйти. Боязно и там оставить Самарканд без защиты. Вот чего натворил. А ты мне о победе! Победа хороша своевременная. Иная победа — шаг к беде!

И повернулся к Искандеру, стоявшему на коленях, как и Султан-Хусейн. Голый до пояса, с обнаженной головой, откуда свисала его коса, Искандер не потупил лицо, не опустил глаза.

— Походом ходил?

— Ходил, дедушка.

— А спросился?

— Некогда было. Да ведь я знал, дедушка тоже походы начинал без спросу, набегом, быстротой. Раз! И победа. Я мысленно спросился: как бы поступил дедушка? Вот по вашему примеру и... И великий Искандер Македонец тоже вставал перед врагом внезапно.

— Такого не было примера.

— Вы спрашивались? Кого же, дедушка?

— Ты эту отговорку уже сказывал Мухаммед-Султану в Самарканде. Он мне о том писал. А только я, прежде чем идти, спрашивался.

— У кого же.

— У ветров. У того, что дул с севера, где Тохтамыш на нас злобится. У восточного, где монголы сильны и завистливы, а там и Китай с их лихим царем. У западного: не нападет ли на нас Баязет-султан либо лукавый Бурхан-аддин. У южного: персы не поднимутся ли на нас. Отовсюду соберу проведчиков, всех послушаю, тогда и решаю. А ты?

— Я ведь хотел победить. Хорошее сделать. И сделал.

— Что сделал, про то уже сказано. Ты ослушник. И совет нам скажет, чем наказать воина, выпустившего стрелу прежде, чем его войско изготовилось к битве. А, Худайдада?

— Тридцать палок, но если та стрела обратила врага в бегство, воина награждают. И если та стрела пронзила вражеского полководца, награждают.

— Я спрашиваю не о победителе, а об ослушнике.

— Я дал бы тридцать палок, но не забыл бы и о полете стрелы: куда была нацелена.

— А я Шахруху сказал: та стрела пущена на восток, а ударила по защитникам Самарканда, ибо, пуская стрелу, проверь, куда дует ветер. А если войско притаилось в засаде, а один воин возьми да и встань, что тому воину следует? Когда он засаду всего войска выдал?

Шейх-Нур-аддин опять вмешался:

— Надо дать тридцать. Без оговорок. А когда есть оговорка, довольно двадцати.

— Значит, двадцать? — спросил Тимур, которому нравился удалой Искандер.

Тимур, нетерпеливо дослушав еще одну звучную выдержку из Корана, едва Абду-Джаббар дочитал, распорядился:

— Отведите их и днем исполните.

Закончив совет, Тимур, дотоле сидевший понуро, потупившись, распрямился и смотрел, как резвые слуги стелют скатерти перед людьми совета, как ставят перед гостями горки горячих лепешек.

Когда вносили горячую обильную еду, он, по обычаю, сам распоряжался, какое блюдо отнести тем или другим гостям. Он называл имена тех, кому предназначались блюда, и названные кланялись щедрому хозяину.

Долго длилась эта трапеза, и вскоре, едва гости ушли, подошло время казни.

Надо было идти туда. Он пошел в широком распахнутом халате, тяжело хромая, не взглядывая ни на кого, и, едва добрался до приготовленного ему места, сел. Вспомнил, что сутулится, и торопливо выпрямился.

Вокруг небольшого поля стояло плечом к плечу войско, до того дня подчиненное Султан-Хусейну. Стояли полторы или две тысячи воинов, побывавшие в Дамаске.

Позади Тимура стеснились его недавние гости, его малый совет. Ближе других стал Шахрух.

Вперед вышли трубачи с огромными медными трубами, сверкавшими на полуденном солнце. С трубачами вышли барабанщики.

Вышли двое палачей, отобранные для этого дела из пленных, давно служивших в войске.

Тимур негромко приказал:

— Худайдада, исполни.

Худайдада вышел на расшатанных ногах и досадливо махнул трубачам.

Барабаны глухо загудели. Взревели трубы.

Окруженные воинами, вышли двое царевичей, обнаженные до пояса, со связанными впереди руками.

Воины толкнули обоих, ставя на колени среди сухой травы.

Палачи засучили рукава, подняли с земли гибкие прутья и обтерли их полами халатов.

— Тридцать пять! — негромко сказал Тимур.

Султан-Хусейна положили животом на колючую траву.

Трубы ревели.

— Исполняйте! — сказал Тимур и отвернулся, зачесав щеку.

Худайдада молча махнул палачам.

Палачи, стоя по обе стороны от осужденного, грубо сдернули его штаны.

Хлестали поочередно, старательно, опасаясь, что кто-нибудь упрекнет их за слабость удара.

Негромко считавший удары Худайдада, едва досчитав до тридцати пяти, вдруг нетерпеливо и зычно крикнул:

— Стой!

Палачи отступили на шаг.

Султан-Хусейн неподвижно лежал, облитый кровью.

Воины уже подходили, чтобы его поднять, когда он сам, упершись руками в землю, приподнялся.

Его лицо тоже оказалось в крови от искусанных губ.

Тимур прерывисто приказал:

— Срезать косу.

Худайдада подошел к царевичу, провел ладонью по его макушке.

— Срезана.

— Отведите! — приказал Тимур.

На Султан-Хусейна накинули халат, и бережно, мелко переступая, воины увели его с площади.

Тимур:

— Двадцать два.

Люди совета затоптались, переглядываясь. Шахрух подступил к отцу.

— Двадцать ведь!

Тимур, кивнув Худайдаде, повторил:

— Двадцать два.

Худайдада крикнул гневно и громко:

— Двадцать два!

На чистой траве неподалеку от забрызганного места Султан-Хусейна распластали Искандера.

Все повторилось.

Когда палачи отошли, Искандер, тоже уже окровавленный, упруго сам встал и твердо сказал:

— Дедушка, спасибо за науку.

Тимур отвернулся.

Искандер пошатнулся, но устоял и ушел с площади, опираясь на плечо воина. Коса осталась неприкосновенной — дедушка пощадил его честь.

Вечером оба лежали в прежней юрте.

Лекарь, наложив свои снадобья на спину Султан-Хусейна, лежавшего, казалось, в забытьи, сел на корточки около Искандера.

Буроватая смесь мумиё и каких-то истолченных трав слегка защипала раны Искандера, когда вдруг Султан-Хусейн твердо сказал:

— А вот Искандера Македонца палками не наказывали. А тоже был победитель.

«Опять завидует!» — подумал Искандер, но промолчал.

Султан-Хусейн больше ничего не говорил ни в тот ве-

чер, ни в последующий день, погрузившись в сонное забытье.

Искандер переносил болезнь легче и попросил перенести его постель за порог, на ветерок. Там он крепко заснул, а проснувшись, встал на ноги, но кружилась голова, и стоял он покачиваясь.

7

Тимуру в его новом мраморном дворце не жилось: казалось холодно. Его накрыли теплым одеялом, стеганным по верблюжьей шерсти. Сердце ныло, словно в предчувствии беды. Это была досада, охватившая его всего. Она бурлила в нем, будто вода в котле. Тимур глушил досаду, как тяжелой деревянной крышкой накрывают кипящий котел. Но оттого вода вскипает яростней и вздымает крышку.

Он велел позвать чтеца, и тот явился с большой книгой.

Тимур попытался вспомнить предыдущее чтение — главы из истории Рашид-аддина. Того Рашид-аддина, чью могилу разорил Мираншах.

Историк, писавший просто, показался витиеватым, и некоторые места приходилось выслушивать снова, повторяя чтение.

Чтец терпеливо читал снова, но вскоре Тимур понял, что в этот вечер не может вдуматься в слова историка. Отпустил чтеца, не дослушав главу, и послал за внуком, за Халиль-Султаном.

Халиль-Султан, неутомимый охотник, бывал душой любой охоты, когда выезжал на нее. Он не задумывался об опасности, нередко охотился даже на глазах у врагов в промежутках между битвами. Его соколы вызывали зависть у соколятников. Его лошади не уступали в прыти лошадям самого Повелителя.

Халиль-Султан замешкался, и уже ночь подошла, когда он пришел.

Тимуру невыносимо было долгое ожидание. Но, увидев Халиля, он повеселел:

— Ты сокола мне проспорил.

— Вы, дедушка, велели его вам на охоте дать.

— У тебя ордынский кречет хорош.

— Постарел. Ленив стал.

— Хороший кречет не стареет. Он у тебя попросту зажрался. Оттого и ленив.

— Я не закармливаю. Клок дичины на целый день.

— Клок клоку рознь. А на кого приважен?

— Косуль бьет.

— Какие тут косули? Разве что лисицу вспугнешь.

— А у меня есть сокол, диких ослов бьет. У монголов куплен.

Напоминание о монголах снова шевельнуло притихший было гнев, хотя и не сразу это связывалось с набегом Искандера на монгольские улусы.

— Вот и поохотимся. Надо размяться. Пора отогреться от этих мраморов.

Он неприязненно кивнул на стены нового дворца, словно его силой сюда посадили.

Мысли об охоте утишили его досаду, хотя, однорукий, на охоте он мог лишь мчаться наравне со зверем. Но оттого и вся охота бывала ему видней, и охотничий запал острее.

— Вот и вели кречетов готовить и лошадей пригнать. И чтоб моих тоже пригнали.

— Каких, дедушка?

— Пусть Чакмака готовят. Давно его не седлал.

— О нем у дяди Шахруха надо спросить.

— Нечего спрашивать. Он в моем табуне, а не у твоего дяди.

— Я пойду спрошу.

Тимур насторожился:

— А ну-ка сходи спроси.

— Он, видно, уж спит.

— Почему это видно?

— Да ведь время за полночь.

— А ты сходи.

Едва Халиль вышел, Тимур послал за Шейх-Нур-аддином.

Этого не пришлось долго ждать.

Когда он показался в дверях, Тимур спросил:

— Где мой табун?

— Как где, о амир? Угнали.

— Куда?

— Когда под Сивасом...

— Ведь их вернули.

— Но ваш табун, о амир, не удалось отбить.

— Кто ж его взял?

— Да проклятый этот Кара-Юсуф.

— Кара-Юсуф?

— Он и остальных лошадей у нас угнал. Тех отбили. А ваш табун весь увел. Ведь небось царевич Шахрух объяснил.

— Ну, а Чакмак?

— На Чакмаке злодей сам уехал.

Лицо Тимура пожелтело при той вести.

— Как же он... Как он его увел?

— Битва была. Он бежал.

— Догнать, что ль, не могли?

— Там горы. Скакать не расскачешься.

— Ступай. Спи. Время за полночь.

И опять остался один, долго ожидая Шахруха, с тревогой твердя:

— Кара-Юсуф... Опять Кара-Юсуф...

В этом неугомонном туркмене — вечная опасность: едва, завоевав земли туркменов, Тимур уходил, невредимый Кара-Юсуф являлся и опять там становился хозяином, будто и не было Тимуровых побед. Так бывало не раз. И снова досадная тревога: не случится ли такое и со всеми другими завоеваниями? Едва отворотишься, как вернутся всякие тамошние Кара-Юсуфы, и все усилия и удачи всей жизни забудутся, как в погожий день забывается минувшая гроза. Само имя ненавистного Кара-Юсуфа звучало как предостережение из грядущих лет.

И ему представился Кара-Юсуф на золотом Чакмаке. Как небось потешается, что сидит на знатнейшем из коней Тимура!

Тимур притих. Пожелтел. Осунулся. Поник. Скрипнул бы зубами, но зубов осталось мало, всего с десяток.

Он размышлял по-своему, своими словами, припоминая то одно, то другое из пережитых событий, о себе, о судьбе, о своем воинском рассудке, как называл он свой воинский талант, свой дар полководца.

Чего же стоит жизнь полководца, его воля, преодоление опасностей, невзгод, болезней, если вернется такой хозяин своей земли и от удач и успехов завоевателя не останется и следа, кроме ненависти к нему в народной памяти на многие века! Значит, надо сперва понять, на ка-

кое дело, куда ведет тебя твой талант, и тогда решить, всегда ли надо следовать за своим талантом...

При таких раздумьях то в гневе, то в тоске он понимал свое бессилие — от него не зависело перевернуть ненависть в любовь, в признательность, в благодарную память. Как легко покоренный народ забывает о нем, как легко свой восторг обращает к тому, кто приходит на смену завоевателю!

Тут, мягко, неслышно выступая, вошел Шахрух.

Не дав сыну переступить порог, Тимур крикнул:

— Заврался?

— О отец! Как это?

— Где мои лошади?

— Но ведь я столько лошадей, столько скота отбил!

— Я про свой табун. Думал отмолчаться?

— Да как бы я смел!

— Я думал, сын смышлен, добычлив, а у сына одно на уме, как отца обхитрить!

— Да ведь он бежал. А от таких стад как уйти в погоню? К тому ж дождь.

— Дождь?

— Ливень.

— Боялся обмочиться?

— Он кинулся...

— Не побоялся дождя.

— Но он же спасался. У него иного пути не было.

— Он злодей, а лих. А вы — как куры. Небось под кожухи попрятались? Уходи. И скажи там, никакой охоты не будет. На что она мне, ваша охота!

— Про охоту я не слыхал.

— Уходи!

Шахрух было пошел, но вернулся.

— Ведь у него была ваша пайцза, отец! Он показал ее караулу...

— Пайцза?

— Десятник караула сам ее читал.

— У Кара-Юсуфа?

— Какая дается вашим проведчикам.

— Где ж он ее получил?

Тимур задумался, вспоминая. Их всего было дано в верные руки менее ста. Все наперечет, все надежны. Никто среди проведчиков не попадался Кара-Юсуфу, не мог

предать. Было б страшно, если б и среди проведчиков оказались предатели.

И опять остался один среди светильников.

Велел гасить светильники, ожидая от темноты облегчения. Но тьма оказалась нестерпимей света. Приказал снова зажечь огни.

Так досадовал всю ночь. Только перед рассветом тяжело заснул и проспал первую молитву.

8

Днем Тимуру сказали, что прибыли люди от мамлюкского султана Фараджа.

Тимур встрепенулся.

— Послы?

И подумал: «Это он задумал отвратить меня от Дамаска».

— Может, и послы, но одеты в простые бурнусы и каравана с ними нет.

— А вы их сперва поразведайте. Спеху нет.

— Каирские наши проведчики их не опознали.

— Ну и поразведайте. Получше, поприглядчивей.

Тимур с утра ослабел. Ходил медленно. Молчал, когда спрашивали, не слушал собеседников. Переспрашивал, чтобы понять, о чем ему говорят, но весть о послах его оживила. Может быть, захотел узнать пожелания мамлюков или сам послать письмо их султану.

К вечеру он вспомнил и спросил про тех послов.

— Навряд ли они послы.

— Да ведь от султана Фараджа.

— Так сказались. Письма при них нет. Говорят, нам, мол, велено поговорить тайно. С глазу на глаз, без свидетелей. Мы, мол, слыхали, он так беседует со своими проведчиками. Один, с глазу на глаз.

— Письма нет. Каирским проведчикам они не знаемы, по одежде простые люди.

— Просятся поскорей их допустить.

— Не к спеху. Сперва оглядите их попристальней, попристальней.

К утру снова прибежали сказать про Фараджевых людей. Ночью после обильной еды они заснули. А особой крепости сон явился у них после питья, когда подслащенной воды хлебнули. Тогда безбоязненно их оглядели, ощу-

пали и у каждого нашли по длинному кинжалу, тяжелому, с желобком в лезвии. Удивились, что желобки внутри сухих лезвий столь влажны. Показали лекарю. Лекарь сразу смекнул: суданский яд. Таким ядом в их лесах стрелы травят. От него львы замертво валятся. Вот каков яд.

— Это, значит, взамен письма мне послано?

— Не смеем про то думать, о амир.

— А тут и думать нечего.

— Мы пока положили им те кинжалы на место, как были они упрятаны во всякое тряпье. Теперь сидят, беседуют после еды, а мы ходим, будто ничего не знаем.

— Так и ходите. Но глаз не спускайте. Подождите, чего они еще придумают.

— Мы поняли. Мы их стережем.

— Да глядите, сами берегитесь. Сдуру они на кого попало не кинулись бы!

Но люди Фараджа ни в тот день, ни в последующий ничего не придумали, а только гневались, торопя встречу с Тимуром, крича, что дело не ждет.

Пришлось снова утолить их жажду подслащенной водой. У сонных снова взяли опасные кинжалы. Связали всех троих. После того долго не могли растолкать спящих, а когда добудились, отдали их палачу.

Опытный палач помог им разговориться. Подослал их юный султан Фарадж. Не сам султан, а его вельможа. В залог остались их семьи. А самих их выпустили из темницы, где сидели, ожидая казни. Обещали всю их вину позабыть, и, возвратившись в Каир, они получили бы по пяти тысяч дирхемов, чтоб заняться торговыми делами.

Тимур сам выслушал рассказ палача и приказал двоих помоложе казнить, а старшему отрубить на каждой руке по два пальца — для памяти — и проводить до Дамаска, пока дамаскины не повстречаются. А от Дамаска до Каира дорогу сам найдет. И велел с тем злодеем передать султану Фараджу письмо, а в письме поблагодарить за дорогой подарок, за три редких кинжала с желобками внутри лезвий. Мы, мол, дамасскую сталь ценим, подарок будем беречь. При случае отдарим.

На том этот случай и кончился, но новый, еще недостроенный город уже опостылел Тимуру, уже не было в том городе места, что радовало бы его.

Он уже не мог тут стоять отдыхая.

Он хотел скорее уйти отсюда.

Трое злодеев определили путь, коим решено было идти. Это был древний путь — путь на Дамаск.

Досада оседала, когда, отвратясь от дымящихся развалин Халеба, Тимур, подремывая в седле, вел войска к Дамаску.

Когда войско шло, даже от негромких бесед этого множества вокруг плыл гул, тяжкий, как чад, сквозь который лишь изредка слышались отдельные слова или оклики.

В том множестве бесед немало гудело рассказов о городе, столь удивительном красотой, богатством, той особой статью, которой в других городах нигде не встречалась: кому прежде случалось поглядеть на него, не жалел слов, славя вожделенный Дамаск.

ГЛАВА XIII

ДРАКОН

1

Досада оседала. Разоренный, опаленный пожарами Халеб отплывал из памяти без печали, как корабль от причала. Все же, едва откуда-нибудь доносилось слово «Халеб», дремота у Тимура сменялась досадой, а досада нередко порождала гнев, которого Тимур сам побаивался, ибо тогда не он владел своей волей, а гнев владел им, понуждая на дела, в коих после бывало стыдно признаться. Порой он запрещал напоминать о таких делах, совершенных в гневе, приказывал тысячам людей забыть о них. Увы, нельзя повелевать памятью, она хранит многое из того, о чем со стыдом силятся забыть правители и чего не хочет забывать народ. А тут Тимуру тоскливо было вспоминать о деле, которое, если б его снова пришлось свершать, он свершил бы, свершил бы, как в Халебе! Хотя так горько, так тревожно становилось, едва память возвращалась к халебской расправе над внуками. Подвиги их кончились расправой над ними. Их подвиги надо было пресечь, надо было без пощады напомнить им, что они внуки. Внуки ему, и это не только воля аллаха, пославшего им такого деда, но и долг их, тягостный, опасный долг быть достойными — достойными! — внуками Повелителя Вселенной.

Халеб запомнился не таким, какой остался позади, разграбленный, почерневший, опаленный кострами и по-

жарищами, а тем, раскрывшимся в котловине, окруженным белыми откосами предгорий, со своей серой высокой и длинной крепостью, возвышающейся над каменными улицами среди куполов, минаретов, церквей, крытых базаров. Крепость высилась над городом, как огромный сундук с наглухо захлопнутой крышкой. Христиане звали этот город Алеппо. Но арабы называли его Алеп, ибо так назвали его те, кто за две тысячи лет до того создал город на берегу струистой реки Кувейки.

Позади осталась земля, видевшая расправу деда над внуками, но вышло, что не их растерзал он своей расправой, а самого себя. Опять предстала пред ним эта тягость: дума о будущем своей державы, необозримой, во имя которой битва за битвой, захват за захватом провел он бесчисленные полчища для утверждения во вселенной своей власти, своей воли, навечного могущества, Так скаред складывает в необъятный сундук золотые динары вперемежку с позеленелой медью фельсов, серебряные дирхемы, пенящиеся кружевными надписями арабских молитв, и крепкое, из-под удара молотка, плотное серебро чагатайских динаров с тамгой, похожей на ключ от сундука. Как разноликие деньги всемирного базара, золото, серебро, медь, желтая бронза, катились мимо по его дремоте разноликие мысли, как деньги в тот необъятный сундук, для него одного, для одного него, то откатываясь одна от другой, то сталкиваясь, сбивая друг друга, прежде чем пропасть, скатиться в дремотную неразбериху. Все, что сделано, все, что и ныне делается, все это для себя, все это для необъятного сундука своей державы, для своего рода, а главное — для своей семьи. Но кто завладеет всем? Есть ли такой, кто и впредь бережливо, неторопливо, динар за динаром, голубоватый дирхем вслед за черным фельсом, добычу за добычей, страну за страной будет накапливать в том сундуке из века в век, во веки веков?

Оттого досада то оседала, то снова бурлила, клокотала, подступала к горлу, что своими жадными степными зоркими глазами он не мог не приметить трещины не только на стенах халебской цитадели, похожей на сундук, но и на самом сундуке своего государства. Трещины на домашнем сундуке можно оковать железом, покрыть скобами, но свое могущество чем скрепишь, когда родные внуки извилисто, как короеды, протачивают себе ходы

в стенках, не скрепляя, а истачивая великий благодатный сундук — государство.

Оттого так беспощаден он был с внуками.

И теперь, даже когда досада оседала, сердце не остывало, кровь не утихала, сна не было, а только дремота, сквозь которую, поблескивая, как деньги, катились, катились, откатывались, выскальзывая куда-то в забвенье, неудержимые мысли.

Но одна мысль не ускользала, то возвращалась, то вилась, как прозрачный дым, не заслоняя сознания. Вдруг он внезапно откидывался, как от удара холодного клинка, когда вспыхивала перед самыми глазами жестокая ясность: нет никого, кто взял бы из его черной, истертой поводьями ладони в свою крепкую молодую ладонь этот повод, направляющий коня от победы к победе. Никого нет.

— Нет такой ладони!

А он всегда торопился и ныне торопится вперед к новым завоеваниям, уверенный в будущих победах еще более, чем бывал уверен перед прежними победами. Но кто продолжит этот непреклонный добычливый вечный поход?

Кто продолжит, когда сам он сползет с седла?

Он любил спать в седле на ходу коня в походе, и спал крепко! Но после Халеба не затихала тоска, ноющая, словно разболелось сердце.

Он похудел, потемнел, хотя скулы, покрытые письменами морщин, молодили его смуглым, золотистым, как патина, загаром.

Он не рассеялся и в Хамме, где остановилось войско, чтобы дать отдых коням, не ликовал, взяв Хомс, который противился не столько воинской силой, сколько крутизной стен, поставленных на вершинах гор. Не порадовался, когда там, на берегу молчаливого озера, ему устроили праздничный привал, полный древнейших сирийских песен, и на виду у гостей рыбаки, стоя в длинных черных лодках, бросали из сетей трепетную рыбу, мерцавшую сиреневыми блестками под вечереющим небом, и на берегу пекли ее в медных котлах, где кипело зеленоватое оливковое масло.

Соратники, радуясь такой лакомой рыбе, хватали с глиняных блюд розовые, покрытые кипящей пенкой и хрустящей корочкой ломти. А Тимур, положив перед собой

ломоть этой рыбы, некогда считавшейся священной, отделял обструганной палочкой мякоть от белых костей, но в рот ничего не брал.

Может быть, впервые в жизни ему наскучил поход, утомила дорога, захотелось съехать с большой дороги на узенькую тропу и ехать одному, пригибаясь под ветвями садов, поникших из-за глиняных стен над мирной дорогой отрочества, как, бывало, далеко в Кеше.

Войска отдыхали в стороне от озера. Там тоже горели костры и что-то пеклось и варилось. Оттуда достигало сюда привычное зловоние — пахло лошадьми, потными людьми, гнильем, едким дымом,— что сопутствовало каждому походу, как и гул голосов, где каждый, беседуя, силился перекричать собеседника, ибо отдельные голоса глохли в общем гуле, пропадали, как брызги в песке.

Он подумал, не станет ли светлее на душе, если хотя бы ненадолго отвернуться от такой повседневной жизни.

В Сивасе, глядя на рвы, заваленные по его указу многими тысячами обреченных пленников, еще стонавших, хрипевших, шевелившихся, Тимур, захмелев, перед всеми соратниками крикнул своему коню, которого уводили на водопой:

— Э, конь! Пока пей эту мутную воду. Скоро я напою тебя морской водой!

Эти слова мгновенно просверкали по всему стану, и воинство, уставшее здесь, в неистовой радости завопило, завыло, изъявляя волю хоть сейчас же, хоть без отдыха двинуться в неведомую даль, к той далекой морской воде, вслед за конем Повелителя, как оно годами шло за ним в чаянии утолить жажду.

Утром, когда в крепости Хомс, воздвигнутой на вершинах крутых гор, по камням башен зазолотился косыми полосами рассвет, Тимур решил, что пора, пожалуй, выполнить слово, данное коню,— вволю напоить его морем.

2

Дорога к морю уже была очищена передовыми сотнями.

Он послал вперед слуг, поваров с припасами, переводчиков и того чтеца, который втайне на полях нескольких книг вел запись о словах и делах Повелителя.



Тот чтец так ловко подделывал почерк под руку переписчика всей книги, что записи на полях казались лишь дополнениями к основе, как это нередко бывало у переписчиков персидских книг. Книга так и пролежала, утаенная от современников, пока ее не взял в руки историк и узнал о прогулке Тимура.

Тимур поехал, сопровождаемый надежной охраной, по нехорошей, каменистой дороге, между некрутыми горами, среди зеленовато-серых глыб, поросших седым и ржавым лишайником. Приходилось часто натягивать повод, чтобы сдержать коня от неосторожного шага по скользким камням на ступенчатой тропе.

От долгого напряжения не только рука устала, но и сам он ослабел, обмяк, подремывая, уже равнодушный ко всему, ради чего ехал.

С моря подуло сырым ветром, метнуло дождем.

Сквозь эту слезящуюся мглу он вдруг увидел гигантские, из больших глыб, башни. Крепость, сложенную еще финикийцами, чтобы хранить товары и ценности, сгружаемые с кораблей. Изначальное место человеческого торжища, полное преданий, легенд, восхваляемое в молитвах.

Библос!

Арабы, завоевав, назвали это священное место своим словом — Джебель. Но Библос не стал арабским селеньем, он помнил финикийские корабли с квадратными полосатыми парусами, гребцов, прикованных к бортам, рабов под тяжестью бесчисленных вьюков. Тут стучало серебро первых в мире денег, ибо тут впервые купцы выковали их.

Здесь из комочков серебра под ударом молота вышли те небольшие голубовато-серые лепешки, с которых и начались деньги на земле.

Из-под молота на серебре вышел дракон или чудовище, согнутое в кольцо, ловко вписанное в кружок монеты.

Дракон пожирает себя. Он себя ест с хвоста, но увлечен и, видно, уже не в силах остановиться, пока не съест весь хвост, а потом живот, а потом голову.

Задумывались ли финикийцы над тем, что же останется, когда дракон съест сам свою голову? И зачем они поместили этот рассказ — или предостережение — на безмолвной монете? И не пророчество ли это было себе самим, ибо дракон еще трудится над своим хвостом, а финикийцев уже нет нигде в мире.

Влажные стены башен были озарены отсветами синевы, и Тимур прищурился, удивленный: как это при такой синеве воздух туманится и дождит, пока не понял, что за башнями,— там не небо, а море.

Море, и перед ним Библос.

Под гору на упруго шагающем коне Тимур проехал мимо башен. И приметил, что на крепостной стене на необычном месте — не над воротами, а в стороне, на гладкой стене,— высечено странное кольцо: дракон, пожирающий себя, как на той деньге, которую некогда ему принесли еще в Багдаде, а он отдал молчаливой Туман-ака для подвески, а царица, погнушавшись темным, как бы закопченным серебром, кинула его своей рабыне.

Тимур съехал к берегу.

Следом за ним — внуки.

Чуть поотстав, следовали те из вельмож, кого он наполнил торжеством и гордостью, взяв на эту прогулку, тоже намеревающиеся напоить морем своих коней.

Тимур впервые видел это море. Каспийское прежде ему случалось видывать. Оно никогда не бывало таким. Тут по ровной, гладкой синеве к берегу мчались одна полоса вслед за другой, золотые строчки, на которых, казалось, можно разобрать письмена, если бы знать грамоту.

Гладкая синева. Невысокие волны. Тихий прибой.

Все окружили его, когда его конь наступил на песок, наметенный сюда прибоем.

Серый, голубой песок, полный ракушек, каких-то обкатанных черепков из телесно-розовой глины, шариков от бус или от рыбацких сетей, песок издревле обжитого берега, готовый повествовать о минувших веках, если, зачерпнув ладонью, его поднять к глазам.

Неловко ступая по зыби песка, конь покорно шел, пока вода не стала ему по колено. Тогда Тимур остановился и посвистел тем особым свистом, каким предлагал лошадям пить.

Конь, как на водопое, доверчиво опустил губы к воде.

Но вдруг так резко отдернул голову, будто коснулся кипятка.

Тимур опять посвистел и постучал коленкой по боку коня. Конь не опустил голову и, не слушая поводьев, резко повернув, торопливо пошел прочь, вопреки узде и досаде седока.

Может быть, его напугал вал, накатившийся с моря, может быть, показалась противной пахучая морская вода. Ни один конь не противился Тимуру столь решительно, как этот, которому так давно и так твердо был обещан сей голубой водопой.

Так и поехал Тимур наверх с моря.

Так и прервалась его встреча с морем, но его успели раздразнить морской запах, непроницаемое трепетное марево далей.

В церкви святого Иоанна кротко зазвонил колокол. На земле, занятой его войском, Тимуру этот звон показался вызовом: может быть, христиане-марониты помыслили, что они тут безнаказанны, как было при крестоносцах?

Он послал предостеречь маронитов, воздержались бы от дерзкого звона, сказав им: «Со времен крестоносных рыцарей на сей земле прошло полтораста лет. Чего ж раззвонились?»

Маронитский епископ велел отнести Тимуру подарок — твердый бархатный колпак, сплошь расшитый красным золотом и увенчанный тяжелой кистью, составленной из жемчужных нитей,— и сказать с поклоном:

«Со времен крестоносных королей прозвонили впервые в неурочный час, дабы восславить исполнение клятвы, данной Повелителем Вселенной своему коню».

— Откуда они узнали? — спросил, хмурясь, Тимур переводчика, ходившего с посланцем.— Об этой клятве? А? Откуда?

— Якобы из молитв. От бога.

— Значит, их люди идут между нашими воинами.

Собеседник досадливо скосил лицо.

— В наших сотнях много чужих людей. Кто этого не знает!

— Что ж об этом молчал?

— Бьются-то они вместе со всеми! За нас.

— Они ждут своего часа.

— Своего часа все ждут.

— А? Нет, надо, чтоб час был один для всех.

— Как это один? Даже в походе одни бывают убиты, другие — добычливы.

И этот разговор не утешил его, а что-то растравил в нем. Снова заныло сердце.

Тимур подумал, что-то пытаясь вспомнить, но, сколь ни был памятлив, не вспомнил, а о маронитах распорядился, чтобы их не трогали в их обителях. И послал ответить епископу:

«И впредь молитесь!».

Какие-то странно, но богато одетые старики из жителей Библоса сказали, показав на песок, где только что конь Тимура оставил следы:

— Сам бог направил вас сюда. Это то самое место, где море выбросило на берег ящик с Озирисом. Здесь богиня Изида по наущенью божьему увидела ящик и вынесла из волн на песок. На самое то место, где стояли вы.

— А конь здесь пить не стал! — назидательно ответил им Тимур. И прервал разговор, отправившись к башням, где пылали праздничные костры в его честь.

И опять на стене слева от каменных ворот увидел дракона — неудержимое уничтожение жизни, которая пред ним предстает, даже если это он сам!

Опять скользнула какая-то тревожная мысль, и опять он не успел ее ухватить.

— Ухватить за скользкий хвост, как эту ящерицу! — сказал он вслух.

— А? — испуганно переспросил соратник, ехавший рядом, боясь, что не расслышал важное указание.

— Да нет,— отмахнулся Тимур,— это я про коня!

— А! — успокоился соратник, делая вид, что понял.

Библос — место, где в медлительном течении тысячелетий, сменяя одного бога другим, человечество служило великой силе соития, зачинающей всякую жизнь на земле. Здесь сверкали оргии и обряды в честь древнейшего Ваала и во имя Адониса и Афродиты. Вакх бродил здесь в сени виноградников, окруженный преопрятнейшими фавнами и простоволосыми вакханками. Не тогда ли врубили в эту стену дракона как напоминание о неизбежном: съевший всё съест и голову. А вокруг кипела жизнь и сверкали оргии во имя бессмертия, вопреки тому, что творит дракон.

Этот Библос, как запахом моря и садов, весь пронизан преданиями, и тропинки здесь были утоптаны ногами богов, запросто бродивших среди людей.

Вакхический пир сотворили в широкой башне, чтобы при мерцающем свете лампад, вдыхая смолистое благоухание от курений, Тимур представил себе, каково тут бывало в языческие века.

Когда ненадолго прервались пляски, за раздвинувшимися танцовщицами и верткими танцовщиками Тимур увидел Халиль-Султана, поотставшего от деда и явившегося в Библос только теперь, сразу на празднество. Тимур показал ему место около себя.

Халиль-Султан пробрался между пирующими и сел чуть позади деда.

Тимур, полуобернувшись, тихо пожаловался:

— Конь не стал здесь пить!

Халиль-Султан понял, что дед удручен. Но в чем причина, не знал.

По таким длинным нелегким дорогам вел он коня, чтоб сдержать слово и напоить, а коню, оказывается, это не нужно. А люди? Сотни тысяч людей он ведет по нелегким дорогам. Он им насулил многое. Он их ведет, но, дойдя, они возьмут да и отворотятся, да еще вопреки узде!

— Чудак! Не стал!..

А среди тех десятков тысяч людей, что прежде ликовали в Сивасе, узнав о приглашении коню, уже пошел слух, что конь Повелителя отворотился от моря!

— Конюхи напоят! — весело отмахнулся внук от забот и с головой, чуть-чуть закружившейся от блаженных, сладостных флейт, посмотрел заблестевшими глазами на обнаженных плясуний, притворявшихся, что спешат укрыться прозрачными шалями, на разноцветные в свете лампад непостижимые яства на золотых скатертях.

Тимур, глядя в круг поющих и пляшущих, с усилием и болью стянул с пальца тесноватое кольцо, чтобы снять другое, более просторное — перстень из Халеба, где на крошечном, как капля, сияющем камне великий искусник изобразил воина. Обезглавленный, он повернул к себе свою отрубленную голову, и она смеется, впервые видя свое тело со стороны.

Тимур подозвал Халиль-Султана и передал ему перстень:

— На. Отнеси к маронитам. В церкви скажут, как пройти к самому главарю монахов. Отдай от меня. А потом вернись сюда.

Рано, еще до света, Тимур поехал отсюда назад к войску.

Библос опустел. Затих. Только воины шумели да кони ржали. Да дракон на стене сжирал себя.

После ночного дождя скалы и камни казались умытыми, прохладными: каждый обрел свой цвет, четче стали их очертания, когда Тимур подъезжал к Баальбеку.

Еще издали он увидел колонны Юпитерова храма, выстоявшие наперекор времени и усилиям людей. Многие

пришельцы намеревались свалить их и увезти отсюда для украшения иных зданий.

Между колоннами виднелось далекое небо, уходящие тяжелые облака. Казалось, сам Юпитер покидает это место после ночного покоя.

Тимур ехал в праздничном халате, с ним были соратники, тоже одетые празднично: в Баальбеке уже стояло его войско, город, принадлежавший мамлюкскому Фараджу, теперь встречал Тимура.

Когда подъехали ближе, Юпитеров храм заслонился крепостными стенами.

Тимур въехал в городские ворота, но и отсюда не увидел розовых колонн, воздвигнутых еще императором Антонием. Впереди высились башни и стены внутренней крепости, за семь лет до того перестроенной султаном Баркуком, на случай, если Тимур дойдет до этих мест. Вот он дошел, но уже давно Баркука нет на земле. И никто не укрылся за этими крепкими стенами. Свою победоносную силу Тимур чувствовал в себе во время таких въездов в города, еще накануне послушные его врагам.

Он свернул сюда, в сторону от своего мирозавоевательного воинства, от стана, где его ждали.

Жители города из тех, кого пощадили, виднелись за рядами воинов. Они не встречали, не ликовали, а только молча разглядывали его, проезжавшего во всей славе и могуществе.

Он въехал в Баальбек не как в прочие города, взятые с бою, не разгоряченный битвой, не разъяренный сопротивлением, не карать, а посмотреть город, уцелевший от разрушения.

И жителям надо бы ликовать и славить его за пощаду, любоваться им, столь великодушным, что лишь часть из них он велел придушить или прирезать, тех, что оказались из приспешников Баркука. С ними управились до его въезда. На обычную расправу он не решился здесь. Кругом стояли храмы. Священным считали это место поклонники солнца, священным — иудеи; здесь построил мечеть полководец пророка Мухаммеда и молился здесь.

Когда Тимур подъехал к стенам древнейших храмов, было так светло, как иногда случается утром после долгого проливного дождя.

Его бережно сняли с коня и поставили на каменную дорожку, чтобы он не поскользнулся при такой сырости.

Перед ним, как стена, высились огромные камни.

Это была не стена, а каменная основа, сложенная из гигантских плит. В разное время на ней строили разные святилища. Завоеватели разрушали одно и созидали другое, по-своему, своим богам. Но основа оставалась с того незапамятного времени, когда неведомо кто сложил эту основу, уложив одна к другой так плотно, словно это были кирпичи.

Тимур прошел по мокрой глади, дошел до другого края, оттуда с высоты взглянул вдаль, где распласталась заросшая садами долина, уходившая к лиловой гряде гор.

Отходя от обрыва к храму Юпитера, он снова смотрел себе под ноги. Плиты плотно сплотились на всей этой плоской площади.

Он послал рослого барласа из своего караула смерить шагами каждую из плит. Потом, надежно поддерживаемый соратниками, сошел по крутым ступеням вниз к храму Бахуса. Но к храму он не пошел, а снова остановился перед удивительной кладкой, разглядывая ее уже сбоку и чувствуя в себе нарастающую растерянность перед строением, которого не мог постичь.

Он подумал, хватит ли его воинов, чтобы такое здание поднять и сдвинуть. И опять прикинул на глаз, сколько понадобится воинов, чтобы растащить в разные стороны и сбросить в обрыв всю эту тяжесть.

«Нет, даже если призвать сюда всех из стана, всех этих полтораста или двести тысяч окрепших в походах вояк, никакое воинство не осилит это».

Он опять прошел несколько шагов.

«Но ведь развалить легче, чем сложить! Что же это была за сила?»

Так он столкнулся с тем, что было сильней всей его силы, несравненной по могуществу, ибо нигде никто не выставил силы большей, чем была у него.

Вдруг он подступил к одной из плит и уперся в нее ладонью. Холодный шершавый камень.

«А ведь кто-то поднимал его, чтобы навеки положить сюда!»

Он долго молчал, а соратники удивлялись:

«Чему дивится он, когда даже украшений нет на этих невзглядных, серых плитах?.. Не на что раз глянуть, а не то что разглядывать!»

И вздрогнул — из-под размытой ливнем земли показалась мертвая женская рука, синевато-белая, с пальцами, застывшими в таинственном знаке призыва. Он навидался мертвых рук на полях битв, насмотрелся в лицо отрубленным головам, но при взгляде на эту призывавшую руку обмер. Наконец понял, что это лишь осколок расколотой статуи из храма Бахуса. Сдержал себя. Но сердце колотилось, не в силах успокоиться.

И опять ходил в смятении. Смятение переходило в испуг оттого, что не удавалось постичь это. Не удавалось обдумать: мысль еще не сложилась, чтобы ее обдумать. Но выходило, что сила — это не меч и не мышцы. Он не мог понять эту мысль, пока не умея отделить от силы разум.

Бывало, что разум, превосходивший его ум, он называл волей аллаха; когда кто-то оказывался разумнее, умнее, хитрее его, он даже не гневался, видя в том волю аллаха.

Теперь он острым умом полководца не понимал силы разума.

Он больше не трогал серых плит — он удивлялся.

Во все это утро он ничего не говорил соратникам, дозволяя им переговариваться между собой.

Наконец он повернулся к ним:

— Не велю ничего тут трогать. С кем тут воевать? С дьяволом? А может, тут воля аллаха? Видели? Кто это сумел? Человек не сумеет. У кого есть такая сила? А?

Соратники не смогли ему ответить.

Дав им время, отводя глаза, помолчать, он поучительно укорил их:

— То-то!..

Весь день он хмурился. Не сердился, а тревожился от мысли, которую не умел додумать. Значит, сила его войска — не самая великая сила во вселенной?

Вечером он сказал снова:

— Поутру поднимайтесь, уйдем отсюда. Тут нам не воевать. Тут не поймешь, кто против нас встанет.

Худайдада усмехнулся:

— Кто да кто! А небось тот же самый Фарадж-султан.

И впервые слова старого соратника рассердили Тимура.

— Какой Фарадж! Я не об нем.

— А то кто же?— удивился Худайдада этим словам и гневу.

— В том-то и дело, кто?!

Сел в седло. Привычно вздернул голову коня, трогаясь в дорогу. Поехал и молчал.

Некого было спросить. Не с кем поговорить.

Утром кто-то ему сказал, что храм здесь построен Соломоном, а известно, что Соломон повелевал дьяволом. Но здание было такое земное, простое, что не верилось в Соломона. А спросить некого. Надо самому понять. Разгадать это чудо.

Так долго он ехал молча, досадуя, что соратники, столь понятливые в походе, столь далеки сейчас, когда надо понять эту тайну, или чудо, открывшееся в Баальбеке.

ГЛАВА XIV

ДАМАСК

1

Густая желтая вода тяжело стояла в широких рвах. Над ней высились, отблескивая булатной синевой, граненые гладкие стены, во многих местах покрытые налетом, буроватой ржавчиной.

На этих круто поставленных стенах не было никаких украшений, но в том и заключалась их мужская, суровая красота.

Кладка городских ворот выглядела старше стен: их сложили из иных камней, более светлых, порой казавшихся серебряными там, где их не покрывал загар, зеленовато-сизый, как патина на серебре. И от того налета, и от вековой патины казались не сложенными из камня, а выкованными из стали эти стены, хранившие город Дамаск.

Если глянуть на город с гор, он покажется ларцем, приподнятым на теплой ладони, в лоне долины Гутах. Но чтобы дойти до города, надо спуститься в долину, а вблизи он не покажется ларцем: вблизи он тяжел и строг.

И это увидел и понял Ибн Халдун, едва перед ним предстал Дамаск, о котором две или три тысячи лет складывали всякие были и небылицы, о его базарах и храмах, о пророках и сокровищах, и о мастерах, способных создать редкостные вещи, и о мудрецах, поэтах, уже не первую тысячу лет славивших честь жить в этом городе и зваться жителем его — дамаскином. Здесь писали по-гречески, и по-арамейски, и по-арабски, на гладкой,

как меч, латыни. На многих языках писали здесь и понимали на всяком языке, лишь нельзя было писать плохо, ибо столь много хорошего и мудрого создали дамаскины, что высокоумного недоучку здесь высмеял бы каждый встречный, а над невеждой смеялся бы весь базар.

Базар Дамаска теснился среди мраморов, оставшихся от византийцев и даже еще от римлян, среди стройных колонн и рухнувших портиков, топча плиты, по которым, бывало, шествовали императоры, имена коих ныне перепутались с именами множества язычников, чванившихся и властвовавших здесь. Фараон Рамзес, Искандер Македонец, Антиох и Помпей. И от каждого здесь что-то оставалось — память и слава или руины и обиды, которых нельзя забыть.

— О аллах! Имя им — легион. Кому надо помнить их? — высокомерно спросил черкес Охтай, начальник телохранителей, ехавший возле султана Фараджа рядом с Ибн Халдуном, ибо в этом походе Ибн Халдун исполнял дело визиря, отстраненного еще в Каире и не взятого в поход.

— Помнить не надо, знать следует! — ответил Ибн Халдун.

Охтай, всегда тяготившийся беседой с учеными, не понял и теперь, не смеется ли над ним наставник султана: как можно знать, если не помнить?! Шутит? Но Охтай воин, с ним не шутят. Он сам шутит, только когда держит саблю в руке!

Черкес сплюнул и больше не спрашивал, что там за столб, увенчанный венком, как венцом, или что это написано на гранитном карнизе, или чье это имя высечено на подножии, где уцелели лишь мраморные ступни, обутые в сандалии. А хотелось бы знать, чья это статуя некогда здесь стояла, от чьего величия уцелели одни эти ступни. И сколько б могла стоить такая статуя, если б ее заказать вновь?

Воин не грешил любознательностью, но любопытству не был чужд. Черкесы султанской стражи жили своими обычаями, блюли свои уборы, держали тайные сговоры, помогавшие со взгляда узнать своего, со взгляда обменяться мыслями, одним движением плеча или ресницы предостеречь друга или позвать за собой. Сызмалу они привыкали чуять и знать друг друга, и это помогало им в чуждой стране стоять против всех, кто бы ни вздумал

им противиться. Даже запах у них был особый — не то кислого молока, не то сыромятной кожи. И когда арабы все вокруг одевались просторно, легко, черкесы надевали одежду тесную да еще перехватывали ее ремнями и поговаривали, будто, мол, такую одежду не носят, а она сама их несет и бодрит. И впрямь походка их была легче, крылатей, чем у арабов, степенно ступающих усталой ступней. И на конях они сидели легко и прямо, но на скаку арабы не уступали, и тут случались жестокие состязания, когда не щадили ни коней, ни самих себя, лишь бы обскакать друг друга.

Въезжая в город, не расскачешься, и от нетерпения кони упрямились и приседали под седлами, а всадники прямились на конях, черные, в узких камзолах, отовсюду приметные, привлекая взгляды всех, кто глядел на въезд в Дамаск египетского подростка, такого же черкеса, как и его стража, заслоненного со всех сторон рослыми спутниками. Где было этих черных черкесов больше, там, значит, и находился сам султан. Они не только его заслоняли, но как бы и подпирали крепкими плечами, не давая ему податься ни в сторону, ни назад, а только туда, куда шел его конь, стесненный конями телохранителей. И уже где-то потом следовали вельможи и воины.

Только Ибн Халдун ехал возле своего питомца, чуть поотстав от его стремени. А если отставал на полшага, оказывался рядом с Охтаем, не сожалея, что тот отчего-то примолк.

Мраморные столбы вели к порыжелым камням почтенной мечети Омейядов, чтимой не только мусульманами, но и христианами, ибо это был некогда византийский собор, изнутри щедро изукрашенный константинопольскими художествами, как сама Святая София на Босфоре. И об этой красоте много слышал и читал Ибн Халдун и рассказывал о ней султану на уроках истории, но только теперь мог это увидеть своими глазами, да и то пока лишь снаружи, через головы мамлюков.

Они проехали под сводами торговых рядов, накрытых каменными куполами, по узким улицам, сложенным из желтых или серых камней, под коваными решетками, оберегавшими окна, под створчатыми ставнями, через которые женщины, оставаясь невидимыми, смотрели на улицу. И улица своим улыбчивым обликом напомнила историку ту улочку в Магрибе, на которой он родился и рос,

Они ехали через тесноту и толчею Дамаска, пока не достигли полукруглой площади, откуда через распахнутые тяжелые огромные створки ворот виднелся двор дворца Каср Аль Аблак. Деревья над водоемом, серый ряд мраморных столбов, державших деревянную галерею, сверкавшую в этот час цветными венецийскими стеклами.

Туда, на галерею, они поднялись, едва сойдя с седел, едва разогнув ноги, затекшие в стременах.

Низенькие, но просторные комнаты, где каменные стены везде обиты потемневшими кедровыми досками. Вдоль стен низенькие, но широкие диваны, застеленные полосатыми тюфяками. С потолков свисают чуть не до полу деревянные растопыренные фонари. Пол устлан толстыми коврами, где ноги ступают беззвучно, как по густой траве. Едва войдешь, манится тут лечь, успокоиться, дышать теплым воздухом, пропитанным запахом корицы или засохших цветов.

В одном из этих покоев, в дальнем, выходившем окнами в сад, перед султаном, которому шел пятнадцатый год, поставили тринадцать красавиц: он выберет себе тех, что будут первыми, и тех, кого он позовет потом, а неприглядных отпустит.

Мальчик заметил, как на иных из девушек мелко трепещет легкое одеяние и как, волнуясь, они теребят тонкими пальчиками свои шелка: каждая опасается, что он отвергнет ее и тем навеки опозорит перед всеми родными, а родных опозорит перед всем городом, ибо нет для девушки большего бесчестья, чем оказаться отвергнутой самим султаном!

А в дверях сутулились старухи, тоже боясь и ужасаясь, что султан не одобрит их выбора, их хлопот при подготовке девушек. И тогда другим старухам повелит султан готовить других красавиц, а у оплошавшей старухи ее дела на том и закончатся. Чем противнее им думать о таком конце, тем усерднее и бесстыднее они служат султану в укромных закоулках дворца.

Ибн Халдун, проходя по галерее мимо этих комнат, услышал веселые девичьи голоса, плеск ладошей, размеренно сопровождающий плавный танец, и снова трепетный и счастливый девичий смех.

Вдруг одна из узеньких дверец распахнулась, и оттуда, как попугай из клетки, выскочила боком и прыжками горбоносая старуха к перильцам над лесенкой и, перегнув-

шись, крикнула вниз другой женщине, чего-то настороженно ожидавшей у нижней ступеньки. Та, от неожиданности не расслышав короткий и хриплый возглас, переспросила.

— Сгодилась! — повторила ей старуха.— Ступай рассчитайся. На!

Она кинула ей зеленый кисет, перевязанный красной тесемкой, и тот стукнул внизу, как камень, у самых ног.

Такими же прыжками старуха вернулась в узенькую дверь, а Ибн Халдун посмотрел вслед женщине, уходившей там внизу так быстро, что ее черное тонкое покрывало отставало от нее.

Эта жизнь султана, процветавшая по исстари заведенному правилу, без касательства наставника, невольно досаждала Ибн Халдуну, но шла своим чередом.

Надо б было от имени султана сзывать совет, готовить город к обороне, к осаде, а то и к битве, скликать военачальников, ободрять народ, но в эти часы забав султан бывал недосягаем для земных дел, для будничных забот и тягостных собеседований.

Разве лишь сам Тимур со всеми своими татарами, покажись он на гребне городской стены, мог бы раздавить этот порядок. Тогда, скрипнув зубами, можно б наподдать эту чинаровую или там кедровую дверь и легкой походкой почтительно войти к султану: «О, высокомудрый государь! Враг тут, за порогом, идет сюда. Слышите его шаги?»

А старуху вышвырнуть вниз!

«Почему она прыгает? — вспомнил он. И тут же понял: — Да она просто хромает! — И опять ноющая, тоскливая тревога остановила его: — Тоже хромает!..»

Враг был уже не столь далеко: остановился около Хомса. Надо готовиться, не теряя ни дня, ни часа, пока есть время!

Ибн Халдун уловил нежный запах благовоний и ушел от этих покоев во двор, где вдоль стен у колец, вбитых в камни, стояли оседланные лошади, позвякивая кольцами и стременами, дробно хрустя жестким кормом, набросанным в каменные кормушки, приставленные к тем серым стенам.

Здесь среди толпившихся воинов пахло совсем иначе,

чем у султана, но тут Ибн Халдун знал, что делать сначала, а что потом.

Сначала опросить от имени султана, устроено ли, хорошо ли размещено войско, сейчас еще усталое с похода, голодное и раздраженное, как всегда, когда в походе дорога длинна, а стоянки коротки. И посмотреть, понять, каково оно, ибо одно оно будет решать судьбу их всех.

Потом надо пойти в тот боковой придел, куда ход ведет прямо со двора, и там рассмотреть книги и рукописи, накопившиеся от прежних султанов, живших здесь. Книги были давним пристрастием Ибн Халдуна, в чем сызмалу он находил много радостей, и порой стопа чужих книг становилась ему столь мила, что он не мог с ней расстаться. Раза два или три в его жизни по этой причине случились большие огорчения. Один из султанов в Магрибе, заметив под полой у историка свою книгу, запретил пускать Ибн Халдуна не только в книгохранилище, но и во дворец, а в другой раз, когда он уже уходил с караваном к новому султану, его настигла погоня, растрясла все вьюки и, не найдя пропавших книг, забрала одного из сыновей Ибн Халдуна в залог до поры, пока отец не возвратит книги. Пришлось вернуться и покорно служить этому султану, пока он не отпустил историка в хадж, в Мекку.

В тот день многие дамаскины говорили не столько о прибытии султана Фараджа и даже не столько о беде, грозящей городу, сколько о Ибн Халдуне, украсившем свиту султана и полновластном, как визирь.

Известность Ибн Халдуна между книгочиями и учеными была такова, что у дворцовых ворот уже толклись люди, держа в чехлах и в узелках какие-то рукописи или книги, чтобы продать либо показать их Ибн Халдуну, словно не грозит городу никакая беда или книги, посвященные истории, не подвержены огню битв и пожаров. Такие люди среди бедствий осады могут отстраниться в тихий уголок и под посвистом стрел молча перелистывать книгу, словно унесут свои знания к престолу всевышнего, когда над их головами просверкнет сабля завоевателя!

Ибн Халдун приметил этих людей, терпеливо молчавших у ворот, когда другие чего-то просили, домогались, спорили. Книжники терпеливо ждали. Среди них Ибн Халдун узнал своих людей, приходивших к нему отсюда в Каир и с книгами, и со здешними новостями и россказнями. И людей, посланных сюда из Каира. Некоторые из них

даже и не знали друг друга, а Ибн Халдун знал тех и других и теперь, глядя на них со двора, прикидывал, как их принять всех, но порознь. Стражам давно было сказано, что с книгой каждый мог пройти к Ибн Халдуну, книга была вместо пропуска, вроде пайцзы.

Ибн Халдун зашел в тесную каморку, где, бывало, ночевал привратник и где теперь, кроме низенькой дощатой скамьи, ничего не было. Даже тюфячка на скамье не было.

Здесь пахло каким-то перегаром, нечистым телом или прокисшей едой. Но в покоях дворца бродил без спроса и без дела многочисленный придворный люд, еще не устроенный с дороги и присматривающий себе пристанище, и там беседовать с этими простыми книжниками было не место. В сторожке же можно и затвориться, изнутри даже крюк висел.

Ибн Халдун позвал от ворот того, который оказался ближе, и сел с ним.

Книжник развязал узелок, серую домотканую тряпку, и уже по истертому почернелому кожаному переплету, по маленькой потускневшей розе, тисненной золотом, Ибн Халдун понял возраст и душу этой рукописи. Так переплетали рукописи для старых халифов или для самого Саладдина, который, оставаясь неграмотным, собирал сочинения историков, землепроходцев и те занятные рассказы о похождениях влюбленных юношей, которым всегда находились пристальные читатели, не жалевшие денег на такие книги. Много властительных невежд изучало историю, ища в ней поучение либо объяснение или оправдание для нынешних дел.

Но книжник положил ладонь на переплет, не раскрывая книгу, и не о ней заговорил, через прищуренные глаза строго разглядывая собеседника.

— Народ крепко встанет за свой город. Не таких вояк видели, а выстояли. Теперь ваше войско пришло нам в помощь, мы выстоим. Это говорит весь народ, везде — на базарах, в банях, в мечетях.

— В беседе надо сперва называть мечети, а уж после можно и баню! — поучительно поправил Ибн Халдун.

— Пожалуйста! Я не прочь,— согласился книжник.— Но в нашей беседе не мечеть суть и не баня, а завоеватель.

— О сути и надлежит говорить, когда такое дело.

— А суть в том, что мы не впустим сюда завоевателя, а силой он сюда не войдет. Силой в Дамаск никто не вхо-

дил, а только хитростью, измором, обманом, как-нибудь, но никогда силой. Дамаск сильней вражьей силы.

— В чем сила Дамаска, брат?

— В дамаскинах. Нас не сломить. А теперь, когда и вы с нами...

— Я хочу посмотреть город.

— Уже вечереет, а город велик.

— Завтра. Пораньше. После первой молитвы вы меня поведете по городу.

— С первой молитвы люди спешат закусить.

— Мы и закусим около мечети. А потом пойдем.

— Это можно.

— У ворот мечети Омейядов.

— Буду стоять под сводом ворот. Справа.

— Под сводом. Справа!

Только тогда книжник поднял ладонь с книги и открылась золотая роза, потускневшая за многие века.

— Древняя рукопись.

— Откройте! — нетерпеливо подтолкнул книжник.

Сухие жилистые пальцы историка медленно погладили кожу переплета, прежде чем раскрыть его, словно историк загадал: что раскроется перед ним, когда распахнется переплет!

Книжник молчал, не называя ни заглавия, ни имени сочинителя.

Ибн Халдун напряг разум, чтобы разгадать. Это не диван стихотворений, он был бы и поуже и потоньше. Это не богословский труд, ибо на переплете не оттиснули бы розу. И не наука о числах, и не о лечении болезней, ибо такая книга была бы потрепанной от частого чтения, а эта стара, но сохранна. Значит, ее берегли. Не просто столь долго беречь книгу на земле, где столько было битв, нашествий: ведь за один только Дамаск бились многие знатные полководцы. Всего немногим больше ста лет прошло после последнего нашествия, когда сам Чингисхан дотла разграбил Дамаск, взяв город обманом и несметным числом воинов. Мало кому удалось спастись, и лишь немногим посчастливилось спасти имущество, где ценнейшим сокровищем, наравне с червонным золотом и ормуздским жемчугом, были книги. И под рукой историка отвечала теплом кожи на тепло ладони одна из таких уцелевших книг.

Все еще не раскрывая ее, историк пытливо посмотрел

в глаза книжнику, но тот потупил взгляд с лукавой улыбкой.

— Сколько она стоит? — спросил Ибн Халдун, полагая, что цена поможет ему угадать содержание рукописи.

Книжник так дорого оценил ее, что Ибн Халдун побледнел, торопливо приоткрыл крышку и, как ни умел скрывать свои чувства и как ни помнил базарное правило — не показывать продавцу свое влечение к товару, засмеялся радостным смехом, отчего как-то странно у него над грудью взлетела борода, обнажив жилистую шею.

Продавец тоже засмеялся.

Перед историком лежала «Летопись» Дионисия, написанная веков за шесть до того в якобитской обители неподалеку от Дамаска.

Об этой «Летописи» давно было известно, но никто не знал, где, в какой щели она таится, да и цела ли она!

Этому, хотя и древнему, списку едва ли было шесть веков, он был, видно, моложе самого сочинения, но вряд ли в те дни мог кто-нибудь предложить список древнее этого. Переписать лишний раз такую обширную книгу стоило слишком дорого: сколько одного пергамента понадобилось бы, да и работа переписчика с таким изысканным почерком недешева, ценны и позлащенные украшения среди заглавных куфических букв!

Ибн Халдун не скрывал своей радости, и коль ему не удалось ту радость скрыть, бесполезно стало и торговаться: продавец уже видел, что покупатель не отступится. Ибн Халдуну оставалось лишь взять у казначея деньги и переложить их книжнику из рук в руки.

Остальные посетители были лишь в тягость: обладателю счастливой покупки хотелось поскорее остаться одному, придвинуть светильник и лист за листом познать ту далекую-далекую историю, ту давным-давно минувшую жизнь, о которой повествует Дионисий и о которой, кроме него, мало кто помнит и повествует, ведь еще самого Евсевия изучил и переписал в свою летопись Дионисий, а кроме никто не читал Евсевия — его труд сохранился только здесь, в пересказе Дионисия.

Впустив другого книжника, Ибн Халдун рассеянно рассматривал вынутые из узелка, написанные на желтой вощеной бумаге три книги в пергаментных переплетах.

Владелец клялся, что достались они ему от дедов или

прадедов и что только тут толкователи священного Корана достигли логической ясности доказательств.

— Зачем же вы пожелали расстаться с ними?

— Но на город нашествуют татары, они не оставят здесь камня на камне, а книгам никто из них цены не знает.

— Но, как и вы, я столь же подвержен превратностям нашествия и осады. Ежели всемилостивому аллаху будет угодно ввергнуть Дамаск в осаду.

— Вы намерены выстоять осаду со всеми нами?

— А иначе зачем бы мы прибыли сюда, навстречу врагу?

— Тогда другое дело! — облегченно воскликнул посетитель, торопливо укладывая книги обратно в узелок.— Наследие отцов я спешил отдать на безопасное хранение. Но если вы с нами, нам ничто не грозит!

— Вы намеревались их отдать безвозмездно?

— Конечно! Лишь бы сохранить.

— Тогда оставьте их нам.

— Зачем, если мы равно в безопасности?

— И все же здесь они будут целее! — ответил Ибн Халдун, решительно откладывая узелок в ту полутьму, на углу скамьи, где на коврике уже тихо лежала Дионисиева «Летопись».

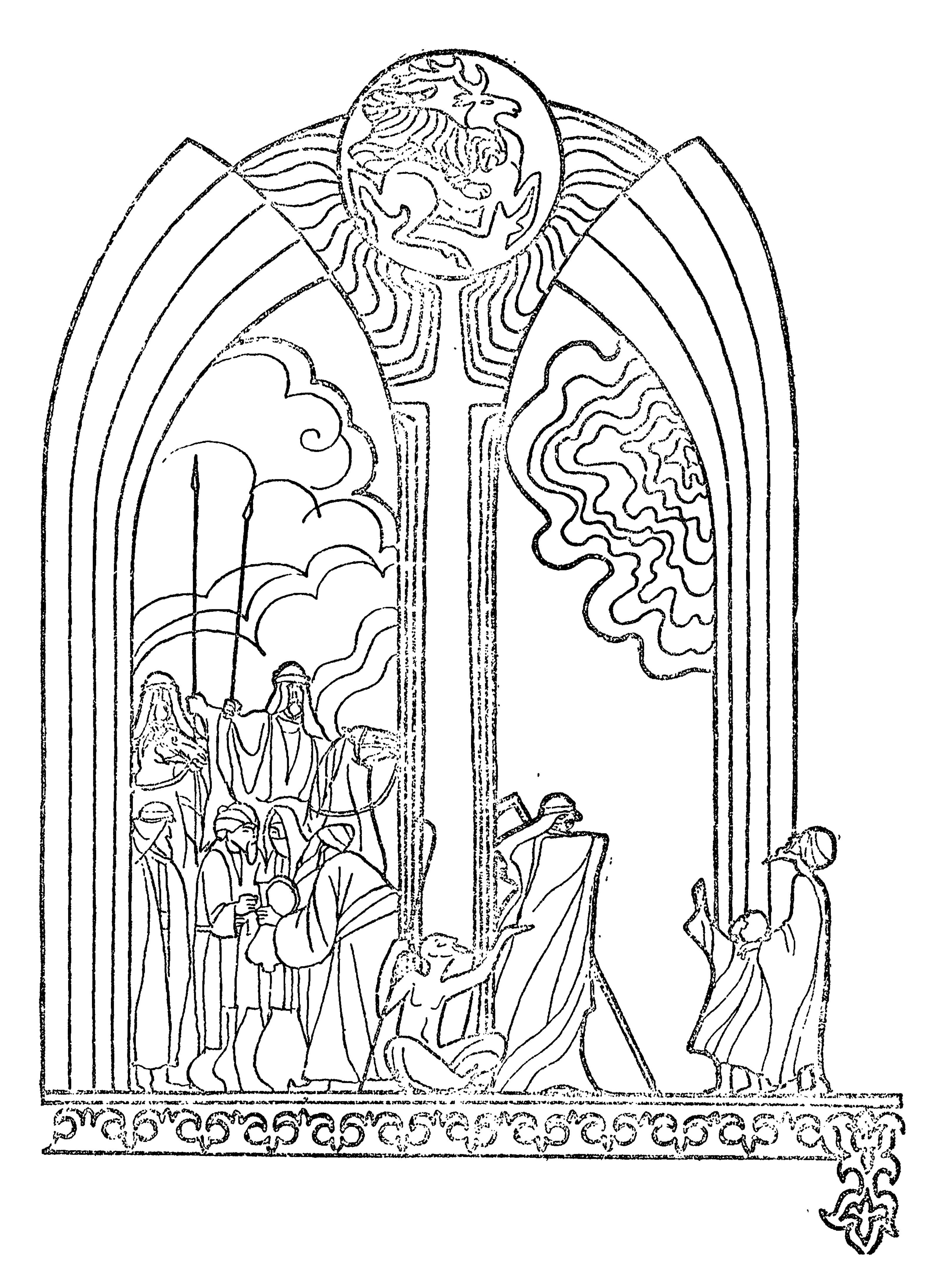
Историк беседовал, но мыслями не отвлекался от «Летописи». «Если Дионисию не возбранялось увековечить Евсевия, переписав его сочинение в свою «Летопись», почему бы и нам не увековечить «Летопись» Дионисия, переписав ее в свое сочинение?..»

2

Перед рассветом, когда было непроглядно темно, Ибн Халдун, еще сонный, с постели привычно перебрался в седло и, сопровождаемый конной охраной, поехал со двора через безгласный, безмолвный город в сторону мечети Омейядов.

Уже они в тишине, дружно топоча копытами, подъехали к безлюдному, странно пустынному базару, когда внезапно откуда-то сверху, словно из разверзшихся небес, прогремел трубный голос азана и волна за волной призывы к молитве огласили всю тишину, все безмолвие ночи.

Он сошел с седла, отдал лошадь воинам и пешком по-



шел вслед за молчаливыми людьми, совсюду спешившими мимо него к мечети.

В темноте он плохо различал улицу или площадь, где шел. Но вскоре понял, где идет, узнав ряд тех колонн, на которые смотрел днем, въезжая в город.

Все шли молча. И он шел молча. И что-то было таин-

ственное и величественное в этой безмолвной дороге к общению с богом, словно это тот самый путь, коим суждено каждому пройти один раз, свершив земные дела и поспешая к престолу всевышнего.

Со всеми вошел он через просторные ворота под гулкие своды галереи на плиты обширного двора, к мраморному водоему, накрытому широким куполом, где попечением благочестивых благотворителей поставлено много медных кувшинов, полных чистой воды, чтобы каждый мог без помех здесь совершить омовение.

Вступив внутрь мечети на бесчисленные ковры, ее устилающие, меж древних столбов в полумгле, где около фонарей поблескивала позолота на резных мраморах, он встал в длинном ряду молящихся и, видя такие же ряды впереди, ощутил непривычную робость, боясь глубоко вздохнуть среди благоговейного смирения, непритворной веры, охватившей множество людей, молчаливо ожидающих первый возглас молитвы.

В сотнях мечетей случалось ему молиться, стоять и в первых рядах молящихся, возле имама, и в присутствии халифа, и при многих султанах, когда стояли, красуясь друг перед другом своим местом в храме, своей одеждой, своим благочестием. Это бывало, как смотрины, когда люди распознавали по месту в мечети место каждого на земле. Там привычно выполняли каждую часть молитвы — вставали, опускались на колени, совершали земные поклоны — точно и без раздумий.

Здесь Ибн Халдун уловил иные чувства людей. Сюда пришли не напоказ, не по долгу, а по влечению веры. И впервые он подумал, что, может быть, это и есть то самое место, где аллах слышит смертных.

И вдруг оно случилось, то краткое внезапное мгновение, когда он почувствовал: бог, как молния, возник перед самым его лицом и внимал.

Присутствие бога было так явственно, хотя и незримо, что можно было своей молитвой коснуться слуха аллаха.

Историк не оробел, но смутился и промолчал: ему нечего было просить, у него все было!

Потом, всю остальную жизнь, Ибн Халдун терзался, что упустил нечто невозвратимое, и, как огонек светильника на ветру, заслонял от всех и нес в себе во всю остальную жизнь это озарение, возникшее в полутьме предрассветной мечети.

Не молясь и ни о чем не думая, Ибн Халдун в длинном ряду молящихся рассеянно повторял все, что делали другие, впервые с удивлением осознавая, что ему нечего просить у бога, ибо бог уже дал ему все, к чему бы ни тянулись руки.

Наконец, в том же удивлении он вышел к порогу, и пока, как всегда, все толпились, обуваясь или разыскивая свои туфли, он безучастно ждал.

Никто не оглядывался на него, каждый высматривая свою обужу.

Ибн Халдуна отталкивали, отстраняли, пока большая часть людей, обувшись, ушла и он наконец среди всякой серой стоптанной обуви увидел свои каирские туфли из мягкой желтой кожи, ярко-красные изнутри, сшитые известным мастером в подарок с просьбой, чтобы почтенный ученый помог сыну сапожника поступить в султанскую школу учеником каллиграфа.

Он совсем было забыл, зачем сюда пришел и куда идти отсюда, но книжник, с которым он условился о встрече, сам к нему подошел и, растолкав толпу, достал ученому его туфли.

Они отошли во двор и там постояли, разглядывая еще хмурые в предутренней мгле стены, когда Ибн Халдун заметил, что к тому же порогу, так же снимая обувь у входа, столь же смиренно, кротко и как-то торжественно переступая порог, пришло новое множество людей, одетых иначе и поэтому иных обликом.

— Христиане! — сказал книжник. — Теперь здесь они будут молиться.

— В мечети?

— Они отстоят утреню у гроба великого их святого — Иоанна Крестителя. Они зовут этого святого предтечей, ибо он шел на один шаг раньше, чем пророк Иса, которого они тоже зовут по-своему — Иисусом.

— Иса — это и наш пророк! Я хочу посмотреть. Нам можно туда вернуться?

— Нам бы пора принять благословение божие — вкусить хоть ломтик хлеба. Кто после утренней молитвы не вкусит благословенный хлеб, тому во весь день любая еда комом в горле встанет.

— Все же вернемся туда с ними.

И, не слушая книжника, Ибн Халдун привычно сбросил туфли на прежнем месте и вошел внутрь храма.

Уже не было там той благочестивой полутьмы.

В длинных черных рясах, а другие в белых, монахи, разнося язычки огня на тонких, как стебельки, свечках, зажигали лампады, свисавшие над позлащенной ракой Крестителя среди тонких витых столбиков.

Теперь, когда фитиль за фитилем загорался от быстрых язычков огня, становились видны свисавшие на тонких цепях бесчисленные лампады. Большие, маленькие, каждая из них вышла от искусного мастера — одни вставленные в золото, выкованное, как тончайшее кружево, другие тяжелые, словно это подвесили опрокинутый шлем, и огонь пылал в них гневными языками, третьи, круглые, как кубки, украшенные какими-то изображениями, может быть, древними, языческими и совсем неуместными здесь. Это были дары верующих, приношения молящихся, драгоценные и порой содержавшие смысл, понятный только жертвователю.

Теперь, когда одна за другой вспыхивали они над этим священным местом, казалось, разгорается золотое сияние, подобное неугасимому нимбу.

Может быть, рассвет уже заглядывал в узкие окна и озлащал стены, а на стенах — непостижимый, еще неведомый Ибн Халдуну мир, воплощенный в мозаиках.

От рассвета ли, от света ли лампад вдруг так расширилось все это здание и оказалось как бы открытой пространной площадью, откуда во все стороны были видны сады, строения, и дворцы в садах, и дороги между деревьями, и плоды, и птицы, и небо, и облака. Все нежно-голубое и слегка позлащенное, как само это утро в этом городе, откуда каждый человек виден богу.

Всего только мозаика на стенах, только мелкие камушки, вкрапленные в тяжелые камни стен, но это был необъятный мир, наполненный воздухом, ветрами, всей той высотой, какая может охватить и вместить всю вселенную, со всем человечеством, со всеми птицами, со всеми плодами, со всем тем, что было нашим миром, нашей жизнью, ибо все, чем были мы сами и чем мы владели, здесь имело объем — ведь только небо не имеет объема, и это передал мастер, крошечные камушки смальты втискивая ряд за рядом в вязкую известь на стене.

Так свет лампад, пылавших над ракой Иоанна Крестителя, вырвал из тьмы простор, охвативший и властно вознесший Ибн Халдуна.

Когда же запел хор, в незнакомом складе гимнов зазвучали голоса, напоминавшие древнее, идущее от незапамятных времен общечеловеческое томление.

Ибн Халдун вспоминал песни, петые пахарями в Магрибе, и рыбаками на острове Джерба в Средиземном море, и одиноким путником, уходившим впереди каравана из Кейруана в пески Сахары, к дальним оазисам,— это томление души, вопрошающей и одинокой. Ибо вопрошает и одинока каждая душа перед богом, который слушает, слышит, но молчит.

Историк стоял, но как бы растворился в мире, возникшем вокруг, и ничего не мог изменить, а только присутствовал при слиянии мира, зримого, воплощенного в мозаиках, уводящего в простор, и хора, наполнившего этот простор славословием бытия, под пламенем сотен лампад, струящих трепетный живой свет, теплый, как жизнь, и запах ладана из курильниц казался благоуханием цветов под кущами мозаичных деревьев.

Вытянув шею, смотрел он, как через расступившийся народ внесли дряхлое тельце ветхого старца, уже не имевшего сил, чтобы самому пройти к алтарю, и поставили впереди молящихся, где надлежало бы стоять имаму.

Старцу подали посох, простую кривую палочку, на которую он оперся, чтобы выпрямиться. Он распрямился перед алтарем и постоял в раздумье.

Потом он заговорил, даже еще не обернувшись к людям, а глядя куда-то в середину сияющего света.

Наступила такая тишина, что только потрескивало пламя на фитилях, и как бы дополняло его голос, и как бы делало его громче, как если бы огонь мог усиливать голос человека.

А старец тихо, и очень просто, и очень внятно говорил, словно размышлял вслух:

— Вот он был предтечей. Иоанн Предтеча. Креститель. Он пришел раньше Христа. Но не богоравный, а только богоподобный. Ибо равных богу нет. Как можно стать равным тому, кто может то, чего не можешь ты? Но богоподобным, чтобы казаться людям подобным богу. Когда видите вы того, кто подобен богу, всегда помните: он только подобен. Только подобен. Но не равен. И потому не испытывайте страха ни перед кем, как бы подобен он ни был, как бы ни старался казаться подобным! Но сила предтечи открылась, когда он увидел Иисуса и ска-

зал: вот идет Он! Но и Он шел, как богоподобный, а не как сам бог! Вот в чем Иисус!

Он помолчал, что-то пережевывая беззубым ртом, давая время слушателям подумать над сказанным. Потом снова сказал:

— Здесь молились до нас люди иной веры. Но вера людей одна, если они веруют, чтобы творить добро. Осуждать других людей за то, что у них другая вера, грех! Ну подумайте сами, братья, ведь это бог создал их такими и это он вложил в них ту веру, а не иную. Значит, так ему угодно. А вы это хотите изменить! Осуждать их за то, что они веруют иначе, чем вы, значит, осуждать бога за то, что он дал им другую веру, чем вам. Нельзя иноверца осуждать за то, что он тебе неединоверец. Это значит осуждать бога. Подумайте об этом, братья. Подумайте, я подожду.

И он опять замолчал, пережевывая губы беззубым ртом.

— Кто это? — спросил Ибн Халдун у одного из христиан.

— Старец? — удивленно оглянулся христианин.— Вы не знаете? Ему сто двадцать лет. Он был патриархом в Константинополе. Когда император, вернувшись с победой, потребовал, чтобы патриарх воздал ему божеские почести, какие в Риме воздавали языческим императорам, патриарх ночью один спустил в Босфор лодку и уплыл. И укрылся в Ефесе. И ждал там, чтобы его забыли, а тогда пришел сюда. И вот живет даяниями верующих и учит нас.

Ибн Халдун молчал, ожидая новых поучений старца, а христианин, придвинувшись, говорил:

— Он мог бы вернуться в Константинополь. Нынешнему императору не до божеских почестей, когда лишь бы кусок хлеба подали, бродяжит между иноверных владык, ища у них помощи против Баязета. Старец мог бы вернуться, но с кем ему нас оставить, если уйдет?

Старец снова проповедовал, а Ибн Халдун стоял, не мог уйти из этого места, и его не покидало чувство, что бог, хотя уже и не внемлет ему, еще присутствует здесь, где, сменяя друг друга, люди разных вер приходят к нему, единому для всех, им созданных.

Он не уходил, полный каких-то новых мыслей, даже и не пытаясь их осознать и обдумать.

Когда, соскучившись, книжник коснулся его локтя: «Не пора ли нам?» — Ибн Халдун отмахнулся:

— Да нет! Куда нам пора? Нет!

Стоял, а хор разрастался. Ладан всплывал лазурными струями, перевиваясь с пламенем лампад, в смальтовый простор вселенной, вместившийся в этой Омейядской мечети, из латинской базилики перестроенной византийским императором Гераклием в церковь во славу Иоанна Крестителя, а ныне ставшей сокровищницей, где хранятся Коран халифа Османа и множество иных книг, рукописаний, жемчужных рукоделий, изделий златоделов, всякого серебра и золота, надаренного жертвователями и хранимого здесь из века в век.

Хор разрастался. И гудел. Зыбкими струями ладан заслонял розоватые лучи утра, пробивавшиеся в узкие окна.

Старца уже снова унесли куда-то.

Ибн Халдун все еще пытался понять ускользавшую от него мысль. Не смог ее ухватить, но как бы очнулся.

Хор гудел, но Ибн Халдуну показалось, что теперь это только хор еще гудит, а благодать уже ушла отсюда и уже ничто не внемлет здесь словам молитв.

Может быть, к Ибн Халдуну возвратилась усталость: многодневная дорога в Дамаск была длинной, ночь короткой и неуютной, а молитва не дала ему умиротворения, молитва встревожила его. И он сказал книжнику:

— Пойдемте. Пора.

Они прошли было мимо коренастых столбов, на вершине которых не капитель держалась, а высилась круглая каменная надстройка с узким входом там, наверху. В прежние времена там была ризница, а ныне сокровищница мечети, где все и хранилось, все богатства, о которых ходили легенды и россказни по всему Востоку, будто сокровища эти несметны, а добраться туда можно, лишь приставив длинную лестницу, бдительно хранимую в недоступном тайнике. Таких древних ризниц во дворе стояло две, и не было надобности даже ставить там стражу, ибо никто на свете не мог влезть по гладким столбам, а и влезши, никто бы не мог проникнуть внутрь, ибо ризница была намного шире столбов, и снизу в нее не было хода.

Обойдя один из этих столбов и подивившись, Ибн Халдун лишь кивком головы одобрил сметку и лукавство строителей.

Книжник, довольный, что удивил ученого, весело объяснил:

— Каково? Перенято от финикийских купцов. Лет с тысячу тому назад они такие хранилища в Бейруте строили. Ни один грабитель не доберется, если не принесет с собой лестницу на всю высоту! А откуда ж быть такому грабителю, чтобы на грабеж через весь город с лестницей протиснулся? С лестницами по городу запрещалось ходить!

И этот низкорослый хилый человечек, гордясь своими хитрыми прародителями, строго повторил:

— Запрещалось!

Через двор они прошли к воротам, и опять в галерее перед воротами с высоты стен глянули на них мозаичные просторы — деревья, строения, холмы. Здесь, в утреннем свете, задернутые пылью, они показались не столь торжественными и отдаленными, а как бы соседней окраиной в мутный, пасмурный денек.

Но, едва переступив истертое бревно порога мимо окованной медными бляхами тяжкой створки ворот, они вступили в тесноту, гомон, блеск и жар бытия. Оно здесь звенело медью о медь, горланило, взвизгивало, ревело голосами ослов и верблюдов, и конским ржаньем, и возгласами дервишей и наполнено было пылью, дымом и смрадом, толклось, толкалось, протискивалось, куда и откуда спешило, сразу нельзя было ни понять, ни даже увидеть.

Сперва надо глазам вглядеться в этот крутящийся, и ушам вслушаться в этот тысячегласный, и ноздрям внюхаться в не то смрадный, не то благоуханный мир, куда Ибн Халдун вступил со своим спутником, едва перешагнув бревно, означавшее порог великой мечети Омейядов на базаре в Дамаске, чтобы понять базар.

Так случается, кто вступает с тихого берега в крутой круговорот горной реки, ворочающей камни, не знающей удержу,— и рад бы снова выбраться на берег, да водовороты уже волокут куда-то в другой мир и к берегу нет возврата.

Базар захватил историка, как река, и берега как не бывало. Какая-то лошадь щелкнула зубами у самой щеки, видно замышляя откусить ухо. А через голову перекинули балку с арбы на арбу, и, чуть отклонись, она смахнула бы прочь голову с плеч. Какой-то литейщик вдруг выплеснул клокочущий сплав на дорогу, и стоило в ту минуту

чуть быстрее ступить ногой, не было б ни ноги, ни каирской туфли, ибо там, куда предстояло ступить, задымился бирюзовым угаром тот расплавленный сплав. И, однако, ни одного уха не отгрызли свирепые жеребцы, и ни одна балка никого не придавила, и литейщики никого не обварили, а тысячи жеребцов щелкали зубами, и тысячи возниц и грузчиков перекидывали и перетаскивали тяжести в тесноте и толкучке, а возле горнов и очагов по всему базару что-то плавилось, пеклось, перегорало, и литейщики, пекари, повара кидались то к огню, то от огня, то раздували пламя, то глушили, в черных, в алых, в зеленых облаках дыма и чада, словно по всему базару шла яростная битва, где не было пощады ни людям, ни пламени. И там, где свистело или клокотало пламя, люди, сощурив глаза, молчали; где пламя молчало, горячились и кричали.

На тысячи голосов и ладов вопили разносчики. Под самые ноги выкладывались и выстилались всяческие соблазнительные товары, словно только что с тысячи караванов совьючили и вывалили на дорогу всякую всячину на соблазн беззащитным прохожим.

Но дамаскины проходили, почти не оглядываясь и редко задерживаясь возле торговли. Их рассеянное равнодушие не смущало купцов. Купцы всем напоказ кичились своими товарами и, глядя по тому, что за товары, оглаживали их, обмахивали веерами, оплескивали свежей водой или разворачивали под солнечными лучами, а прохожие упрямились против искушения, отворачивались от нестерпимо привлекательных вещей. Здесь все продавалось и у купцов не иссякали славословия в честь товаров, но прохожие не спешили стать покупателями. И это так и было здесь, на площади, со времен еще финикийских, а может быть, и еще более давних, ведь одна из старейших монет мира была выбита здесь, для этого базара и на этой дамасской площади; выскользнув из чьей-то неловкой ладони, она откатилась к стене, где только через две тысячи лет ее приметил мальчик в притоптанной грязи. Оттерев ее полой халата, он увидел ладью, а в ней купцов, плывших мимо морских чудовищ, и понял, что неспроста на ее оборотной стороне изображен тигр, терзающий оленя: тигр — купец, олень — покупатель. Все было ясно мальчику, росшему на этом базаре.

Тут в толчее Ибн Халдун чуткой ноздрей вдруг уловил нежный, живой запах свежего хлеба и сказал спутнику:

— Здесь вот и вкусим первый хлеб сего дня!

— Это вот тут! — торопливо показал книжник.

Они вошли под навес, прижатый к глубокой каменной нише, где над жаровней пекли мясо, а в плоской корзине лежали накрытые холстиной хлебцы.

Широкий каменный желоб отслонял их от прохожих и от всего базара. По желобу струилась вода и приветливо рокотала, низвергаясь в мраморную корчагу, откуда ее вычерпывали водоносы.

Рокот и плеск прохладной воды, видно, и привлек их в ту неприметную харчевню, где других посетителей не оказалось.

Они сели у края желоба на выступе, покрытом рыжим шерстяным паласом, постелили шелковый лоскуток и, прежде чем взять мясо, разломили хлеб.

Покой неожиданно умиротворил их, словно они действительно выбрались на берег из громокипящих водоворотов. А струи светлой воды в желобе то всплескивались, то ворковали.

Ибн Халдуна еще томила усталость после долгой дороги, и он в полудремоте слушал воду, и в памяти какие-то крылья начинали струиться, и вдруг, очнувшись, он терял те струи и вскоре снова погружался в них.

В шорохе и рокоте воды что-то напоминало ему тот Магриб, тот светлый Сфакс, где с краю от такой же базарной толчеи он впервые глотнул воздух бытия.

Если войти с моря в город, там, в Сфаксе, неподалеку от городских ворот, протиснувшись через базар, справа, на три ступеньки выше базарной улицы, протянулся узенький переулок, вымощенный белыми плитами, где слева будет древняя-древняя каменная мечеть с низким и нешироким мраморным входом, а чуть подальше — тоже древний дом, родовой дом Халдунов. Кованые железные решетки, окрашенные охрой... Шум моря сюда не проникает: его перекрывает шум базара... На ветру, в пору бурь и прибоя бросающий брызги до перистых крон, до бронзовых гроздей урожая, берег моря у пальмовых рощ... Светлый Сфакс на пути из Кейруана вдоль моря, а дальше Джерба. Крепость. Притон пиратов. Белые птицы... Корабли...

Он очнулся. На медном подносике подали мясо.

— Вздремнули?..— спросил книжник, долго молчали-

во следивший, как старик, прислонившись к желобу, клевал носом.

— Да... Что-то... Устал.

— Разморило: поздно легли, рано встали.

— Ничего... Продолжайте, рассказывайте.

Книжник посмотрел на него с удивлением: разве он что-нибудь рассказывал? Он молчал! Но если надо говорить, он может.

— Стар, стар наш Дамаск. Вот желоб. От финикийцев остался. Сюда султан Рамзес приходил из Каира! Его здесь пронесли в золотых носилках. В золотых носилках! И сами рабы были в золоте! Вон когда еще! А около этого желоба, как и мы с вами, и тогда уже сидели люди, и ели пшеничный хлеб, и грызли бараньи ребрышки с поджаристой корочкой. Кушайте. Кушайте!

Книжник вдруг задумался, замолчал и забыл даже о ребрышке, остывающем в руке. Испуганно посмотрев на Ибн Халдуна, он спросил:

— А как же?.. Рамзес не Рамзес, но ведь нашествие надвигается. Вы вчера вошли сюда отогнать их? Отгоните? Мы можем быть спокойны? Или... как? Готовиться?

— Да, готовьтесь...— Историк вдруг и сам впервые тревожно и горько глянул в глубь будущих дней.— Мы их уничтожим, конечно. Отгоним!

Вода стремительно струилась по желобу, а снаружи на желобе виднелись стершиеся, но некогда четко высеченные в камне изображения в странных сочетаниях.

Книжник, заметив, что Ибн Халдун разглядывает их, пояснил:

— Знаки зодиака. Но зачем им тут быть, не знаю.

— Каменщик не знал, откуда приходит и куда уходит вода, как неведомо, откуда приходит ночь и куда уходит, как и сама жизнь...

— Не знал оттого, что был язычником,— твердо уточнил книжник.— Коран... Мухаммед, пророк наш, записал его на бараньих лопатках... Коран отвечает на все сомнения.

— О Коране не кончен спор! — строго сказал Ибн Халдун.— Хасан Басриец утверждал, что Коран не человеком написан, а всегда был как истина. Каждый суннит это знает!

— Но я сказал — записал, а не написал. Записать можно и то, что было до нас!

В Дамаске привыкли говорить и писать осмотрительно, чтобы к сказанному или написанному было трудно придраться, ибо вокруг шныряли разные люди — одни веровали в одно, другие в другое,— и с каждым лучше ладить, чем враждовать. Сменялись правители города и сменялись халифы, птицы то улетали на север, то возвращались с севера. Всему было свое время, а Дамаск стоял, и дамаскины берегли свою жизнь.

— Надо знать: пророк наш не был грамотен. Сам не писал. Не записывал. Он внимал. А вняв, провозглашал это, и люди записывали. Таково предание, и в нем — основа.

— Выходит, я верил словам язычников. Стыд мне!

— Язычники жили нечестиво, но умели числить и считать! — пояснил Ибн Халдун.

— О учитель! — поспешно согласился книжник.— И к тому же, если даже Коран был бы записан рукой человека, разве руку и разум человека направляет не бог?

— Ну... А дурные поступки человека?..— спросил Ибн Халдун.

— Но где же я говорил, что бог руководит злодеяниями?..

— Нет, разве я сказал, что вы это сказали?

— Но хромой злодей утверждает, что он Меч Аллаха и что, разрушая и разграбляя страну за страной и нашествуя на нас, выполняет волю бога.

— Как если бы он был посланником аллаха! Но это значит быть пророком! А мы знаем, что Мухаммед — это последний пророк и других не будет! Называя себя Мечом Аллаха, Хромец богохульствует! — пояснил Ибн Халдун и решил растолковать это всем, кто встанет на защиту города, чтобы они, защищаясь, знали, что обороняют не только Дамаск, но и истинную веру, что бьют своим мечом не по Мечу Аллаха, а по мечу нечестивца и самозванца.

Но есть ему расхотелось, и он отодвинул поднос.

— Ну, покажите Дамаск.

— О учитель, он вокруг вас.

Они снова втиснулись в толчею и едва успели отстраниться, наткнувшись на какого-то великана, который, вздыбив на плечах ящик размером со здание, покрикивая: «Пошь, пошь!..» — шел прямо на людей, зная, что каждый, кому нужна жизнь, отскочит в сторону. И тут же,

приплясывая под ярко начищенным медным кувшином, сам украшенный пестрыми перьями, струящимся голосом кричал водонос:

— Вода, лед! Вода, лед!

И позванивал медными чашками с изображениями бесстыдниц. Люди брали чашку, пили воду, смеялись и, чтобы рассмотреть получше, просили еще воды.

Издавна, с той поры, когда сюда возвращались с дальних дорог финикийские купцы для отдыха и развлечений, неподалеку от базара в узеньких переулках, где иной раз можно было между домами протиснуться только боком, ютятся приюты, где на любую жажду приготовлено любое утоление.

И книжник, показав историку на одну из таких щелей, сказал:

— Это тоже Дамаск!

Но историк смотрел вперед и даже не покосился на узенький переулок.

Из базарной улочки они вышли на Прямой Путь, на главную улицу Дамаска, называемую по-арабски Тарик-эль-Мустаким. Здесь базар распахнулся: на привольно разостланных коврах красовались привозные товары, в широких лавках сидели купцы, чванясь перстнями и нарядами, шли караваны, изукрашенные напоказ, на досаду другим караванам, а в караван-сараях не жалели воды, чтобы выложенные камнем дворы манили чистотой и покоем.

В Дамаске не жалели воды. Она сверкала и ворковала всюду — в желобах, скатываясь в водоемы, в белокаменных водоемах. И то там, то тут на стенах улиц, на домах и на деревьях сверкали, крутились, казалось, вот-вот зазвенят золотым звоном отсветы повсюду текущих струй.

Ибн Халдун, следуя за провожатым, пересек большую улицу и снова вошел в тесноту базарного ряда. Тут, в зеленоватом чаду, в звоне и стуке, мастера, неразговорчивые, нахмурившись, тщательно чеканили сталь, ковали клинки мечей и сабель, кинжалов и ножей. Это была странная улица, темная, словно сюда еще не пришло утро, словно тут работали всю ночь и теперь не могут отогнуться от своих наковален те, по всему свету славные оружейники, что, по одним слухам, переняли свое дело от оружейников Александра Македонского, а по другим — от самого египетского бога Озириса, заказавшего здесь меч

и разъяснившего дамаскинам, как выковать тот меч из тонких девичьих кос, из стальных нитей, скрученных в жгут. Когда его выковали, он свистел при взмахе, взвизгивал при ударе, и, как им ни ударь, он изгибался, порой трепетал, дрожал, как живой, мелкой дрожью, снова выпрямлялся для удара, но переломиться не мог. А при сильном бое мог пересечь любой тяжелый меч, отлитый в других странах.

Сюда приезжали на ученье — перенять тайну булата — из разных стран оружейники, и от крестоносцев приезжали в это прокопченное узилище. Но пришлые ученики, если оказывались способнее других, едва постигнув тайну, торопились домой, куда-нибудь в Геную или Бургундию. Увы, они пропадали в пути. Пропадали по разным причинам. Но каковы бы ни были причины, никто не смог донести постигнутое уменье до тех городов и замков, откуда их посылали в Дамаск. Будто какое-то колдовство мешало им в пути, вело их к гибели.

Оружейники сидели, сгорбившись над низенькими наковальнями; стояли в кожаных передниках у горнов, откуда жар вдруг взмахивал то лиловыми, то золотыми, то голубыми крыльями; били большими молотами, покрякивая при ударах, по нежно-розовому мягкому железу...

Что-то тут плавилось, кипело. Но по всей улочке никто не пел, не перекидывался словами через улицу, как по всему остальному базару, где гомон и крики сливались в могучий гул, будто ревело чудовище, застрявшее в базарной тесноте. Тут, где столько молотов, молотков и молоточков било по стали, по железу, по меди, работали молча. На этой улице стояло молчание.

Ибн Халдун тихо спросил:

— Что они за люди?

Спутник ответил нехотя:

— Долго про них рассказывать! Долго рассказывать! У них свои уставы. Они чтут одного лишь своего святого. Они все веруют только в него. Муллы разъяснили им, что святой этот — не мусульманин. А они на него надеются, как на аллаха. Тут они и мусульмане, и христиане, и между христиан они разной веры, а все заодно веруют в одного этого святого и день его чтут дважды в год: устраивают у себя в слободе пир на площади, сходятся туда все в черных одеждах из тяжелой, грубой шерсти, подвернув рукава по локти. И там тоже не поют и мало разговари-

вают, молча обмениваются подарками и при том кланяются друг другу. А в другое время никому не кланяются! И мы смотрим тогда только издали: на их праздник никто к ним не ходит и они не зовут. А староста их строг, он один может ими повелевать, а кто другой, будь он хоть самим халифом, им нипочем. Вот каковы они. Мимо идешь, а сам молишься: «Пронеси, господи!» Никто, нигде, ни в одном городе не умеет того, что они умеют; не знает того, что они знают, а потому и не подчиняются никому: куда бы они ни ушли отсюда, им везде рады, а сюда на их место прийти некому. Но староста их строго следит, чтобы из них никто не помышлял об ином городе, вековал бы тут!

Ибн Халдун приостановился перед одним из ковачей, чеканившим клинок.

Низко наклонясь к наковальне, ощерившись, со стиснутыми зубами, гибкими пальцами оружейник укладывал золотую нить на сталь, а маленький острый молоточек накрепко вковывал ее в клинок.

Спутник заторопил историка:

— Идемте, идемте. Не надо тут стоять! Тут у каждого свое дело. Без дела тут не стоят. На их работы глянем у купцов. Идемте, идемте!

Они возвратились на Тарик-эль-Мустаким, на Прямой Путь, где воздух яснее и дышать легче.

По всему длинному широкому Прямому Пути теснились караван-сараи, построенные и в давнее время, и совсем недавно, при султане Баркуке. Одни из багровых, почти черных камней, другие из кирпичей с синеватым отливом. В одних темнели глубокие кельи под острыми сводами, похожие на гробницы; в других кельи громоздились по сторонам каменных лестниц, крутых, как в башнях. Здесь, видно, у строителей было вдосталь кирпича, а места мало, вот здания и потянулись вверх.

Но каковы бы ни были здесь караван-сараи, с решетчатыми ли окнами, обращенными на улицу, или безоконные, освещаемые лишь через двери, открытые в тесный темный двор,— всюду толклись люди, шумели, говорили на множестве разных языков, но были схожи между собой скромностью, смирением, робостью. Постояльцы этих караван-сараев, они не были похожи на купцов, населявших другие караван-сараи, постоялые дворы или харчевни.

— Не купцы?..— спросил озадаченный Ибн Халдун.

— Паломники. Из многих стран ислама. Идут в Мекку. Сходятся сюда, а отсюда в Мекку. На кораблях приплывают в Бейрут, там пересаживаются на верблюдов. Многие по обету идут сюда пешком и от нас пешком в Мекку. Тысячи богомольцев проходят тут день за днем. Тут, у нас, смотрят Дамаск, гуляют по базарам. Никто не проходит мимо. Каждому любопытно побродить по долине, где стоит наш Дамаск, по долине Гутах, ведь Мухаммед, пророк наш, эту долину назвал четвертым раем!

— Четвертым раем! — вспомнил Ибн Халдун.

— Тут составляются караваны на Мекку. Вот и толпятся тут. А вон, взгляните, тот вот пожелтевший дом, ему полторы тысячи лет! В этом доме жил апостол Павел.

Дом апостола, ученика и сподвижника Христова, постоялые дворы мусульманских паломников, тесные переулки с приютами для запретных утех и постоялые дворы для караванов, приносящих товары из языческих стран. Вино от греков, кофе от берберов, цветастые буддийские картинки и деревянные игрушки, вселяющие соблазн в тех, кто ищет греховных услад, и списки Корана драгоценного письма, в позолоченных переплетах,— все свозят на караванах сюда, на Прямой Путь.

Они остановились неподалеку от городских ворот, где над улицей высилась древняя часть стен, сложенных, по преданию, для защиты от Вавилона. На этих стенах еще в те времена были понастроены каменные дома, и, сколько ни миновало с той поры битв у этих стен, дома, пристроенные один к другому, стояли по-прежнему.

— А через тот вон дом, там, на стене, апостол Павел вошел сюда, в город. У городских ворот его подстерегали. Ворот в Дамаске и тогда было, как и ныне, шесть. И у всех его подстерегали. Тогда он взобрался по стене и через тот вон дом прошел в город. Там стена не столь крута...

Прямой Путь. Смешение одежд, языков, вер и товаров. Зыбкие навесы над товарами, разложенными вдоль дороги. Полосатые халаты греков. Синие кафтаны армян. Белые одежды арабов. Черные рясы иудеев. Желтые чалмы индийцев. Красные шапочки сирийцев. Красные вышивки на холщовой белизне славянских платьев. Белые шерстяные накидки болгар. Высокие черные шапки на греках. Голубые рубахи византийцев из-под распахнутых

безрукавок, сшитых из рыжей шерсти. Не перечислить всех одежд на всех людях, облюбовавших для своих прогулок сей Прямой Путь.

Все это перемешивалось в неутомимом, нестихающем движении, словно кипело. И каждого человека здесь волновали свои заботы, думы, своя судьба. В том-то и было богатство и красота всей их жизни, что каждый в светлом, проходном Дамаске жил по своим замыслам. А когда случались халифы, вознамеривавшиеся искривить Прямой Путь, весь город, от величественных купцов до неистребимых голодранцев, поднимался в защиту Прямого Пути, и тогда ничто не разобщало их — ни вера, ни язык,— их общим и главным делом становилось отстоять жизнь по обычаям Дамаска, а не по прихоти халифа или вождя.

Обычай же дамаскинов тем и был несокрушим, что каждый здесь жил по-своему, что все обычаи всех жителей были равноправны в Дамаске, на перекрестке древнейших путей человечества.

Книжник привел Ибн Халдуна в большую лавку, где хозяин торговал прославленным оружием.

На стенах, обитых темными коврами, надлежало сверкать, удивляя посетителей, искуснейшим изделиям дамасских оружейников. Сабли, кинжалы, мечи, наконечники копий, секиры, странные мечи — два лезвия с одной рукояткой, чтобы отбиваться сразу от нескольких врагов, и еще два лезвия на одной рукоятке, но поставленные рядом и расходящиеся к концам,— незаменимое оружие в ночном бое, когда нечетко видна голова врага. И короткие кинжалы с широким лезвием, струистым, как пламень. Удар таким кинжалом наносит широчайшую рану, которую не прикроешь, не зажмешь никакой ладонью.

Во всю ширь этих ковров на неприметных гвоздях нередко по многу лет висело здесь такое оружие, и люди приходили по праздникам полюбоваться мастерством, слишком дорогим для покупателей. А ниже, на прилавке, навалены были кинжалы, тоже порой столь высокого ремесла, что и на них позарится любой знатный воин. Знатоки оружия, посещая Дамаск, приходили в эти богатые лавки, часто и ехали сюда только за тем, чтоб побывать в этих лавках, каких по Дамаску было немало.

И когда книжник ввел Ибн Халдуна под сень такой лавки, взгляд его привычно скользнул по коврам, и они ему показались редкостно красивыми, какими никогда

прежде не казались. Только потом он понял почему: прежде их густо покрывало оружие, а теперь их ничто не закрывало — оружия в лавке не было.

Он растерянно повернулся к купцу, хмуро, широко расставив кривые ноги, сидевшему на низеньком стульчике.

— Что же это такое?

— Когда я пришел открывать лавку сразу после молитвы, едва пробился к двери, столько столпилось народу. И все прямо из мечети, сразу после молитвы. Ухватились покупать, брали не торгуясь, только бы поспеть взять какое получше! И враз все раскупили, что прежде надо б было продавать несколько лет.

— Зачем им?

— Прошел слух, что султан приехал. И еще идет сюда татарский разбойник Тимур. Который хром, сам! Вот дамаскины и схватились за оружие, а я не поспевал продавать, они деньги сами мне кидали, не торгуясь!

— Значит, хорошая торговля была! — сказал Ибн Халдун.

— Что ж хорошего? Расхватали весь товар, только деньги оставили. Разве на деньги я скоро соберу такой товар? Такой товар не деньгами дорог! И откуда его теперь взять — по всему городу, на всех базарах все оружие расхватали за одно утро!

Купец раздраженно махнул рукой в сторону блистающих, как золото, разнообразных кувшинов изысканной сирийской формы, покрытых чеканами, украшенных бирюзой, лалами, всадниками и плясуньями на византийский вкус.

— Вот громоздится хлам, кому он нужен? Десять лет тут стоит, чтоб углы не пустовали. Тут и остался. И еще десять лет простоит! А оружие в углу не утаится. Чуть в мире шум, оружие само лезет в руки. Мы дамаскины, мы самому Искандеру Македонцу урок дали, каков Дамаск! А тоже с полчищами приходил! Вчера султан сюда прибыл не на пир, на оборону, вот руки и схватились за рукоятки.

— А на базаре тревоги не видно.

— На то и базар. Тимурова орда на стены полезет, разве только тогда кое-кто от торговли оторвется, чтоб мечом свой товар оборонить. Это Дамаск!

ГЛАВА XV

ПЕРС

1

Настала ночь в Дамаске.

Смолкла последняя молитва. Люди разбрелись к своим постелям. В городе наступил покой.

Но Ибн Халдун не обрел ни мира, ни покоя. Одна за другой приходили тревожные вести. Войско Тимура, отвоевавшись в Антепе, сломив, не щадя сил, неприступную твердыню Халеба по пути шествия, пошло дальше на города арабов.

На этом пути многое открывалось перед Тимуром, славнейшие города Востока — Бейрут, Дамаск, Багдад, Иерусалим, Каир... Из них Багдад уже видел воинов Тимура, уже знал их, изведав кровь и огонь нашествия, запомнив, как Тимур попрал добро и разум ради того лишь, чтобы попрать разум и добро.

Войско султана Фараджа, приведенное из Мисра, усиленное здешними воинствами, благодушно отдыхало, похохатывая при россказнях о Тимуровых победах, самоуверенно поглаживало ладонями ребристые рукоятки мечей или похожие на змеиные головки эфесы сабель, когда кто-нибудь поговаривал, что среди татарского войска есть отчаянные богатыри.

Такие россказни и беспокойные слухи не доходили до султана Фараджа, ибо он в те дни пребывал в дальнем углу старого дворца, где раскидистые деревья заслоняли

окна. От обитателей дворца деревья загораживали многолюдный суетный мир, а от суетного мира — обитателей дворца со всеми их забавами и хлопотами.

Туда, наверх, на второй ярус дворца, пошел Ибн Халдун.

Над лестницей тяжело покачивался на длинной медной цепи большой кованый фонарь, где тускло, чадя, потрескивая, тлел фитиль светильника. Фонарь был велик, а огонек в нем мал.

От ребер фонаря по стенам расползались и молчаливо передвигались широкие тени, а лестница оставалась во тьме; подниматься пришлось осторожно, почти на ощупь, останавливаясь, чтобы отдышаться, то на одной, то на другой из высоких стертых ступеней.

Наконец он вступил на дощатый пол галереи, длинный, во всю длину дворца, в том дальнем конце, где светился такой же большой фонарь с боязливым огоньком на дне.

Ибн Халдун пошел, скрипя половицами, певшими под пятками на разные голоса — то жалобно и пугливо, то женственно и нежно, то стеная, то визгливо и зло, словно он наступил им на больное место. Днем они так не голосили, днем они были безмолвны под уверенными, быстрыми шагами людей, а под осторожными, крадущимися пятками царедворцев, как и сейчас, когда шел Ибн Халдун, поскрипывали, повизгивали, посвистывали на весь ночной двор.

Когда магрибец с облегчением наконец дошел до дальнего фонаря, половицы смолкли. Настала тишина. Тогда за дверью, перед которой висел фонарь, Ибн Халдун услышал смутный гул празднества — девичьи песни, вскрики, бубны, свирель и тот равномерный самоуверенный глуховатый бой барабана, который все звуки подчинял своей размеренной поступи, словно шел слон, ступая по коврам бархатными ногами.

Ибн Халдун неподвижно постоял перед дверью.

Здесь галерея кончалась той лестницей, где накануне суетилась хромая старуха.

В фонаре шло обычное движение. Внутрь таких фонарей ставили плошку с маслом, окунали в него фитиль, и он тлел до утра, то чадил, то вспыхивал, то, странно и беспричинно потрескивая, разбрасывал красные искры,

пока не выгорало все масло. Запахом горелого жира и копоти пропитался весь неподвижный воздух галереи, и даже дерево двери оказалось маслянисто, когда ладонь Ибн Халдуна прижалась к ней со всей силой, чтобы толкнуть створку и войти.

В часы, когда султан отдыхает, можно нарушить его покой, только если государству грозит опасность, а когда султан развлекается, надлежит ждать конца развлечений, каковы бы ни были дела. Но в Дамаске со дня прибытия не было часа, когда султан не развлекался бы.

Султан в Дамаске попал во власть хлопотливых здешних сводней, перенявших свое дело от предшественниц, а у предшественниц, сменявшихся поколение за поколением, это дело процветало, совершенствовалось, оттачивалось, закалялось, как сама дамасская сталь, тысячи две, а может быть, и три тысячи лет со времен Вавилона. Да и до Вавилона оно было прибыльным делом в умелых руках, когда человеческое сладострастие нуждалось в усердии изощренных утешительниц.

Султан едва лишь вступил на стезю мужских утех, но сводни хлопотали, соперничали, приводя девушек, изрядно обученных всему, что нужно девушке, чтобы манить к себе. Сводни ликовали, когда их девушки оказывались столь хороши, что душа султана влеклась порой сразу к нескольким. Весь опыт, через который за многие годы прошли эти сводни, они терпеливо передавали своим ученицам, готовя и сбывая их для самых затейливых забав.

Ладонь Ибн Халдуна уперлась в маслянистую дверь, но он медлил с последним усилием: нехорошо среди ночи вступать в покои резвящегося султана. Но Тимуру оставалось не столь много дней пути досюда, с утра надо было решительно действовать от имени султана. Не повидавшись же с ним, опасно ссылаться на его имя.

Тимуру оставалось не столь много дней пути досюда...

Ладонь нажала на твердь двери, и она отворилась. Ибн Халдун, по детской привычке, отер ладонь о грудь рубахи, а ему навстречу кинулись всполошенные старухи, пригибаясь от смирения и, несмотря на робость, пытаясь преградить путь постороннему, хотя они и знали, сколь значителен был этот посторонний.

Опытные в делах, перед которыми другие застеснялись бы, сводни оттеснили Ибн Халдуна в укромный угол, откуда видно было и султана, и залу, полную девушек.

Вдоль стен в светильниках колыхалось пламя, отчего чудилось, что даже деревянные почернелые столбы, подпиравшие потолок, колышутся. А девушки, танцующие или перебегающие, казались невесомыми, неземными: колеблющийся свет искажал их движения.

Барабан равномерно, глухо, самоуверенно подчинял своей поступи ряд недораздетых красавиц, сомкнутых в пляске.

Смуглая толстуха, почти ничем, кроме длинных кос, не прикрытая, охватила ногами и руками высокий барабан, и он ухал под ее пухлыми пальцами.

Уловив взгляд историка, хромая сводня подмигнула:

— О покровитель! Она с барабаном только шалит. Она и без барабана дело знает. О!.. Как знает!..

И прищелкнула языком, сощурив глаза.

Среди этого круговорота, меж этих прозрачных, призрачных покрывал, в кругу розоватых, и смуглых, и чернокожих дев восседал султан в блестящих позлащенных доспехах, с мечом на коленях, в островерхом шлеме, венчанном страусовыми перьями, как, бывало, обряжались франкские крестоносные рыцари, красуясь на турнирах. Память и предания о них крепко держались среди арабов и, как сказки, пересказывались над младенческими колыбелями.

Ибн Халдун терпеливо ждал в столь неудобном месте хотя бы краткого затишья, чтобы предстать перед султаном с недоброй вестью.

Но девушки сменяли друг друга, музыканты же не смолкали, барабанщица барабанила размеренно, как бьется сердце, и постепенно Ибн Халдун сам вовлекся душой в девичьи пляски среди искренней наготы, ликовавшей вокруг.

По знаку старух девушки постелили на пол иссиня-черный ковер, и среди залы словно разверзлась непроглядная бездна. Половину светильников погасили, все погрузилось в полутьму. Из этой полутьмы на ковер упали белотелые широкобедрые персиянки в серебристом шелке, как в легком тумане.

Барабан бил мерно, настойчиво.

Персиянки затеяли ласковый танец, раскинувшись на полу. Казалось, их гибкие тела томятся и нежатся, воспарив над бездной, ибо не стало видно ковра под ними.

Барабан ускорял свое биение, бил уже не столь равномерно — порывистей, глуше.

Тогда к этим раскинувшимся белотелым плясуньям кинулись негритянки. Объятия танцовщиц были их танцем, где темные тела слились с темнотой ковра и оказались невидимы, а белые сверкали в таких неожиданных поворотах, что у Ибн Халдуна прервалось дыхание. Лицо он сморщил так, будто во рту перекатывал невыносимо горячий комок.

Погасли последние светильники.

В полной тьме слышен был только нарастающий, ускоряющийся, прерывистый бой барабана, и не то чудилось, не то слышалось такое же глухое, прерывистое дыхание плясуний.

Вдруг внесли факелы.

Зала засияла золотисто-алым, нестерпимо ярким, как полдень, пламенем.

На полу уже не оказалось ни девушек, ни ковра.

Только барабанщица в изнеможении валялась, отвернувшись от откатившегося барабана.

Ее торопливо покрыли шалью, подняли и увели.

Султан вдруг в углу среди старух увидел Ибн Халдуна.

Никогда на лице мальчика историк не знал такой растерянности, испуга, стыда.

Оступившись, султан встал, а сводни, догадавшись, что тут сейчас не до девушек, одним мановением убрали всех прочь из залы и сами исчезли.

Забыв, что обе его руки сжимают меч, выпрямившись, султан Фарадж, как во сне, шел к своему наставнику.

Наконец Ибн Халдун понял, что ему тоже надо идти к своему султану, и пошел, поскальзываясь и спотыкаясь на каких-то безделках и обломках, валявшихся на полу.

— Вы пришли? Уже столь поздно? — спросил султан.

— Еще не поздно, но времени не осталось.

— Как тут поступил бы мой отец? В таком случае?

— Если бы он был в вашем возрасте, он поспешил бы в Каир отсюда.

— Без войска?

— Взяв с собой столько, чтоб в пути не бояться ни львов, ни разбойников.

— А остальные?

— Останутся. Остановить татар.

— И отстоять город!

В этом дополнении к своим словам Ибн Халдун уловил согласие. Фарадж не отказывался уехать, но опасался за Дамаск.

— Когда войско спокойно за вас, оно станет крепче биться.

— Я в Каире буду ждать известий о победе!

— Еще бы!

Ибн Халдун, откланявшись, попятился к двери.

— Ночь, государь.

— А Тимур далеко?

— Их путь сюда измеряется немногими днями.

— Когда же они успели?

— Они скоро ходят. В том их сила.

— Но не завтра же!

— Нет. Но завтра надо отправиться вам.

— Я обдумаю ваши слова.

— Прежде чем они дойдут сюда, вам следует быть подальше отсюда.

— Я обдумаю...

В сенях, вдевая ноги в туфли, Ибн Халдун дышал легче: он опасался возражений. Самонадеянный мальчик кинулся бы возглавить войско. Это выглядело бы красиво. Но это перепутало бы все стройные расчеты опытного человека. Теперь султан уедет, и судьбу Дамаска Ибн Халдун возьмет в свои руки.

2

И султан отправился назад в Каир.

Никаких торжеств при отъезде не было. Народу не было объявлено об отъезде Фараджа. Пятитысячный отряд, предназначенный сопровождать султана в Каир и хранить его там, вышел в путь заранее и остановился ждать в одном дне перехода. Сам же султан проехал через Дамаск с небольшой свитой. По городу пошел слух, что никакая опасность Дамаску не грозит и поэтому султан выехал поохотиться на львов.

Некоторые дамаскины поудивились:

— На львов? Но где же он их найдет?

В окрестностях Дамаска львы давно не показывались, а вот в Магрибе, неподалеку от Туниса, львы бродили стадами и, случалось, нападали даже на караваны. А через Сфакс, как рассказывали, большие львы проходили купаться в море и зимой отлеживались на теплых отмелях острова Джерба. Там, в Магрибе, может быть, и охотились на львов, хотя и неизвестно, зачем на них охотиться, а здесь такой охоты не бывало. Видно, придумал все это какой-нибудь магрибец, забыв, что тут Дамаск, а не Кейруан.

Но львы ли, не львы ли, охота ли, поход ли, султан Фарадж отбыл, и никому не следовало знать, что он отбыл далеко и безвозвратно.

Сводням приказали своих девиц по-прежнему держать во дворце, как было при султане. Музыкантов отпустили, не велев приходить до возвращения султана с охоты.

Девицы бродили по женской половине дворца, лениво баловались и возились между собой и порой вспоминали, хорошо ли новенькое вооруженьице султана Фараджа. Кормили их хуже и музыкой больше не развлекали.

А за стенами дворца никакого покоя уже не осталось. На базаре, оказалось, за день раскупили всю крупу, пшеницу, просо, рис, бобы, горох, чечевицу. Всякие припасы, пригодные для долгого хранения, подорожали. К концу базара цены поднялись втрое, — видно, народ догадался, что не о львиной шкуре хлопотал султан, отъезжая вдаль от Дамаска.

Но крупу скупали не столько беспечные жители, сколько прозорливые купцы.

По всем улицам вокруг базара началась распродажа домашней утвари, одежды, драгоценностей: жителям нужны были деньги, чтобы запасти крупу. Если случится осада, станет не до колец, не до нарядов.

Жители пытались поскорее сбыть свое достояние, а купцы уже сговаривались придержать съестные товары, цен не сбавлять, торговать по сговору.

Вдруг на базаре вздорожали мешки.

У кого нашлись порожние мешки, сбегали за ними, продали задорого: мешки понадобились купцам вывезти из базарных закромов и амбаров в укромные места все запасы круп, муки, сушеных плодов, вяленого мяса.

Через день в хлебных рядах опустело, словно метлой вымели.

Подорожали большие кувшины — надо запасать воду.

У кого было все запасено, принялись втихомолку сгребать серебряные деньги и в кисетах, в кувшинчиках, в медных банках закапывать в землю втайне от соседей, замуровывать в стены.

По городу в харчевнях еще жарили и варили мясо, но хлеба уже никто не давал. К мясу подавали всякую зелень, но перец, лук берегли: перец и лук вздорожали; их можно было, подвесив под потолок, долго хранить при любой осаде. Не подавали подливку к мясу: жир, стекавший с вертелов, сливали в кувшины, убирали про запас.

Хлеб, кто по извечному обычаю пек его дома, теперь изловчились так печь, чтоб радостный домашний дух свежего хлеба, которым прежде каждая хозяйка гордилась, теперь не достигал ноздрей соседа.

На базарных площадях и улицах много людей молча останавливалось и стояло вдоль стен, вглядываясь в странный, примолкший базар.

Еще слышались голоса продавцов, неуверенно хваливших какие-то лежалые товары. Кое-где скрипели арбы. Медленно, молча прохаживались покупатели между рядами пустых лотков и прилавков. Вчерашний жаркий, суетный, самозабвенный базар умолк.

Казалось, все это множество оторопевших людей здесь погружается в незримые колдовские волны, замолкая, окостеневая каждый на том месте, где остановился.

Еще и врага не было видно, еще и караваны приходили в город и без опасенья уходили отсюда, но жизнь окостенела.

В городе, опасающемся длительной осады, наступили особые дни, когда на опустошенных базарах купцы терпеливо и уверенно сели ждать голод. Голод был желанным подспорьем в любой торговле: даже отъявленные скряги становятся безропотными, сговорчивыми, платят, что ни спросишь, когда голод внутри свистит пронзительным несмолкаемым свистом, заглушая робкое ворчанье благоразумия.

Старик в круглой черной шапочке, в черном камзоле, перехваченном в поясе, со сборками ниже поясницы, какие носят купцы из Ирана, известный всему базару богач,

хозяин многих караван-сараев, состарившийся в этой толчее, одряхлевший под перезвон караванных колокольцев, опираясь на палочку, пошатываясь от возраста, долго ходил один мимо гладких дощатых прилавков, где прежде громоздились груды всякой снеди — вяленых колбас из Сиваса, копченой баранины, соленой птицы, всего, что пригодно подолгу выдерживать дальние дороги, — запасы для путешествующих с караванами. Знакомое место. Перс тут всегда сам закупал припасы для караванов и сбывал их в своих караван-сараях, немало получая пользы от таких перепродаж.

Теперь на гладких обжитых досках только красные осы толклись, улавливая запах снеди, но, кроме запаха, уже ничего не осталось.

Ходил один, пожевывая беззубыми деснами.

Этому старику, в юности прибредшему сюда из Тегерана, за всю жизнь не выпадало дня, чтоб не спеша погулять по всем рядам. Теперь он, как ребенок, выскользнувший из-под родительского присмотра, то мелкими шажками перебегал площадь, то стоял, глазея на какую-нибудь диковину.

Так дошел он до рядов, где купцы из поколения в поколение безучастно сидели у входа в лавки, заслоняя спинами свои товары.

Старик остановился перед такой лавкой. Грузно прислонившись к двери, подремывая, сидел продавец, а над продавцом на диво всему Дамаску вывешено было покрывало, прозрачное, как воздух, но сотканное из серебряных и золотых нитей и на вес тяжелое. Не было цены такому покрывалу!

Старик постоял, пожевывая, не отрывая глаз от покрывала. Он знал ему цену. Такие ввозили в Дамаск из Индии через его караван-сарай. Вдруг он расхохотался так громко, весело, заливисто, как смеются дети от щекотки. Так расхохотался, что даже выронил палочку.

Полусонный сиделец испуганно привстал и подал старику палочку.

Купцы, продавцы, сидельцы, разносчики окружили перса, озадаченные его хохотом и встревоженные, словно это было предзнаменованием беды.

А он хохотал долго. Палка, как живая, подпрыгивала в его руке, пока, успокоившись, он отдышался и, стоя сре-

ди толпы, ткнул палкой в середину покрывала, в золотую розу, лучистую, как солнце.

Ткнув палкой, оставив на розе пыльное пятнышко, старик спросил:

— Кто это купит?

Купцы молчали, спеша понять, к чему клонит перс, задавая странный вопрос.

— Не знаете? — подмигнул перс. — А я знаю — никто!

Купцы выжидательно молчали.

— Уберите такой товар, — строго, уже без улыбки сказал перс, — и ступайте домой. В этом городе у вас уже нет покупателей.

— А мы уступим в цене, — усмехнулся хозяин.

— Покупатели не придут. Ступайте домой.

— Что делать дома?

— Совсюду сгрести и закопать серебро. Подальше припрятать припасы.

И, раздвинув окружавших его людей, вышел из круга и пошел дальше, посмеиваясь своим мыслям.

— Старость! — снисходительно ухмыльнулся сиделец, норовя подольститься к купцам.

Глядя вслед выгоревшей, порыжелой войлочной шапочке богача, один из купцов напомнил:

— Он однажды уже высидел осаду. Он знает, что сказать.

3

Часть войск ушла с султаном в Каир. Другая часть осталась в городе. Теперь власть над этим войском, а значит, и судьба города оказалась в руках Ибн Халдуна.

Дамасский базар готовился пережить осаду. Запереться. Затаиться. Запрятать припасы в тайники. Сокрыть сокровища. Откупиться от грабежей и разбоя. Случалось в былые времена немало нашествий, когда купцы откупались и уцелевали на своих местах, а в плен, в изгнание, в рабство шел только неимущий народ.

Но не весь Дамаск был базаром.

Ибн Халдун приметил: ремесленники и простой люд ходили друг к другу, собирая оружие, объединяясь в дружины, а купцы — сгребая золото для откупа.

Тысячи дамаскинов готовились биться с врагом, отбиваться, стать не в осаду, а в оборону. Стать и выстоять. И отстоять свои дамасские, дамаскинские обычаи.

Из слободы в слободу ходили жители, сбивались в дружины, переубеждали недоумков, готовых оборонять каждый только свою слободу. От этих сборов, договоров город гудел. Никому не сиделось по домам, все ходили по улицам, выстаивали у своих калиток, сидели на корточках, упершись спинами в стены.

Ибн Халдун, окруженный надежной охраной, проезжал по таким возбужденным улицам, видел эти сборы, слышал этих людей, готовых на смертную битву. Иногда он останавливался и, не сходя с седла, выслушивал кого-нибудь из почтенных жителей, сворачивал в узкие переулки к ремесленникам, вглядывался, вдумывался в эту жизнь, судьба которой, оказалось, теперь зависит от него.

Тимур шел в эту сторону.

Разъезды разведчиков появились на дорогах неподалеку от города. Небольшой отряд ворвался в пригородные сады и увел оттуда молодых женщин и юношей. Уцелевшие прибежали в город с недобрыми вестями. По городу потянулись слухи и страхи, расползаясь, как дым перед ненастьем.

Эта безнаказанная смелость Тимуровых разведчиков озадачила Ибн Халдуна. Он послал несколько своих отрядов, приказав ловить смельчаков и везти сюда.

С того же дня сперва разрозненными обозами, а вслед за тем сплошным потоком со всех сторон ко всем крепостным воротам Дамаска потянулись беженцы из ближних городов, селений, хозяйств. Все, кому не манилось попасть в рабство либо под копыта нашествия, сбегались в Дамаск.

Беженцы ютились среди сородичей в знакомых слободах или караван-сараях, но вскоре свободных пристанищ не осталось. Шатры, шалаши, палатки скопились на городских площадях, во всех городских закоулках. Беженцы забрались было и в дворцовый сад, благо он был просторен, но вскоре новоселов оттуда выдворили по указанию Инб Халдуна. Он велел затворить крепостные ворота, и впредь беженцам следовало уходить в другие, в дальние города, в сторону от нашествия, дабы Дамаск не задохнулся от многолюдья, да и никаких припа-

сов не напасешься в случае осады при таком избытке людей.

Хотя городские улицы на ночь перегораживались и стража возбраняла хождение по городу после ночной молитвы, беженцы по всему Дамаску допоздна жгли костры, готовя еду. Не хватало воздуха от дыма и гари. Всякой снедью пахло отовсюду. Над всем городом опустилось столь плотное облако дыма, что даже днем солнечный свет тускнел, как в пасмурную погоду, но прохлады от того не прибывало.

Ибн Халдун смотрел на этот Дамаск.

Хотя город простоял уже тысячу лет или две тысячи лет, та история кончилась. Начинается новое тысячелетие. Ибн Халдун стоит у начала. Или это конец предыдущего тысячелетия, а новое еще только подступает? Как понять это?

Всю жизнь он вникал в историю. Но вникнуть в события, которые пока только складываются, трудно, а их надлежит еще и осмыслить, и описать.

Для этого труда из всех здравствующих историков жизнь избрала его, старейшего из них и опытнейшего. И чтобы он все это видел своими глазами, поставила его в самый водоворот событий, столь значительных для Дамаска. И вот Ибн Халдун еще не знает: начало ли это, завершение ли эры в истории этого города, да и всей Сирии... История избрала его, но, избрав, даст ли она ему время и силу...

Он писал «Введение» долго. Многие годы он смотрел на жизнь, которая его удивляла, мучила и ждала, чтобы он не только пересказал ее, но и осмыслил. Будет ли снова так — время и сила?..

4

Разгулявшийся старый перс, опираясь на палочку, по-прежнему шел перепутанным переулком, примыкающим к базару. Там внутри дворов и домов теснилась своя толчея, а он шел мимо, пока не повернул в темный узкий проход с обтертыми стенами, где некогда бывал. Не то в этом, не то в другом подобном. Много-много лет тому назад.

Там через окно заприметила его одна из заскучавших девиц и позвала к себе позабавиться. Но старик шел, ста-



раясь не пошатнуться, миновать тот вертеп с достоинством.

Однако девица оказалась настырна. Она выскочила в переулок и спросила:

— Ты ко мне шел?

— Мимо!

— О! По повадкам видно кота.

— А козу — по запаху. Потому я иду мимо.

— Да уж нет! Пойдем-ка!

Она поймала его за руку, но он, откинувшись, вывернулся.

Тогда она так схватила его за рукав, что старик чуть не упал, но палочку удержал.

Он рассердился и принялся ругать девицу словами, которые с юных лет не звучали в его устах.

Она в ответ ухватила его за шиворот и поволокла было, но ветхий камзол на богаче треснул, рукав наполовину отпоролся от плеча, в разрыве открылась белая костлявая спина, покрытая бурыми пятнышками, как ржавчиной.

Старик отмахивался палочкой.

Столпились любопытствующие, которые могли бы стать свидетелями девичьих бесчинств против старца, если б заварилось судебное дело, и из толпы принялись ее корить. Но девица уже забесновалась, и теперь ей не было удержу.

Она плюнула старику в лицо. Бросилась назад в дом, тотчас высунулась в окно и выплеснула на старика свою ночную лоханку.

Окруженный дружелюбной толпой, перс, утираясь, направился с жалобой к базарному старосте, но тот уже уехал домой обедать.

Тогда с возрастающим негодованием любители базарных происшествий повлекли старика на суд к самому верховному судье, каковым в то время оказался Ибн Халдун, ибо, как и обязанности визиря, теперь все это свалилось на него одного.

Ибн Халдун сидел в той угловой зале дворца, где в высоких нишах на кедровых полках хранились ряды книг — арабских, персидских, тюркских и на иных языках, которых историк не знал. Персидский он знал плохо, тюркского совсем не знал.

Здесь издавна хранились сотни рукописных книг на пергаментах, на бумаге, даже на коже. Если считать по сотне в каждой из ниш, их было более полутора тысяч.

По стенам между нишами уцелела искусная потускневшая роспись. Пахло сандаловым деревом от раскрытого почернелого китайского сундука, где хранились ру-

кописные свитки. Ковры пахли индийскими благовонными курушками, которые когда-то тлели здесь, чтобы освежить воздух.

Два старца, в широчайших белых легких халатах, под небрежно повязанными белейшими чалмами, безмолвно сидели в стороне, около окна, узкого, высотой от пола до потолка и наверху украшенного цветными, красными и зелеными, венецийскими стеклами.

Два старца — хранители книгохранилища. Один, близоруко склонившись почти к самому полу, переводил на арабский язык ветхую арамейскую летопись. Другой дремал, глубокомысленно перебирая четки.

Летопись — серовато-желтый свиток, развернутый по полу, — лежала рядом с ковром, плотным, жестковатым, с узором из узких полосок, здешнего ткачества ковром, тоже пропахшим столь стойкими благоуханиями, что они ничуть не выветрились.

Когда известно, как неотвратимо надвигается нашествие, которое не пощадит, раздавит и эту тишину, и эту обитель, весь этот веками слаженный мир, тишина кажется натянутой как струна. И даже, казалось, она вибрирует, как струна, хотя это только пчела скользила по стеклам.

Сюда и явились к Ибн Халдуну сказать, что у ворот просится толпа, дабы он рассудил здешнего богача и разгулявшуюся красотку.

Нехотя Ибн Халдун закрыл смугловатые и теплые, как тело, страницы «Истории» Павла Орозия, которую давно искал. Этот список, кем-то завезенный сюда из Андалусии, отличался от того кейруанского, который некогда принадлежал Ибн Халдуну в Тунисе. Здесь оказались целые главы, которых не было в том.

Тот, как и этот, тоже был переведен с латыни на арабский язык. Но того уже не было. Жена и дочери везли ему эту рукопись вместе с сотней прочих, драгоценнейших и древнейших, приобретенных при поездках у берберов и в уединенных шатрах кочевых племен.

Семья — жена и пять дочерей — отправляясь к Ибн Халдуну из Туниса в Египет, все это везла вместе со всем имуществом на испанском корабле. Корабль был разбит бурей у берегов Ливии. Все утонули. Весть о их гибели пришла к нему в Александрию, куда он выехал встретить их.

А он нанял дом в Александрии на берегу, возле базара, чтобы они с дороги пожили здесь, полюбовались бы гордым городом, оковавшим, как белая подкова, голубой залив. Вокруг было так светло и бело, что кроны пальм казались черными в такой белизне.

Каждый день он ждал их.

Могучий Помпеев столп, высеченный из огромной глыбы гранита, стоял там более тысячи лет. О него разбивались все ураганы, а люди здесь гадали о судьбе. Ударив ладонью о столп, приложив ухо, слушали, как он откликнется — гулом ли, стоном ли, или промолчит. Гул сулил удачу — гудит и ликует жизнь человека. Стон предвещал беду. Молчание тоже не сулило радости, ибо радостная жизнь не бывает безмолвной.

Когда Ибн Халдун, заплатив страже, подошел к столпу и послушал, столп прогудел. Заждавшись и все еще не получая вестей, Ибн Халдун снова побывал у столпа, и снова столп прогудел обещаньем удачи. Тем неожиданнее оказалась весть о потонувшем корабле. А он каждый день ждал их!..

Ждал, а узнав, что не дождется, с непокрытой головой, босой побежал через пустыню в Каир. Его нагнали, упавшего на дороге, отнесли к Нилу и в длинной лодке под острым парусом медленно отвезли в Каир.

Из Каира он уехал в Файюм, в деревню, подаренную ему султаном Баркуком. Там он затворился ото всех, проводя дни у ручья под большими пальмами. Пальмы тихо шелестели, перебирая перистые листья, как страницы рукописаний. А он, прислушиваясь к шелесту, вздрагивая от внезапных вскриков каких-то птиц, смотрел, сколь удивительно желты корни пальм, обмытые неприметным движением воды в ручье.

В уединении завершив «Китаб ал-Ибар», снова и снова вписывая в него дополнения, поправки, новые мысли, он наконец отвалился от этого труда, как от блюда, с наслаждением насытившись соблазнительным изобилием. Но, отвалившись от рукописи, он вдруг почувствовал, что отвалился и от тяжкого своего горя. Осталась на всю жизнь печаль, но тяжесть горя вошла в этот труд и растворилась в нем. Труд впитал ее в себя.

Ибн Халдун отдал черновик искуснейшему переписчику, славнейшему из тех, кого только можно было найти в Каире. И там же, в файюмской тишине, начал дикто-

вать писцу повесть о своей жизни, где не только своя жизнь занимала его, но и весь окружавший его мир.

Он диктовал, припоминая всю свою жизнь, полную славы, мужества, человеческой зависти, бездомных скитаний, смертельных опасностей, почета во дворцах и одиночества в темницах, дружбы с султанами, праздников среди берберов — такую пеструю, мучительную, сладчайшую.

Мудрец, лицемер, добряк, мздоимец — все вместилось в нем, в этом старике четырнадцатого века, если считать возраст времени по календарю Римского папы. Он решил рассказать все, из чего сложилась его жизнь. И как, не сторонясь событий, он направлял эти события сам, хотя, может быть, это события влачили его вслед за собой. Все, что вписалось бы в эту книгу, стало бы продолжением «Введения». Так вся история человечества вместилась бы в эти две его книги, с того великого мгновения, когда под испытующим взглядом создателя праотец Адам впервые открыл глаза, и до того печального часа, когда Ибн Халдун в последний раз смежит свой взор и выронит перо.

Этот труд захватил его, увлек, не утешил, но успокоил. Рука тверже держала гусиное перо, которым он пристрастился писать в годы, прожитые в Гренаде и при дворе кастильского короля Педро Жестокого, столь милостивого к историку, что король предложил Ибн Халдуну остаться там и в надежной тишине и в покое заниматься наукой. Но Ибн Халдун не искал покоя.

Он диктовал свою жизнь писцу, когда переписчик закончил «Китаб ал-Ибар» и представил Ибн Халдуну его книгу, приобретшую строгий и совершенный облик.

Историк еще раз прочитал свое сочинение. Переписанное чужой рукой, оно теперь во многих местах выглядело новым, незнакомым, словно эти места автор читал впервые. Многое его удивило, и он восхитился: «Отлично сделано!» Но попались и такие страницы, где все хотелось бы написать по-иному. Но было уже поздно — все красиво переписано и не менее искусно переплетено.

Все же кое-где Ибн Халдун не устоял и вписал несколько добавлений, вставок, небольших поправок. В меру, чтобы не испортить изысканный почерк переписчика вторжением грубого почерка, присущего мыслящим людям.

В последние дни ноября 1396 года, через двадцать лет после начала работы, надписал на книге дарственную запись. Самое дорогое из всего, свершенного за всю жизнь, он принес в дар книгохранилищу аль Каравийн в Фесе, тому уголку вселенной, где прожил свою юность, где провел первые сладостные годы любви к девушке, данной ему в жены. Ее звали Аида. Ее имя означало: праздник! Она вошла праздником в его жизнь. Она была дочерью одного из знатнейших магрибцев, прославленного военачальника Мухаммада ибн ал-Хакима. Та пора жизни вошла в него, как весна входит в сад, определяя собой будущий урожай. Двоих сыновей принесла она ему. Пять дочерей принял он из ее рук. Почти сорок лет она была рядом с ним, и пучина поглотила ее, когда она спешила на свидание с ним... Та весна в Магрибе!..

Он послал туда самое драгоценное, что сделал за всю жизнь, и караван отнес этот дар из Египта в Фес.

С того дня, около шести столетий, доныне хранится книга на том месте, которое ей предназначил автор.

Двадцать лет писал он ее. Годами работали они вместе с братом, с Абу Захарией Яхьёй Ибн Халдуном.

Потом он один писал ее в уединенном замке неподалеку от Константины, мучительно ища причины событий, о которых писал. Причины событий! Он описывал множество событий от начала мира до своего времени, но для каждого из событий он искал причину, без которой не случилось бы этого события или оно совершилось бы по-иному. Эту часть своей книги он назвал «Введение». Но это было введение не в книгу, а в жизнь, в тот минувший мир, который историк понял по-новому и по-новому описал, ибо до него не было принято так писать истории.

Однажды, в годы молодости, на празднестве в одном из дворцов Феса, впервые задумываясь над событиями, окружавшими его, он встретил Ибн Батуту.

Состарившийся в путешествиях Ибн Батута любезно осведомился о намерениях и мечтах молодого человека.

— Я намерен описать жизнь Магриба. Не объять весь мир, как это сумели вы, нет, — только Магриб.

— А что в Магрибе?

— Как тут жили. И как ныне живут.

— А какой вы покажете эту жизнь?

— Жизнь везде на земле растет, как дерево, и зависит от свойств земли, в которую вросли ее корни.

Ибн Батута, задумавшись, молча постоял рядом с молодым ученым, вдруг поднял голову, улыбнулся и, щуря усталые глаза, наглядевшиеся на диковины в невиданных странах, спросил:

— От свойств земли? Но что же тогда воля аллаха?

Еще постоял с той же улыбкой и, не ожидая ответа, ушел, очень широко шагая, во двор, где среди придворных, любуясь фонтаном, восседал султан Абу Инан.

Ибн Халдун не запомнил других встреч с великим землепроходцем, но ту долго обдумывал: тогда он понял, что его взгляды несовместимы с толкованиями догматиков. Тогда он решал раз на всю жизнь — отмахнуться ли от опасных взглядов, пренебречь ли опасностями независимого пути?

Он устоял, не отрекся от своих взглядов. И вот сейчас, когда уже все свершено в жизни и уже ничего нельзя в ней изменить, опять, как прежде Ибн Батута, толкнул его на раздумья Павел Орозий, живший более чем за тысячу лет до того.

А если взглянуть на жизнь иным взглядом?

Палец его еще оставался зажатым между страницами книги, когда писец, видя задумчивость Ибн Халдуна, напомнил:

— О наставник! Там они просят рассудить их!

Ибн Халдун очнулся и, оправляя свою широкую магрибскую одежду, которую неизменно носил в любой стране, куда его заносила жизнь, вышел на каменное крыльцо.

Он остановился, глядя во двор с высоты трех ступенек.

— Откройте им!

Во двор ввалилась толпа, странная своим многообразием: в ней теснили друг друга люди самых непохожих обликов, облаченные в одежды разных народов. Пестрый, разноязыкий базар Дамаска сплотил их крепко.

Остро запахло луком, чесноком, пряными травами.

Впереди, поддерживая под локти, вели старика перса в порванном камзоле, в порыжелой круглой шапке, сдвинувшейся на ухо.

Перс, как скипетр, держал перед собой палочку, и в глазах его видно было только любопытство. Он, казалось, нетерпеливо ждал продолжения зрелища.

А рядом не без усилий вели упиравшуюся и взвизгивавшую девицу, за которой следом увязались ее подружки с беззастенчиво открытыми лицами.

Подружки жались к людям и повизгивали, будто их щекотали или пощипывали, хотя люди, стыдясь, отталкивали их от себя, а перед лицом Ибн Халдуна столь поспешно отстранились, что девицам пришлось обособиться.

Ибн Халдун слушал словоохотливых свидетелей, разглядывая неряшливых девиц.

Перс тоже внимательно слушал, удивленно приоткрыв рот, и его брови поднялись дугами над прищуренными глазами, словно он только сейчас узнал обо всем, что с ним приключилось.

— Как ты посмела так обойтись со старцем? — с высоты своего порога строго спросил Ибн Халдун у притихшей проказницы.

— Какой там старец? Это упрямый козел.

— Козел? — переспросил Ибн Халдун, а перс второпях вынул из-за пазухи ярко начищенную щербатую медяшку, заменявшую ему зеркальце, для чего он до блеска начищал ее с тылу, и украдкой пристально взглянул на свое лицо.

Оно, погрузившись в этот медный омут, показалось ему темным. Он ловко выпрямил ус, сникший над губой.

— Еще бы! — откликнулась она.

— В чем его упрямство? — допрашивал ее Ибн Халдун.

— Коль зашел в наши места, зачем ему идти мимо, разве я хуже других?

— Но он тебя не хотел!

— Потому что не разглядел.

— У него глаз разве нет?

— Женщину не глазами познают!

— А ты проворна! — проворчал сквозь бороду Ибн Халдун.

— Мы все такие. Иначе нам нельзя.

— Но как ты посмела... Старших чтить надо!

Он спрашивал опять, нарочито строго, готовясь проявить милосердие к старцу, и эта строгость не сулила ей ничего доброго, но она не успела ответить: по ту сторону ворот затопотало множество копыт, в ворота заколотили рукоятками плеток, загорланили грубые, осипшие голоса, и через этот гомон слышалось:

— Скорей, скорей к самому визирю!

Едва успев расступиться, толпа пропустила ватагу всадников, пропыленных, забрызганных грязью, видно, с дальних дорог, с горячей скачки.

Сползая с седел у самого порога, у ног Ибн Халдуна, они бережно сняли двоих связанных, еще живых воинов, и понесли их, и положили на порог перед историком.

Оба пленника тяжело, порывисто дышали, словно их не везли, а гнали бегом по всей дороге. Грязь налипла на их лица. Халаты потемнели от конского ли, от своего ли пота.

— Что там? — спросил Ибн Халдун.

— Взяли этих, господин милостивый хозяин. Они вперед выехали от татар!

Воин пнул в бок одного из лежавших, и, как тому ни было муторно, он очнулся.

— Где ваш хан?

Переводчик, не смея со своей стороны пнуть того же пленника в тот же бок, спросил, пытаясь повторить и голос и лицо Ибн Халдуна:

— Где твой хан?

На измазанном лице упрямо сжались губы, и голова отвернулась от переводчика.

Тогда воин, привезший его, пнул его в макушку, пнул в ухо, потекла из уха странно темная, синеватая кровь.

— Где твой хан? — снова спросил Ибн Халдун.

Другой пленник, скосив глаза так, что в узких разрезах блеснули белки, сжатые синевато-черными ресницами, подавляя прерывистое дыхание, сказал:

— Он глухой.

— Глухих в дозор не шлют! — возразил историк.

— Верно, — поддержал воин, — он прикинулся.

Помолчав, воин уверенно пообещал:

— Прикинулся? Откинем.

Другой, может быть жалея соратника, поняв, что говорить их заставят, сам сказал:

— Наш великий Повелитель, Меч Аллаха...

— А кто тебе сказал, что аллах брал в руки меч? Где это сказано? — прикрикнул историк. — В Коране это не сказано.

— Я неграмотен. Так говорит народ! — Злобно сощурив глаза, он присмотрелся к Ибн Халдуну и пояснил: — Наш народ!

— Здесь твоего народа нет! — наставительно возразил Ибн Халдун. — И его здесь не будет!

— Мы сюда идем! Мы из Халеба на эту дорогу вышли!

— Это идут воины. Но войско — это не народ. Народ строит город, в нем живет, его обогащает. А кто города грабит и разрушает, не бывает народом. Где идут эти воины?

— Которые не будут здесь народом! — добавил переводчик, спрашивая у пленника.

— Недели две отсюда. Или меньше. Не стоят, а идут. И с каждым часом им ближе досюда. Чтоб всех вас отсюда отправить в ад.

— Опять врешь! Кого куда, потом разберемся, — миролюбиво возразил Ибн Халдун. — Это воля аллаха, кому куда, а не твоего хромого бродяги!

И вдруг увидел толпу со старым персом впереди, застывшую от любопытства.

Историк велел тотчас всех выгнать, спохватившись, что столько бездельников смотрело на столь многозначительный допрос.

Опасение, что такую весть сейчас узнает весь город, весь гулкий Дамаск, подхлестнуло историка. Приказав добыть из пленников ответы на все вопросы, он послал сделать это на конном дворе.

Десятник, одобряя строгость Ибн Халдуна, заверил:

— Я их выкручу, милостивый хозяин! Выскажут!

— Я хочу знать, где он сам. Где их передовые воины, в каком месте? Сколько их впереди и сколько позади? Где их обозы? Запомнил?

— Как молитву, хозяин!

— Веди их и разговаривай. И скорее!

Он пошел было в дом, к книгам, но даже мысль о чтении вдруг показалась ему пресной, как верблюжатина, варенная без соли.

Он миновал дверь книгохранилища и пошел по длинной галерее, по ее скользким от чистоты половицам.

И оказалось, что теперь, когда он шел не крадучись, не угодливо, как царедворец, а уверенно, как хозяин, половицы не скрипели под его ногой. Не скрипели.

Он остановился удивленно и топнул. Тишина. Он пошел дальше. Один в этом большом, просторном доме, от-

куда султан отбыл, откуда слуг отослали, откуда сводни увели соблазнительниц.

Может быть, для него это была последняя ночь здесь? Ведь Тимур приближался. Что делать? Ждать его здесь? Запереться с оставшимися силами? А может быть, встретить его и, возложив надежды на милостивого, милосердного, сокрушить хромого вояку?

Ибн Халдун представил себе Тимура. Грубый воин. Неуч. Жестокий сердцем. Темный умом. Самонадеянный, пока не получил отпор!

Дать отпор!

Но тут же он заколебался и смутился, и вдруг под пятой снова запели, застонали, засвистели половицы дворца.

А от дворцовой площади через базар быстро шла толпа, ходившая на суд к Ибн Халдуну. Теперь всем стало не до суда: весть о том, на что они там насмотрелись, чего наслушались, жгла им уста, рвалась на волю, искала ушей по всему Дамаску.

Они шли, громко, на всю улицу, делясь испугами, тревогами, догадками, как все случится и как понять те или другие слова из слышанных на дворцовом дворе.

Чем дальше шли, тем меньше их оставалось вместе — многие уходили в свои улицы. А красотки, подталкивая ладонями в спину, ухватив под руки, не теряя зря времени, как бесспорную добычу, беспрепятственно волокли беззащитного перса к себе в вертеп.

Там в одном из закутков при тусклом трепете светильника старик не успел спохватиться, как мгновенно был раздет, брошен на ложе, и вскоре от него уже требовали мзду за все, что случилось. Но денег при нем не оказалось. Пока он отбивался, спеша во что-нибудь одеться и не видя вокруг никаких одежд, в другом углу дома из его пояса и штанов вытряхнули все, что там нашлось.

— А вот оно, его зеркальце! — возликовала одна из девиц, радуясь своей находке.

Протерев медную гладь ладонью, она заглянула в кружок.

— Вон как ясно! И бородавку промеж бровей у меня видно!

Другая, выхватив медяк, положила его на ладонь и тоже в него заглянула.

— Отражает, но смуглит!

Всем, кого отражал этот медяк, он придавал бронзовый оттенок загара. Одним это нравилось, другие предпочитали выглядеть побелей. Но все заглядывали в блестящий плотный обтертый кругляк, с одной стороны треснутый, как видно, при чекане, когда выбивали какую-то надпись. Он прогулялся по пальчикам и ладоням всех, кто в тот вечер тут был. А любопытствующих, бездельных подружек хозяйки сюда сбрелось много — в эти дни дамаскинам не шлось сюда, забавляться в полутьме обжитых чуланов и укромных уголков, в чаду светильников, на измятых одеялах, в духоте от острых духов и кислого пота.

— А тут с тылу на ней что-то написано!— разглядела одна из подружек, перевернув стариков медяк.

— Это так пишут? — удивилась другая, не ведавшая арабского письма. — Как червяки!

Знавших письмо не оказалось, и, насмотревшись на медяк, они крутили его волчком по каменному полу, кидали друг другу, ловко ловя на лету. Попробовали гадать, подкидывая и ожидая, какой стороной он ляжет. Но каждый раз он падал письменами вниз, и гаданья не выходило.

Перс попытался ускользнуть, но красотки за ним приглядывали. Он сидел в углу, натянув край одеяла на живот.

Вдруг ему представилось, как он пошел бы в таком виде по городу, когда каждый перекресток заставлен стражами, на каждой заставе окликнут: «Кто идет?» А приглядевшись, спросят: «Откуда ты в этаком виде, дед?»

Он умел ясно представлять себе самые невиданные виды, так ясно, будто все это сейчас перед ним предстает. Открыв удивленно рот, он выпустил из рук угол одеяла, расхохотался и уже не мог остановиться. Девицы сбежались узнать, чему тут смеются, а увидев рассевшегося нагишом хохочущего старика, сами не могли удержаться, и вскоре смеялся весь дом. Увлекая смехом друг друга, хохотали все до боли в скулах, до схваток в груди, и никто не мог сжать уста.

Все тревоги, страхи, досады, сбившиеся в комок в каждой из этих одиноких женщин, теперь рвались из них прочь через этот неудержимый смех, одних кидая в хохоте

на пол, других откидывая к стенам или бросая в объятия одну к другой.

Пламя светильников вспыхивало и содрогалось в суматохе этого смеха. Хохотали, и из них уходила прочь вся тягость, что холодила их все эти дни, а то и годы тайных обид и тоски.

Вдруг перс увидел, как одна из дев, запрокинувшись от смеха к другой, переваливала из ладони в ладонь столь дорогой для старика его медяк.

Как ястреб, упавший на зазевавшуюся пичугу, одним рывком старик схватил свой медяк и засунул его в рот, за щеку, ибо не было одежды, а без одежды не было и пазухи.

Медяк оказался солоноват, старик поправил его языком, и он плотно прижался к деснам.

Девушка, застигнутая врасплох, еще не поняв, зачем подбегал к ней старик, перестала смеяться и наконец неповоротливо поднялась с колен подружки.

— Эй, верни мне зеркальце!

— Не смей повелевать! Чти старика! — укорил он ее, приоткрыв лишь вполовину рот.

Она не прочь была силой отнять свое зеркальце. Сунулась бы к нему в рот. Сил, что ли, у нее нет повалить такого хилого мужчину?

Но тут внизу забила в дверь стража. Сдав свой караул, воины явились в гости.

— Пригрейте нас, голые глазки, наруже нам нынче покоя нет. Нам бы на недельку тут притулиться.

— Только угощать вас не на что! — сокрушалась хозяйка.

Старший из стражей велел всем доставать, у кого что найдется. Застучали медяки, забелело и серебро.

Женские ладони это быстро сгребали в пригоршни.

В наступившей суете перс выскользнул, прихватив в прихожей тяжелый плащ зазевавшегося стража.

Грубая шерсть кусала нагое тело, но перс трусцой убегал отсюда, вглядываясь в темноту.

Караулы на перекрестках не окликали его. Деревянные загородки, расставляемые на ночь поперек улиц, оказались отодвинутыми. Городские ворота среди ночи — да, в столь опасное время — распахнуты настежь. Через эти ворота в кромешную тьму пригородов уходило войско. Пешее. Конное.

Уходило тихо. Молча. Без песен.

Только постукивали острия копий, сталкиваясь одно с другим, да лошади похрапывали.

Одна волна воинов проходила, появлялась следующая.

Запахнувшись поплотнее в плащ, перс вглядывался в проходящие ряды, пытаясь разглядеть лица. Бывало, войско шло с факелами, с колокольцами, подвешенными на красных палках, с хмурыми песнями, похожими на рычанье, чтобы у воинов твердело сердце, а у врага стыла кровь. Тут того не было — шли в ногу и молча.

Это Ибн Халдун, собрав военачальников, чего бы они там ему ни говорили, приказал им вести войска навстречу нашествию и дать отпор Тимуру, пока Тимур отпора не ждет.

ГЛАВА XVI

ВИЗИРЬ

1

Победы успокаивают людей, вселяют веру в себя и презрение к ничтожеству врагов. Спокойное войско шло, а Тимур, продолжая худеть и темнеть лицом, молча ехал среди ближайших собеседников. День сулил быть погожим. Нежданно, как из кипящих грозами туч, грохнул и широко раскатился гром барабанов. Неизвестный враг преградил дорогу самоуверенному шествию Тимуровых войск.

Неведомо откуда, бесстрашно, до дерзости, до бесстыдства бесстрашно встали наперекор Тимуру ряды врага в твердом боевом строю.

Тимурово шествие остановилось, ибо двигалось не в боевом, а в походном порядке. Эта беспечность тоже случилась от уверенности, что никто не посмеет коснуться великого воинства.

А эти предстали, выдвинув не то чтобы барабанщиков, а бубнистов и трубачей вперед, и наигрывали на дудках какие-то веселенькие напевы городских гуляк, поблескивая чистенькими доспехами и пестрым одеянием, словно явились сюда на празднество красоваться и плясать.

Это воинство, настоянием Ибн Халдуна пришедшее сюда, никогда в больших битвах не бывало, да и самый поход этот для большинства дамаскинов был первым в жизни. Почти никто не знавал, да и не любопытствовал, что это за воины Тимура, каковы они в битве, и хотя

всяких сказов-пересказов о победоносном и кровожадном Повелителе Вселенной дамаскины были наслышаны, привычных ко всяким былям и небылицам, их не столь напугало, сколь рассердило нашествие Тимура, как бывает рассержен тот, кого разбудили среди теплого сна. Рассержены были, но страха, пожалуй, никто не держал перед этими степняками, непостижимо откуда явившимися и неведомо зачем. Со времен Чингисхана, некогда разграбившего и разорившего Дамаск, всех таких грабителей звали татарами, они являлись из неведомых монгольских степей, спеша разрушить светлую, праздничную городскую жизнь.

Вот и тут явились и, оторопев, стояли эти степняки, коренастые, сутуловатые, туполицые, будто лицо им при рождении прихлопывали ладонью, как сырую лепешку перед очагом.

Завоеватели уставились вперед широкими бычьими лбами и так, сбычившись, будто принюхиваясь, стоят и смотрят.

А такие лбы сердят людей горячих, нетерпеливых, которых не манит эта долгая игра в войну, которым пора бы домой, в свой веселый город. И с рыву, не дожидаясь приказа, они кинулись в битву. Оглушенное нежданным натиском, напуганное бесстрашием противника, завязавшего битву весело, смело, со смехом, войско Тимура оробело. Это ужасающее весь мир войско, не привыкшее к такому обхожденью, оробело, растерялось, не успело ни собраться в привычный строй, ни изготовиться, охнуло, осело. Попятилось.

Видя, как пятятся воины Тимура в странной тишине, вдруг тоже примолкшие войска султана Фараджа вспыхнули отвагой и принялись рубить и колоть. Слышна была только их бесшабашная перекличка: «А ну, секи тех, в полосатых штанах!», «Поворачивай-ка на волков, на серые шапки!» А те, в серых шапках, были барласы из охраны самого Повелителя.

Их шапки из зеленовато-серого меха, обшитого ярко-зеленой тесьмой, не принято было завязывать на подбородке, как и волосатые рысьи шапки другой сотни барласов. Это была отборная, балованная, надменная стража, обветренная ветрами многих стран, обстрелянная в несчетных битвах.

И когда Тимур увидел, как, пригнувшись к шеям ко-

ней, чтобы укрыть головы от стрел и сабель, хлынули барласы прочь от сечи, он сам круто повернул коня и поскакал укрыться в глубине войска.

У Тимура удивление оказалось сильнее испуга, но испуг тоже подхлестывал его, когда через передовые войска проскакал в глубь похода, к лихой, легкой коннице Халиль-Султана.

Конница тоже шла не боевым, а походным ходом, вперемежку с вьючными и запасными лошадьми, заложив доспехи за седла.

Халиль-Султан заспешил, торопясь и подхлестывая свою конницу, не глядя в глаза деду, нахмурившемуся, но необычно присмиревшему.

Когда эта конница выбралась из потока похода и пошла, обгоняя передовые части, не скоро удалось ей выровнять свой проход по обочине, заваленной камнями, изрытой рытвинами, поросшей жесткими кустарниками, как ни вскидывал Халиль-Султан свой приметный, позвякивающий бунчук, маня и торопя за собой.

Тут и передовые сотни, все еще нерешительно, неповоротливо, но уже с привычной твердостью тоже начали сопротивление.

Хотя немало Тимуровых воинов полегло в сумятице, эти сотни сумели выправиться, поднять головы, перестояли. Перешагнули через ряды дамаскинов, вклинились в их строй и с облегчением вслед за тем опрокинули навзничь, пока конница Халиль-Султана все еще проталкивалась на поле, переступая через тела своих раненых и павших, через потери, каких давным-давно не случалось в столь недолгой битве.

Выбравшись через немалое время, дотянувшись наконец до врага, с диким воем, со свистом, от которого не только кони, но и слоны приседали, конница Халиль-Султана, предшествуемая его позвякивающим бунчуком, забрала верх и пошла между обессилевшими, сторонящимися ватагами дамасского войска, по телам дамаскинов, врубаясь в ряды сопротивляющихся и деля их множество на части.

Стороной, справа и слева, убегали уцелевшие пехотинцы, накрываясь щитами. Впереди, посверкивая на закате уже ненужной сталью, покидала битву дамасская конница, повевая по ветру вперемежку белыми и синими бурнусами, заметенная красной пылью заката.

Но после столь неслыханного их натиска, после беспечных их дудочек и после их дерзкой пересмешки в самом разгаре сечи, чего никогда не видывали Тимуровы воины, преследовать эти уходящие войска было боязно. Казалось, не будь там второго войска, более могущественного, эти не вели бы себя так, словно у каждого припрятана где-то под седлом запасная душа.

Тимуровы сотники, уставившись взглядами вслед врагу, колебались: отбегают ли они, не заманивают ли?

Вопреки привычке, ни конница Халиль-Султана, ни столь же большая копьеносная конница Султан-Махмуд-хана на прытких монгольских конях не кинулись в погоню, хотя на волне преследования можно было, застигнув защитников врасплох, ворваться в открытые ворота города, как это удалось в Халебе.

2

Сидя наискосок в седле на вздрагивающем коне, Тимур смотрел на затуманенные густеющей пылью ряды дамаскинов, уходивших все дальше и дальше в сторону Дамаска, и в их странной медлительности он видел не бегство разгромленного врага, а как бы продолжение задуманной игры. Казалось, эти ряды могли остановиться, наполниться новой силой и возвратиться сюда для еще более удивительной, жесточайшей битвы.

Позади Тимура, теснясь, потные взлохмаченные лошади конницы храпели, фыркали, спеша отдышаться, взвизгивали, грызясь между собой, возбужденные, озлобившиеся, скобля землю копытами. Всадники тяжело дышали.

Таких битв и, что того тяжелее, такой растерянности, такого испуга в войске Тимура не знавали, а если и случалось такое, давно запамятовали.

Тимура этот случай столь удивил и озадачил, что все пережитое прежде отошло, отлегло, а на месте прежней тоски и досады поднялось смятение, которое он властно принялся подавлять в себе.

После стольких побед, суровых расправ с непокорными народами, когда уже давно впереди походов шел его могущественный союзник — слава, вселяющая ужас в сердца врагов, вдруг явились какие-то дудочники и без-

наказанно уничтожили, изрубили, испронзили столько мирозавоевательных воинов, сколько гибло лишь в самых жестоких и долгих битвах. Как это после множества походов по всему миру здесь, на тесном проселке, городские гуляки, плясуны показали перед всем светом, что ничуть не боятся, даже когда на них надвигается сам Меч Аллаха! Не боятся, не носят в себе ни смущения, ни страха. «Ну и Дамаск!»

Но враг исчез, истаял в пыли и сумерках. Мирозавоевательное воинство остановилось среди дороги. Кто где остановился, там и стал на ночь.

Место было негодное для стана, но до удобного места, заведомо высмотренного и подготовленного бивака, до ночи нельзя было поспеть, да и обширное пространство, заваленное мертвыми и ранеными, стонущее и взывающее к живым и здравым, нельзя было перейти и покинуть.

Пришлось перестоять ночь рядом с этим полем, порой улавливая в зовах и жалобах знакомые голоса. Но прежде рассвета в это поле заказано было ходить: опасались ночных засад, ловушек, коварных каверз.

Дымили костры. Боязливо прислушиваясь ко всем шелестам, шорохам и голосам ночи, десятки тысяч людей лежали, не ставя юрт, шатров, палаток, даже шалашей не воздвигнув, лежали прямо на земле, на старом тропинистом пути среди колючек, верблюжьих костей, всякой нечисти. Не спалось. Что-то угрозное мнилось всю ночь.

Недоспавшие, недобрые встали к рассвету.

Пошли прибирать поле.

Своих снесли к разрытым могилам. Хоронили, как мучеников, в тех одеждах, какие на ком оказались в смертный час. К обозам повели раненых. Кому было потяжелее, тех отволокли в холодок, в кустарник, чтоб умирали в стороне от толчеи.

Для павших дамаскинов тоже нарыли ям. Как их хоронить, не знали. Между ними были и христиане, и шииты, а то и иудеи: они там, в Дамаске, сжились вместе, вместе и встали за общую жизнь. Кого как хоронить, не разберешь. Решили так: заодно они напали, заодно их и зарыть.

Но когда приступили к телам, раненых по обычаю добивая, немало пришлось поудивляться. У одного в бороду, глядишь, вплетены ниточки бирюзовых бусинок.

У другого ногти оказались позолочены. Он лежал навзничь, раскинув руки. Пригляделись, видят — ладони у него накрашены киноварью, а ногти позолочены. Эту позолоту жаль было кидать в яму, но никто не знал, как ее соскоблить с ногтей. Вдруг внимание привлек чернобородый, какой-то весь синий мертвец. Под разодранным воротом сверкнули на шее дорогие бусы — золстые шарики вперемежку с агатовыми. Оказалось, трое бус надето у него на шее. Их, воровато озираясь, быстро сняли, но задумались: откуда он их столько набрал? Накрал? Надобычил? А где? Ни до каких полонянок дамаскины не поспели добраться, никакой добычей не потешились. Видно, мимоходом где-то своих пограбили. А ежели было у них это заведено, могло и на многих прочих шеях оказаться всякое добро — бусы ли, драгоценные цепи ли, да за щеки могли позасовывать всякое серебро и золото. Никому невдомек было пристально оглядывать у них шеи или шарить пальцами за щеками. И что ж теперь делать? Хоть лезть самим в яму да переглядеть там всех снова, всех сброшенных туда! Но шарить в ямах не решились, даже когда у некоторых павших воинов султана Фараджа опять нашлись на шеях бусы и мешочки на тесемках, а в мешочках — лалы, смарагды, золотые динары, исчерченные угловатыми письменами.

И прежде чем с поля боя на всю округу понесло смрадом и тлением, войско Тимура пошло дальше на Дамаск, минуя поле битвы, где стояли какие-то молчаливые сотни. Косяки пленных. Табун лошадей, захваченных у врагов.

Испарения над землей протянулись пластами тумана, неподвижными, тяжкими.

Войско без устали шло, торопясь подальше уйти отсюда.

Наконец повеяло горной прохладой. Чистым ветерком.

Над Азией, не угасая, горело, голубело небо. И, как длинноногие страусы, бежали курчавые облака.

Еще сияет день, а уже столько пройдено, столько свершено и задумано, столько оставлено позади, что, идя вперед, многие из воинов подумывали: далеко, однако, как далеко, в экую непроглядную даль зашли они, оставив где-то позади, в недосягаемом далеке, каждый что-то свое сердечное, к чему бы надо вернуться, ибо иначе и незачем было ходить в эту даль.



Думал и Тимур в тот день о родных местах, о какой-то стене под деревьями, где рядом журчал прохладный ручей, перекатывая по дну разноцветные камушки. Там и смышленый внук с карими приглядчивыми глазами, с озорным ломким голоском: «Дедушка!»

Далеко зашли. И, как сама вселенная, растянулась горами и предгорьями Азия.

И небо над Азией что ни день, то голубее...

А войско, сжимая копья или поводья, шло, и удивительно было, что в этот день оно шло, безмолвствуя, что в этот день не было кругом гула, как в море, от сливающихся воедино голосов. В этот день никому не хотелось говорить, и едва ли было когда-нибудь, чтобы войско шло среди дня в таком безмолвии все глубже и глубже в неведомую страну.

Слезы подкатились к горлу Тимура, когда в этот день он особенно, как не бывало прежде, почувствовал, сколь велик мир, что весь сияет, вздымает синеву небес, громоздит груды гор, торопит речи речек и длится, длится, как жизнь, которая была бы хороша, когда б длилась столь же, сияя, не угасая, не гнетя заботами, не грозя концом... Так длинна дорога. Так коротка жизнь.

И среди сияющего дня, запахнув свой пасмурный халат, он тосковал, сжимая коленями бока коня и не чувствуя никакой охоты куда-то еще идти, брать Дамаск, чего-то еще желать.

Он по себе понял, что ни у кого в его войсках нынче нет охоты лезть на крутые скользкие стены города, биться, некому загореться той яростью, которая, как в любви, завершается либо наслаждением, либо мраком.

Эта битва на пути что-то сломала в людях. Они не смогли бы пойти на новую опасность. Им надо отстояться.

И когда наконец они не широкой, каменистой, но зеленой долиной между горами вышли к Дамаску, Тимур приказал становиться станом, чтоб взять город не приступом, а осадой, понемногу, день за днем успокаиваясь, ибо явилась нужда отдышаться.

3

В то раннее утро, после ночи, когда поход Тимура подступил к стенам Дамаска, а в городе каждая тревожная весть сменялась другими, еще более тревожными, когда, казалось, в городе все подготовлено и больше уже нечего сделать, Ибн Халдун отпустил советников, всю ночь толпившихся в залах дворца Каср Аль Аблак, всю ночь прибегавших к нему одни с вестями, другие с

настойчивыми просьбами, иные с торопливыми советами.

Оставив их спорить между собой, Ибн Халдун неприметно ушел через низенькую дверь, некогда служившую здешним султанам для перехода в гарем. Горницы, где некогда обитали девушки, пустовали. Минуя их, Ибн Халдун, как всегда в это раннее время, пока солнце касается лишь верхушек деревьев, оставляя в их сени синевато-прозрачную тень, вышел в дворцовый сад.

Огромные, может быть тысячелетние, деревья поднимали ввысь зеленые, почти черные кроны на необхватных белых стволах.

Он присел под деревьями на узкую мраморную плиту, истертую и розоватую, где садился каждым утром, пока жил здесь.

Воздух был свеж. Слуги принесли в тяжелых медных кувшинах теплую, как парное молоко, воду, и широкоплечий гибкий суданец Нух — раб, купленный давно, еще на кейруанском базаре, привычно и ловко совлачил с Ибн Халдуна одежду, дав взамен лоскуток, коим историк прикрыл ту часть, которую не следует выставлять напоказ, ибо известно, что аллах все видит.

Эту теплую воду лили на Ибн Халдуна, а черный Нух не просто умело, а как-то умно и уверенно растирал хозяина под скользкими струями.

Помытый, покрытый свежей простыней, Ибн Халдун поднялся и отошел к дереву, глядя, как подвижный Нух досуха вытирает мраморную плиту, где историк лежал, когда мылся. Одинокий мраморный порог, хотя вокруг не видно было ни лестниц, ни других ступеней, ни дверей, куда мог бы вести или некогда вел этот розоватый порог.

Много дней до сего утра сидел и мылся на том мраморе Ибн Халдун, но только теперь, приглядевшись, заподозрил, что это не ступенька, не обломок когда-то бывшего тут дворца, а нечто иное, ибо ниже обколотого витого края на камне проглядывала надпись. Часть надписи ушла в землю, а верхние строки читались.

«... при халифе ан-Насир ад-Дин иллахе, да продлит милостивый бог его дни в сем мире... призвал бог великого султана из султанов Музаффара бен Акбара бен Файса...»

Это, оказалось, не порог в былой дворец, а ступенька в иной мир, могильная плита некоего Музаффара, чья

жизнь некогда тоже, может быть, сияла и возвышалась, как мраморный дворец, а ныне от нее осталась только эта скупая запись, наполовину вдавленная в землю, этот прохладный стершийся камень, привычный для зада историка.

И даже годы, когда жил тот давний султан во времена халифа Насир ад-Дина, нелегко определить. Лет пятьдесят сидел на престоле халифов этот Насир ад-Дин, так долго, что мусульмане уже не могли и представить себе мир без этого халифа и даже после его смерти, при его наследниках еще почти четверть века чеканили на монетах, высекали на камнях, писали на пергаментах: «При халифе ан-Насир ад-Дин иллахе...»

Одно было понятно: все это прошло давным-давно. И едва ли здесь размещалось кладбище — плиту приволокли сюда позже, прельстившись ее красотой. Но лучше бы Ибн Халдун не читал надпись. На широком камне было приятно и уже стало привычно мыться, теперь же, когда знаешь, что это не осколок празднеств, а надмогильный камень, не только мыться, но и сидеть на нем грех!

Видно, при некоем нашествии с какого-то султанского кладбища приволокли этот мрамор сюда, в сад, чтобы, гуляя под деревьями, неграмотные завоеватели могли посидеть и даже прилечь на невысокой широкой плите, украшенной затейливыми завитками, не вникая в них и не ведая, что это эпитафия.

— Экий грех! — ужаснулся набожный Нух, услышав чтение Ибн Халдуна, и перестал мыть камень. Зачем его мыть, если впредь никто на него не сядет. Хотя тут и не видно никаких могил, а никто не сядет — далеко ль до греха!

«Чтение не всегда полезно! — подумал Ибн Халдун.— Порой оно во зло».

Но, вглядываясь, Ибн Халдун заметил на этом камне и другое: арабскую вязь выбили на мраморе поперек первоначальной языческой погони фавна за нимфой, когда, поняв бессмыслицу бегства, нимфа развязывает свой пояс на бегу, а фавн, своей шерстью ничего не прикрыв, не припрятав, спешит ради жизни, а не во имя могил. И хотя головы их давно соскоблило время, охваченные влечением, они не нуждались в головах.

От греков или от римлян остался этот обломок храма

или притолока от приюта любви? В те времена и сами храмы стояли как пристанища любви во славу неиссякаемой жизни.

Но как теперь, благом или грехом стало бы купание на камне, где под могильной сетью строк неистовствует бессмертие жизни?

«Что сказали бы тут богословы?» — пытался предугадать Ибн Халдун, не замечая, что слуги уже одевают его, и забыв, что предстоит опять вникать в те тысячи головоломок и загадок, из коих состоит бытие осажденного города.

А из города уже никуда не было выхода, и войти в него тоже уже никто не мог.

Когда Ибн Халдун, освеженный, сняв ночную усталость, вошел из тишины сада обратно во дворец, его поразил грохот, какого тут не было, когда он выходил в сад. По всем залам клубилась пыль, что-то трещало и рушилось, слуги выволакивали тяжелые сундуки, спускали по лестницам ветхие диваны, рассыпая по полу и по ступеням осколки перламутровых инкрустаций, украшений из резной кости, всего того, что было создано здесь, во дворце Каср Аль Аблак, умением и тщанием давних мастеров. Ныне же чьи-то слуги тянулись к потолку, ладя сорвать деревянные подсвечники, провисевшие здесь несчетное число лет.

Соратники Ибн Халдуна, вельможи из свиты султана Фараджа, прижившиеся было в этом дворце, теперь спешили прочь, в какие-то неприметные, безопасные пристанища на случай, если Дамаск не выстоит в осаде и воины Тимура ворвутся в город.

Но, покидая гостеприимный дворец, вельможи велели забрать отсюда все, что окружало их в дни пребывания: диваны, вделанные в стены, ковры, столики. От стен отдирали доски из кедрового дерева, покрытые перламутровыми узорами. Вековая пыль дымилась из-под досок. Диваны застревали на лестницах. Их разламывали, чтобы просунуть вниз.

Ибн Халдун приказал остановиться.

Слуги отбежали к стенам, а вельможи возвратились к историку, удивленные его властным гневом.

— Кто разрешил разрушать дворец?—спросил историк.

— Разве он не обречен на разрушение? — насмешливо возразил один из вельмож, каирский мамлюк.

— Чьим рукам обречен? — строго спросил историк.

— Тимуровым! Татаровым!

— Откуда тут Тимур?

— Откуда?! Войско ваше прибежало, кто уцелел.

Самодовольный мамлюк усмехнулся, разводя руками.

— Прибежал гонец не гонец, беглец не беглец. Все, кричит, изрублены, а татары догоняют, уже вот-вот войдут!

Другой вельможа напомнил:

— Это тех порубили, кого по вашему приказу на верную смерть выслали. А мы вас отговаривали. Да, отговаривали.

— А где же сам гонец?

— Мы его послушали, да и отпустили. На что он вам?

— Визирь здесь я! — начиная сердиться, напомнил Ибн Халдун.

— Вот и обороняйте город! Ваш долг. Вам поручено. Султан вам велел.

— А вы?

— Нам войск не оставляли!

— Боитесь? Прячетесь? Собрались сдать город? — строго спросил Ибн Халдун, спеша понять, как быть теперь, когда войско разбито.

— Но это воля аллаха!

— Аллах своей воли еще не выказал, почтеннейшие! Оставьте имущество здесь, а сами все прочь отсюда! Бегите, прячьтесь!

— Игрушки врозь!.. — кивнул на весь разбросанный скарб каирский знатный купец Бостан бен Достан, прибывший сюда с войсками, получив особое право на поставку мяса для войск. Один из всех, он не польстился что-либо потащить из дворца.

На это раздраженно и насмешливо откликнулся поджарый, как степной скакун, мамлюк, могущественный вельможа из близких людей покойного султана Баркука. И отвернулся, чтоб скрыть косую усмешку:

— Магрибец собрался преподнести Каср Аль Аблак хромому разбойнику!

Ибн Халдун, взметнув широкими рукавами, как крыльями, хлопнул в ладоши и приказал своим слугам схватить вельможу, столь могущественного в Каире, а здесь потерявшего разум, ибо никому не следовало за-

бывать, что султан Фарадж оставил здесь историка на правах визиря.

«Забыл, что и в Каире я был не только наставником султана, но и верховным судьей еще при покойном султане Баркуке, да упокоит его аллах в селениях праведников!»

Растерянно поглядев, как, без стеснения крутя мамлюку руки, слуги проворно поволокли его в заточение в дворцовый подвал, остальные вельможи, удивленные и присмиревшие, перешагивая через разбросанные повсюду сундуки, ковры и прочее добро, поспешили убраться от дворца подальше.

Ибн Халдун прошелся по примолкшим развороченным залам, где половицы уже не пели, как бывало, а визжали, скрипели, сдвинутые со своих гнезд, изодранные, избитые.

Ибн Халдун шел из покоя в покой, из горницы в горницу, глядя на все то, что эти люди смогли натворить тут за столь короткое время, пока он, по многолетней привычке, нежился на холоде под струйками теплой воды.

Потом он велел кликнуть сюда всех своих слуг со всего дворца и приказал возвратить на исконные места все, что было с тех мест сорвано и сдвинуто, а потом все вычистить, вытереть, чтоб всюду тут стало чище, чем было.

Когда же к вечеру ему, уединившемуся в книгохранилище, сказали, что, как смогли по всему дворцу все возвратили в прежний вид, он снова прошелся по прохладным тенеющим комнатам, глядя, как алые или золотисто-прозрачные сияния вечернего солнца на стенах колеблются от ветвей, качающихся на ветру за окнами.

Все тут было снова чисто и тихо. Тише, чем когда бы то ни было.

Он осмотрел все. Дойдя до лестницы, запер за собой дверь и спрятал ключ за пазуху.

Ту дверь, которую однажды он долго не решался отворить, теперь хозяйственно потолкал, чтоб проверить, крепко ли она заперта, и перешел в книгохранилище, где не спеша оглядел все полки, уверенно находя заранее примеченные книги и складывая их на полу среди комнаты. Наконец их собралось немало.

Слуги бережно увязали их в ковры и снесли во двор, где уже стояли лошади.

Ибн Халдун последним покинул дворец былых султанов, оставив у ворот надежных сторожей. Он переселился

в древнюю мадрасу Аль-Адиб, в уединенную келью, где прежде жил смотритель мадрасы мударрис Рахмат ибн Файз, суетливый, но бесполезный в такие дни. Келья хороша была: ее стены оказались толще, чем в других помещениях, а дверь узка, как щель. Некогда мударрис уединялся здесь, надежно отстраняясь от повседневных дел, всегда тягостных для человека, ищущего в жизни покоя и довольства, а не суеты и лишений. Мударрис втайне предавался здесь чтению книг, в те годы много переводившихся с греческого и дехлевийского и таящих соблазн для престарелых читателей, но пагубно влияющих на воображение юношей, изучающих целомудренные науки в стенах благочестивых школ.

Когда у выселявшегося из своей кельи мударриса Ибн Халдун уловил намерение унести отсюда и эти книги, историк воспротивился и воспрепятствовал:

— Оставьте их, почтеннейший, это ваша келья, и вы возвратитесь сюда, к своим стенам. Неужели вы не верите в наше желание сберечь Дамаск?

А оставшись один, углубился в драгоценные и многочисленные списки, из которых два оказались украшенными цветным художеством иранского живописца, сумевшего в изысканных золотых рамках изобразить такие же повседневные забавы, как у греков на розовом мраморе, хотя здесь играли не фавны с нимфами, а длинноногие юноши с коротконогими персиянками.

Книги, привезенные в эту келью из султанского книгохранилища, Ибн Халдун не велел развязывать. Тяжелые ковровые вьюки сложили в угол на случай, если вскоре придется их снова вьючить, ибо один аллах знает, что за пути предстоят человеку, но каждому смертному всегда надо быть готовым к любому пути, какой укажет аллах.

ГЛАВА XVII

СТАН

1

Лишь немногим было известно убежище Ибн Халдуна. Для дел он выезжал на базар и в древней римской базилике, в полутьме, усевшись на деревянный, грубо покрашенный помост, принимал людей, вершил суд, повелевал судьбой осажденного города. Осада длилась уже более месяца. Изо дня в день били по крепостным стенам каменными ядрами.

Тщетно!

Сюда приходили толпы жителей, прося оружия, уверенные, что никакие полчища не смогут преодолеть толщу и высоту стен Дамаска: если оставшееся войско и жители не поколеблются, стоя на высоте этих стен, никакой враг не перешагнет через такие стены!

— О! — уверял их Ибн Халдун. — Выстоим!

Но оружия он никому не давал, он никогда не видел ни в Магрибе, ни в Севилье никакого султана или правителя, доверяющего оружие простому народу, а один из учителей Ибн Халдуна говаривал: «Народ, завладев оружием, опасен сам для себя».

Сюда, в полумрак римской базилики на дамасском базаре, приходили и знатные дамаскины, чьи семьи жили в этом городе со дня его основания, хотя ни один историк не мог назвать время основания Дамаска. Пророки, о коих повествует Библия, и сами праотцы, от коих вели

свой род древнейшие из пророков, уже бывали в Дамаске, разорялись на его базарах и утешались в его вертепах.

Зажиточные дамаскины, зная, что нигде в мире нет другого Дамаска, что Дамаск один и здесь лежат кости предков и камни их очагов, твердо и строго допросили Ибн Халдуна, полномочного, как визирь, каирского верховного судью:

— Поклянетесь ли вы, господин, что Дамаск не сдастся татарам? Поклянетесь ли вы, учитель, что между жителями не появятся никакие смутьяны из подсылаемых снаружи, как заведено у татар? Будет ли назначена строгая кара всем, кто явится смущать наших защитников?

— Строгая кара! — пообещал Ибн Халдун. — Повесим среди базара. И прикажем бить в барабаны, чтоб все сбежались смотреть! И чтоб там тоже слышали, каково у нас их лазутчикам! Безо всякой милости!

Эти ушли успокоенными и уверенными. Вслед пришли другие дамаскины, из купцов, тревожащихся за свои склады; из ремесленников, желающих сохранить базар, дабы по-прежнему предаваться тут ремеслам, перенятым от праотцов. Каждый дамаскин готов был отдать себя, лишь бы сохранить здесь жизнь такою, какой она была во все минувшие времена.

Они не помнили, что во все времена жизнь тут менялась, что каждое нашествие изменяло Дамаск. Александр Македонец разорил, разрушил Дамаск после победы при Иссе. И жители заново и по-иному поставили свой город. А после многое было разломано римлянами, чтоб дать место таким вот базиликам и храмам, во утверждение язычества, когда Рим завладел миром. Иисус присылал сюда апостолов накануне побед, когда без оружия, единственно своим словом он подчинил себе, отняв у язычников, необозримый мир. Сам пророк Мухаммед сюда приходил и любовался окрестными садами, когда поднял зеленое знамя войны за всемирное торжество Корана. Чингисхан приводил сюда свои табуны и наполнил всю вселенную таким зловонием, что после его ухода так никогда и не удалось восстановить нежное благоухание храмов и мечетей былого Дамаска. Теперь явился и этот из степей Татарии. Тоже хочет владеть всем миром и тоже не может завладеть миром, не взяв Дамаск.

Они помнили только, что, какие бы полчища ни карабкались на стены Дамаска, какой бы ни бушевал здесь огонь, сколько ни пролилось бы крови, Дамаск бессмертен, сотворенный в один из первых дней мироздания. Между дамаскинами спор шел только о том, в какой из дней творения бог создал Дамаск, в тот ли, когда он отделил море от суши или когда была создана Ева из ребра человека.

И визирь Дамаска Ибн Халдун уверял дамаскинов:

— Мы отстоим сей дом мирных людей!

В прохладную базилику, где Ибн Халдун вершил суд, торопливо и шумно вбежал Черный Великан, как называли Содана.

Оттолкнув писца, побежавшего ему навстречу, Содан, крутя горячими вороными глазами, приступил к Инб Халдуну:

— Зачем разрешили вы уйти войску против Тимура?!

— Я не только разрешил: я потребовал. Пытался застать врага врасплох, ошеломить, напугать, отогнать от Дамаска.

— Завоевателю только того и надо: бить нас в открытом поле. Надо было запереться в городе, стерпеть осаду, и он ушел бы. Ведь всем видно: он крепок в поле, слаб перед стенами, я сам это видел в Халебе.

— Уже поздно об этом говорить. Мое желание не сбылось.

— Да, поздно: войско уже разбито. Жизнь — это не история! Идти можно, глядя вперед, а не назад. Я давно хотел сказать вам это.

В один из дней, переждав, пока уйдут прочие посетители, в обветшалую базилику к Ибн Халдуну вошел деловитой походкой, мелкими шагами неприметный человек в сером халате, плотно повязанный небольшой серой чалмой, какую носят караванщики, блуждающие по степным дорогам.

Он почтительно снял туфли при входе между колоннами, отряхнул спереди халат, словно он перед тем был осыпан крошками или остатками обеда, и, постукивая палочкой, подошел вплотную к Ибн Халдуну.

— Я плохо знаю язык арабов. Прости. Одно пойми: великий государь, справедливейший амир Тимур ждет тебя. Он знает: ты очень учен. Он хотел тебя видеть. Ты это понял?

— Кто ты? — испуганно, с возрастающим беспокойством, но и в каком-то томлении спросил Ибн Халдун.

— Купец. Живу здесь, в караван-сарае. Я сказал: жди меня в среду. Я приду на закате. Я покажу дорогу.

— Куда дорогу?

— О! К Повелителю!

— А кто ты?

— Я сказал. Помни: в среду.

Поклонился. Покорно и даже как бы обреченно. Постукивая по римскому мрамору арчовой палочкой, пошел, но вернулся сказать:

— Великий Повелитель уходит. Он хочет поговорить с тобой. — И, не дожидаясь ответа, ушел, уверенный, что никто не помешает его неторопливым, но и не медлительным, мелким, но целеустремленным шагам.

Ибн Халдун осунулся на своем месте.

Уверенность, с какой прислали ему приказ явиться в стан нашествия, мгновенно лишила его сил.

Он сразу вполне понял, что толщина стен, окружающих город или келью историка, ничего не значит, если так запросто ходят тут люди Тимура.

Странная, гнетущая, но и чем-то сладостная истома завладела Ибн Халдуном, как случалось в давние годы его жизни. Тогда это было вместе с ужасом и предчувствием счастья. Таким был день, когда после смерти родителей в год черной погибели, чумы, явившейся в Магриб через Испанию, вдруг его, осиротелого, вызвал султан и возвысил. Так бывало, когда, убегая от двора одного повелителя, он искал пристанища у другого. С таким ужасом и счастьем он стоял перед христианнейшим королем Педро Кастильским, который проникся расположением к магрибцу и предложил ему уйти от арабов на службу кастильскому двору. Он пошел бы. Предчувствия счастья влекли его к дону Педро. Но ужас возник в нем, когда он вспомнил предков, вышедших в Магриб из Хадрамаута, из счастливой Аравии, где еще за семь столетий до того они сражались за веру среди ближайших и первых соратников пророка Мухаммеда. Нет, он не ушел к дону Педро: историк отверг свое счастье, поддавшись боязни. Так привлекали его к себе, осыпая милостями, правители Феса, султан Туниса, а потом египетский мамлюк Баркук дал ему это славное счастье.

И теперь опять предчувствием и той же былой боязнью охватило душу Ибн Халдуна — боязно предстать перед коварным завоевателем, тревожно за судьбу людей, как ни досадуют они историка. Перешагнуть через крутой, как мраморное надгробие, новый порог жизни, за которым нет ни дворцов, ни городов, а неведомое пространство, сулящее неведомое бытие?

Нельзя понять, зачем он понадобился Тимуру. Но при мысли, что Тимур знает о нем, царедворец испытал такое предчувствие счастья, что само это предчувствие уже было счастьем. Ученнейшие люди во всех арабских странах, каждый из султанов и правителей этих стран и даже христианские короли знали Ибн Халдуна в лицо или по имени. К этому он привык. Но и неграмотный главарь кочевников наслышан о нем.

Ибн Халдун потупился. Предчувствия новой судьбы, как крылья, приподняли его над этой крашеной скрипучей скамьей, вознесли над облупившейся римской руиной. Тот вознаградит его за измену... Нет! Измена арабам была бы изменой самому себе, труду всей жизни. Но рассмотреть его, послушать его — это нежданная удача для историка.

Он не сразу разглядел очередных дамаскинов, вошедших к нему, а они сказали:

— Мы уже раздали оружие жителям.

Только теперь, вполне очнувшись, он в испуге встал.

— Кто раздал?

— Мы.

— Кто, кто?

— Оружейники Дамаска. Что нашлось в наших лавках, то и раздали. Не всем хватило: ведь мы, что закончим, сбываем. Надо взять еще из крепости.

— В крепости оно для воинов.

— Любой дамаскин, взявшийся за оружие, встает воином!

— Спрошу, есть ли там.

— Нас спроси! Оно от нас туда взято.

— Подождите.

— Мы не отдадим город!

— Не надо отдавать! — ободрил историк. — Тимур уйдет.

Приходили к нему утром. И днем. И на закате солнца. И никто не говорил: «Нам тяжело здесь. Надо сдать город!» Никто не сказал ему таких слов.

На закате он садился на своего гнедого мула и отбывал в уединение, в келью меж толстых стен Аль-Адиба.

Народ решил, не щадя своей жизни, сохранить жизнь Дамаска. Ту жизнь, какой она была только что, перед нашествием, — полной труда, мира, радостей в тесноте улиц, между стенами, родными с младенчества. И возглавлявший оборону Дамаска Содан говорил:

— Ни мы не выйдем из этих стен, ни Тимура сюда не пустим!

Не без опасения народ приглядывался к каирцам: не чужда ли этим пришельцам драгоценная жизнь Дамаска? Не без опасения приглядывался народ к старику, одетому в тонкий легкий магрибский бурнус, неслышно шагающему в мягких каирских туфлях.

Сам всю жизнь настороженный, недоверчивый, Ибн Халдун знал: посулами, поклонами, лестью можно завоевать милость и щедрость у султанов, но доверие и щедрость народа завоевываются только делом, ибо народ насквозь видит дела человека. Без поддержки народа Ибн Халдун в Дамаске остался бы один: мамлюкские вельможи возликовали бы при любом его промахе, а случись ему погибнуть, это было бы для них празднеством.

Так они и ходили, как львы по кругу, Ибн Халдун и дамаскины, навстречу один другому, но разными стезями, вокруг заветного сокровища, коим был Дамаск.

2

Когда после заката Мулло Камар увидел, что базилика безлюдна, мелко постукивая каблуками и палочкой по камням переулков, он пошел к мадрасе Аль-Адиб, пока еще не показались ночные караулы, как каждую ночь, окликать и оглядывать прохожего на каждом перекрестке.

Закат погас, но еще было светло, и хотя у сводчатых ворот мадрасы скопился всякий люд, Мулло Камар протолкался.

Сопровождаемый стражем, он прошел через двор до дверей кельи, где на его стук слуга выглянул из узкой

створки и скрылся. Вскоре он показался, кланяясь, и повел Мулло Камара по ступенькам к историку.

Ибн Халдун, не мешкая, встал навстречу неприметному купцу из Суганака. Рукой, украшенной кольцами, показал купцу на подушки:

— Садитесь, почтеннейший!

— Некогда. Пора!

— Ночью?! Но ведь вы сказали, Тимур уходит?!

— Когда мирозавоевательные войска Меча Справедливости кинутся на Дамаск, никто не скажет им: «Не касайтесь историка!» Когда вокруг засверкает оскал рока, как прикрыть вас? Кто уцелеет тут? А Повелитель пожелал видеть вас прежде, чем вы предстанете у порога всевышнего. Может быть, затем, чтобы сохранить Дамаск.

Ибн Халдун окинул взглядом келью. Угол, где остаются ковровые вьюки с книгами. Нишу с полкой, где за полосатой занавеской спрятаны книги о пристрастиях человеческих, а между ними и та изукрашенная персидским художником, над которой старик сокрушался о радостях, ускользнувших раньше, чем он о них узнал. А разглядывая многочисленные рисунки, уверял себя: нигде, никем не сказано, не написано, что созерцание греха есть грех.

— Не взять ли мне своих советников?

— Нет. Повелитель хочет видеть вас одного.

Опасливо поглядывая на Мулло Камара, склонившегося над ступеньками, ведущими из кельи во двор, Ибн Халдун ловко скрыл глубоко за пазухой тяжелые мешочки с накопившимся достоянием: золотыми динарами и ормуздским жемчугом — подношениями дамаскинов.

Поверх легкого халата он накинул широкий бурый шерстяной верблюжий бурнус с колпаком. Хотел было взять посох, но тут же отставил его в угол: если путь предстоит пешком, посох помог бы, но когда надо ехать верхом, посох станет помехой.

Мулло Камар, склонившись над ступеньками, ведущими вниз, не смотрел на историка, как бы и не заметил его колебаний над посохом.

Так и не оглянувшись, он пошел впереди вниз во двор, а когда при выходе со двора у ворот Ибн Халдун повернулся к конюшне, где залег на ночь его гнедой мул, Мулло Камар сказал:

— Сегодня мул не нужен. Идти недолго.

— А надолго ли?

— Повелитель не любит длинных бесед.

Уверенно минуя перекрестки, где уже встали караулы, Мулло Камар шел по Дамаску, словно ходил тут всю жизнь. Через какие-то проходные дворы, через каменные галереи, уцелевшие от византийского рынка, он шел, а Ибн Халдун едва поспевал за ним, глубоко надвинув колпак на голову, не встретив никого, кто мог бы окликнуть и пожелал бы узнать их.

Они дошли до тех древнейших ворот города, сложенных, будто великанами, из огромных глыб, где наверху безмолвствовали чьи-то жилища и куда, по преданию, пришел апостол Павел, поднявшись в закрытый город снаружи по выступам стены.

Когда они вскарабкались по каменной крутизне на верх ворот, из-под низкого свода вышло трое рослых мужчин с лицами, неразличимыми в темноте, и, пропустив Ибн Халдуну под мышки колючий волосяной канат, подвели историка к другому краю стены.

Если б случилось это днем, от высоты закружилась бы голова историка, а теперь, хватаясь за уступы в стене, срываясь, повисая на канате и снова ухватываясь за уступы, может быть за самые те, где карабкался апостол Павел, он долго опускался, так долго, что только тут и понял, сколь высока эта стена.

Но едва он это понял, как неожиданно нога его уперлась в твердь, канат ослабел и обеими ногами Ибн Халдун стал на землю, а канат, завершив свое ночное дело, бесшумно уполз наверх.

Он подождал, вглядываясь в непроглядную тьму.

Вскоре из тьмы выступило трое столь же рослых воинов в островерхих шлемах и с ними очень худой суетливый человек, заговоривший по-арабски.

Ибн Халдуна повели по узкой скользкой тропе сперва по краю рва, а потом между тесными рядами шатров или юрт, через весь стан, обширный, как город. Мимо костров, где сидели воины, вооруженные или мирно развалившиеся в широко распахнутых халатах. Одни в шапках, другие — открыв бритые головы, с косами, свисающими с макушек на плечи, узкоглазые и темнолицые и совсем светлые с круглыми глазами. Все это брезжило из тьмы в озарении и вспышках костров, как длинный строй дьяво-

лов, равнодушных к прохожим, ибо за свою жизнь на все насмотрелись вдосталь, и теперь более занятых куском мяса, пекущимся на костре, чем стариком в буром бурнусе, которого вели мимо. Вели, может быть, затем, чтобы обезглавить, как тут по многу раз на день случалось изо дня в день.

Его привели в темную палатку. Внесли глиняный светильник. Фитиль больше потрескивал, чем светил.

— Что это? Меня позвали к ковру амира Тимура, а привели куда?

— Повелитель позовет вас, отдыхайте, — ответил переводчик.

— Здесь?

— Так отдыхают наши военачальники.

— Я лучше похожу до утра у себя, а утром вернусь сюда.

— Дороги назад нет: кто из дамаскинов пустит вас к себе, когда вы отправитесь туда отсюда? Стрела вашего Содана пронзит вас раньше, чем вы дойдете до городской стены.

— Я в ловушке! Пленник?

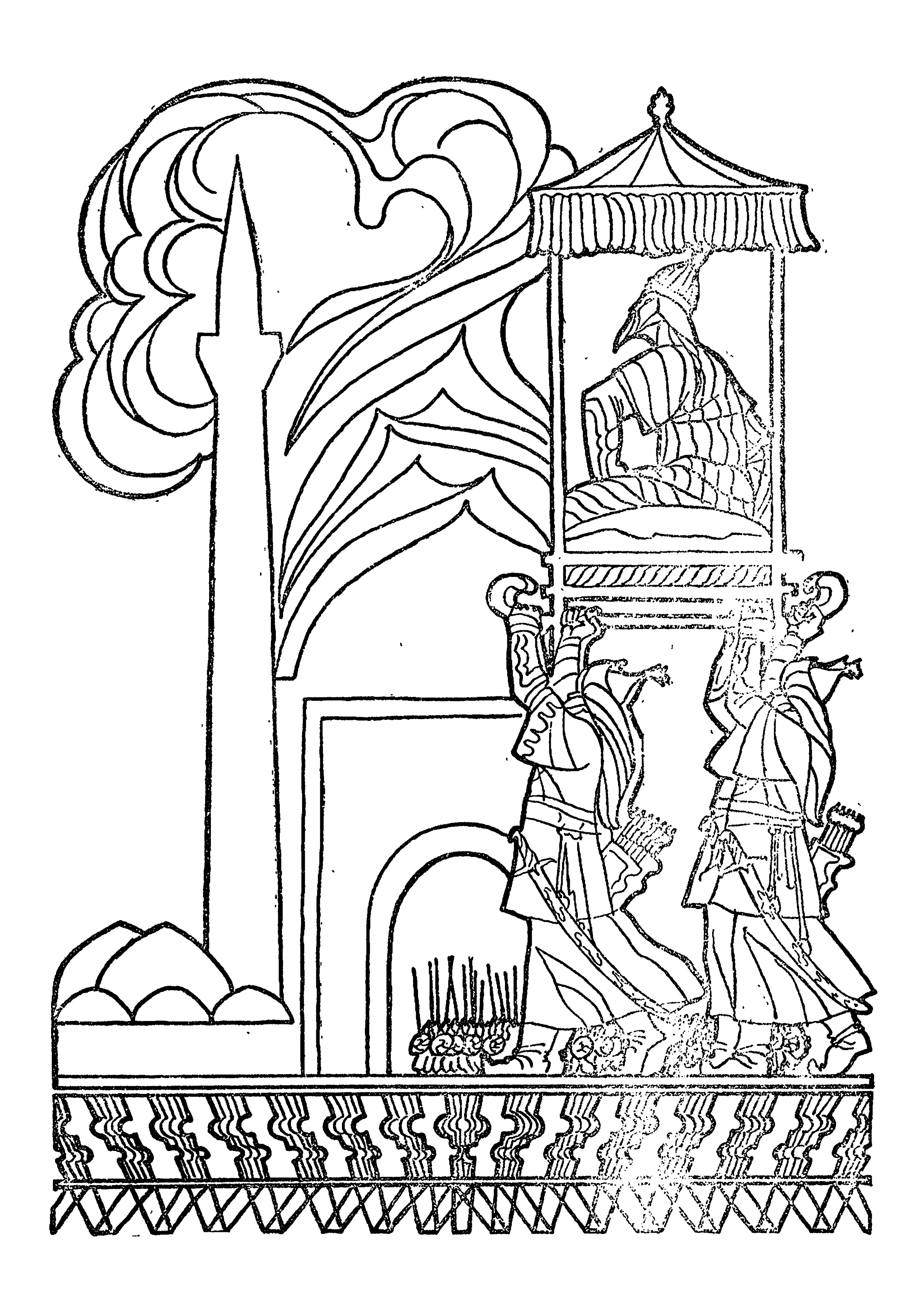
— Повелитель один может сказать, кто есть вы.

Ему показали постель. Он слушал и обонял сквозь тьму дыхание воинского стана, такое же, какое он знал в Магрибе и в Испании, когда был моложе. Но тогда звуки и запахи, казалось, были острей.

Чья-то лошадь сорвалась с прикола и протопотала рядом за отворотом палатки, за ней побежали, перекрикиваясь. В одной из соседних палаток сквозь сон ли вскинулся какой-то мальчишеский вскрик или девичий. Неподалеку хрустели, грызя зерно, лошади. Проходили, постукивая мечом о щит, караулы. И ото всех этих вздохов, вскриков, стуков только гуще ночь и тревожнее сон.

Он лежал в тяжелой дремоте, но на рассвете встал неотдохнувшим.

Однако в этот день, в четверг, ему показали места, где воины мылись, места, где шла торговля всякой всячиной, завезенной с городских базаров, добытой в Халебе, перепродающейся из прежних добыч. Перстни с камнями, золотые и серебряные, снизки жемчугов, связки сафьяна, зеленого, багряного, тисненного золотом, свежие рабыни из недавних поимок, седла, обитые шевром и золотыми



гвоздями, простые сапоги и свитки полупрозрачных пергаментов, чистых, как детская кожа. Одна пленница продавалась с браслетом, который давно был накован на ее руке и теперь не снимался. Все понимали, что браслет

стоит намного дороже пленницы, и прикидывали, не дороговато ли достанется браслет при такой покупке.

Ибн Халдуну приносили еду, обильную, сытную, от сотника, в чьей палатке он ночевал. К нему приходили побеседовать неведомые ему грамотеи, называвшие себя именами, каких он никогда не слыхивал. А они садились, переглядываясь и пересмеиваясь между собой:

«О нем говорят — ученый. А он даже наших-ваших книг не читал!»

И, молча посидев перед историком, чтобы он мог на них насмотреться, они вставали и снисходительно откланивались. Только один из них знал арабский язык, пришел он один, он знал книги арабов, ибо в свободные вечера его призывал Повелитель, и он ему переводил сочинения арабских историков, географов, врачей.

— Каждый свободный вечер, если не страдает от болей в ноге, он слушает чтецов или переводчиков.

— Где вы так усвоили наш язык, почтеннейший?

— Я родом из-под Бухары. У нас там целые деревни заселены арабами. Со времен Куссам ибн Аббаса. В нашей деревне даже ученый лекарь родился. Может, слышали, его звали Ибн Сина.

— Однако выговор у вас племенной, а не книжный.

— Когда читаю, я понимаю все книги: я учился в Бухаре.

— Имя у вас тоже арабское, почтеннейший?

— Мусульманское: Анвар бен Марасул.

— И вы понимаете смысл своего имени?

— А как бы истолковали его вы, господин?

— Анвар — это озарение, имя же вашего отца — посланец. Прекрасны оба имени. Однако я здесь брожу весь день, но доселе не озарен вниманием Повелителя.

Бухарец промолчал. Вскоре он встал и, почтительно кланяясь, почти с порога сказал:

— Свойства народов вы приписываете влиянию погоды в тех странах, где они постоянно живут.

— Я обрадован, что вам известны мои мысли.

— Я не встречал нигде подобных мыслей. Кто-нибудь это замечал раньше вас?

— Нечто подобное. Об этом писали греки. Но они вникали в это как лекари, а я — как историк.

Анвар бен Марасул поклонился, пятясь к порогу, но прежде, чем переступить порог, строго сказал:

— Греки — язычники!

И сплюнул.

За весь день, кто бы ни приходил сюда, никого не было, кто упомянул бы о Повелителе. А если историк, не спрашивая, только заговаривал о Тимуре, собеседники смолкали и торопились уйти.

Так прошел весь этот день.

Ибн Халдун многое видел. Многое приметил. Многим был удивлен, а то и встревожен. Это был мир, лишь ночью по дыханию и по запахам напоминавший мир Магриба, но по сути иной. Совсем иной.

Четверг прошел. Опять сгустилась ночь. Повеяло холодом с гор. Пришлось укрываться толстым бурнусом из верблюжьей шерсти.

Перед рассветом из разных мест просторного стана заголосили азаны, призывая верующих к пятничной молитве. Ибн Халдун быстро встал: накануне, в четверг, он не слышал этих призывов.

Заглушало ли призывы азанов повседневным гулом походной жизни, но тут не было того порядка, как в войсках арабов, прерывавших битву, если наступал час молитвы. Здесь не соблюдали правил столь строго, даже в повседневном безделье осады. Но каждый, кого вера влекла к беседе с аллахом, к раздумью о самом себе, сам, без призыва, в урочный час опускался на колени, расстелив коврик или попону между шатрами. Вчера, в четверг, они молились врозь, каждый у своего шатра или внутри шатра, а теперь протянулись длинными рядами поперек всего стана, обратясь лицом вдоль той дороги, по которой шел поход, — эта дорога через Дамаск вела к Мекке. Ряды молящихся поглощала тьма, сгустившаяся перед рассветом. Вместе со всеми обратясь в ту сторону, Ибн Халдун вдруг вспомнил дни, проведенные там в паломничестве. Там тогда его окружал покой, он был убежден, что вся суета и все тревоги, прежде раздиравшие его, отошли навеки. А вышло, — нет, не отошли. И неведомо, что сулит ему грядущий день или дни последующие: он стоит у нового порога в неведомое бытие, а день едва лишь

брезжит сквозь неприветливую мглу весеннего рассвета.

И наступило утро.

Расстелив перед юртой коврик, Ибн Халдун постоял на второй молитве. Молитва его умиротворила, смягчив тревоги.

Поэтому он не вздрогнул, когда увидел возле себя Анвара бен Марасула с двумя великанами в лохматых шапках, обшитых зеленой тесьмой.

— Подготовьтесь, почтеннейший. Мы проводим вас до ковра Повелителя Вселенной.

Привычно одеваясь, Ибн Халдун привычно подавлял волнение. Много раз случалось за долгую жизнь так же собираться, не ведая, каков порог, вставший перед ним, и какова судьба там, за порогом.

Он надел тонкую легкую шелковую одежду, ниспадающую мягкими складками, того красновато-серого оттенка, каким бывает поздний весенний вечер, час накануне покоя и тишины.

Это была драгоценная одежда из редкого привозного шелка. А чтобы она не привлекала праздных взглядов, сверху он набросил все тот же широкий верблюжий бурнус, под которым проспал ночь, ежась от холода.

Посоха не нашлось, но и без посоха он пошел той особой величественной поступью, как надлежит ходить ученым людям по путям, полным встречных невежд.

Однако поступь, возвышающая человека при дворах и в садах просвещенных султанов, тут оказалась тягостной — от палатки историка до небольшого белого рабата, где пребывал Повелитель, дорога была длинна.

Старинный рабат, сложенный из четко отесанных светлых плит, стоял в долине, обособясь от стана и возвышаясь над строгими рядами воинских шатров. Светлый рабат, где, по преданию, жил французский король Людовик VII, пытавшийся взять Дамаск, но Дамаск устоял.

Вход в рабат завесили широким черновато-алым текинским ковром.

Место между станом и рабатом, целое поле, оказалось все застелено коврами. На коврах сидели бесчисленные военачальники в дорогих доспехах, вельможи в столь же драгоценных халатах, какие-то юноши в радужных шелках, кивая длинными перьями, воткнутыми в голубые чалмы.

И все сидевшие на коврах чутко следили за текинским

ковром, откинутым с краю, откуда выносили одно за другим блюда со всякой едой.

Слуги выносили блюда на вздетых кверху руках, как бы всем напоказ. И те, кому подносили эти блюда, вставали, кланялись друг другу, поздравляя, и наперебой хватались за края блюда, дабы бережно поставить в свой круг.

Это посылал им сам Тимур от своего обеда в знак милости.

А те, кому еще не принесли блюда, сидели смиренно, переглядываясь как бы с сокрушением и тревогой, хотя наметанный глаз магрибского царедворца примечал притворство тех переглядов, игру в смиренность: «Видно, мол, мои заслуги ничтожны, если Повелитель не торопится кинуть мне кость своей рукой, ничтожен я, ничтожен я...»

Вступая на путь между этими праздничными людьми, Ибн Халдун сбросил верблюжий бурнус, сдав его одному из воинов, и, отряхнув шелка одежды, где красновато-серое сочеталось с чисто-белым, пошел еще степеннее, чем случалось проходить во дворцах Гранады или Кейруана.

Задолго до входа в рабат историка встретили неведомые ему вельможи и через случившихся тут же переводчиков высказали Ибн Халдуну добрые пожелания.

Когда подошли к рабату, некоторые из вельмож, встречавших Ибн Халдуна, ушли узнать, пожелает ли Повелитель Вселенной видеть ученого араба. Ибн Халдун заметил, сколь прекрасно это место, облюбованное для местопребывания Рожденного Под Счастливой Звездой, как именовал Тимура некий самаркандский льстец, за это возведенный в историки.

Отсюда простирались сады. Ручей сочился между кустарниками, пробиваясь к реке. Некогда этим местом любовался сам Мухаммед, пророк аллаха, и велел навеки записать об этом. И теперь эта запись явилась пророчеством для Ибн Халдуна, приведенного на то же самое место, где стоял пророк, ибо едва ли тут нашлось бы другое место для Мухаммеда, более привлекательное и удобное, чем то, где ныне белеет рабат. Да и не в этом ли рабате останавливался сам пророк, ибо нигде поблизости другого рабата не видно.

Канонические предания, вспоминавшиеся здесь историку, незаметно смягчили его тревогу, успокоили его.

А вельможи Тимура, поглядывая узкими глазами, полагали, что он обдумывает ответы Повелителю: ведь каждый из них привык являться на зов Тимура, с ужасом гадая, зачем был призван. Но Ибн Халдун не готовил ответов, ибо, как ни напрягал разум, не мог предугадать, о чем будет спрошен.

Когда Ибн Халдун услышал свое имя, громко сказанное человеком, не привыкшим к арабскому языку, историк на какое-то краткое мгновенье опоздал понять, что это и есть его имя.

Только по глазам окружающих его вельмож он догадался, что его позвали в рабат.

Он увидел Тимура.

— О амир! Мир вам! — воскликнул историк.

Тимур, опершись на локоть, привалился к кожаной подушке и смотрел на вошедших.

Слуги подносили ему блюда с различными кушаньями, но при входе гостя они остановились, держа блюда на вздетых руках.

Мимо них Ибн Халдун приблизился к Тимуру, и Тимур протянул к историку руку. Ибн Халдун поцеловал руку Тимура. Тимур пригласил Ибн Халдуна сесть. Подогнув ноги, историк сел.

Движением бровей Тимур подозвал одного из людей и указал ему сесть около Ибн Халдуна.

Этот оказался законоведом хуруфитского толка. Он владел и фарсидским, и арабским.

Ибн Халдуну показалось, что этого переводчика-хуруфита где-то он встречал. Эти глубокие, как прорези, впадины на щеках, глаза, запавшие под лоб так глубоко, что лоб казался козырьком византийского шлема над глазами.

Видел его, но не теперь, не в Дамаске. А где же еще он мог его видеть?

Хуруфит говорил на арабском языке на сочном багдадском наречии и не смотрел на Ибн Халдуна, однако чутко улавливал каждое его слово.

Ибн Халдун, наслышавшись о склонности Тимура к истории, ожидал расспросов о своих книгах.

Тимур спросил о другом.

— Много путей пройдено вами по дорогам Магриба,— сказал Тимур. — Я слышал.

— Каждый человек проходит лишь те дороги, которые ему предназначил аллах.

— Я еще не прошел по Магрибу. Значит, аллах мне не предназначил?

В этих словах историку почудилась угроза.

— Но кто знает предназначения аллаха! — выскользнул из-под вопроса историк. — Никто не знает. Хотя каждому надо быть готовым к ним.

— Кто же может готовиться, не зная, чего потребует от него аллах? — лукаво спросил Тимур, уверенный, что загнал историка в тупик.

— Аллах заведомо дает знать людям, побуждая в них влечение к тем или иным делам. К тем или иным путям. А потом подвизает человека на эти дела, направляет на эти пути. Человек только должен прислушаться к влечениям, какие влагает в него аллах, и следовать этим влечениям, славя аллаха.

— Весомые слова! Но мне надо подробно знать эти пути, ибо меня влечет к ним! — твердо сказал Тимур.

— Чем эти пыльные пути могут привлечь великого человека? — удивился историк.

— Мне надо выйти на берег океана, где кончается мыслимый мир, где аллах положил предел путям человека.

— Но там живут только бедные люди в тяжком труде над бесплодной землей! От них нечего взять.

— Бывает полезно взять не от людей, а самих людей, если аллах просветил их знанием или ремеслом.

— Бедные берберы бродят среди колючек пустыни, озираясь, чтобы их не растерзали львы. И это вся их жизнь.

— Озираясь на львов, они построили Фес и перешагнули в Кордову! Бродя среди колючек, воздвигли дворцы и в бесплодной пустыне подняли мраморные водометы!

— Из этих слов можно сложить стихи! — торопливо похвалил Ибн Халдун с умелым восхищением, вдруг догадавшись, что Тимур хорошо знает дорогу до океана и теперь только испытывает, можно ли верить историку.

«Однако все ли он знает?» — колебался Ибн Халдун.

А пока они говорили, слуги одно вслед за другими подавали блюдо за блюдом.

И вдруг Ибн Халдун так резко узнал хуруфита, что даже вздрогнул: это был тот человек, которого султан

Баркук отпустил к Тимуру, чтобы Тимур узнал, как Баркук наказал посла за дерзость.

«Но помнит ли он меня, как я стоял справа от Баркука в ряду законоведов? Я стоял, когда убивали посла. Помнит ли меня хуруфит, узнал ли?..»

Хуруфит бесстрастно переводил, не глядя на историка.

Тимур ничего не ел. Не прикасался к блюдам. Все, что предлагали ему, он отсылал наружу, гостям, заполнявшим поле перед рабатом.

Наконец он резко поднял голову:

— Мне надо знать эти пути. И вам надлежит описать их. Подробно! Чтобы, слыша вас, я видел Магриб ясно, будто сам там побывал.

— Ваше желание соответствует воле аллаха! — привстав, поклонился историк.— Повинуясь вам, я повинуюсь воле аллаха.

— Милостивого, милосердного! — подсказал Тимур и из поднесенных блюд задержал чаши с лапшой, приказав поставить их между ними.

Хотя без ложки было непривычно есть похлебку, однако Ибн Халдун по опыту своих скитаний между берберами догадался, как это делать.

Лапша оказалась наваристой, душистой от приправ и овощей, но пресноватой. Однако он быстро опустошил чашку и похвалил:

— Ах!

Это понравилось Тимуру. Он велел поставить им и другое блюдо, явно нравившееся ему самому, — фазана, запеченного в рисе.

Отведывая, оба выражали друг другу удовольствие от такого замечательного кушанья. Но ни о чем другом не говорили.

Оба за едой украдкой присматривались друг к другу. Но когда Тимур замечал, что историк поднимает глаза, чтобы взглянуть на него, он поспешно опускал глаза к фазану. А когда Ибн Халдун ловил на себе пытливый, пронзительный, как удар стрелы, взгляд Тимура, он умело делал лицо улыбчивым, приятным для собеседника, придавая своим морщинам благообразие и мягкость. Долго глаза их не встречались, и, похваливая фазана, умело приготовленного кабульскими поварами, каждый высказывал это как бы самому себе, а не собеседнику.

На этом закончилась их первая встреча.

От Тимура его повели уже не в прежнюю палатку, а в новый шатер, накрытый плотной полосатой шерстяной тканью, не пропускавшей ни дождя, ни зноя. Пол застелили коврами и постель покрыли теплыми одеялами.

Глядя на это, Ибн Халдун понял, что его не намерены отпускать в Дамаск.

Он понял, что понадобился Тимуру, дабы проверить путь через все города Магриба, а может быть, и до Кастилии!

Но это будет путь уничтожения, гибели всего, что создано арабами за восемь веков со времен пророка Мухаммеда. И своими руками историк прочертит этот путь по руинам родины!

Тимур предупредил или только проговорился, что уже знает Магриб. Любой караванщик мог ему начертить любую дорогу, но не каждый караванщик знает, где хранятся главные ценности народа — его знания, его заветные сокровища.

Надо было обозначить все дороги, но миновать тот путь, который ведет к душе народа.

3

В субботу утром перед историком снова возник Анвар бен Марасул и принес листы александрийской бумаги, наточенные тростнички в серебряном пенале и серебряную, украшенную бирюзой чернильницу, где лежал пучок пакли, пропитанный коричневатыми чернилами.

Все это подношение Анвар бен Марасул сперва показал Ибн Халдуну, чтобы он оценил, сколь все это добротно.

Ибн Халдун попросил поискать ему писца с быстрым и разборчивым почерком.

Анвар вызвался сам и, поспешив, возвратился со своими пеналами, чернилами, со своей бумагой.

Ибн Халдун заговорил, удобно сев, перебирая пожелтелые костяные четки, припоминая дороги от Александрии до Рабата.

Одни из дорог шли берегом моря, и старик вспомнил многие радостные места, где так счастливо жилось ему в юные годы.

Вспомнил дорогу через Кейруан, где велики святыни

для верующих и весьма изобильны караван-сараи для путников.

Вспомнил латаные паруса быстрокрылых кораблей за причалами острова Джербы, где в былой карфагенской крепости среди мраморных стен ютятся пираты, деля добычу и взимая дань с кораблей, приходящих с моря.

Вспомнил мир юности и, говоря о дорогах, не раз еле сдерживал рыданья: как счастлив там был! Как счастлив! В те годы много раз лишь случай сохранял ему жизнь, а бедствия, разорения, бегства, вся пережитая горечь тех лет казались ему теперь, сквозь жемчужный туман времени, розовыми минаретами между серебряными облаками.

Он говорил сквозь слезы, а писец быстро записывал, ибо вслух Ибн Халдун называл только города, селенья, крепости и дороги между ними. И он сжимал губы, когда вспоминал самое дорогое для народа — его святыни, его книгохранилища, его сокровищницы. К таким местам он не назвал путей, словно запамятовал, словно эти места недостойны памяти.

Прошло немного дней. Еще Ибн Халдун не успел досказать писцу этот дорожник по Магрибу. День ото дня он диктовал медленнее, порой задумываясь, и, закрыв глаза, что-то припоминал. Получался дорожник по всей долгой жизни историка. Он стал осмотрительней и порой не знал, где остановиться, что назвать, о чем умолчать. Так хотелось вспомнить, что от Габеса в пустыню уходит неприметная тропа, по которой можно дойти до источника, обросшего пальмовой рощицей. И там черные шатры и небольшая белая-белая мечеть, где он был счастлив. Но зачем называть эту рощу, где притаится народ в случае нашествия? Пусть никто не узнает об этой тропинке через пески, кроме тех, кто уйдет по ней к спасению, а хотелось назвать это место, ведь и Габес мил ему только из-за той тропинки, уводящей через пустыню к тенистому оазису.

А неподалеку от Барды в развалинах карфагенской дачи уцелели подвалы, где прежде язычники выдерживали вино. Путь в укромное место неприметен для чужеземцев, и при нашествии многие ценности будут укрыты там. Нет, нельзя назвать это место. Многое надо понять прежде, чем назвать то или иное место, ведь, написав, вычеркнуть уже ничего нельзя, писец спросит:

«Зачем? Если такое место есть, зачем вычеркивать?» И его нечем будет переубедить.

Когда дорожник записали едва до половины, историка позвали к Повелителю.

Было утро. Уже не раннее, пасмурное. В день оно еще не перешло. Дуло сырым, еще ночным холодом, и не видно было, что распогодится.

В прошлый раз он шел туда с любопытством и волнующими предчувствиями, теперь — с тревогой. Теперь он шел, пытаясь угадать, о чем его спросит Рожденный Под Счастливой Звездой. Теперь, как те вельможи, он не мог одолеть страха от бессилия угадать: зачем он понадобился там в неурочное время?

Он шел, тяжело переступая, через поле, где нынче, в будний день, не было ни ковров, ни гостей. Только стояло много лошадей, и не на приколах, а на смыках. Влажные холодные ремни смыков из десяти поводков держал один воин. Так держат лошадей, когда собираются вот-вот в дорогу.

Из-за лошадей Ибн Халдун не сразу увидел вход в рабат Повелителя, а то еще издалека среди людей, толпившихся перед ковром, узнал бы пятерых из каирских мамлюков, вельмож султана Фараджа.

Они, окруженные людьми Тимура, стояли парадные, праздничные, чванно подняв подбородки в чаянии высочайшего собеседования с Повелителем.

Их не беспокоила задержка перед глухим ковром, молчание в ожидании: их сюда позвали, они не напрашивались.

Но вдруг они встрепенулись в смятении, в растерянности: их ожгло страхом, когда увидели тяжелую, спокойную поступь Ибн Халдуна. Много говорили и шептались по всему Дамаску, обнаружив исчезновение визиря. Был слух, что он убит, но спорили — дамаскинами ли из ненависти к каирцам, Тимуром ли из ненависти к дамаскинам. Но что его нет в живых, было каждому ясно, ибо, если бы был жив, не ушел бы от своей кельи в мадрасе Аль Адиб, когда все его неприкосновенные вьюки оставались там.

И откуда теперь он явился сюда, проходя через татарский стан, как через свое магрибское владение, уверенно и сановито?

Мамлюки, кланяясь ему, стыдливо прикрывали на се-

бе ладонями драгоценные наряды и украшения — золотые пряжки на поясах, сверкающие разноцветными огнями камней перстни на пальцах.

Когда Ибн Халдун прошел ко входу, степенный широкобородый барлас, пойдя впереди Ибн Халдуна, крикнул внутрь шатра имя историка.

Не дожидаясь отклика, барлас откинул полу ковра, и следом за ним вошел Ибн Халдун, а следом за Ибн Халдуном впустили оробевших мамлюков.

Тимур сидел в высоком легком кресле, обитом зеленой кожей, в красном праздничном халате, какой он надевал редко. Кресло было высоким: когда вошедшие, и среди них рослый Ибн Халдун, остановились, Тимур, сидя в том кресле, оказался с ними вровень. Он часто наклонялся, чтобы потереть ногу, нестерпимо разболевшуюся от сырой погоды.

Он показал им сесть, кивнув Ибн Халдуну на место между собой и мамлюками. С другой стороны опустились на колени переводчики. Теперь Тимур сидел высоко над ними.

— Мир вам, о амир! — воскликнул Ибн Халдун, скользнув по бороде ладонями.

— И вам мир! — милостиво ответил Тимур, не отнимая ладони от больной коленки.

Наступило молчание.

Тимур ждал, глядя на мамлюков.

Понимая, что больше молчать нельзя, кося глазами не на Тимура, а на историка, старший из них заговорил:

— О великий государь! Справедливейший! Милостивейший!..

— Милостив един лишь бог! — прервал его Тимур.

В этом было его предупреждение: «Милостей не обещаю!»

Мамлюк его понял, сбился с продуманной речи и, видно уже сам себя не слыша, досказал:

— Раскрываем перед вами ворота Дамаска!

— Кто раскрывает?

— Мы приказали нашему войску не противиться вам.

— А вы дадите двести тысяч золотых динаров, чтобы заплатить за наши труды при вступлении в город, как я вас о том предвозвестил?

— От купцов Дамаска, ожидающих неприкосновенности, мы за эти дни собрали только сто тысяч.

— Где же они?

— Мы храним их у верных людей в мечети халифа Валида, в сокровищнице.

— Сто тысяч — слишком тонкая стена, ее станет ли, чтобы заслонить всю слободку купцов? Тонка такая стена! Я сказал: двести!

— Но у них этого нет!

— Это Дамаск! Если я скажу — триста, завтра они найдут и триста. Купцам нужна защита, чтобы уберечь остальное.

— Купцы Дамаска пришли с нами. Они ждут снаружи.

— Впустить купцов! — приказал Тимур.

Теснясь в попытке заслониться один другим, купцы вошли и поклонились Повелителю.

Он не предложил им сесть, но стремительно, как в битве, оглядел их всех.

— Хотите уцелеть?

— О Повелитель!..

— И с семьями?

— О!

— И сохранить имущество?

— О аллах! Еще бы!

— Триста тысяч динаров. Найдете?

— Откуда бы! И так тяжело!

— Это сто-то вам тяжело?

— Не сто, великий Повелитель, мы собрали двести.

— Где эти двести?

— Вручены сим благочестивым властителям из Каира.

— Каирцы! Как же вы сказали — сто?

— Запамятовали.

— Сколько же динаров прибрано в мечети?

— Сто тысяч! — ответил старший мамлюк.

— А еще сто вы разделили между собой? Хотели обсчитать меня?

Мамлюки молчали, слыша, как все в них слабеет, как все в них опускается.

Тимур обратился к Ибн Халдуну:

— Это ваши соратники?

— Только попутчики в походе!

— Что вы о них сказали бы нам?

— Лжецам не должно быть снисхождения. О амир! Можно ли лгать перед лицом великого провидца, пронзи-

тельным взглядом проникающего сквозь суть вещей и сквозь разум собеседников!

— Их нельзя казнить, пока они не признаются, куда скрыты остальные сто тысяч. А если они скажут, казнить их будет не за что!

Старший из мамлюков кинулся лбом вперед к ножкам кресла.

— О милостивый!.. Они все в одном месте.

— Не успели разделить?

— О милостивый! Возьми их. Они там же, в тайнике у халифа Валида, в Омейядской мечети.

— Кто из вас знает место тайника?

— Ключ вот у него! — показали они на человека, сидевшего чуть позади остальных.

— Вот он и останется отдать их нам. С вас же эта вина снята, что скрыли от меня золото. Но ваш спутник, славнейший ученый Абдурахман Вали ад-Дин бен Халдун, здесь назвал вас лжецами. А лгали вы мне, а я не прощаю лжи, ибо сам чужд ей. Потому не за золото, а за ложь вам четырем отрубят головы. Вы же, купцы, пойдите, сами посмотрите, как этим каирцам отрубят головы, и подумайте, не вернее ли будет отыскать ту третью сотню тысяч, которая укроет от бедствий войны вас, и жилища ваши, и скарб ваш, и жен ваших. Пойдите. Посмотрите... И скажите, найдете ли...

У мамлюков не было сил выйти, они было поползли к выходу, но их бодро подхватили под локти и выволокли.

Ибн Халдун не взглянул на них. Он был удивлен и восхищен памятью Тимура, так твердо запомнившего нелегкое имя ученого.

Вскоре же загромыхали барабаны, коими принято ободрять палачей и заглушать возражения казнимых.

— Четверо лжецов — невелика цена за купеческую щедрость! — сказал Тимур Ибн Халдуну.

— О амир! Я дивлюсь вашей мудрости.

Переводчики, стоя на коленях, привычно, бесстрастно переводили все это, когда оставшийся каирец на хорошем фарсидском языке сказал:

— Так им и надо!

— Откуда ты знаешь этот язык? — удивился Тимур. — Ты же промолчал все это время!

— Я не мамлюк. И не араб. Я персидского рода. Обжился в Каире. Обжился, но персидского рода. Я купец. Я тут невзначай с ними. Помилуй бог!

— Я давно его знаю! — сказал Ибн Халдун. — Хороший человек. Его зовут Бостан бен Достан. Он из моего Файюма.

— Почему они тебе доверили свое золото?

— Они все знают, я не столь жаден, как они сами. Жаден-то жаден, а все ж не столь.

— Ступай. Спроси себе лошадь и жди нас. С нами поедешь в Дамаск. В эту мечеть. И вы, учитель, с нами!

— О амир! Я ликовал в предчувствии дня, когда Дамаск будет озарен вашим вступлением!

— Я наказал лжецов, но я не люблю и льстецов.

— Но у меня есть доказательство этим словам!

— Есть?

— Вот ключ от дворца Каср Аль Аблак. Он подготовлен мною для вас.

Ибн Халдун, как факир на базаре, выхватил из-за пазухи бронзовый тяжелый ключ и на сомкнутых ладонях почтительнейше поднес его Тимуру.

— Я люблю подарки! — кивнул Тимур. — Но самый дорогой — это когда человек подтверждает свои слова. Я люблю правду. В правде — сила.

— Но и в силе правда! — ловко подсказал Ибн Халдун, зная этот девиз Тимура.

Еще не успели смолкнуть зловещие барабаны, как в шатер вошли торопливо и уверенно, как входят с большой вестью, тот широкобородый барлас и другой из военачальников Тимура, говоря:

— О великий государь! Весть, весть!

Тимур, мучительно в это время растиравший ногу, сразу забыл о боли, поднял посветлевшее лицо, слушая.

— Ворота Дамаска раскрыты. Городские власти вышли из города к нам заявить о сдаче.

— Несите меня! — заспешил Тимур.

В шатер вошли воины, подхватили кресло, в котором сидел Повелитель, и оказалось, что кресло это особое: у него были ручки, как у носилок, и воины понесли Тимура, сорвав с двери ковер.

— Сопровождайте меня, учитель! — сказал Тимур Ибн Халдуну.

И тут же, заглушая барабаны палачей, заревели огромные медные трубы — карнаи. Запели дудки, и уже иные барабаны забили тот размеренный лад, как будто шагает могучее войско.

Поле перед рабатом все было заполнено всадниками. Все те, что в пятницу прохлаждались здесь на коврах, теперь восседали в седлах. Не осталось свободных лошадей, кроме той, которую подвели Ибн Халдуну.

Он поехал позади военачальников, вельмож, царевичей, следовавших за носилками.

Тимура несли так высоко, что он оказался даже выше окружающих всадников.

Приостановились ненадолго, лишь за тем, чтобы принять приветствия и подношения от властей Дамаска.

Пешие, сдав город, они, оступаясь, пошли впереди, а следом несли Тимура, а вслед за Тимуром, сдерживая нетерпеливых застоявшихся лошадей, ехали царевичи и свита.

Это был торжественный въезд победителей, а передовые части войск уже хозяйничали в городе. По сторонам от шествия трещало дерево сокрушаемых дверей, ухали и грохотали какие-то рушимые стены, загорались первые пожары. В узких улицах слобод, где ютился простой народ, завязывались схватки, упорные, безжалостные и молчаливые. Поэтому еще никто не догадывался, сколь дорогой ценой простые дамаскины уступают Дамаск.

ГЛАВА XVIII

ПЕГИЙ ДВОРЕЦ

1

Пожары разгорались то тут, то там.
Войско Тимура втекало в город, как вязкое месиво, заполняя все улицы, все закоулки, все дворы.

Ничто не останавливало их. Отвыкшие внимать мольбам или слушать вопли, привыкшие бездумно давить всякое сопротивление, они вваливались в дома, душа, убивая, заграбастывая все, что приглянется.

В узких переулках, если по обе стороны поднимались гладкие стены, а ворота оказывались наглухо заперты, завоеватели застревали, как в ловушке; спереди и сверху их били, чем могли,— оружием, тяжестями, кипящим варевом, — и непросто бывало вырваться из тех узилищ назад.

Город гордо и отважно сопротивлялся во всех переулках и улицах, в слободах ремесленников, в базарных рядах, во дворах, в мечетях — всюду, где сплотились сообщества простых людей.

В отместку, едва одолев, воины уничтожали всех живых, в остервенении даже по безучастным стенам сеча мечами, валя все, что удавалось свалить. В тех развалах немало оставалось и воинов в мирозавоевательных доспехах, задохнувшихся, обваренных, с пробитыми черепами, недаром сотни лет на весь мир славились дамаскины своей сталью, своим оружием: чтобы выковать достой-

ное оружие, надо знать, каково оно будет в битве, а значит, надо самому мастеру бывать в битвах, чтобы это познать.

Тимур поперек всей толчеи, огня и смрада проехал через широкий, заваленный дымящимися бревнами, ограбляемый Прямой Путь в обширную знатную Омейядскую мечеть халифа Валида, хранившую двести тысяч динаров из трехсот, которые Тимур потребовал от купцов Дамаска за спокойствие и безопасность их слобод и подворий.

Тут, на повороте улицы, Ибн Халдун свернул с пути Тимура. Никогда не думал Ибн Халдун, что когда-нибудь вступит в арабский город, следуя за седлом завоевателя; направился в свою келью, в мадрасу Аль-Адиб, к своим книгам, увязанным во вьюки, к своему гнедому мулу в темном стойле. Не легче ли стало бы на душе, если бы так, не останавливаясь, проехать через весь гибнущий Дамаск, через все его пределы на вольный простор, уйти отсюда прочь.

«Нет! Невыносимо смотреть на это, но немыслимо и отвернуться от бедствия».

Но под низкими, угрюмыми сводами ворот мадрасы толпились завоеватели, успевшие захватить приглянувшиеся им кельи. Черные, красные, белые бороды самаркандцев. Победители уже увидели Ибн Халдуна, и у историка не осталось другого пути, как вступить во двор, пройти мимо конюшни и перешагнуть в свою келью.

Когда Тимур достиг мечети, ворота, окованные большими позеленелыми бляхами, на заржавевших петлях, не поддавались привратникам, отвыкшим отворять их, ибо богомольцы входили во двор через высокий порог в небольшой калитке, прорезанной сквозь толщу одной из воротных створ.

Потоптавшись перед неподатливыми воротами, носильщики пригнулись — пришлось пригнуться и Тимуру — и его кресло втиснули в калитку.

Но кресло застряло.

Назад его столь же трудно стало вытащить, как и протолкнуть во двор. Калитка закупорилась. Внутри этой закупорки в ярости ворочался Тимур, терзаемый болью в ноге, а еще более — нестерпимым стыдом: застрять в воротах на виду у злорадных привратников!

Кресло треснуло.

Дощатое сиденье развалилось. Из обломков Тимур на карачках выбрался во двор.

Под сводами ворот постоял, озираясь.

Тяжело оседая на правую ногу, пошел по яркому двору. Облака сошли, утреннее солнце, еще слабое, чтобы обжигать, ослепляло.

Пошел один, так резко припадая вправо, что казалось, опущенной рукой достает землю. Ему не на кого было опереться: пока через калитку проталкивали обломки кресла, никто не мог сюда пройти.

Шел, разглядывая древнее здание, еще не тронутое нашествием. Строгое здание. Разглядывая, отвлекся от гнева. Оставаясь один, он успокаивался быстрее, а на людях нередко раздувал гнев, даже когда в душе гнев уже утихал.

Знающим глазом он разглядел и оценил ковры, дары верующих, разостланные по двору перед входом в мечеть. На этих коврах молились, когда по праздникам внутри мечети не оставалось места, а по будням в промежутках между молитвами здесь занимались ученики улемов.

Тимура удивили две каменные башенки по обе стороны двора. Каждая держалась на коренастых мраморных столбах, или, как говорили византийцы, колоннах. А наверху колонн помещалась как бы беседка, разукрашенная мозаикой, темнея кованой дверцей.

«Как туда ходят?» — подумал Тимур, глядя на эти странные башни.

Он остановился у водомета среди мощеного просторного двора.

Чистая шаловливая вода, виясь, струилась по желобу.

Тимур помыл в ней руку, ополоснул лицо.

Только тут и настигла его свита.

Двор был ярок, солнце било в глаза. Только вдали под навесом, опирающимся на древние столбы, было тенисто и свежо.

Тимур прошел туда через весь двор.

Сел на холодноватой темной плите, видя в другой стороне двора ворота и калитку, через которую сюда втиснулся.

Теперь через эту калитку вваливались завоеватели.

Тимур приказал удалить их, оставить только сотню охраны, военачальников, переводчиков.

Привели настоятеля мечети и христианских священников, служивших у саркофага Иоанна Крестителя. Надгробие Иоанна блистало под множеством свисающих над ним лампад там же в мечети, справа от входа. Привели и казначея мечети, и христианина ключаря, удивительно тощего высоченного человека с императорским именем Константин Длинношеий.

Тимур, потирая ногу, слушал допрос.

Ему переводил пожилой законовед-хуруфит Ар-Рашид, некогда побывавший у султана Баркука.

По преданию, мечеть халифа Валида построена на месте византийского храма, а храм стоял на месте тех финикийских тайников, куда еще царь Дарий Кадаман запрятал сокровища Персидского царства, выступая на Александра Македонского. Отсюда и забрал эти сокровища Александр, сокрушив Дария. Позже хранились тут баснословные богатства славного Саладина, свезшего их сюда при нашествии крестоносцев. Крестоносцы долго осаждали Дамаск, не смогли одолеть защитников, но Саладин умер в одной из келий мечети, не решаясь отдалиться от своих богатств и зная, что нигде нет тайников надежнее этих.

Хранитель сокровищ в тайны хранилищ не посвящал не только слуг, но и ни мусульманских, ни христианских священнослужителей.

Выяснив это, священнослужителей отпустили с несмертельными повреждениями. Длительнее тянулся допрос казначея: завоеватели спешили узнать, где же тут лежат мешки с двумястами тысячами динаров, ибо Бостан бен Достан затерялся среди воинов при въезде в город.

Тимур оглядывал казначея, любуясь его упорством.

— Я не брал из ваших рук ни золота, ни серебра, ни дерьма! Как же я отдам то, чего вы мне не давали?

Палач заботливо раскладывал и готовил для дальнейшей беседы разнообразные клещи, шипы, кольца. Палач умел давлением на ноги приводить в движение языки, пересчитывая пальцы, оживлять память у собеседников.

Опытный палач приготовился. Но, видно, недаром столь надежны здешние тайники: тайники дотоле крепки, доколе их тайна нерушима, вскрой тайну, и тайник нарушится. Замком замыкают дверь, но тайну замком не

замкнешь. Тайну может хранить только тот запор, к которому нет ключа. А таким запором может быть лишь человек. Тем и крепка тайна сокровищниц, что ее таят крепкие люди.

Тимур перехватил пренебрежительный взгляд казначея, покосившегося на палача. На опытного палача казначей взглянул, как на самонадеянного юнца, готовый его обыграть в поединке, даже если выигрышем окажется смерть: смерть станет выигрышем казначея, ибо тайна останется скрытой.

Тогда Тимур раздосадовал палача, велев ему убрать все свои игрушки. Тимур не мог вспомнить имени Бостан бен Достана, но описал купца так кратко и точно, что его сразу нашли и привели.

Тимур поставил его перед казначеем.

— Вот, казначей отнекивается от золота, взятого у тебя.

— Э, воин! — заспорил казначей. — Зачем перевираешь? Я говорил, что не брал у тебя. А принял ли я от него, он спросит сам.

Бостан бен Достан сказал:

— Ты взял двести тысяч динаров. Отдай их.

— Я не брал двести!

— Я из рук в руки тебе передал.

— Сто, а не двести.

— Отдай сто.

Тимур нетерпеливо прикрикнул на обоих:

— Разберитесь-ка, где же остальные сто?

Бостан бен Достан напомнил:

— Ведь ты брал и еще сто!

— Из твоих рук?

— Нет. Но при мне.

— При тебе, да не от тебя.

— Я при том был тут понятым. Забыл, а?

— Понятым? Я помню: был.

— Вот я и говорю. От имени тех, кто при мне принес тебе: отдай и те сто.

— А они? Ты был одним из пяти.

— Из тех я один цел. Ключ вот он, у меня.

— Как один?

— Тех убили.

Казначей помолчал, опустив глаза.

— Я только говорю: не ты их мне дал. А как тех уж

нет, бери, возьми. Тебе отдам, когда они тебе ключ вручили.

Тимур, перебив его, спросил:

— А где сокровища мечети? Где сокровищница?

Казначей недобрым взглядом покосился на Тимура. Таким же жестким, упрямым взглядом, каким прежде смотрел на палача.

— Сокровища мечети от аллаха. Он один им хозяин.

— Здесь всему хозяин я.

— Э, воин! Идешь против бога? — и, не дожидаясь ответа, позвал Бостан бен Достана: — Иди возьми эти двести. Тебе отдаю.

Когда внесли плоские кожаные мешки, желтоватые, прошитые по шву белыми жилами, Тимур не стал переспрашивать казначея, а приказал осмотреть всю мечеть: в тайнике, где хранились двадцать мешков, в каждом по десять тысяч динаров, больше ничего не оказалось. Но могли быть другие тайники!

Умелые воины скоро нашли лестницы, хранимые ключарем Константином. Влезли на вершины столбов, долго там отпирали неповоротливым ключом замки в дверцах кладовых. Тщетно дергали в нишах решетки из кованых прутьев.

Наконец взломали или отперли и вломились в то, что казалось каменными башенками, а оказалось ризницей, сокровищницей, хранилищем приношений от верующих и остатков кладов, некогда хранимых здесь в разные времена. Тимуру снесли оттуда и перед ним расставили тяжелые серебряные персидские блюда, две золотые сельджукские чаши с длинными надписями, книги в драгоценных окладах, блюдо, на коем оказалась вычеканена острорылая свинья с десятью поросятами и небрежно написанное имя — Антиох.

Оклады с книг срывали. Из золотых кружев на окладах кинжалом выковыривали драгоценные камни. Пергаменты древних рукописей, выпадая из окладов, рвались и разваливались, попадая под каблуки расторопных воинов.

Казначей притих, стоя на коленях неподалеку от Тимура. Но вдруг вскрикнул:

— Это же святыня! Это халифа Османа!

— Эка! — насмешливо отозвался воин, уверенный в поощрении Тимура.

Но Тимур строго сказал:

— Подними-ка. Неси сюда.

Казначей не унимался:

— Это ж святотатство! Грех!

Но Коран уже лежал среди прочей добычи.

Изнутри мечети тоже слышались глухие удары, треск, дребезг. Там тоже срывали украшения со стен, тяжелые светильники, лампады с надгробия Иоанна Крестителя.

— Грех? — переспросил Тимур, глядя, как один из барласов пробует на зуб ризу византийской лампады — серебро ли это; как другие выковыривают из окладов изумруды и лалы, торопясь поспеть до прихода новых воинов, хотя добыча, кому бы первому ни досталась, вся шла десятникам, от десятников — сотникам и, наконец, пройдя через многие руки, в сундук Повелителя.

Тимур покачал головой:

— Какой же грех? Мои руки чисты. Не я граблю. А разве где сказано, что на чужое грехопадение смотреть грех? А?

Он не знал, что накануне, тревожимый тем же вопросом о грехе, так же рассуждал Ибн Халдун в своей келье. Но Ибн Халдун не стерпел разбоя во дворце, а Тимур вот смотрел, не чая в том ни греха, ни позора.

— Грех? А?

— Я не учился законам,— отвернулся казначей.

— То-то!

Казначей стоял, отвернувшись и от воинов, и от Тимура. Но Тимур смотрел на него холодно, не мигая.

— А ты крепок! Я тебя вот увезу с собой. Будешь мою казну беречь. Она у меня потяжелей здешней.

Казначей даже пошатнулся.

— Не надо! У нас тут, у халифа Валида, семь поколений из моей семьи. Наш род от дочери халифа Валида. Кто был тут ключником, а кто казначеем. Семь поколений тут прожило, один другого сменял. Семь поколений. Да, может, еще и прежде, при византийцах. Я восьмым поколением. Нас и называют, старших сыновей, Валид да Валид. И я Валид ибн Валид. И отца так звали. Нет, отсюда я никуда.

— Ты крепок. Такому можно доверять. Можно верить.

— Э, воин!..

Переводчик застеснялся переводить столь грубое обращение и, покривив душой, сказал:

— О амир!

Казначей заметил эту поправку, но, не дрогнув, досказал:

— Ты и верь! Дашь мне что-нибудь убрать, приберу, спрячу. Другой у меня чужого не выклянчит, силой не вырвет!

— Я вижу. Верю, потому и зову к себе.

— Нельзя мне!

— Ну оставайся.

Не раз случалось, что люди, не зная его в лицо, говорили с Тимуром запросто. И ему это напоминало далекую молодость, когда все говорили с ним запросто, ибо он ничем и не отличался от прочих людей. Но, помилуй бог, вздумалось бы теперь вельможе заговорить с ним запросто, без поклонов!

Он отпустил казначея. Брать его в слуги силой было незачем: силой верность не обретешь.

Казначей ушел, и больше никогда Тимур его не видел и не узнал, сколь завидные сокровища и ценности дамаскинов остались сокрытыми в неприметных тайниках у Валида ибн Валида.

В мечети можно было жить. Кельи разместились вдоль двора и наверху.

Казначей подослал ключаря Константина к вельможе, ведавшему постоем, предложить келью на случай, если Повелитель Вселенной пожелает приютиться здесь.

Тимуру часто приходилось в походах останавливаться в мечетях, в монастырях, в ханаках, как звались пристанища для паломников, и даже в банях, и он велел стелить ему здесь, а во дворец Аль Аблак послал людей проверить, вправду ли Ибн Халдун заблаговременно, ожидая Тимура, приготовил ему дворец.

«Ключ из-за пазухи? А он не от кельи ли в мадрасе Аль-Адиб? Не от его ли кельи?»

Надеясь, что в тепле затихнет боль, Тимур оперся о шею барласа, и двое привычных воинов подняли его и отнесли в предназначенное ему место.

Глубокую каменную нишу тут называли кельей. Она оказалась тесна, темна. В ней по обе стороны темнели над самым полом низенькие печуры, от которых пахло подвалом, словно под кельями был подвал.

Постель постелили в одной из этих печур, так что свод нависал над самым изголовьем. Понравилось: укромная постель.

В очаге, как он любил, разожгли дрова. Пахло дымком и не то медом, не то воском. Поскрипывала маленькая двустворчатая дверь с желтой медной щеколдой. Щеколда снаружи. Изнутри запереться нельзя. А если запиралось снаружи, значит, прежде это была не келья, а склад. А может быть, лавка: торговали в церковном дворе. У христиан это можно...

Он лег навзничь, подвернув ногу под стеганые одеяла.

Дамаск был взят. Не приступом, а измором и обманом, без подвигов,— был сдан городскими старейшинами на милость победителя, на его милосердие.

«А я обещал им милость?» — пытался он вспомнить, засыпая. И заснул.

А за дверью молча встали ждать, пока он проснется, воины, которых посылал проверить ключ и осмотреть дворец Аль Аблак.

Ключ пришелся к большой двери дворца. Внутри все оказалось чисто прибрано, ждало гостей. Но обо всем этом сказать Тимуру они могли лишь при его пробуждении. А он спал.

В стороне от барласов, присевших у кельи, где спал Тимур, у того камня под навесом между римскими столбами, где днем он сидел, стояли казначей и ключарь, два араба — мусульманин и христианин. Зайдя за столб, поглядывая, нет ли поблизости чужих ушей, перешептывались.

Валид ибн Валид допытывался:

— Ты слышал, брат Константин? Не ослышался ли я, этот Бостан бен Достан, которому я вернул двадцать мешков золота, сказал: тех четверых уже нет, их, говорит, убили.

— Нет, не ослышался. Он это сказал. Верно говорю: он это сказал.

— А из них трое, прежде чем пошли из Дамаска, скрыли у меня все свое достояние — и золота, и серебра, и камней... Динары они для Хромого отложили, чтоб главное сберечь, а до того на всякий случай побывали тут, Из их приноса никто ничего не сыщет: туда хода нет.

— Я знаю: у тебя не сыскать.

— Вот, что лежит от этих троих, убитых, сохраню. Что есть от других и по воле аллаха тоже явится выморочным, тоже сохраню. Когда эти от нас уйдут, что наберется выморочного, отдам городу. Дамаск надо наново строить. Кругом грохот. Рушат. Рубят. И незачем, а рушат. Размахались, удержу нет. Дым отовсюду — жгут! А он взял это, да и заснул.

— У свечника Михаила, где прежде лампадным маслом торговали, свечи складывали. А только тебе признаюсь: я знаю тайник, куда ход через свечную лавку.

— Откуда знаешь?

— Нечаянно видел: ты туда вьюк нес да на скорую руку ход закладывал. Я, думаешь, не понял, какую известку ты от рук отмывал?

— Мы и постелили там постель, дабы добытчики там не шарили: закладка еще не вся просохла, не приметили б. Пускай спит. А я его бы не узнал. Воин и воин, не глаже других. Вдруг: переводчик мои слова подправляет. Я персидскому был учен. И понял. А поправляться не стал: иначе он догадался бы, что я язык знаю. Фарсидский ли, персидский ли — один язык.

— Все они на одно лицо, и стар и млад... Э! Смотрика! Сюда идут.

— Новые какие-то, в бараньих шапках.

— Уходи! Тебе надо уцелеть. Без тебя тут никто ничего не сыщет.

— Да и ты поспешай, брат.

Казначей ушел, словно вошел в стену.

Константин не успел: его увидели и окликнули.

Он постоял, пока воины перешли через весь двор, заваленный обломками, клочьями тканей и пергаментов, осколками битых сосудов, что хрустели, выскальзывая из-под каблуков. Окружив его, воины потребовали открыть тайники. Он отнекивался, клянясь, что не знает тут тайников. Ему показали на кольцо с ключами, свисавшими на ремешке с пояса.

Он схватил за руку одного из воинов и, высоко задирая острую бороду, подпираемую большим кадыком, повел завоевателей от двери к двери, от замка к замку, поднимая из связки ключ за ключом.

Воины увидели, что все двери от Константиновых ключей уже выбиты, выломаны.

Константина отпустили. Едва он отвязался, как не мешкая ушел неприметными переходами. Затерялся среди столбов, стен, ниш: мечеть велика.

Но где бы он ни притулился, отовсюду слышен был город. Повсюду не смолкали вопли и крики убиваемых, пытаемых, разлучаемых, уводимых в неволю.

Сначала гибли дамаскины из христиан — марониты, армяне, греки: кто казался зажиточнее других, от тех добивались добычи.

Но вскоре людей хватали без разбора, от каждого ища себе корысти. В спешке выпытывали, где скрыты их припасы. Ничего не узнав, за это их убивали. А выпытав, взяв сокровища, убивали, не зная, зачем оставлять им жизнь, ибо победителям жизнь поверженных казалась лишней обузой.

К вечеру крики истощились.

Уцелело не более трети дамаскинов: двое из троих либо пали, либо пошли в неволю.

Купеческая слобода оставалась нетронутой: Тимур ждал третью часть откупа — последние сто тысяч динаров.

Дамаск горел.

Порой над руинами взлетало пламя. Белое, прозрачное или голубое со странным лихим свистом, словно то пламя взметнулось над углями, где оружейники, бывало, закаляли сталь.

К вечеру большое зарево высоко полыхало над городом.

В багряном золотом небе в безветрии прямо, слегка покачиваясь, высились рыжие столбы дыма.

Тимур, всхрапывая, спал в мечети Омейядов.

Ибн Халдун, толстыми стенами мадрасы Аль-Адиб заслоненный от буйствующего пламени, затворился в низкой келье и, уже не диктуя, своей рукой писал дорожник по Магрибу. То, прищуриваясь, мыслями уносился в непроглядную даль, то, сдвинув брови, склонялся над страницей.

2

Когда затих яростный порыв вторжения, пора стало осмотреться.

Большое войско ушло из города в стан: в разоренном

Дамаске на всех не хватало места. Осталась только стража, умело расставленная по всем слободкам.

При въезде в купеческие слободы поперек улиц нагромоздили перехваты и стражам указали не впускать, не выпускать никого, будь это даже свои полководцы. Тимур ждал от купцов остальное золото, чтоб взамен либо дать им пайцзу на выход из Дамаска, либо оградить их дворы на то время, пока здесь хозяйничают завоеватели. Выходило, что цена медной караванной пайцзы достигла ста тысяч золотых динаров.

Лекарь, сгибаясь под низким сводом кельи, положил Тимуру на незаживающую рану на колене жвачку из кореньев, приглушающую боль. Никакому иному леченью этот давний свищ не поддавался. Перебинтовали узкой шерстяной тесьмой, чтоб грела и вытягивала гной.

Едва боль понемногу затихла, Тимур собрался в Каср Аль Аблак. Но прежде чем покинуть двор мечети, он указал сподвижникам на неотложные дела.

Надо было пока на глазок прикинуть, какова добыча, каковы пленники, велики ли потери.

Тимур, опустив больную ногу со скамьи на скамеечку, которую тотчас подставили под нее, сам сидел на поджатой левой ноге, запахнув простой, невзглядный халат.

А на ковре, по сторонам от его скамеечки, разместились вельможи. И как всегда, чем менее они были грамотны, тем сильнее хотели казаться величественнее, чем менее были значительны, тем более высокомерны.

Как и во всех прежних своих нашествиях, он расспросил о местных мастерах, знатоках своего дела. И о ремеслах, какие тут славнее и добротнее, чем в иных краях.

Шах-Малик, пригнувшись грудью к ковру, запрятав свое лицо в пушистую светлую бороду, прислушивался к ответам, но, не дослушав, перебил говорящего:

— Первейшие оружейники здесь. А нам не гончары нужны, наши гончары не хуже; нам не седельники нужны, у нас свои седла неплохи. А оружейников, равных здешним, нигде нет.

— Оружейники! — подтвердил Тимур. — А кто еще?

Один сподвижник, худощавый, сизый лицом, облизывая толстые влажные губы, хрипло сказал:

— Искусники по драгоценностям. Исстари. Тут они умеют! Редкостно.

— Было б золота вволю! — ответил Тимур.

Он велел забрать и спросить старосту оружейников о всех мастерах, их учениках и о семьях их — велико ли число всех.

— Их там каравана на три! — хозяйственно объяснил Шах-Малик, всегда успевавший раньше других разузнать о главных новостях в городе.

Тимур приказал окружить оружейные ряды на базарах со всеми оружейнями. И собрать всех мастеров со всеми подмастерьями.

Он приказал наладить немедля три каравана на Самарканд. Дать главе каравана большую пайцзу на сквозной путь через все завоеванные земли, чтоб пошел караван не только с оружейниками, а и со всем их снаряжением и заготовками. А у кого есть семьи, чтоб везти их с семьями. И чтоб единого дня не медлили. А ряды со всеми горнами захватить сейчас.

— Пока там не попрятались! — объяснил он.— Живо!

О том, как распределить пленников, как разделить обычную добычу между воинами, как передвинуть стан за городом на более здоровое место; о том, где пасти табуны несметного множества лошадей и верблюдов,— коротко, ясно он спрашивал о том, и ему отвечали.

Полководец не может только руководить битвой, ему надо быть хозяином, чтоб в силе и в холе находились те, кем он руководит,— и воины, и кони.

Он было присел на камень под навесом для недолгого разговора, а времени прошло много, пока наконец он дал знак, чтобы ему помогли надеть поверх будничного халата столь же ничем не приметный чекмень и посадили на носилки.

Носилки крепкие, высокие, обитые красным сафьяном, привозным сафьяном от татар с Волги, называвшимся по старой памяти булгарским. Тимуру такой сафьян нравился. Он приказывал обивать им седла, шить мягкие туфли, красные или зеленые, а также красно-зеленые — из узких лоскутков вперемежку. Туфли получались пестрые, и он надевал их, отправляясь в баню или в гарем.

В тот день на нем были тоже мягкие глубокие сафьяновые полусапожки, не стеснявшие больную ногу.

К краям кресла сафьян прибили гвоздями с большими золотыми шляпками. Червонное золото поблескивало на солнце. Тимур, сев среди такого блеска, казался темней, беднее.

Вельможи расступились, склоняясь в знак повиновения и преданности, когда воины ловко, легко подняли кресло и понесли к широко распахнутым воротам.

— Сумели ворота открыть! — сердито сказал Тимур. Сказал никому, сам себе, и потому никто ему не ответил.

За воротами Тимура ждала свита, чтобы парадно и достойно проводить Повелителя через город во дворец Аль Аблак.

Пойти пришлось не кратчайшей дорогой, а в обход развалин, пожарищ, еще дымящихся, чадящих угаром и мертвечиной.

У кладбищенских ворот, где бился Содан, когда войско Тимура ворвалось в Дамаск, родные искали тело Содана среди павших. Он был росл и черен, приметен. Но тело его не нашли. Оттого ли, что много павших, оттого ли, что в последние минуты Содан успел скрыться. Для новых битв.

Когда пересекали широкую ровную улицу — Прямой Путь, которую называли и Большой Дорогой, а запросто говорили еще проще — на Прямой,— Тимур заметил, сколь она изменилась.

Обгорелые, почернелые стены караван-сараев, их сводчатые ниши, бойницы над воротами, словно каждый такой постоялый двор мог стать крепостью внутри города,— все было закопчено, разбито, затоптано.

У входов уцелевших рабатов толпились воины, понуро стояли ряды заседланных лошадей. На месте иных рабатов торчали балки или нависшие над развалинами остатки кровель.

На месте, где теснились ряды лавок, тоже громоздились рухнувшие кровли, провисшие потолки, обгоревшие стены. Остатка сгоревших товаров нигде не было видно: сгорели лавки, начисто опустошенные,— все, что можно было взять, все было взято, а что замечали невзятого, воины бесстрашно выхватывали из огня.

В двух или трех местах среди недогоревших досок и опаленных камней виднелись останки книг.

Книги не только вмещают человеческие мысли и раз-

думья — они делят и судьбу мыслителей. Завоеватель равнодушно взирает на их гибель, а чаще нарочито бросает их в огонь.

Книги горели, когда богословы и проповедники, уничтожая язычество, положили на костры вдохновенье языческих поэтов.

Книги горели, когда человечество встало на защиту разума и выбросило в огонь богословие и схоластику.

Китайцы жгли книги и рукописи, врываясь в древние монастыри Тибета и разоряя города уйгуров в Кашгаре.

А когда на Китай с севера обрушились маньчжуры, они пустили по ветру письмена китайских ученых и поэтов.

Когда орда Тохтамыша подступила к Москве, в спешке были совсюду свезены в Кремль бесчисленные книги, писания, свитки и накиданы до самых сводов в каменном соборе. Их дотла сжег Тохтамыш, ворвавшись в Кремль, пока Дмитрий Донской собирал войска в Костроме. И как после ни клялся Тохтамыш Москве в любви и братстве, Москва об этом доныне не забыла.

Когда знаменосцы новых вер добирались до огнива и кресала, первый огонь во славу новой власти они зажигали из книг, созданных до их прихода.

Ибо книги хранили человеческий разум, знания и мечты, столь ненавистные неучам, когда неучи овладевали властью, когда неучи спешили утвердить свою власть над народами мыслящими и мечтающими.

Тимур знал, сколь дорога книга. Знал, что одни книги содержат истину и добро, а другие тешат дьявола. Но не умел отличить одну от другой. Воинства же его, завоевывая вселенную, не делили ничего на добро или зло: добро — это были они, зло — все, что им противостояло. И Тимур порой отворачивался от дел, сотворенных его соратниками, как здесь, на Большой Дороге, отворачивался от этих углей, еще хранящих облик книг, очертания переплетов. Так завоеватель хитрил сам с собой.

Один из караван-сараев удивил Тимура: сарай не был сожжен, у ворот не толкались воины, ворота не были сорваны, а лишь гостеприимно приоткрыты. Тут стоял в порыжелой шапке согбенный старик, обглоданный испытаниями, изнуренный возрастом, при том легко, как мальчик, забавлялся какой-то медяшкой — подкидывал и ловил, высоко подкидывал и ловко ловил.



Пробираясь через руины базара, Тимур оказался в рядах оружейников.

Воины уже оттеснили мастеров к неровной глухой стене, а в незатейливых оружейнях возле очагов и по всем щелям и чуланчикам все было обшарено и пусто.

Старцы и отроки, первейшие мастера и те, что лишь

пробуждают в себе знания, перенятые от предков,— вместе стояли они, толпясь, одетые в тяжелые черные шерстяные бурнусы, накрывшись глубокими черными колпаками. Оттесненные к стене, покрывшейся поверх грузных камней, как древняя серебряная чаша, золотисто-серебряным загаром.

Нынче уведут отсюда стариков. Заберут как добычу. Юношей тоже, ибо, как наследники мастеров, они, даже еще не овладев опытом, уже имели навык.

Один, по имени Самиг абу Кахр, был удивительно кудряв. Кудри скрутились вперемежку — один завиток красновато-черен, другой бел, как иней. Он упрямо сидел на корточках перед очагом, где между тлеющими углями теплился огонек. Как ни оттаскивали отсюда его, как ни пинали, он вставал на ноги, возвращался и снова приседал перед углями, словно на привычном месте хотел что-то додумать.

Тимур приметил немолодого оружейника с зеленоватой кривой бородой. Слева эта борода была сожжена. Видно, в увлечении он слишком низко склонился над жаровней либо ослабел глазами и, разглядывая клинок, не разглядел жара под клинком.

Жар в очагах. В иных между углями еще теплились, вспыхивали голубые либо зеленые огоньки. Очаги, где не остывали угли десятилетиями, а то и дольше. Розоватый млеющий жар, над которым было столько сотворено и отковано булатов, протянуто тончайших стальных нитей, тонких, как девичьи волосы, длинных, как косы красавиц, серебристых, как волосы старух. Стальные пряди, коим суждено было соединиться в единый клинок и с лихим свистом рассекать воздух, единым взмахом пересекать шелковую шаль, подкинутую кверху.

Дамаскины умели из стальных волос выковывать мечи и сабли.

Но они умели это здесь, на очагах, сложенных отцами и праотцами во славу Дамаска.

А таким ли будет огонь на чужой земле, над иными углями? Над новыми жаровнями вспомнится ли прежнее мастерство?

Как их ни оттесняли к стене, как ни заслоняли от них черные стены оружеен, они смотрели, не отводя глаз, на то, что существовало перед ними всю жизнь, на что теперь смотрят в последний раз.

Тимур запомнил их такими: неподвижными, безмолвными, сплошь в широких черных одеждах, под островерхими куколями, надвинутыми ниже бровей; а вокруг них бесновались воины в стальных переблескивающих кольчугах, в панцирях, в стальных скользких шлемах.

Среди того беснованья оружейники, отстранясь от всего, стояли крепче, были увереннее в себе, чем воины, суетливо спешившие чем-нибудь показать себя при проезде Повелителя. Но сумели выразить усердие, лишь кинувшись без причины нагайками хлестать оружейников: вот, мол, как мы тут строги!

Тимур их окрикнул:

— Эй, не сметь! Берегите их!

И воины присмирели.

Лишь годы спустя объявилось, сколь бесплодно было это переселение. Мастера ли, ученые ли, оторванные от родины, в дальних краях не прославили чужой Самарканд. Не заблистало там оружие, каким славили оружейники родной Дамаск; нет книг, написанных учеными, свезенными в Самарканд, а слава их была высока в просвещеннейших городах Индии, Ирана, Армении, Аравии, на их родине.

Тимур проехал через весь длинный оружейный ряд, когда оказалось, что старанием мирозавоевательного воинства выход из узкого ряда завален отвалом стены, дабы пленные не ухитрились скрыться с той стороны через им одним ведомые щели и закоулки.

Пришлось Повелителю возвратиться. Он рассердился: не возомнили бы оружейники, что он сюда из любопытства заехал, полюбоваться на них!

И снова, пересекая Прямой Путь, Тимур увидел каменный караван-сарай и старика в изношенном персидском кафтане, безбоязненно подбоченившегося у приоткрытых ворот.

— Какой это рабат? — спросил Тимур. — Почему свободен?

Никто ему не ответил, но тут же послали разузнать об этом постоялом дворе, караван-сарае, или, как это назвал Тимур, рабате, а по-арабски такие гостиницы зовут — хан.

Это подворье из владений перса Сафара Али оказалось не заселено воинами. Во дворе неприкосновенно стояли никем не отнятые верблюды. Кормов, им припа-

сенных, в избытке хватило бы на целый караван. Слуги сонно шлялись по двору, увязая в соломе, словно никто не завоевал Дамаск, словно за воротами, как бывало, шумит мирный базар и по всей вселенной протянулись дороги от этих ворот, а со всей вселенной — к этим воротам.

И как прежде по тем дорогам приходили отовсюду сюда гости, так доныне, доселе доходили сюда вести. Порой даже нельзя было вспомнить, кто донес ту или иную весть, а она уже вот она, тут и, как воробей на ветке, чирикает о том о сем.

Сафар Али, не отходя от ворот своего хана, знал, что незачем стало ходить в Иран: изранен Иран тем же Тимуром и не оправится, не заторгует, доколе топчет его чужой сапог. Незачем и в Индию ходить: не стало дел в Дели, раздеты, как дети, жители Дели. Памятна резня в Хорезме. Пепелища и смрад в искалеченном Ургенче, а, бывало, и там жировал базар.

Остались дороги на Смирну, на Анкару, в города султана Баязета, но воробьи чирикают, будто туда-то и собрался отсюда Тимур и уже Баязет точит сабли для битвы. А Тимур пока ходит, как тигр, вокруг да около дичи, опасаясь выйти на нее с поветерья, ладя застать дичь врасплох.

Выходит, путь караванам на заход солнца — в Миср, на Каир, на Магриб, на далекую Кордову, куда уже, не как неприметные воробьи, а быстрыми громогласными журавлями насквозь над горами, над морями летят отсель вести и трубят о падении Дамаска. О гибели Дамаска летят во все концы вести и трубят не славу Тимура, а горестную беду дамаскинов.

Раздумья и лицезренье страданий не сломили старого перса. От раздумий Сафар Али стал смешлив.

В его хан вошли любознательные проведчики разузнать, как это караван-сарай хоронится от разорения, неизбежного при гибели города.

Сафар Али едва взглянул на спесивых соглядатаев: за свою жизнь насмотревшись на людей, он знал, сколь несовместима спесь с мудростью. Взглянул и беззаботно рассмеялся:

— Прибыли? Приют нужен? Притулиться?

Прибывший медлительно осмотрел перса и царственно отозвался:

— Приглядеться, каков тут хозяин и почему он тут.

— А где же хозяину быть, когда тут всему он хозяин?

— Чьим дозволеньем?

— Пятьдесят лет с дозволенья аллаха.

— А тут нам поставить бы лошадей, да и воинства две сотни.

— Тесновато будет. Нельзя. У нас другие заботы.

— Это какие же? Кто дозволил?

Прибывший смотрел, грозно сощурившись, а юркий переводчик насмешливо пригнулся перед персом.

Сафар Али, тоже очень не спеша, осмотрел их — приметил возрастающую злобу в прищуренных глазах супостата и уже без улыбки вскинул перед соглядатаями потемневшую медяшку, приговаривая:

— Вот она! Вот она!

— А ну-ко, ну-кось! — забывая о достоинстве, засуетился проведчик.

— Гляди! Нет, нет! В руки не дам, из моих рук гляди. Каким караваном занят весь двор, понял?

Запахнувшись в халат, осклабившись без улыбки, проведчик отступился.

— Счастливо вам быть! Не выходить у аллаха из милости. Я понял, понял. Благоденствуйте!..

Они ушли, молча между собой переглядываясь: перед ними раскрылась со своими знаками и угрозной надписью медная пайцза Повелителя Вселенной, Меча Аллаха, с которой везде путь открыт и которая, как оберег, носимый на себе человеком в защиту от порчи, обид и бед, как амулет, заслоняет человека на всем пути. От напастей при переходе застав. От мздоимств, насильств, тягот. С такой пайцзой путник и на постое столь же строго неприкосновенен, как и в пути. Неприкосновенны и двор, где стоит караван, и люди из этого каравана: Повелитель сам, один знает, кому свою пайцзу дать, кого куда посылать, кому доверять.

Едва проведчики ушли, из дальней тихой кельи выглянул серенький, разрумянившийся от горячей похлебки Мулло Камар.

Он поставил на выступ стены опустевшую, еще теплую чашку и, поскрипывая новыми сапожками, отбыл за ворота в ухающий, стонущий, смердящий Дамаск, на тот Прямой Путь, где незадолго перед тем проследовал Повелитель.

3

Прежде чем вступить во дворец, Тимур со всех сторон осмотрел его снаружи.

Каср Аль Аблак был построен из кирпичей, уложенных четкими рядами — ряд белых, ряд красновато-черных, словно опаленных огнем.

Осматривал стены, оконные ниши, карнизы, навесы, где украшением была лишь чистота кладки. Приметил перекрестные решетки в больших нижних окнах, а на верхних — деревянные ставни, чтобы обитательницы дворца могли оттуда смотреть наружу.

Все осмотрел и все приметил, как привык осматривать крепостные стены городов, прежде чем их обложить осадой или брать приступом.

У входа он встал из кресла, опершись на руки слуг, и тяжело, медленно пошел было сам, но в прихожей подозвал одного из воинов охраны. Опираясь ладонью о его плечо, одну за другой осмотрел нижние комнаты.

Спросил, что это за лестница вниз.

— Там подземелья.

— И что там?

— В дальних есть каморки для узников. Там темно.

— Откуда там узники?

Страж ответил не только с готовностью, но и с гордостью:

— Один сидит!

— Кто это?

— По приказу верховного каирского судьи. Один из властителей при султане Фарадже.

— Что это он?

— Пытался разграбить сей дворец.

— Ну, поделом! — одобрил Тимур.

Страж, ободренный, стал словоохотлив:

— С того дня мы его кормим из своего котла.

— Ты вон какой гладкий — видно, котел не пустовал!

— Нас милостивый султан наш Фарадж бен Барбук никогда не морил! От самого Каира сыт!

— А ты Фараджиев? —удивился Тимур, но ладони с плеча не снял.

— Сам я, во имя правды сказать, не из мамлюков. Я с караванами ходил, османец. Однако нынче вроде мамлюка!

Тимуру наскучил страж. Он приказал:

— Караул сдай моей охране. Оружие отдай. Тут станет моя стража.

— Как это — отдай? Я тут один? Нет, нас тут двенадцать караульных при одном десятнике.

— Все двенадцать и сдайте.

— А самим куда? Весь город переломали. Тыщу лет строили, а разом разломали! Наше войско сбежало. Вот-вот уже до Каира добежит. Куда же нам?

Тимур и сам не знал. В плен, в неволю брать уже поздно: кого брать, уже всех взяли.

— Иди, как велено: отдай оружие и зови всех своих и ступайте в мадрасу Аль-Адиб. Там ваш верховный судья. Ибн Халдун. Скажите ему: всех вас я отдал ему.

Двое барласов бережно, словно можно эту ношу расплескать, подняли Тимура по скрипучей лестнице наверх.

Тимур и там осмотрел горницу за горницей. Они ему понравились тишиной, чистотой. Какие-то наивные, смирные комнаты, устланные старинными порыжелыми коврами. В некоторых горницах сильнее, в других слабее пахло гнилым деревом старых досок, пылью, известью, а вместе все это смешалось в нежнейшее благоухание в сухом, спертом, неподвижном воздухе давно закрытого, нежилого дома.

Страж сказал:

— Еще есть место. Книгохранилище. Туда ходят со двора, да и здесь протиснуться можно. Через эту щель.

— И туда заглянем! — весело сказал Тимур. У него давно не было такого ровного, мирного духа, как при этом осмотре.

Потом он удивился, что мамлюк еще здесь, ходит за всеми следом. Но примирился с этим и не прогнал его, словно так и должно быть, чтобы обезоруженный вражеский воин ходил вместе с охраной Повелителя.

Протиснулся через узкую галерейку.

В книгохранилище было тихо. Окна смотрели в сад. Книги лежали, развалены на полках и на полу, как второпях оставил их Ибн Халдун, вынесши отсюда приглянувшиеся.

— Тут кто-то разбойничал! — заметил Тимур.— И ковров не оставили.

— Сразу видно! —подтвердил Фараджиев воин.

— А что осталось, книги уберите отсюда. Снесите вниз, туда. Мой чтец придет, разберется, нет ли чего такого. Нужного. А тут книг не надо. Тут постель мне стелите. Я тут сам буду.

Сюда, в недавнее книгохранилище, перед вечером явились кадии, улемы и шейхи Дамаска. Священнослужители и ученые обратились к Тимуру, прося выслушать их.

Они столпились внизу у лестницы между двумя грудами вываленных книг, не смея ни к одной прикоснуться.

Этим ученым, молча теснившимся в ожидании, многие из здешних книг были знакомы: ученые бывали вхожи в книгохранилище дворца. Благоговейно, беззвучно ступая босыми ступнями по жестким коврам, они приходили сюда, где каждый находил нужную книгу. Теперь тут без разбору лежали сочинения на разных языках и о разном: понадобился бы долгий труд многих книгочиев и книголюбов, дабы разобраться в книжных темных навалах, тихих, как могильные холмы.

Когда наконец дамаскинов кликнули, они, как и следовало, скинули туфли, прежде чем переступить высокий порог, и, минуя бесценные книги, пошли через сводчатую прихожую.

Они встали перед Повелителем согбенны и босы.

Ковра на каменном полу не оказалось, и холод камней возбуждал дрожь и озноб. Стать же на маленький коврик, постланный перед Тимуром, было боязно, а переступать с ноги на ногу нельзя: тут не на базаре! Так и стояли, борясь с ознобом.

Вступив, они поставили впереди себя Ибн Халдуна, так решительно вытолкнув перед собой, что он чуть не споткнулся.

Все они поклонились.

Тимур удивленно повернулся к одному лишь Ибн Халдуну:

— Вы-то как с ними, учитель?

— А как же, я с ними! —Ибн Халдун сокрушенно развел руками.— О амир! Они, как и я, арабы.

— Разве все арабы одно?

— А как же?

— У каждого племени своя Аравия. Миср — одно, здесь — другое, а Магриб — третье. А там ваша Андалусия —совсем иное. Я знаю. И каждому племени предназначена своя судьба.

— Ваши познания, о амир, поразительны. Есть ли ученые, способные так проницательно расчленить арабский мир! А вы сперва воин, но вместе с тем и ученый. Видно, и в среде ученых вы так же могущественны, как и среди войск!

Тимур задышал чаще, зарумянился от похвал прославленного историка и скромно возразил:

— Я даже не улем.

— Видно, умение читать и истинное знание — не одно и то же. Есть великие знания без чтения и есть чтение, не обогащающее ума!

— Истинно. Истинно! —хором подтвердили дамаскины, уверенные, что похвала есть прямой путь к сердцу завоевателя.

— Вы есть повелитель между учеными и ученый между властелинами! — сказал один из улемов.

Этот улем, умудренный годами, знал, что сильнее действует похвала не прямому делу человека, а его тайным склонностям, ибо чаще бывает так, что в повседневном своем деле человек не видит своих достижений, а пристрастие свое считает тем, чем хотел бы всегда заниматься, чем пришлось поступиться из-за козней судьбы.

Этот улем дома учил своих сыновей: «Славьте такие любительские пристрастия человека, и он вас полюбит!»

Растроганный Тимур сказал:

— Если бы арабы собрались вместе, мир покорился бы им, как тогда, когда они несли ислам под знаменем пророка!.. Но если аллах хочет наказать человека, он лишает его разума. Арабы разобщены, ссорятся и враждуют, а тем временем даже ничтожный враг безнаказанно и бесстыдно разрушает их дома.

— Истинно. Истинно! — подтвердили дамаскины, из коих многие полагали, что вот Тимур и есть тот враг, что разрушил их дома.

Но Тимуру такое сопоставление не помыслилось. Он сказал:

— Вы искали меня. Говорите!

— О амир! Мы прибежали к вашему ковру молить о милости.

— Молить следует аллаха. Милостив один он!

Ученейший улем, славный своими знаниями, умом, святостью, возразил:

— О амир! Свидетельствуют: аллах творит земные дела руками своих избранников!

— Истинно. Истинно!—хором подтвердили дамаскины.

Ибн Халдун молчал, отстраняясь, насколько мог, придвинувшись к коленопреклоненным переводчикам, сидевшим на коврике у подножия кресла.

— Говорите! — сказал Тимур.

— О великий амир! Может ли Опора Справедливости, Меч Аллаха дозволить безбожникам бесчинствовать? Может ли он потакать врагам аллаха?

— Где враги аллаха? — насторожился Тимур.

— Завоеватели. Они под священными вашими стягами, под вашим зеленым знаменем, о милостивейший амир, злодействовали здесь!..

— Как? — забеспокоился Тимур.

— Разграбили мечети! Развалили дома улемов и шейхов. И когда святые вставали в воротах своих домов, их убивали. Запросто! Расхватали дочерей и жен наших. Нежных детей!

— Мои воины? — нахмурился Тимур.

— О Повелитель! Они врываются к нам не как воины аллаха, а как степные разбойники, как бич караванов, как саранча на нивы, как потоп в сады долин!

Тимур слушал их, все более хмурясь, отведя взгляд в сторону.

— Я не приказывал этого!

— О Повелитель! Мы знаем, вы приказали взять город, а они взяли наши дома! Случилось, что вы заболели и спали, пока они бесчинствовали. Когда вы проснулись, мы поспешили к вам: заступитесь!

Тимур подтвердил их слова:

— Я заболел и спал.

Он повернулся к одному из своих вельмож, стоявших в стороне:

— Ну, Шах-Малик! Как же теперь? А?

Шах-Малик молчал, уткнув лицо в бороду.

Тимур ловко изобразил гнев. Гнев возрастал.

— Куда вы смотрели при этом?..

— Мы сдерживали, о Повелитель, да не везде поспевали.

— Разрушали мечети! — ужасался Тимур. — А я дозволил только взыскать с арабов, впавших в христианство. Мыслимо ли, чтобы арабы славили Христа?! И с шии-

тов тоже. Как это — терпеть здесь шиитов? Здесь Дамаск — место халифов! Нельзя. А они — мечети!..

Шах-Малик объяснил:

— Вгорячах. В спешке.

Но среди улемов и шейхов было двое в черных одеждах, двое из служителей гробницы Иоанна Предтечи в мечети халифа Валида. Один из них, выпростав длинные белые пальцы из множества складок своей рясы, вскричал:

— О амир! Арабы пошли ко Христу не из мусульман. Они были христианами еще до Мухаммеда-пророка!

Сдержав себя, он уже тише, но строго пояснил:

— Если б после они стали мусульманами, это были бы вероотступники.

Тимур долгим, неподвижным взглядом разглядел этого спорщика в черной хламиде, в черной суконной шапчонке на волосатой голове и повернулся к Ибн Халдуну:

— Учитель! И эти арабы оставались христианами при пророке нашем? И вы не опровергаете эти дурные слова? Будто слово пророка не смогло пронзить их халаты, озарить душу светом! И вы не опровергаете кощунства?

— О Повелитель! Как может быть кощунством подлинная история? История неприкосновенна, когда она подлинна. Искажение истории — подлый грех, как ложь, как вмешательство в творение аллаха, как убийство беззащитного старца. Как убийство!

Тимур, словно очнувшись, словно только вспомнив, что сидит в Дамаске, заспешил:

— Кто из вас овдовел, каждому я пошлю молодых женщин из пленниц.

— О амир! Это не наши жены!

— Когда возьмете, они будут вашими.

Старший из всех, начетчик и наставник улемов, седенький старец, напомнил:

— Не о женах мы сокрушаемся, когда в руины обращены главнейшие святыни наши.

— Какие? —вздрогнул Тимур.

Его перебил младший из дамаскинов, смуглый, статный, с гордой горбинкой на тонком носу, в кольцеватой лоснящейся черной бороде:

— Но и о женах! Как быть без них?

Но Тимур, спохватившись, забеспокоился о мечетях и повторил:

— Какие?

— Многие. Осквернена и старейшая, халифа Валида, где молились еще Омейяды, халифы наши.

— И она? — удивился Тимур.— Я пошлю туда стражей. Я прикажу починить в ней все, как было.

— Возможно ли это? — усомнился старец.— Все растащили. Всю, как кость, обглодали!

— Я прикажу! — настаивал Тимур.— Она засияет попрежнему! Даже лучше! Что скажешь, Шах-Малик?

— О Повелитель! Там многое еще цело!

— Сам присмотри, чтоб это исполнить. Как они смели! Такую святыню! — Тимур как бы сокрушенно покачал головой.

Старец взметнулся в нестерпимой тоске, вспомнив:

— Коран халифа Османа!

Тимур нахмурился:

— Поспели, пока я спал!

— Святыня! —ужасался старец.— На нем кровь халифа Османа!

— Кровь? —удивился Тимур.

— Зять пророка! Убили, когда он читал Коран!

— Мои воины?

— Нет, Омейяды. Восемьсот лет назад.

— А я там поставлю стражу. Стража охранит.

Другой из улемов спросил:

— А кто охранит наши семьи? Их уже нет. Ни детей, ни жен...

Тимур приказал переводчику:

— Иди, проведи этих десятерых по дворам, куда согнали пленниц. Дай каждому из них по две, каких выберут. А польстятся, дай по три.

Старший наставник улемов опять закачал головой:

— Не надо их нам!

Но смуглый улем, прятавшийся за кудрями лоснящейся бороды, знал, что делать с женщиной, чтобы всю жизнь она от радости хохотала, как от щекотки. Теперь его женщинам не до смеха — они схвачены захватчиками. Он упрямо заспорил с наставником:

— Сперва надо взглянуть. Взглянутся, так почему же?..

— Но там наши же: жены и дочери соседей, согражданки.

— Им будет лучше с нами, чем брести в неволю, где дороги длинны, а жизнь коротка.

— Идите! —отпустил их Тимур.— Ты, Шах-Малик, опеки их. А вы, учитель, останьтесь!

Пятясь, дамаскины ушли. Ибн Халдун с холодного пола не посмел переступить на маленький ковер.

От холода ли, от напряжения ли Ибн Халдуна била мелкая дрожь, заныли зубы, хотя их осталось уже мало.

Тимур дал знак воинам, и те втащили тяжелый свиток плотного ковра.

Ковер, белый, покрытый вперемежку алыми восьмигранниками роз и остроугольными звездами, раскатился, застилая весь пол.

Громко, словно деревяшками, щелкнув пятками, Ибн Халдун соступил с каменных плит на глубокий, как баранья шкура, ворс. Как зубы, заныли щиколотки, согреваясь.

Воины же по краям ковра постелили узкие стеганые одеяльца. Тимур, ласково протянув ладонь, пригласил историка:

— Садитесь.

Ибн Халдун опустился на колени, сел на пятки, прижав ладони к коленям. От пестреньких одеялец, казалось, исходит тепло и запах сухого хлопка. Только подняв усталое и притихшее лицо, Ибн Халдун увидел, что Тимур не спускает с него глаз.

Переводчик, один оставшийся здесь после ухода дамаскинов, неподвижно стоял неподалеку.

Ибн Халдун, всегда знавший, когда и какое слово надо сказать, молчал: сейчас, здесь, он не знал, о чем хотел бы услышать Тимур.

— Много ли дорог по Магрибу? —спросил Тимур.

— Там дороги вдоль берега. Через пустыню нет дорог: что за дорога, когда пески ползут?

Тимур сказал с укором:

— А у нас через пески много дорог. Барханы ползут, а караваны идут. Где дорога не видна, караваны идут по звездам.

Сказал и посмотрел на историка не то выжидающе, не то с подозрением. Но Ибн Халдун упрямо повторил:

— Какие там дороги, где пески ползут! Дороги тянутся по берегу.

— Но и среди пустынь города стоят.

— Какие там города, если кругом пески.

— И есть древние города. И базары великие. Скот. Финики. Шерсть. Рабы. Лошади. Очень хорошие лошади. Много золота.

— В пустыне? О великий амир! Нет золота!

— Золота нет, а базары есть! Базары без золота? — поймал его на слове Тимур, и глаза Повелителя Вселенной повеселели.— И лошадей много.

— А как их добыть оттуда, когда они за песками? Через песок верблюды идут, а не кони.

— И кони переходят! Табуны! Те кони приучены.

— О Повелитель! Нет коней! В пустыне песок, а не кони.

— И рабов много.

— Черные. На работе не годятся. Только спят.

— Там скот хорош! — сказал Тимур.

— Скоту через песок не перейти.

— Переходит. Я видел магрибский скот. Оттуда пригоняли. Я видел...

Тимур вдруг смолк: на этих словах он попался. Заметил ли Ибн Халдун его промах?..

Ибн Халдун знал, что на те базары, до которых доходил Тимур, скот из Магриба не пригоняют, из Магриба скот в иные годы доходит до Каира, да и то длительными переходами. Тимур промахнулся, сказав неправду, и теперь историк опустил глаза, опасаясь, что изобличенный Тимур рассердится.

Ибн Халдун осторожно возразил:

— Сюда могли дойти овцы. Но овцы там невзглядные, голопузые, на длинных ногах. Такое стадо — не добыча. И если выдержит перегон, костляво бывает. А тут его не нагуляешь, тут его кормить нечем: здешнюю траву он не ест.

— Для хорошего скота у нас лепешек хватит.

Только теперь Ибн Халдун взглянул на Тимура. Глаза их встретились. И оба не отвели взгляда, глядя прямо друг другу в глаза со вниманием.

Тимур приподнял брови.

— Как продвигается ваша работа, о коей я вас просил?

— Слава вам! По вашему слову я закончил «Дорожник». Без вас я не нашел бы сил на такой труд.

— Я намерен его послушать.

— Остается только перебелить некоторые страницы,

куда я вписал подробности, чтобы вам видней была дорога.

— Чем же мне отблагодарить вас? Скажите. Любую вашу просьбу исполню.

— Мое желание одно, о щедрый Повелитель, оно одно — служить вам.

— Вот как...— ответил Тимур и задумался.

Он опять взглянул на Ибн Халдуна.

— Говорят, у вас очень хороший мул.

— Мой мул?

— Да.

— Простой мул. Но резв, крепок.

— Продайте мне своего мула.

— Моего мула? Вам?

— Да.

— Нет! Ни за что! Такому человеку, как вы! Нет!

— Почему?

— Я сам принадлежу вам, а значит, и мое имущество. Возьмите все, что бы ни приглянулось! И мула тоже.

— Нет, я хочу его купить. Сколько он стоит?

— Я не помню цены, какую за него дал.

— Так я узнаю, чего он стоит. А пока скажите свое самое заветное желание.

— Право, у меня нет иного желания.

Ибн Халдун замер. Горло его сжалось. Воздух пропал. Казалось, сердце остановится. Но он сумел справиться с сердцем и покачал головой.

«Ловушка,— думал историк с привычной настороженностью,— испытывает!..» Но почтительно поклонился:

— Мне лестно здесь. Мне зачем уезжать?

— Потому я и покупаю вашего мула. Отныне своим седлом седлайте любую лошадь из нашего табуна, как мой соратник. Так чего же стоит мул?

— За мула цену дайте сами, милостивый амир!

— Я пришлю вам деньги за мула.

— Я сберегу их, как сокровище.

— Ну вот и поладили! — кивнул Тимур.

Казалось, беседа закончена. Оба замолчали. Но, пользуясь этим благосклонным молчанием, Ибн Халдун заботливо спросил:

— Хорошо ли вам тут, во дворце Аль Аблак? Понравилось?

— Кто-то тут книги разбросал. Ковры уволок.

Снова наступило молчание. Тимур спросил:

— А что значит это прозвище: Аль Аблак?

— Смысл один, но понятий много — пестрый, пегий...

— Пестрый? Ничего такого не знаю, что было бы пестро и хорошо. Если что хорошо сделано, оно не пестрит. А пестрый,— значит, нет согласия. Пестрота — от неверного глаза, от сырого вкуса. Мастер, чем он сильнее, тем больше красок может согласовать. Я видел много великих зданий, они многоцветны, а не пестры. В Дели, в Иране, в Багдаде. В Армении камня много, а скудно: цвета нет, ствол без листьев.

— О премудрый амир! Истинно! Как зорко видите вы красоту во вселенной! — вскинул глаза историк, хотя и не понял слов об Армении: ствол без листьев.

— Пегий? Ага! Пегий конь приносит табуну счастье, приплод. Пегий конь в битве смел, сметлив: много случаев знаю, когда воин уцелевал, сидя на пегом коне. Пегий дворец... Хорошо! Пегий дворец.

— Да принесет он вам удачу, о амир!

Вдруг став строгим, Тимур нетерпеливо повторил:

— Надо послушать ваш «Дорожник». Путь до океана через весь Магриб.

Опытный Ибн Халдун понял, что время милостивой беседы истекло.

— Я положу его к вашим стопам немедля, когда кликнете.

Под взглядом Тимура он поднялся с одеяльца, встал на отогревшиеся и оттого такие гибкие ноги, откланялся и пошел.

В прихожей он не сразу нашел свои туфли, отодвинутые в развалившуюся груду книг.

Очень решительно, быстро Ибн Халдун ухватил несколько книг, показавшихся более древними и чем-то примечательными, и вышел, прикрыв книги складками бурнуса.

Когда он соступал по ступенькам, ему навстречу уже вводили во двор гнедого мула.

Ибн Халдун посторонился, пропуская столь знакомое животное, и, как показалось, мул взглянул укоризненно на недавнего хозяина заплаканными глазами, окаймленными тяжелыми ресницами.

ГЛАВА XIX

«ДОРОЖНИК»

1

Двенадцать каирских стражей, отосланных Тимуром Ибн Халдуну, ютились во дворе мадрасы Альк-Адиб. Внутри келий им не нашлось места. Рядом с воротами, где недавно обитал гнедой мул историка, над стойлом нависал ветхий настил, куда складывали запасы сена. Несколько снопов сена еще уцелели там. На этом пыльном сене под самым сводом ниши приютились в тесноте все двенадцать воинов из сгинувшего воинства султана Фараджа.

Пока под настилом был мул, здесь казалось теплее. Но мула не стало, а ночи стояли холодные, и, как каирцы ни укрывались всякой ветошью и чьими-то бесхозяйными чепраками, холод их изнурил.

Подавив уныние и простуду, расправив и отряхнув одежду, предстали они у порога кельи пред Ибн Халдуном.

Сострадая таким прихожанам, историк послал десятника искать по городу другой приют им.

Проникая за руины и черные пожарища, десятник поглядел многие ханы и постоялые дворы, уцелевшие мадрасы и торговые склады, но места для двенадцати бесприютных арабов нигде не нашлось: везде разместились завоеватели, хотя само великое войско стояло станом вдали от города, на лоне благословенной долины Гутах и среди садов Салахиеха.

Уже и день клонился к вечерней молитве, когда десятник, с краю Прямого Пути, набрел на уцелевший хан, где старик в замызганном персидском камзоле, послушав десятника, резким, похожим на вороний крик хохотом рассмеялся на весь двор:

— Каирцам не стало пристанища в Дамаске!.. Сам их верховный судья ничего не может!..

Это столь забавным показалось старику, что он сказал десятнику явиться сюда с их владетелем, обещая всех поселить здесь, если слова их верны, если владеет ими тот судья, который не столь давно и его судил,— смешно вспомнить, за что судил!..

Мула уже не стало, а как брать коней из воинских коновязей, Ибн Халдун еще не знал: у кого там их брать?

Пришлось Ибн Халдуну направиться в хан к персу пешком по щебню, через обломки мраморов, между обгорелыми бревнами, через все то, что незадолго перед тем так стройно стояло и называлось Дамаском.

Кое-где слуга историка, рослый Нух со шрамами магических надрезов на лиловатом лице, поднимал Ибн Халдуна и переносил через руины на закорках, как носят с пастбища захромавших ягнят. По осторожности его черных рук историк чувствовал сыновнюю заботу о себе, и это примиряло его с невзгодой и утешало скорбь от лицезрения руин.

Каирские стражи, одетые все еще единообразно, как караул султана,— в домотканые просторные рубахи по щиколотку под черными шерстяными бурнусами, опоясанные полосатыми кушаками, шествовали вслед за историком, одетым широко, по-магрибски. Проходили через толпы Тимуровых воинов, пахнувших лошадьми, шерстью, чем пахнет от людей, давно не мывшихся, неделями не снимавших потной, засаленной одежды. Завоеватели! И завоеватели неодобрительно оглядывались на шествие арабов: отсиделись где-то, когда всех таких резали, прибирая к рукам Дамаск.

У своих ворот перс играл медной, взблескивающей алыми искрами пайцзой. То перебрасывал ее с ладони на ладонь, то, выпрямившись, подкидывал ее на ладони. И это было удивительно — такой независимый вид при столь жалком обличье.

Ибн Халдуну вспомнилось, что он уже видел перса, но, не успев понять, где видел, забыв и про озябших во-

инов, и про уютный хан, он, приглядываясь к пайцзе, протянул к ней руку.

Перс сразу узнал верховного судью. Довольный редкой в те времена справедливостью суждения, перс, вопреки неизменной осторожности, доверчиво положил свое сокровище на ладонь Ибн Халдуну, хотя, окруженный своими рослыми людьми, этот араб легко мог завладеть драгоценной медяшкой.

Не сразу, сперва пристально вглядевшись в полустертую надпись, держа чекан поперек света, чтоб стала виднее каждая строка, Ибн Халдун уверился — на его ладони лежала подлинная ханская пайцза с тремя кольцами Тимуровой тамги.

Ибн Халдун не понял фарсидских слов надписи, уместившейся в четырехугольной рамке из мелких точек: остереженье ослушникам, коли попытаются тронуть того, или его кладь, или его караван, кому на путь дана она, отчеканенная на красной меди. А вокруг того четырехугольника по всему краю указ: кому дана она, вправе взять себе невольником любого, кто воспротивится указу. Может и убить по тому праву, как убивают нерадивых невольников. Но все это в надписи высказано кратко, веско, как смертельный удар:

«Кто сего путника обидит либо задержит — преступник!»

И на обороте:

«Воля хана священна! Кто воспротивится, станет рабом. Чекан Самарканда».

Фарсидских слов не поняв, Ибн Халдун вспомнил их значение: он уже держал однажды такую пайцзу, с такими же тремя кольцами, когда ее показал в Каире посланец от Тимура к султану Баркуку. Тогда Ар-Рашид, хуруфит, переводчик, слово в слово перевел верховному судье все, что там написано. Эта ничем не отличается от той, даже мелкие точки те же, хотя та была серебряной, а эта медная, с отсветами от гранатовых к золотистым, как масть его недавнего мула. Но и медная, она побывала в руке Повелителя — в том и сила ее, что, кроме Тимура, никто никому не смел давать пропуск на сквозной путь через заставы, через все стражи Повелителя, где бы они ни стояли.

Забыв про опасность упустить пайцзу, вглядываясь в морщины Ибн Халдуна, перс Сафар Али снова засме-

ялся: ему ясно вспомнились красотки, ввалившиеся во дворцовый двор на судилище,— с кем они сейчас?..— и как проницательно, как прозорливо судил их этот судья, словно предугадал день, когда и ему, советчику султанов и наставнику мудрецов, доведется прибегнуть к старому персу.

Ибн Халдуну только бы сжать ладонь, отступить на шаг за спины своих послушных стражей, и откроется им беспрепятственный путь во все стороны света, где бы ни стояла стража Тимура, а за заставами Тимура на любом пути они и без пайцзы вольны.

Перс было встревожился: а вдруг судья сожмет ладонь? Но Ибн Халдун не заслонился, не завладел пайцзой, погревшейся и в ладони Повелителя Вселенной и в кулачках у базарных потаскух.

Он почтительно возвратил пайцзу персу.

— Воля ваша,— сказал верховный судья,— отторгнуть либо притулить людей, на коих нет вины за превратные шалости истории. К тому же при беде они могут оборонить хан от ненастных завоевателей.

Сафар Али помолчал: надо бы верховному судье понять, что не из покорности и не от боязни он окажет им гостеприимство, а по доброте, от души.

Помолчав, так ничего и не сказав, Сафар Али повел каирцев по их кельям.

Когда они проходили через чисто подметенный двор, взгляды их привлек боковой, второй двор, где, увязая в соломе, лежали или стояли незавьюченные верблюды, но никто не приметил низенькую приоткрытую дверцу, мимо которой шли. Оттуда, из своего пристанища, на прибывших новоселов невесело смотрел Мулло Камар.

Не смея никому признаться в потере пайцзы, более всего страшась, как бы не прознал про то сам Меч Аллаха, Мулло Камар неприметно в потоке беженцев прибрел к Дамаску. Тимур вспомнил его, позвал, и, когда глуша в себе недобрые предчувствия, Мулло Камар появился, Тимур послал испытанного проведчика в осажденный Дамаск. Тут не надобилась пайцза — тут была нужна твердость. Мулло Камар проник в Дамаск.

В Дамаске в одно из ранних солнечных утр, легкими шажками торопясь вдоль Прямого Пути к темным глыбам ворот апостола Павла, Мулло Камар не поверил себе, он увидел чудо: дряхлый старик, стоя на утреннем

весеннем припеке, перекидывал с ладони на ладонь сверкающее огромное солнце!

Отведя глаза в сторону, Мулло Камар прошел мимо, плечом почти коснувшись играющего старика. Прошел, и только шаги стали еще легче и мельче. Приметливый перс заметил бы такую перемену походки и засмеялся бы над прохожим. Но перса отвлек какой-то всадник.

Вскоре Мулло Камар возвратился к воротам. Старик что-то говорил всаднику и при этом плавно взмахивал руками. Но в руках старика уже ничего не было.

Неприметно постояв в сторонке, пока длилась беседа перса и всадника, Мулло Камар наконец, когда всадник, хлестнув коня, уехал, попросил у Сафар Али келью в хане, сулясь щедро заплатить.

Сафар Али, видя смиренного человека и опытным глазом признав в нем купца, отвел Мулло Камара в темноватую келью с очагом возле входа.

Мулло Камар сходил куда-то за своим перекидным мешком, где лежало все его достояние. Постелил возле двери на светлом месте коврик, достал книгу стихов Хафиза, хранимую в чехле из полосатого бухарского шелка — полоса белая, полоса красная,— и ощутил себя дома: там, где на привычном коврике лежала привычная книга, был его дом, а все остальное становилось посторонним миром.

Поселившись, он видел не однажды в руках перса то сверкающую, то кажущуюся черной свою пайцзу. Он разглядел даже знакомую трещинку на ней. Это была она! Но он видел и то, как ею дорожит перс, сколь понимает ее власть и силу. Как быть, доколе не выпадет счастливый случай?

Мулло Камар притаился, приглядываясь и терпеливо выжидая этот случай, веря в удачу. Можно было бы кликнуть своих воинов и отнять сокровище силой, но о том тотчас проведал бы Тимур и узнал бы, что от самого Сиваса до самого Дамаска его пайцза погуляла неведомо по чьим рукам! Нет, только самому, без соглядатаев надо заполучить этот маленький медный кружок, равноценный великому жизнетворному солнцу!

Каково было смотреть, как по-ребячьи шалил ветхий старик с бесценной игрушкой. Как она всегда помогала, когда перс заслонялся ею от покушений завоевателей, кому бы ни показывал он ее.

Мулло Камар смотрел, молчал, ждал.

Он ухитрялся, то сказавшись больным, то наглухо затворяясь в темноте кельи, домоседничать, лишь бы не послали его куда-нибудь, где без пайцзы не пройдешь, и лишь бы не отдалиться от перса.

Стал домоседом, сиднем, лишь изредка выходил к воротам, опасливо приглядываясь к каждому, кто заглядывал в хан, ко всем, кто здесь обитал. Даже к слугам, носившим ему еду, относился с опаской, словно не он замышлял завладеть пайцзой, а кто-то из них покушался на нее.

Однажды он решился поговорить с персом.

Подстерег, когда Сафар Али беззаботно стоял у своих ворот, как любил прежде, когда поджидал караваны из неведомых стран или любовался множеством людей, проходящих мимо.

Теперь караваны не приходили и не проходили нарядные дамаскины, но по привычке он стоял у ворот на краю разоренной улицы.

Мулло Камар подошел и не сразу, а после многих приветствий и оговорок спросил о пайцзе:

— Нет ли желания ее продать?

— Нет,— ответил перс,— она оберегает мою жизнь от стрел нашествия.

—Я заплачу как надо. И сверх того.

— В нынешней толчее я не продаю свою жизнь.

— Жизнь человека в руках аллаха.

— Истинно. Потому я и берегу пайцзу. Аллах дает жизнь человеку, и человек обязан ее беречь, ибо такова воля аллаха: он не затем ее дал, чтобы мы с ней шутили.

Попытка — не пытка, но едва ли пытка была бы тяжелее для Мулло Камара, чем благочестивый ответ перса.

«Да и может ли быть благочестив шиит?!» — в раздражении думал Мулло Камар, затворясь у себя в темной келье: в нем шевельнулся суннит.

Затворился, но в полутьме задумался о разных путях к этой пайцзе.

«Только б она не выкатилась в чужие руки. Только б не ушла: у старика я ее вырву. Только б она не ушла от старика...»

Теперь он хотел понять, что за новоселы прибрели сюда этакой оравой с историком, откуда взялись...

Каирцы, присмотрев себе кельи, отправились в мадрасу Аль-Адиб за пожитками, и с ними, снова впереди, ушел Ибн Халдун.

Повеселев, каирцы оказались разговорчивы. Распрямились, словно уже успели отогреться и выспаться, хотя день был студен.

Из мадрасы Аль-Адиб они взяли все, что сочли своим: вязанки сена, бесхозяйные чепраки и даже доски от настила, справедливо считая, что они годятся на топливо. Ибн Халдун снова остался один, но вседневно каирцы прибегали к нему. С того дня они стали преданнее своему владетелю, и он чувствовал при них уверенность в себе, найдя в них опору более, чем в слугах: слуги творили добро по долгу, а эти от души платили за добро добром.

2

Ибн Халдун, возвратившись в свою прежнюю келью, велел отодвинуть к стенам вьюки с книгами и с иными своими прибытками, не развязывая их. Они громоздились до косых сводов потолка, грозя рухнуть и придавить хозяина. В келье стало тесней, темнее.

Заперевшись, он достал с полки потертую кожаную сумку, где хранился «Дорожник» — торопливый, нечеткий черновик и страницы, продиктованные писцу.

Он внимательно перечитал рукопись, вскользь разбирая свой косой стремительный почерк, но подолгу вглядывался, вдумываясь, в строки, старательно и чисто переписанные трудолюбивой рукой писца.

Вдумываясь в каждую строку, он перечитал все, что за эти дни насказал писцу. Кое-что вычеркнул. Ничего не вписал. Прочитав единожды, он перечитал еще раз снова. Что-то еще вычеркнул. Потом несколько названий неуверенно вписал. Подумал. И снова их вычеркнул.

Он положил листок за листком перед собой на ковер, разогнулся и, запрокинув голову, закрыл глаза: мысленно он медленно-медленно снова прошел по Магрибу весь путь, описанный на этих плотных, словно восковых, листках.

Он вспомнил базар в Магдии на песке возле самого моря, где в непогоду волны добегали до продавцов, хваливших рыбу, еще бившуюся в пальмовых плетенках и в

плоских, как подносы, корзинах. Рыба билась, словно спешила стряхнуть с себя переливчатое мерцание моря, а он, историк, стоял тогда среди рыбаков Магдии и слушал их жалобы на трудную жизнь. Там были добрые люди.

Он вспомнил Габес, где на холмах, отодвинувшись от прибоя, белели низенькие строения маслобоек, куда из окрестных рощ свозили урожаи маслин, синевато-красных, красновато-синих, седовато-черных, груды маслин в глубоких, как опрокинутые колпаки, желтых корзинах. Он, случалось, гащивал в семье маслобоя. Сам маслобой, пожалуй, давно умер, но те смуглые ребята, которые тогда шалили там и росли, нынче тоже бьют масло, и оно мирно течет золотисто-зеленой струйкой в черные кувшины.

Он вспомнил Гафзу, притихшую среди песков, где в пальмовой роще под огромными желтыми гроздьями спеющих плодов бродят ручные задумчивые аисты. Одному из них, которого укусил шакал, Ибн Халдун перевязывал голенастую ногу белым лоскутом, а он в то время перебирал длинным клювом в его слоистой чалме.

Он вспомнил селенье из приземистых жилищ, словно прижатое к земле ветрами, несущими песок из Сахары. Там гончары умеют не только затейливо лепить кувшины и чаши, но и расписывать их рыбами и птицами. Один из гончаров отдал свою дочь в семью Ибн Халдуна. Она была молчаливой служанкой, но когда родила мальчика, отцом которого оказался сын Ибн Халдуна, историк велел сыну жениться на ней. Она тоже вместе с мальчиком плыла на корабле, захлебнувшемся у берегов Ливии. Ибн Халдун вспомнил, как между домами селенья, в глубоких, горячих сугробах песка, тот его внук беззаботно играл, из пальмовых листьев сплетал кораблик и пускал плыть по песчаным волнам.

Вспомнилось одно за другим по всей дороге от Александрии до Рабата, до океана...

Он открыл глаза, увидел серую кирпичную стену своей кельи, до блеска вылощенную спинами прежних ее обитателей. Громоздились вьюки, свитки ковров.

Ибн Халдун решительно наклонился над страницей и что-то зачеркнул в ней так торопливо, даже тростничок заскрипел и, может быть, сломался. Но писать больше было нечего.

Ибн Халдун отпер дверь и послал слугу за переписчиком, жившим тут, в нижней келье мадрасы Аль-Адиб.

Переписчику он велел писать красиво, но разборчиво.

— День и ночь пиши. День и ночь! Чтоб скорее отдать рукопись переплетчику.

— Переплетчик проработает долго, — возразил переписчик.

— Я его потороплю! — сказал историк, уповая на свою щедрость.

— Его нельзя торопить. Меня можно, а его нельзя.

Ибн Халдун удивился:

— Почему?

— Чернила просыхают скоро, а клей сохнет долго. И клей песком не присыпешь, чтоб скорее просыхал. Иначе переплет покоробится.

— Нет, коробиться ему нельзя! — встревожился историк. — И надо на коже оттиснуть узоры золотом.

— А это уже дело тиснильщика: он оттиснет, а переплетчик ту кожу переплетет. А остались ли в Дамаске тиснильщики, не знаю.

— Ищи! Но ищи скорее. Я хорошо заплачу!

Историк даже встал, словно мог, как верблюдов, поднять в путь разом всех троих — переписчика, тиснильщика, переплетчика — в славный путь, ибо цель пути — книга в кожаном переплете с золотым узором по краю.

В те дни в Дамаске из мастеров уцелели немногие. Уцелевших спасла случайность, которая порой является в жизни человека. Только купцы в своих пока не тронутых слободках, перебегая из дома в дом, собирали складчину, последнюю золотую часть выкупа, откупиться от завоевателя. У въездов к купцам стояли караулы с тяжелыми бородатыми копьями, с ятаганами на животах, не впуская воинов на грабеж, а купцов не выпуская в город. У ремесленников на месте их слобод было безмолвно. Там среди руин, да и под сенью разоренных жилищ мало кто уцелел, а кто и уцелел, притаился, дабы не попасть в неволю.

Но волю историка переписчик исполнил: переписал, сам переплел, принес книгу вместе с черновиком. Теперь черновик лежал с краю от книги.

Ибн Халдун кинул черновик в очаг, где, кроме холодной золы, ничего не было. Тяжелое облако золы всплеснулось над рукописью и покрыло ее.

Закрыв «Дорожник», Ибн Халдун завернул книгу в плотный синий шелк в радужных переливах, как гладь океана в день затишья.

Убрав этот сверток на полку, Ибн Халдун позвал Нуха и вышел на базар, где шумела крикливая, грубая торговля. Тут торговали не купцы Дамаска, а воины Тимура. Добычу этих дней и прежнюю, довезенную сюда из Халеба, они сбывали перекупщикам, сбредшимся, как шакалы на львиную тризну. Менялись товарами между собой — это было в обычае. Не скупились, легко скидывали цену, если оказывался вольный покупатель.

Кое-где толпились до давки, сбывая за бесценок одежду, украшения. Пустоватыми гляделись ряды, где сбывали пленников и пленниц: этого у всех было вдосталь. Кое-кто, бережно обойдясь с добычей, взятой из лавок, теперь размашисто разложил товары, считавшиеся на прежнем базаре за редкость.

В стороне втайне продавали и ценности — золото и серебро, утаенное от десятников.

Ибн Халдун походил, потискался в тесноте, посматривая на товары.

Наконец он увидел редкостный коврик для молитвы. Воин дорожился: вещь небольшая, на такое был спрос. Поторговавшись, Ибн Халдун купил коврик.

Неподалеку он увидел отлично переписанную и украшенную золотом знаменитую касыду «Аль-Бурда», написанную Аль-Бузири во славу пророка. Такой изысканной книги давно не приходилось видеть. Ибн Халдун удивился той торопливой легкости, с какой сговорчивый воин уступил ему эту каллиграфическую драгоценность. И тут же в придачу предложил за бесценок Коран, тоже редкий по красоте, по уменью переписчика.

Нух, идя следом, бережно складывал покупки в ковровую сумку, перекинутую через плечо.

Возвратившись с базара, Ибн Халдун велел развязать один из вьюков и достал оттуда пять небольших плетенок с исстари славящимися каирскими засахаренными плодами.

Заметив, что это последние плетенки из каирских припасов, одну он убрал обратно, а четыре остальных приложил к базарным покупкам.

Постелили златотканую дамасскую шаль. Поставили на нее серебряный александрийский поднос, тоже из ка-

ирского привоза. Уложили на поднос четыре плетенки со сластями. Покрыли их рукописью Аль-Бузири. Поверх всего лег Коран.

Соединили концы шали. Завязали узел.

Ибн Халдун засунул «Дорожник» за пазуху под бурнус. Нух поднял узел на голову, скатанный коврик захватил под мышку и пошел вслед за историком ко дворцу Аль Аблак.

Двор перед дворцом кипел воинами и народом. Слева от ворот возле стен у коновязей грызлись и взвизгивали лошади. Конюхи вскрикивали на них. Воины отталкивали посетителей, протискавшихся к почернелым дверям дворца.

Почернелые двери, изукрашенные узорами из переливчатых ракушек и слоновой кости, охранялись барласами в тяжелых праздничных халатах, заправленных в широчайшие кожаные штаны, расшитые зелеными и малиновыми нитками. Древками копий, тяжелыми круглыми плечами, а то и крутыми лбами барласы отодвигали наседавших посетителей. А отодвинув, опять распрямлялись и вставали, заслоняя двери.

С плоских ременных поясов, окованных серебряными бляхами, свисали кривые сабли, широкие кинжалы здешней дамасской работы. А спереди тех поясов тяжело сползали под животы круглые отяжелевшие желтые кошели. Только пушистые волчьи шапки остались от простоты их былой степной одежды.

Ибн Халдун еще не осмотрелся в этом теснилище, среди буйства голосов, когда к нему протиснулся обрадованный, одушевленный, похудевший Бостан бен Достан.

— О великий учитель!..

— Велик только аллах, о человек!

Но, видя разных людей, совсюду стеснившихся к ним, поучительно добавил:

— А на земле велик един Повелитель Вселенной, Рожденный Под Счастливой Звездой.

— Кто же не верит в это! — пугливо согласился Бостан бен Достан. И тут же деловито, приникнув к уху, как на базаре при торговых сделках, зашептал:

— Я искал милости вашей в мадрасе, но слуги ваши не допустили к вам. А я жажду милости вашей.

— К чему она вам?

— Уйти отсюда. Не то я разорен: я в сумятице успел закупить много всего, чем прежде дорожились дамаскины. Закупил, а куда деть? Прячу, прячу, а увидят завистники, а либо, сохрани аллах, сами завоеватели, и конец моим покупкам, а с ними и жизни моей!

— А много ли этого?

— На караван. Вьюков на восемьдесят.

— На двадцать верблюдов?

— Ведь задешево. Почему было не взять?

— Пришлите ко мне слугу, чтобы знать, откуда позвать вас, когда будет надо.

Бостан бен Достан восхищенно вскинул глаза:

— О!

Но тут же его оттеснили люди, рванувшиеся плечами вперед к приоткрывшейся дворцовой двери.

Ибн Халдун, спохватившись, поддался силе этой волны, и она подтолкнула его к барласам.

Слуга не отстал.

Барласы было преградили дорогу, но десятник, опознав Ибн Халдуна, провел его между стражами к высоким крепким дверям.

Ибн Халдун сунул десятнику несколько толстеньких серебрянных тенег с именем Тимура, вписанным в четырехгранную рамку, и они так быстро исчезли в тяжелом желтом кошеле, словно их и не было на свете.

Но когда удалось перешагнуть за дверь, столь же тесно оказалось и на лестнице, поднимавшейся к недавнему книгохранилищу. Здесь привычно стояли по всей лестнице, ступенька над ступенькой, ближайшие люди Повелителя на случай, буде он кликнет их.

Ибн Халдун вклинился между ними, не в силах ни разогнуться, ни опереться на кого-либо. Ступеньки на две ниже его держался Нух с узлом на голове.

Этот узел, возвышавшийся над чалмами самаркандцев, приметил Шах-Малик, выглянувший из покоев Повелителя. Шах-Малик разглядел историка и, зная, сколь милостив Повелитель к этому арабу, велел пропустить Ибн Халдуна наверх.

Как ни плотно стояли друг к другу, вельможи раздвинулись, Ибн Халдун просунулся левым плечом вперед, а следом, без стеснения раздвигая всех, протолкался и слуга. Но наверху перед приоткрывшейся дверью Ибн Халдун обернулся, взял с головы слуги свой узел и



неловко толкнул локтем Шах-Малика, выпрямляясь, чтобы переступить порог правой ногой.

Он вступил в покой Повелителя, а слугу, пиная локтями, вельможи дружно свергли до нижней ступеньки, где ему удалось удержаться, прижавшись к стене.

Ибн Халдун увидел перед собой Повелителя, восседавшего на деревянном возвышении, покрытом исфаганским ковром.

Слева неприметно, словно его тут и нет, притаился, как обычно, переводчик.

Держа в левой руке узел, а правой вынув из-за пазухи «Дорожник», завернутый в синий шелк, Ибн Халдун воскликнул:

— О амир!

— Принесли?

— Вот это, о амир!

— Я ждал долго.

— Задержали переписчики. Их мало здесь осталось.

— Взяли бы из моих. Я их посылал вам. Почему вы предпочли своих?

— Не посмел тревожить ваших, амир!

Тимур, отодвинув стоявшую перед ним плошку с водой, освободил перед собой место для книги.

Ибн Халдун на протянутых ладонях на развернутом шелку поднес Тимуру кожаную тяжесть «Дорожника».

Тимур заметил:

— Однако, видно, уцелели в Дамаске и переплетчики, и переписчики.

Ибн Халдун промолчал, прикрываясь поклоном: Тимур мог спросить, где, мол, они укрылись.

Дождавшись, пока Ибн Халдун, закончив поклоны, поднял лицо, Тимур сказал:

— Послушаем.

Переводчик придвинулся, чтобы не пропустить ни слова. Но Тимур послал его за Шах-Маликом.

Прежде чем поспел Шах-Малик, вошли внуки Повелителя Абу Бекр и Халиль-Султан.

Дед указал им сесть позади себя.

И тогда возвратился переводчик, предшествуемый Шах-Маликом.

По знаку Тимура он сел справа от Ибн Халдуна на широком зеленом ковре.

Отложив в сторону упругий синий лоскут, Тимур вернул книгу историку.

— Послушаем.

Ибн Халдун провел ладонью по титулу, обрамленному золотой полоской, по куфической квадратной надписи, венчающей по обычаю, удержавшемуся со времен Омей-

ядов, первую страницу книг. По этой нарядной, но строгой надписи, называемой в Самарканде «унван», Ибн Халдун провел ладонью, не колеблясь, прочел славословие аллаху. Так уста историка произнесли начало молитвы прежде, чем сам он решил, читать ли ее.

Халиль-Султан посуровел, насупился, уверенный, что слушание молитвы требует строгости.

Покосившись на брата, Абу Бекр тоже опустил глаза. Шах-Малик, склонив голову, поскреб ногтем по халату, где ему померещилось пятно.

Тимур смотрел по-прежнему пристально, не отводя узких глаз от читающего.

Молитва прозвучала торжественно: многократный верховный судья, богослов и книжник, он умел читать арабские молитвы, растягивая слова и неуклонно повышая голос до того рубежа, когда молитва становилась силой, звучала уже не мольбой, а повелением, словно не к аллаху, а от аллаха шла она. Так молитва наполнила всех сознанием, сколь значительна книга, начатая так.

— Во имя бога милостивого, милосердного...

Тимур слушал, не шевелясь, сузив глаза, спустив ногу с сиденья,— видно, боль отпустила: нога неподвижно стояла на скамеечке.

Слушал описание Александрии с ее мраморными мечетями, дворцами, базарами. О Помпеевом столпе, возвышающемся на виду у залива. Было рассказано о товарах, даже о цене на многие товары. Сказано, откуда их привозят. О товарах, которые караванами отправляют александрийские купцы в иные города и в дальние страны.

— На Александрию дорога пойдет через Нил.

Были указаны все переправы и способы переправиться там, где переправ нет и может не найтись перевозчиков.

Потом шла песчаная страна Ливия, где во многих местах дорога отклонялась в пустыню. Там в глубине песков есть селение под пальмами, где дождь случается лишь раз в несколько лет. А дальше — земли Туниса, дорога опять вдоль моря.

Тимур резко повернулся к историку:

— Вдоль моря! А разве от моря в глубь царства дорог нет?

Магрибец вздрогнул, словно просыпаясь.

— Там нет городов.

— Я слышу имя Габес и сразу — Сфакс! А разве не от Габеса сворачивает дорога на Джербу?

— Но Джерба — остров, о амир! А я писал дорогу по земле.

Тимур смолчал, ожидая дальнейшего чтения. Ибн Халдун понял, что весь этот путь уже известен Тимуру. Известен до многих подробностей.

Значит, вся затея с «Дорожником» — лишь проверка, учиненная историку: искренен ли он с Тимуром, не лукавит ли?

Ибн Халдун второпях думал:

«Они уже знают дороги по Магрибу. Надо понять, весь ли путь знают. Надо выведать, что им еще не известно».

Как бы устав от чтения, опытный царедворец грустно улыбнулся. Покачивая головой, помолчал. Устало и ласково поднял взгляд к жесткому прищуру Тимура:

— О милостивый амир! Сфакс — это моя родина. Там еще цел мой дом, где я впервые увидел свет бытия.

Тимур ответил как бы сочувственно и как бы в раздумье:

— Да.

Историк спохватился:

«Он знает и это! А я никому здесь не называл свой город. Я только говорил — Тунис».

Тимур повторил:

— Да. Родина одна у каждого, а дорог много.

Ибн Халдун читал страницу за страницей. О маслобойках, о скоте, о финиковых рощах, об уловах рыбы...

— Не рыбачьи лодки, а корабли там есть? Чтобы переплыть в Гранаду, в Севилью.

— Там опять христиане! — отмахнулся Ибн Халдун.

— Арабы там тоже есть. Богатые султаны. В Кордове.

Ибн Халдун, удивившись, дернул плечом:

— Султаны? Там?

— У которых столько лет вы служили в почете. Но, случалось, и в обидах.

Ибн Халдун уверился:

«Про все прознал!»

— Да, есть!
— Корабли?
— Нет, султаны.
— А корабли?
— Корабли у пиратов. Их не поймаешь. На Джербе у них своя крепость.
— А через море в Андалусию вас пираты перевозят? Или переплываете на верблюдах? Или на бурдюках?

Слово «бурдюк» переводчик оставил без перевода, не успев подыскать подходящее слово, а Ибн Халдун понял, что это тоже какое-то животное, как и верблюд, но плавающее.

— Для переправ корабли есть. Для караванов, а не для войск.

— А как же туда арабское войско прошло для завоевания городов и земель христианских?
— Волей аллаха милостивого.
— Свою волю аллах высказывает через вещи: одним дает мечи, другим — корабли, третьим — золото. Плавающим нужны корабли, ибо воля незрима и на нее не погрузишься.

Ибн Халдун устал читать. Голос его охрип. Не всегда стал успевать, прервав чтение, ответить Тимуру. Тимур заметил это.

— Пусть нам дочитают чтецы. Вы написали красиво, но многое забыли. Слушая вас, я не всегда знаю, могу ли из этого места куда-нибудь свернуть.
— Я не забыл! — возразил историк. — Но зачем вам дорога в пески, в Сахару? Там пусто. Там ничего нет. Только стаи львов. Туда даже караваны не ходят.
— Я хочу выйти к океану. На край земли! Дальше — только вода. Через ту воду никто не плавал.
Ибн Халдун задумался.
— Никто? Я слышал в Александрии, что есть книга, написанная мореходом. Он сплавал за океан, видел там землю голых людей. Как ходят в Судане. Я искал ту книгу. Мне сказали: «Была!» И тот, кто видел ее, видел в ней изображения рыб, горбатых, как верблюды, плоды там как яблоки, но алые и прозрачные, как наш виноград. Кто-то взял ту книгу, и с тех пор ее никто не видел.
Тимур удивился и даже обиделся:

— Куда же плавать, когда в Рабате край земли? А книга — это небось выдумка.

Ибн Халдун подтвердил:

— Истинно, в ту сторону плыть некуда.

Он закрыл «Дорожник».

Они заговорили о Кордове и океане, а там, за далью магрибских дорог, за скалами Гибралтара, неподалеку от той самой Кордовы, около океана, уже зеленела молодая роща, где исстари растили корабельный лес. И уже зеленели в той роще молоденькие деревца, что вытянутся, окрепнут и дорастут до дня, когда через десятки лет войдет в ту рощу пожилой умелый корабельщик, опытным взглядом вглядится и отберет приглянувшиеся деревья, и ему повалят их, под его присмотром из них натешут доски, и корабельщик будет долго, терпеливо, ждать, пока те доски отлежатся в прохладной тени, обветрятся, просохнут на недобром океанском ветру, привыкнут к шуму волн, и когда заметит, что они дошли и готовы, построит из них замышленную каравеллу, легкую, но стойкую среди бурь и безветрия, и, чтобы сама богородица хранила тот корабль, даст каравелле имя «Святая Мария». И каравелла, наплававшись среди изведанных морей, выказав свои силы и крепость, приглянется смелому мореходу родом из Генуи, с именем Христофор. И он поднимет на ней три ряда парусов и лихо, будто на ярмарку поехал, покинув изведанные моря, пойдет поперек того неизведанного моря — океана. Будет долго на ней плыть, глядя вперед. Доплывет до Золотых гор. Некогда аллах создал землю для человека, а тот мореход приведет людей на неведомые пустынные земли.

Но со дня, когда Ибн Халдун закрыл перед глазами Тимура книгу «Дорожник», до дня, когда Христофор Колумб на своей каравелле откроет книгу «Дневник» и впишет в нее первую строчку, пройдет ровно девяносто лет.

А молодые деревца в далекой роще уже светло зеленели, ибо в ту пору в той роще осень еще не наступила.

Тимур поднял синий лоскут шелка и обтер лицо.

Когда историк вернул книгу, Тимур положил ее около себя, а лоскутом вытер шею.

Тогда Ибн Халдун, став на колени над узлом, развязал шаль и подал Тимуру Коран.

— Я прошу принять мое подношение в благодарность за многие милости.

Тимур внимательно осмотрел искусную работу переплетчика, блестящий от лака переплет.

Вслед за тем историк, подняв поднос, преподнес остальное.

Беря каирские сласти, Тимур спросил:

— Вы соскучились по сладостям Каира?

Одну из плетенок Тимур, полуобернувшись, отдал внукам и повторил:

— Соскучились?

Историк насторожился:

«Пытается угадать мое желание. В подарках ищет намек».

И поспешно ответил:

— О великодушный амир! Здесь, под нами, в подземелье, а кроме и в других подземельях заточены каирцы. Вельможи, из близких людей султана. Юного султана Фараджа. Пощадите уцелевших! Отпустите их. Как великой милости прошу: дозвольте мне самому выпустить мамлюка из темницы, коего сам я туда запрятал. Мне по моему возрасту вот-вот предстоит предстать пред престолом всевышнего. Что я скажу? Чем оправдаюсь, если уйду с земли, оставив мучеников, не сотворив милостыни?

— Освободить их? Отпустить домой?

— О амир!

— Ступайте. Освободите. Чего еще хотите?

— Служить вам.

— Сперва исполняйте свое первое желание.

Бормоча:

— Милостивый... Милостивый... О амир! — Ибн Халдун вышел. Не на лестницу, а тем боковым ходом через узкую галерейку, где еще прежде хаживал.

Сперва половицы дворца под ним заскрипели, но вскоре смолкли. В тишине он прошел к лестнице. Оттуда ступеньки вели в подземелье.

Воин, карауливший дверь в подвал, сидел на ступеньке, до блеска натирая о кожаные штаны серебряный дирхем или теньгу. Есть люди, коим нравится, чтобы монеты блестели, хотя истинная красота серебряных монет в их

патине, в их золотистом загаре, который надписям придает глубину.

— В саду нашел! — быстро объяснил воин возникшему перед ним историку.

Историк успокоил стража:

— Воля аллаха. Найденное отчищают от земли, добытое — от крови. Лишь бы блестело серебро.

— Вот, вот!

Воин поднялся, недоверчиво, опасливо приглядываясь к незнакомому старику.

— По указу Повелителя открой мне, брат воин!

— Сперва я кликну десятника.

— Кличь!

Десятник пришел вскоре же, но был суров. Он долго настаивал узнать, зачем выпускать узника, когда ему и там спокойно. Десятник спрашивал на чагатайском языке, и араб его не понял.

Но следом за историком явился барлас от Повелителя и повторил указ:

— Узника мамлюка выпустить.

С лязгом волоча длинную саблю и ею постукивая по ступеням, страж пошел, светя фонарем. В фонаре, задыхаясь, вспыхивала оплывшая желтая свеча.

Ибн Халдун шел, не отставая.

Барлас остался наверху ждать их возвращения.

Тимур, послав вслед за Ибн Халдуном своего барласа, сказал Шах-Малику:

— Историк хочет в Каир.

Шах-Малик удивился:

— Разве ему здесь плохо?

— А то бы незачем ему тревожиться о судьбе каирцев.

Шах-Малик промолчал.

Тимур, тылом руки отодвинув «Дорожник», проворчал, глядя куда-то в прорезь окна:

— Силой не возьмешь преданности.

Шах-Малик, тяжело вставая с ковра, согласился:

— Какая уж преданность!

Это была их недолгая передышка в толчее дел:

Шах-Малик опять выглянул на лестницу и из тамошней тесноты вызвал нескольких сподвижников.

Они прошли, отряхивая халаты, помятые в тесноте, словно морщины можно стряхнуть, как соломинки.

Шах-Малик указал место, где надлежит опуститься на ковер. И они сели, поджав под себя ноги.

Дабы начать беседу, один из гостей льстиво восхитился:

— Прекрасен дворец, о милостивый Повелитель!

Тимур ответил, прилежно сохраняя арабские оттенки слов:

— Каср Аль Аблак!..

— Какое прекрасное название!

— А значит оно: либо пестрый, либо пегий. Спрашивают меня, как лучше его звать — пегий либо пестрый? Нет, говорю, пегий! Я ценю пегих лошадей: у пегих особый нрав.

— Еще бы!.. Я тоже всегда на пегой,— заверил один из гостей.

— На пегой? — припомнил Тимур. — Всегда видел вас на вороном. С красным чепраком и позлащенными стременами.

— На пегой, о государь милостивый, на пегой! А стремена не то что позлащенные, а доподлинно золотые. Литые. Еще из Индии.

— Да? Нет, на пегой не видал.

Гость оробел, смолк, туго запахивая халат. Тимур отвернулся к другим.

— Пегий дворец! Хорошо. Каршинской степью пахнет. А?

И сразу все наперебой заговорили друг с другом, кстати и некстати ухитрялись сказать:

— Пегий дворец...

— Пегий дворец!..

Тимур смотрел на них. Вдруг, перебивая их усердие, громко сказал:

— То-то.

И все смолкли, снова услужливо повернув к нему свои столь различные лица.

А тем временем в безлюдную, нежилую часть дворца шли из подземелья страж с фонарем впереди, пошатывающийся узник, а по пятам за ними Ибн Халдун.

Ибн Халдун приговаривал:

— Я вас держал здесь, чтобы сохранить. Иначе вы погибли бы при зверствах татар. Они тут весь город вырезали. При взятии Дамаска.

Историк говорил смело и громко, зная, что никто из барласов арабской речи не понимает.

Узник, пошатываясь, кланялся.

— Я на всю жизнь!.. Это разве забудешь? Вся моя жизнь вам!..

— Я затем и запрятал вас перед падением города. А не то зачем бы мне?

— Сохрани вас аллах милостивый.

— Теперь вместе надо думать, как выбраться в Каир.

— Неужели это может быть?

— Я забочусь.

— О учитель!..

Мамлюка пошатывало. Но, выбравшись из-под сводов подземелья, он заспешил обрести свой былой облик, коим, как ему казалось, прежде красовался при каирском дворе Баркука,— пошел, слегка кособочась, поволакивая ногу, как это высмотрел однажды у султана Баязета Молниеносного, когда возил ему дары Баркука. Говорил косноязычно, шепелявя, картавя, но чванился своим косноязычием: ему представлялось, что так он выглядит знатнее, родовитей против просторечия челяди. Никого не было, кто объяснил бы ему, что знатность человека неотделима от простоты и разума, она не в подражании чужим повадкам, но только в том, чтобы блюсти лучшее в самом себе.

Еще серый от многодневного сидения в темноте, с головокружением от свежего ветра мамлюк брел за Ибн Халдуном, а черный Нух, слуга историка, дождавшийся их, поддерживая мамлюка под локоть, думал, что так покачиваются не от чванства, а от тайной болезни.

Оставив мамлюка черному Нуху, Ибн Халдун из осторожности возвратился во дворец на случай, если доведется поблагодарить Повелителя за милость и за мамлюка.

Шах-Малик увидел его и сразу же повел к Тимуру.

Тимур поднял на Ибн Халдуна пронзительный, немигающий взгляд. Равнодушно выслушав благодарность историка, Тимур спросил:

— Скажите, учитель, что считается основой вашего большого сочинения?

— Это история, о амир! И когда напишешь ее всю своей рукой, невозможно отличить главное от второстепенного.

Тимур возразил:

— Историю создает аллах, а не историк.

— Но историк, взирая на содеянное аллахом, пытается понять главное в том, что содеяно.

— В созидании нет главного и малого. Когда созидается большое здание, изъяв из него один-единственный кирпич, можно обрушить все здание. Аллах один знает, где его первый кирпич и где второй.

— Но для этого, о амир, нужно подглядеть, на каком же из кирпичей держится все здание.

Тимур прервал спор:

— Что же есть главное в истории, написанной вами? Есть ли и в ней кирпич, на котором держится все здание?

— Я так понимаю историю, что она держится на многих кирпичах.

— Какие же это?

— Земля, на которой живут люди. Умеренная погода в этой земле — теплая зима и прохладное лето. Тогда там живет народ просвещенный.

— А в жаркой земле?

— Там люди не строят прекрасных зданий, ибо им и в шалашах тепло. Они не возделывают полей, ибо во весь год вдосталь собирают земные плоды в лесах или рыб в море. Они не придумывают одежд, ибо в одеждах там душно. Поэтому они ничего не созидают и незачем им чему-либо учиться.

— А в холоде?

— Тоже. Все свои силы целый год они напрягают, чтобы на зиму запасти себе пропитание. У них нет времени для наук — все силы их уходят, чтобы укрыться от холода, избежать голода. Поэтому в крайнем холоде у людей нет времени учиться.

— Я не задумывался об этом, но, кажется, это так и есть. Но это еще не история.

— Нет, это причина, объясняющая многие происшествия среди народов.

— А еще что?

— А еще есть само действие истории.

— Как это? — не понял Тимур.

— Я наблюдал события, как звездочет наблюдает

звезды, и я заметил: люди делятся на кочевников и оседлых. Оседлые земледельцы привыкают к повседневному труду и становятся вялыми, и тогда приходят кочевники, вытаптывают поля, сжигают города и устанавливают власть сильных людей над дряблыми.

Тимур одобрительно кивнул.

— А как вы объясняете, что это справедливо?

— Я не сужу, справедливо ли. Но я заметил: кочевники завладевают землями и городами и через три или через четыре поколения сами становятся добрыми, дряблыми и достаются новым кочевникам, которые приносят крепкую силу на смену тем, кого одолела лень, беспечные забавы... И так круг за кругом у всех народов, о каких я только мог узнать.

Тимур заворочался на своем коврике и неосторожным движением потревожил больную ногу. Острая боль так его резнула, что, по давней привычке, левой ладонью он быстро зажал рот. Сощурил глаза.

Но Ибн Халдун не успел понять это движение руки, как Тимур уже уперся этой ладонью в коврик, пытаясь поудобнее поставить ногу.

— Сколько поколений?

— Каких? — не понял Ибн Халдун.

— Сколько поколений кочевников, завоевав, владеют завоеванным?

— Три или четыре. Столько я насчитывал каждый раз, когда случалось посчитать.

— Это у магрибских султанов.

— И у вас тоже. Ваш Чингисхан был счастлив сыновьями. А где его просторнейшая империя? А где его правнуки? Потомок Чагатая... Я его видел, султана Махмуд-хана. Мужественный человек. Но он в вашем стане. Своего у него нет. То же в Золотой Орде: Батый был силен, а его внуками уже играют кочевые вожаки. Случалось, трое, четверо из потомства Батыева дрались между собой, служа кочевникам. Дрались за жалкую власть в тесной стране. Ныне там, говорят, чингизид Тохтамыш-хан правит лишь уздой своей лошади, больше ничего у него не осталось.

Тимур молчал.

Ибн Халдун продолжал:

— Многие тщатся подкрасить свою историю. Но истину не утаишь. Всегда есть те, кто знает правду.

— Некоторые страны далеки, и своя правда там виднее.

Ибн Халдун:

— О! Правители любят копаться в чужом мусоре, а у себя дома не видят жемчуга. От них события дальних стран известны историкам подробнее, чем свои: свою истину часто таят.

Опять помолчали.

Ибн Халдун улыбнулся:

— Вот вам и Золотая Орда. Батыево племя...

— А вы хорошо знаете ордынские дела. Откуда?

— Я даже писал о них в своей истории.

— Не слышал еще всей вашей книги.

— В Фесе ее переписывают, но по-арабски.

Тимур нахмурился и замолчал.

Вдруг он кинул на Ибн Халдуна такой тоскливый, кажется, подернутый слезой взгляд, что историк растерялся: показалось, что Тимур что-то сейчас скажет, чего никогда не говорил, но что наболело в нем больше, чем многолетняя боль в коленке.

— Это что же, мой сын, потом внук, наконец, сын внука... И на том конец? Этому учит ваша книга?

— О амир! О милостивый амир! Моя книга не учит, она только описывает дела людей и судьбы народов.

— Дела и судьбы? Это красиво сказано. Но быть этого не должно! Я побуду один. Такую книгу выбросить бы, чтобы никто так не думал. Я побуду один.

Он опять опустил глаза, и тогда историк понял, что надо уйти: он уже знал, что такие раздумья могут вызвать у Повелителя неудержимый гнев. И нельзя предвидеть, не на историка ли он обрушится. Но известно, что еще хуже бывает, когда гнев остается в душе Повелителя Вселенной: тогда он затаится до случая и не приведи аллах в тот день быть там, где грянет этот злой случай.

Ибн Халдун откланивался, но Тимур, казалось, не видел его.

Ибн Халдун вышел.

3

Нух отвел мамлюка в хан к персу. Сафар Али дал ему жилье, достойное собеседника султанов, хотя мамлюк сетовал, что тут ему и тесновато, и темновато. Он и

не думал вспоминать, сколь темно и тесно жилось ему за несколько часов до того.

К вечеру того же дня к Сафару Али из дамасских узилищ прибыли остальные мамлюки, все из уцелевших, ныне по заступничеству Ибн Халдуна отпущенные. Их осталось девятеро, приближенных старого Баркука. После его смерти по его завещанию они опекали и растили нынешнего султана.

Был бы жив Баркук, не выпало бы от Тимура пощады никому из Баркуковых соратников, ныне же щадил, может быть, втайне ища от них себе доброй славы, похвалы его милосердию: пусть, мол, в Каире знают, сколь Тимур великодушен.

В тот вечер, наконец оставшись один, Тимур сидел, прислонившись спиной к большой кожаной подушке.

Комната, когда в ней не осталось книг, а только осиротевшие ниши, выглядела невзрачно. Не мрачно, но и ничем не радостно.

Чтоб скрасить пустоту стен, на каждой стороне догадались повесить по большому круглому щиту, как это делали в походных юртах. Щиты из добытых здесь, с какими уже давно из-за их тяжести не ходили в битву. Из четырех один был серебряный, выкованный мастером в древние времена, служивший каким-то царям для праздничных выездов.

Когда от внесенных светильников по почернелому серебру поплыли маслянистые отсветы, как позолота, Тимур вгляделся в этот щит.

Ему увиделось там изображение человека не то в длинном панцире, не то в коротком халате с широкими поперечными полосами. Человек с длинным плоским туловищем, на совсем коротких ногах, с воздетыми вверх руками.

Что он делает? Почему воздеты его кривые руки? И где этого человека с длинным туловищем и кривыми руками Тимур уже видел? Где?

Задремывая, уже в полусне он вдруг отчетливо вспомнил длиннотелого человека: то был спешенный воин, кинувшийся один против конницы изменника Кейхосрова, когда та конница мчалась на шатер Повелителя, чтобы схватить и низвергнуть. Тот воин по имени Хызр-хан

один остановил их, схватив узду и, ударившись в грудь передового коня, присев, повиснул на узде и тем заставил испуганного коня споткнуться и рухнуть. Тимур возвеличил, приблизил воина, поставил его тысячником... Но кто это отчеканил его на древнем щите?

Сон отпал. Тимур встал и, подняв с ковра кованый медный светильник, подошел поближе к щиту.

На щите оказалась вычеканена сеча конных воинов в пернатых шлемах. Но никакого пешего воина среди них не нашлось: издали воином выглядел вздыбленный конь.

Досадливо запрокинув голову, Тимур проворчал с укором:

— Вот те и Хызр-хан!..

Постоял, разглядывая щит, прислушиваясь к дождю, зашумевшему снаружи.

Рука устала держать светильник.

Тишина и отстраненность книгохранилища казалась Тимуру уютной: тут было можно укрыться не только от непогоды, но и от многолюдья, от повседневной суеты, не затихающей, пока поход продолжается, а поход продолжается и в те дни, когда войска приостанавливаются, чтобы отдышаться.

Опустив на пол тяжелый светильник, где на гранях поблескивала сквозь черноту желтая медь, он вышел в тесный переход, боком протиснулся в галерею дворца и оттуда, из темноты, увидел внизу, во дворе, под фонарем у раскрытой двери двух стражей, рослых барласов. Они, заслонившись от дождя, прижались к стене по обе стороны входа, а дождь гулял по всему померкшему, обезлюдевшему двору.

Тимур пошел неприметно, одиноко прогуляться в потемках, вспомнить мысль, мелькнувшую при взгляде на щит. Он еще не понял ее, но она чем-то встревожила его.

Едва он вступил в длинную галерею, где, как и при Фарадже, то поникал, то, очнувшись, вздрагивал маленький огонек в большом фонаре, под Тимуром, взвизгивая, как при пытке, заголосили половицы.

То они запевали, то стонали под ним, а он уходил дальше, мимо больших горниц, куда никого не поселили, дабы никто не тревожил его здесь.

Чем дальше он шел, тем сильнее сказывался запах нежилых комнат: пыль, гнилое дерево, проникшая снару-

жи гарь, соединившись, преобразились в благоухание дворца, в своеобразный, особенный приятный запах. Каждое жилье пахнет неповторимо. Устоявшийся воздух дворца благоухал. Так, случается, из ветхих, тленных дел человека складывается его нетленная, благая слава.

Когда, постепенно успокаиваясь, Тимур задумался, пытаясь понять, чем же обеспокоил, озадачил, огорчил и встревожил его безмолвный серебряный щит, половицы смолкли. Либо он перестал их слышать.

То останавливаясь, то уходя к пустым дальним горницам, он вдруг понял: это Хызр-хан, вспомнившись, навел его на раздумья — тот тогда грудью о конскую грудь ударил во имя верности, во имя воинского долга.

И снова с укором, будто рядом кто-то слушал, проворчал:

— Силой не возьмешь преданность...

Он вернулся к фонарю, мерцавшему над лестницей.

Внизу у входа под нижним фонарем по-прежнему стояли стражи, глядя на дождь, и покачивались, переминаясь с ноги на ногу, как медведи.

Как ни тяжело было сойти по крутой лестнице, Тимур пошел вниз, упираясь ладонью в холодную стену, натруживая больную ногу.

Оба стража помертвели, когда увидели, как он вышел к дождю.

Одного из них он послал за хранителем казны Гази-Буган Бахадуром.

Дыша свежим запахом сырой земли, он смотрел на мокрый двор, где в нешироком кругу света пузырилась лужа, а струи серебряными стрелами бились, как в крепкий щит, в черную-черную, поблескивающую золотыми искрами землю.

Тревожно Тимуру было, только пока он ловил мелькнувшую мысль. Теперь, уловив ее, он успокоился, стоя на пороге у самого края дождя, пока будили Гази-Буган Бахадура.

Порой брызги доставали Повелителя.

Гази-Буган Бахадур прибежал, от дождя задрав на голову подол халата. Увидев на пороге Повелителя, от неожиданности присел, оробел, рывком оправил халат и распрямился под густым дождем.

Тимур велел ему идти следом и пошел было назад к лестнице. Но подняться по всем двадцати ступенькам сил не хватило. Воины донесли его на руках.

Покосившись на щит, где теперь он даже издали видел не воина в панцире, а вздыбленного коня, Тимур сказал Гази-Буган Бахадуру, как надо отдарить Ибн Халдуна за его подарки и книгу, объяснил, из чего следует сложить подарок.

Отпустив Гази-Бугана, он тихо хлопнул, и мгновенно предстали слуги. Он кивнул, чтобы они перестелили постель.

Там, на лестнице, он забыл о слугах, сам карабкался по крутым ступеням, и вот снова заболела вечно ноющая нога.

Едва он понял, что огорчала его только мысль об историке, он успокоился. Сон вернулся.

ГЛАВА XX

ПАЙЦЗА

1

Утро.

Ибн Халдун, проснувшись, увидел высоко на стене алую полосу света, проблеснувшую через щель между створками ставня.

Не торопясь вставать, он думал, как когда-нибудь проберутся в Каир все эти мамлюки, донесут до султана вести обо всем, что испытали здесь. О расправах с ними. Но, может быть, и о заботах Ибн Халдуна, как он вызволил их из темниц, укрыл от невзгод.

По старой привычке, он как бы взвешивал на весах разума, вникал в каждого из людей — кто из них скажет доброе слово, а кто по злонравию предастся и в Каире злоречию, злословию.

Ибн Халдун еще лежал неподвижно, вспоминая, обдумывая, предугадывая предстоящие дела.

Такое утро казалось бы продолжением покоя, если б оно не означало начала трудов. Эти предстоящие труды и дела он и обдумывал, когда вбежал черный Нух:

— Вельможи пожаловали. От Повелителя. Желают немедля видеть славнейшего из ученых. Стоят во дворе.

— Видно, им не спится! — воскликнул Ибн Халдун, сбрасывая одеяло, наскоро ополаскивая лицо над тазом.

Тянясь за чалмой, висевшей на деревянном размалеванном колышке, вбитом в стену, надевая бурнус, бормотал:

— Не спится, не спится... Сна им нет...

Нух, забирая тазик с мыльной водой, сказал:

— А еще с рассвета у ворот сидит человек от каирского купца Бостан бен Достана.

Но Ибн Халдун не внял этим словам. Твердя:

— Сна им нет, нет им сна, не спится, — он торопился предугадать: «Зачем я Тимуру?»

Когда головы гостей, поднимавшихся к нему по высоким каменным ступеням, показались, как бы вынырнув из-под пола, он прикинулся, что бежит, бежит к ним навстречу через всю келью, но не успел добежать даже до порога, застигнутый врасплох, хотя все еще не рассмотрел, что это за люди.

Первым переступил порог сам прославленный в набегах на узбекские племена победитель, принесший Тимуру большую добычу серебром и стадами, овладевший доверием Повелителя Гази-Буган Бахадур в златошвейном зеленом халате, с тяжелой кривой саблей в широких ножнах, покрытых узорным шахризябским чехлом.

А когда Ибн Халдун поднял голову после почтительного поклона, он увидел прямо перед глазами огромную черную вьющуюся бороду, столь густую и плотную, что, казалось, своей тяжестью она перевешивала и тянула книзу круглолобое лицо Бахадура. Из-подо лба, из-под курчавых бровей смотрели маленькие красновато-черные немигающие глаза.

За Бахадуром стояли скромно одетые младшие хранители сундуков Повелителя и переводчик Ар-Рашид. Долго и парадно они кланялись Ибн Халдуну, а он им.

Ибн Халдуну случалось видеть среди ближних людей Тимура этого густобородого вельможу. На скуле у него над бородой белел шрам. На этом месте и борода не росла, как подрубленная.

В знак приветствия Гази-Буган протяжно мычал какие-то невнятные слова и сам тому улыбался.

Но Ар-Рашид, не вслушиваясь в это мычание, переводил, что по указу самого Обладателя Счастливой Звезды, Меча Милосердия, Повелителя Вселенной яви-

лись они вручить дары Звезде Знания, сверкающему на небесах Просвещения, Оплоту Мудрости, Провозвестнику грядущих судеб, Несравненному Победителю на поединке умов Абу Зайд Абу-ар-Рахману ибн Мухаммеду Ибн Халдуну.

И еще раз:

— ...Провозвестнику грядущих судеб.

Ибн Халдун заметил, что Бахадур не выговорил ни длинного имени, ни даже всех славословий, но Ар-Рашид перевел это без запинки, словно читал по книге.

«Как он заучил мое имя?» — удивился Ибн Халдун.

Гази-Буган, развернув покрывало, возвратил Ибн Халдуну серебряный александрийский поднос, тот, на котором историк преподнес Тимуру свои подношения. Это значило, что Ибн Халдуну принесены отдарки.

На подносе лежали бережно сложенный отличный халат, седло, обшитое зеленым сафьяном, с высокой лукой, выкованной из красного золота. Золотую луку седла сплошь покрывали бадахшанские лиловатые лалы, мерцая, как груда углей, подернутых голубоватой дымкой. Под седлом притаилась ременная плетка с тяжелой серебряной рукояткой. Всю рукоятку по серебру покрывали крупные зерна бирюзы, отчего рукоятка казалась лапой сказочного дракона.

Еще не разгадав намека, заключенного в этих вещах, Ибн Халдун подивился царственной щедрости дарителя, богатству его посылки.

Когда царедворцы ушли, историк рассмотрел дары. Халат из малинового самаркандского бархата, расшитый бухарскими златошвеями. Расшит золотыми кругами с золотыми же надписями внутри каждого круга. Надписи вышиты так причудливо, что красота в них возобладала над смыслом и понять их никто бы не смог: швеи попросту не знали грамоты.

Историк задумался, но, как ни думал, складывался тот же смысл: халат дарили гостю на прощанье. Седло — с намеком, что пора седлать коня. Плетку в дорогу, чтоб быстрее ехать.

Он понял: Тимур отпускал его. И не только отпускал, но и не звал попрощаться: отдарок вручен, все беседы остались позади, впереди открывалась дорога.

Немного времени спустя пришел другой посланец. Этот был молод, брил бороду, но отрастил длинные усы.

Был уверен в себе, доволен собой, что сквозило во всех его движениях. Звали его Хамид-улла. С ним снова пришел переводчик Ар-Рашид.

Хамид осторожно осведомился, есть ли намерения у Ибн Халдуна, нет ли желаний, ибо приказано помочь во всех намерениях и желаниях ученого гостя.

Впервые Ибн Халдуна назвали гостем. Он ответил:

— Чем щедрее встречают гостя, тем скорее гостю надо уйти, ибо щедрость разорительна для хозяина. Гость тот хорош, который не обременяет хозяина.

— Это ваша воля! — ответил Хамид. — Хорошего гостя хозяин и встречает и провожает с любовью.

Ибн Халдун понял, что верно разгадал смысл даров, и вскоре они говорили уже о дороге. Желает ли историк идти в Каир караваном; сколько понадобится ему лошадей и верблюдов: и для него со слугами, и для всех его спутников, мамлюков, собеседников султана Фараджа, коих Повелитель милует и отпускает к их султану.

Хамид сказал:

— Каравану гостя следует уйти прежде, чем хозяин свернет здесь свою юрту. Двинется дальше в поход.

Ибн Халдун понял, его хотят отправить отсюда раньше, чем поход уйдет дальше, ибо некуда деть такого гостя: ни оставить в разоренном городе на произвол дамаскинов, ни взять с собой...

Присказка «двинется дальше в поход» словно разбудила Ибн Халдуна: куда двинется? Не на Магриб ли? Не по «Дорожнику» ли пойдет замышленный поход?

Утаивая возраставшую тревогу, Ибн Халдун вторил Хамиду, подсчитывая, сколько понадобится лошадей под седлами для слуг, для двенадцати дворцовых стражей, оставшихся от султана и отданных Ибн Халдуну, для девяти знатных мамлюков... Сколько верблюдов под вьюки, сколько ослов...

Ибн Халдун знал, что лошадей придется менять после дневного перехода, верблюдов меняли реже.

Хамид засмеялся:

— Верблюдов не будем менять; дойдут с нами до дальней заставы. А на последней заставе я сам перевьючу на тех, что с вами до конца пойдут. Сколько надо, столько берите!

Историк понял, что все заранее решено, если уже назначен и человек, который возглавит его караван.

— Берите, — щедро предложил Хамид.—До мамлюкских застав. Охрана вам тоже до самых дальних застав. Никому не дадим вас в обиду! Я поеду сам.

Ибн Халдун вспомнил, хотя и не сказал:

«А ведь еще есть вьюки и у Бостан бен Достана...»

Тут же возникла и замелькала новая мысль, хотя и неотвязный взгляд Хамида, и его деловые вопросы мешали думать.

Историк продолжал уныло подсчитывать то и другое, без чего не выйдешь в дальний путь, но эту новую мысль не забывал, она в нем крепла. Не о товарах, накупленных Бостан бен Достаном, укрытых где-то в закоулках Дамаска, думал он, а о самом купце.

Еще вчера, улегшись в постель, задремывая, Ибн Халдун пытался предугадать череду дней, предстоящих в Дамаске, но не предугадал дорогу, на которую поутру его поднял Тимур.

Щедрость Тимура встревожила бывалого царедворца: ни один из султанов Магриба, ни в Фесе, ни в Андалусии, ни в Кордове за годы придворной службы не одаривали его так богато, как за несколько кратких бесед его одарил Тимур.

«Чего-то он все еще ждет от меня?.. Чего?» — гадал Ибн Халдун.

Хамид-улла наконец ушел. Переводчик задержался.

— Не понадоблюсь ли я вам на базаре? Вы теперь будете запасы закупать...

«Он хочет знать, какими закупками я займусь перед дорогой», — и любезно отказался:

— Здешние купцы — арабы, обойдусь, не утруждая вас.

— Здесь наши воины распродают занятные вещи. В Каире они будут в диковину.

— Я не скупщик награбленного! — строго ответил Ибн Халдун, хотя и догадывался, что любое его слово может дойти до Тимура.

Когда Ар-Рашид заговаривал, чтобы оживить беседу, Ибн Халдун отмалчивался. Переводчик ушел.

Ибн Халдун запер дверь толстым засовом, как запирались на ночь, и, схватив из угла свою палку, покопал в очаге. Поддетая палкой, высунулась из-под пепла рукопись.

Он поднял, стряхивая золу, черновик «Дорожника».

Счастливою случайностью было, что в те теплые дни не топили очаг и готовили пищу внизу в кухне.

Строку за строкой он перечитал весь черновик. Дорога по Магрибу снова прошла перед его глазами.

Из того, что сперва он неосторожно написал, многое было вычеркнуто и не упомянуто в чистовом «Дорожнике», поднесенном Тимуру. Но здесь вычеркнутое читалось разборчиво, и пронырливым людям нетрудно было это прочесть.

Он достал из кожаного джузгира листы плотной бумаги. В раздумье проверил ногтем кончик тростника.

Он писал в Фес.

Он перечислил тамошнему султану все города, все дороги, неосмотрительно вписанные в «Дорожник»:

«Он силой вырвал у меня названия городов, направления дорог, места оазисов. Ему я назвал...»

Сверяясь с «Дорожником», подолгу щуря усталые глаза, он не хотел пропустить ни одно название из вписанных в книгу городов, крепостей, замков, оазисов.

Назвав это и проверив, что ничто не пропущено, он продолжал:

«Но утаил...»

Ибн Халдун перечислил все, что вычеркнул в черновике, припомнил глухие, малоприметные селения, заслоненные песками от караванных дорог.

Он перечислил эти места: там можно скрыть от нашествия, от огня, от меча, от равнодушия невежд и от корысти злодеев все, что надлежит из века в век хранить, то, без чего народ останется как путник без рубища на ветру веков.

«И еще я утаил...»

Теперь он вспоминал те, какие знал из самых дальних, укромных, глухих селений, уединенных колодцев, покинутых карфагенских руин и руин римских, — места, что могут стать тайниками, убежищами.

Дописав, долго припоминал, не осталось ли мест, которые сразу не вспомнились, но могут пригодиться.

Он снова сверил письмо с черновиком.

Когда все сошлось, он понял, что это письмо нужно послать в Магриб скорее, прежде, чем войско, отстоявшись, двинется дальше. Ведь никто заранее не знает, куда пойдет отсюда Тимур. Случалось, выйдя на запад и тем утешив султанов на востоке, он внезапно своpачи-

вал на восток, где его уже не ждали, и это облегчало ему расправу над зазевавшимися султанами. А чтобы легче одолеть врагов на западе, прикидывался, что идет на восток. Никто не мог сегодня сказать, куда он пойдет завтра. Даже из старейших его соратников не все понимали такие начала походов:

«Не может, что ли, сразу сообразить, в какую сторону ему надо?..»

Ибн Халдун приметил: Магриб привлекал Тимура. Он уже многое вызнал о Магрибе. Это значило, что завоеватель завтра же может двинуться туда.

Проницательный Ибн Халдун подумал и другое: Тимур не скрывал своего влечения к Магрибу, а если Тимур еще до начала похода говорит, что намерен пройти через Магриб к океану, не отводит ли он глаза приглядчивых врагов от иных дорог, о коих помалкивает, но куда готов нагрянуть?

Ибн Халдун собрал все листки черновика, кое-где потемневшие от золы и сажи, и вернул их в очаг.

Собрав с полу перед очагом щепки, припасенные на растопку, он забросал ими черновик и, привычно, быстро посверкав кресалом, раздул огонь.

Сухие щепки вспыхнули. Бумага зажглась. Сквозь розовые лепестки огня снизу от бумаги поднялись, завиваясь, бурые, густые струйки дыма, пока и весь черновик не вспыхнул живым пламенем.

Когда от рукописи остались черные лоскутки пепла, похожие на вороньи перья, Ибн Халдун взял из угла палку и перемешал весь пепел с золой.

Постояв у очага, словно отдышавшись, он послал слугу звать человека от Бостан бен Достана.

Вошел нестарый, приземистый, круглоплечий, широкоголовый коротыш с круглыми растопыренными ушами, с пепельно-серыми обветренными губами. На его низком насупленном лбу чернели глубокие морщины и вздулись серые бугры — не лоб, а пашня, изрытая сусликами. Жидкая круглая бородка, красная, со странным бурым оттенком, как бы опаленная пламенем.

С ним вошел мальчик, ничем на него не похожий, очень бледный, бледный до синевы, с иссиня-черными длинными глазами, с пухлыми влажными губами.

Коротыш подошел ближе. Остановился, переваливаясь с ноги на ногу. Ибн Халдун ему сказал:

— Чтоб хозяин твой скорей шел на Прямой Путь. Там рабат перса. А как тому подворью názванье, не знаю.

— Перса? Я тот хан знаю.

— Знаешь?

— Я сызмала с караванами.

— Что-то ты на араба не похож.

— Меня на базаре купили. А откуда привезли на продажу, продавец запамятовал. Из добычи я. И потому мое имя — Добыча. Хорошо, а? Добыча! Лучше, чем прежде звали.

— А как звали прежде?

— Прежде? Никто не знает. Да не может быть, чтоб было лучше. Добыча! Вот это да!

Добыча. Так переводится его имя — Ганимад.

— Ну спеши, спеши. Передай мое слово хозяину.

— И передам, и приведу. Без меня он туда дорогу не разглядит: я его так притулил, сам он оттуда не выберется. Сызмалу сюда хожу, как пророк Мухаммед! Слыхал? Он тоже сюда с караванами хаживал. Тоже небось торговать.

Ибн Халдуну не понравилось такое братанье караванщика с пророком.

— Ступай. Дела ладятся, пока быстро деются. Тогда скорей удаются.

— Вот верно! — согласился Ганимад. — Тогда ладятся. Спешу. А?

— Не забудь, что сказать.

— Я? Я сто караванных дорог помню. Иные и не видны на земле, когда через пески. Я их, не глядя, помню. А тут и помнить нечего. Бегом приведу. На Прямой Путь.

И обернулся к мальчику:

— Посмотрел? Вот он и есть большой человек из Каира.

Ибн Халдун заметил нездешний облик мальчика.

— Чей он?

— Мой. Покупка. Теперь ему имя Иса.

— Откуда?

— Когда я пошел хорошо жить — караваны вожу, везде всех знаю,— надумал себе купить мальчика, как прежде меня купили. Я знал, чего надо такому: помню, чего хотел себе, то и даю ему. А купил на том самом

рынке, у самого того торговца, который прежде продал меня. Мальчик добыт пиратами на румском корабле. По-нашему не понимал. Купил его, и теперь я уже не один.

— Святое дело — выкупать невольников.

— Святое? Не знал. Купил, и вот он!

Ганимад ушел, переваливаясь, отставляя широкий зад, привыкший к спине осла на долгих дорогах.

Мальчик, оглядываясь на худощавого белобородого старца, последовал за Ганимадом.

Вскоре Ибн Халдун взял свою палочку, опаленную в очаге, кликнул Нуха и слуг и пошел к Сафару Али.

Прошел через Дамаск. Жизнь смолкла. Люди нашумелись. Завоеватели наликовались. Напраздновались. Награбились. Завоеванные навопились. Наплакались. Кто уцелел, примолк. Погибшие еще лежали среди щебня. В городе становилось нехорошо.

У ворот не оказалось хозяина: привратник сказал, что Сафар Али прихварывает, отлеживается у себя в маленьком закутке над воротами.

Но тут же за воротами на каменном уступе под сводами сидел Бостан бен Достан. Ганимад не обманул: доставил купца быстро.

Ибн Халдун, зорко оглянув двор, приметил уединенный угол и повлек туда за собой Бостан бен Достана.

Прошли мимо прикрытых и мимо приоткрытых дверей, где в полутьме келий разные люди таились, жили настороже — прислушивались, приглядывались ко всему двору.

Проходя, Ибн Халдун увидел воротца во второй двор, забросанный зеленовато-золотой соломой. На соломе стояли и возлежали незавьюченные верблюды, жуя пенящуюся жвачку.

Резко свернув с пути, Ибн Халдун вовлек купца в этот двор, остановился между жующими, покряхтывающими, поревывающими верблюдами.

— Я вас позвал.

— Наконец-то!

— Вы желаете уйти отсюда?

— Некуда. Кругом заставлено.

— Если в ту сторону, какую скажу?

— Только б уйти! Куда?

— Магриб.

— Кто ж туда пустит?
— А как пустят, пойдете?
— А мой товар?
— С товаром.
— Для моих товаров лучше Магриба места нет!
— Я вам помогал? Теперь ваш черед.
— Пешком товара не вынесешь! А верблюдов моих давно отняли.
— А вот эти?
— Сытые скоты. Да ведь не наши!
— А когда найдем?
— Навьючусь и айда!

Солома под ногами пружинилась, дышала. Они переступали с ноги на ногу.

Бостан бен Достан забеспокоился.

— И товар цел, и верблюды найдутся, и коней купим, и караванщик опытен, да кто ж выпустит?
— Скажите твердое слово: мое дело первей, а ваше дело с товарами после того.
— Только б выйти!
— Путь буду открывать для моего дела.
— Сколько ни ходит купец, а домой вернется. А дом — это Каир. А в Каире — это базар. А над базаром староста. А ему судья вы, господин! Разве могу вас обмануть?!
— Верю. Посидите здесь, от чужих глаз с краю.

Ибн Халдун вышел, словно никого с ним и не было. Прошел к воротам. Привратник показал ему ступеньки к Сафару Али.

Перс привстал с узкой постели в темном углу.

— О! Ко мне? Есть дело?
— Дело не без выгоды.
— В чем оно, господин?

Ибн Халдун плотно притворил за собой дверцу. В келье свет померк. Оба присели возле узкого окна. В окно видна улица перед воротами, там непринужденно расселись слуги Ибн Халдуна вперемежку с людьми Бостан бен Достана.

Это не понравилось историку:

«Не распускали б зря языки!..»

Но уходить туда, к слугам, чтоб постращать их, было не время.

Ибн Халдун, косясь на окно, медлил.

Перс повторил:

— В чем же суть?

— Вы налюбовались на ту медяшку. Наигрались ею.

— Люблю играть.

— Время ее продать, пока есть цена.

— Кому это?

— Мне.

— Я знаю, слыхал: вас отпускают домой. А когда отпускают, без всякой медяшки проводят до застав.

— А вам она на что? Завоеватель уйдет отсюда. А без него ее сила сгинет: здесь останутся базары без товаров. Стены без хозяев. Мертвецы без могил. Вот и весь Дамаск. Идя до вас, на этот Дамаск нагляделся.

— Дорого она стоит.

— Сколько?

— Завоеватель уйдет, цена ей станет не дороже воробья. А пока их здесь сила, ей цена тяжелее табуна лошадей.

— Пересчитайте табун на золото.

— Золото? Она дороже: мне она спасла мое золото. Без нее меня прикончили бы. А при ней даже по дому не шарили.

— Легче отсчитать пригоршнями золото, чем пригнать сюда табун лошадей.

— Когда золота много, а жить осталось мало, на что золото старику?

— Чем же мне платить?

— Цена ей... Для какого дела она нужна, то дело ей и цену определит. Вам ее не надо. Кому же ее надо?

— Верному человеку.

— Уйти от завоевателей?

— Уйти прежде завоевателей. Впереди них.

— Опередить их?

— Опередить.

— Им во вред?

— Себе на пользу они бы сами послали!

— Значит, во вред?

Ибн Халдун промолчал.

— Я понял. Старею, а понял.

Сафар Али, упершись ладонями в пол, поднялся. Опираясь о стену, выпрямился.

Пройдя худенькими босыми ногами по постели, из-под одеяла достал пайцзу.

— Вот она!

— Сколько же за нее?

— Я без нее беззащитен останусь. Пока они уйдут, беззащитен. Но когда это им во вред, берите.

— Сколько же?

— Ничего, когда им во вред! Задаром.

— Значит, для нашего дела?

— Была б нам польза!

— Будет! Многим будет!

Сафар Али с размаху, как в детской игре, влепил пайцзу в ладонь историка.

— Держите! Айда!

Ибн Халдун спрятал ее и спросил:

— На дальнем дворе у вас... Верблюды. Продаются?

— Дешево не отдам.

— Почем же?

— До нашествия почем они шли? Породу видели? Это ведь гейри! Самые быстроногие.

— Корить не могу. За гейри всегда дорого дают. Да ведь гейри хороши для езды, а не для вьюков!

— Полегче навьючить, так и они пойдут. Нынче они в четыре раза дороже.

— Не дорого ли?

— Не уступлю: на подвиг человек и пешком пойдет, а караван подымают для корысти.

Бережно прижимая к груди пайцзу, Ибн Халдун снова пошел на дальний двор, ворча:

— Цена высока!..

Бостан бен Достан ждал, не скрывая ни беспокойства, ни нетерпенья.

— Собирайте караван, дорога открыта.

— О господи!

— Клятву помните?

— Первое дело ваше. Мои дела после того.

— Помните!

— Клянусь небом!

— Держите!

Ибн Халдун тихо, бережно, словно пайцза могла рассыпаться, протянул ее купцу.

Двери многих келий замерли, приоткрытые во двор. Но Ибн Халдун, не чая вблизи никаких соглядатаев, не таясь, отдал пайцзу Бостан бен Достану.

Напряженным глазом Мулло Камар заметил, как, сверкнув синим отблеском, она перешла к купцу.

— А верблюды... Цена высока!

Бостан бен Достан отмахнулся:

— Мне б только вывезти товар: распродавшись, я могу любых верблюдов прочь прогнать, все равно останусь при выгоде.

Они вышли вместе и прошли наверх к персу торговать верблюдов — двое каирцев, что-то тут затеявшие на глазах у людей.

2

Бостан бен Достан побывал в келье Ибн Халдуна.

Там, в келье, взяв письмо, купец снял с себя бурнус, снял исподнюю холщовую рубаху. Словно наложил заплату на рукав, между складками холстины зашил плотно сложенный листок письма: на заплату никто не позарится.

Из мадрасы Аль-Адиб Бостан бен Достан пошел в хан к персу осмотреть верблюдов, где Мулло Камар уже бессменно следил за всем двором. Прислушивался к шагам и шорохам. Двор жил. Люди передвигались. Верблюдов уводили со двора. Уводили, как уводят на водопой, по два, по три верблюда. Но Мулло Камар знал: тут, на скотном дворе, есть колодец, откуда кожаным, мятым ведром черпают воду вдосталь для пойла.

Верблюдов в этот ранний утренний час, пока было прохладно, переводили на задворки старого базара, где, казалось, давно все дотла расхищено.

Заслоненные руинами разоренных улиц, верблюды уходили в просторное подземелье, куда прежде съезжавшиеся на базар крестьяне ставили на день ослов и лошадей.

Вожатый, привыкнув проводить верблюдов без помех, не поостерегся, не насторожился, когда следом увязался из этого хана жилец, трудолюбиво топоча мелкими шажками.

В глуши подвала, пропахшего перепрелым навозом и клевером, хранились вьюки Бостан бен Достана.

Верблюдов вьючили, бережно вынося вьюк за вьюком из темноты склада. Вьючили безмолвно, быстро, умело.

Если кто из верблюдов вздумывал пореветь, ему торопливо накидывали на голову бурнус либо колючий волосяной мешок, и верблюд смолкал. На этот случай бурнус лежал поблизости поверх вьюков.

В подземелье, в хлопотливой тесноте, Мулло Камар протиснулся между верблюдами, спеша юркнуть куда-нибудь в самую темень.

Его бы никто не приметил, не столкнись с ним Иса. Незнакомый человек встревожил мальчика, привыкшего к неизменным караванщикам, среди которых он рос.

Видя, куда скрылся Мулло Камар, Иса сказал о нем Ганимаду. Караванщик не прервал дела, но велел мальчику:

— Пригляди.

Мулло Камар, сев во тьме распахнутого склада, откуда только что вынесли последний вьюк, присматривался к сборам каравана, спеша понять: чей караван, что за поклажа, куда пойдет?

Говорили по-арабски. Мулло Камар этого языка не знал.

Вдруг он сообразил, что этот караван можно остановить и свою пайцзу можно возвратить, если кликнуть сюда Тимурову стражу, если объявить ей, что украдена пайцза и ею завладел коротыш караванщик, намеренный увезти из Дамаска законную добычу завоевателей. Так будет объяснена потеря пайцзы, начисто будет снят позор за ее потерю, а Повелителю преподнесена изрядная добыча: опытным глазом глядя на вьюки, Мулло Камар понимал, что дешевый товар не вьючили бы так помалу, да и вьюки не были бы увязаны столь бережливо.

Взыграв надеждой, он рванулся отсюда неприметно, как неприметно вошел сюда.

Неподалеку еще стояли вьюки, прислоненные один к одному. Он видел бурнус, брошенный в пылу работы поверх вьюков.

Заслоненный вьюками, он стянул бурнус на себя и, прикрываясь им, затесался между хлопотливыми караванщиками, одетыми в такие же бурнусы.

Так он дошел до выхода из подвала и, помахивая коротенькими руками, деловито заспешил мимо арабов.

Но мальчик Иса показал Ганимаду на ускользавшего купца.

На этих задворках, в глуши руин, завоеватели опасались появляться. Поэтому здесь арабы расхаживали вольнее, чем на больших улицах, где дамаскины были беззащитны перед своеволием завоевателей.

Арабы, видя незнакомца в арабском бурнусе, заговаривали с ним, о чем-то спрашивали. Он не понимал и не умел им ответить. Но, отмалчиваясь, он пугал их: дамаскины сделались боязливы, когда ныне их жизнь стала дешева. Чем больше опасались за себя, тем они зорче становились: прикидывался глухим, прошмыгивал мимо, как мышь, но они смотрели ему вслед.

Спеша, он заблудился в незнакомых развалинах. Приостановился, смекая, с какой стороны пришел, где скорее встретится конная ли стража или какой-нибудь воин...

Вдруг в промежутке между руинами в ярком утреннем свете сверкнула красная косица — царский гонец в лисьей шапке!

Мулло Камар кинулся наперерез гонцу.

Не отставая, вслед за Мулло Камаром бежал Ганимад, на бегу вытягивая из-за пояса короткий меч, с каким караванщики ходят в дорогу.

Между руинами, по щебню нелегко было Мулло Камару выскочить на дорогу прежде гонца.

Оступаясь, поскальзываясь, Мулло Камар успел.

Гонец Айяр, ссутулившийся под лисьей шапкой, опередил свою охрану, хотя и побаивался руин вражеского города.

Взвидев человека в развевающемся арабском бурнусе, рванувшегося навстречу коню, Айяр, откинувшись в седле, сам взмахнул скорой саблей.

Позже, когда настал полдень, обмотав колокольцы тряпицами, чтобы лишним звоном не привлекать любопытство прохожих, Ганимад повел караван.

Караванщик выбрал самый жаркий час, когда, разомлев, праздные люди разбредаются по тенистым закоулкам и ленятся вникать в чужие дела.

В этот белый от зноя полдень Ибн Халдун вышел на каменную крышу мадрасы Аль-Адиб. Горячий ветерок тихо шевелил тяжелый край лилового бурнуса, а Ибн Халдун смотрел, как мимо неторопливо шел караван, предводимый Ганимадом, восседающим на рослом белом осле. Как, не глядя по сторонам, рядом с Ганимадом на вороном жеребце ехал Бостан бен Достан, скрыв голову под

белое покрывало, прижатое к голове широким черным ободком. Позади последнего верблюда на мулах проехали слуги-охранители, вооруженные копьями и короткими мечами, а среди слуг — мальчик на муле.

Так пошло письмо историка к султану в Фес.

Ибн Халдун смотрел им вслед и прислушивался.

Было тихо, Дамаск молчал.

Караван завернул за поворот. Пошел в Магриб.

Обернувшись, Ибн Халдун не разглядел черного Нуха.

Нух взял старого ученого под руку, повел к ступеням.

Ибн Халдун не видел ступенек перед собой, и черный Нух, прежде чем соступить вниз, ладонью вытер ему глаза.

Гонец Айяр, намного опередив свою охрану, прискакал во двор Пегого дворца.

Когда он готов был рассечь голову кинувшемуся на него арабу, он вдруг увидел знакомое лицо, хотя и не успел вспомнить, где случалось его встречать.

Не успел ударить, а Мулло Камар запрокинулся, мертвея, но все еще глядя Айяру в глаза.

И лишь когда упал, из его спины показался короткий меч, столь сноровисто кем-то брошенный, что глубоко вонзился в спину купца из степного Суганака.

Туго, подобно тетиве лука, была натянута эта жизнь. Тетива — одним концом в Суганаке, другим в Дамаске... Стрела улетела, оборвав тетиву.

Айяр, вспомнив купца, не мог вспомнить, успел ли ударить его саблей, успел ли сдержать удар.

Может быть, впервые Айяр замер от испуга: как просто — взмах руки, звавшей к делу, стал взмахом гибели!

Как легко торопливый, живой бег сменился этим отрешенным от жизни взмахом рук. В одно мгновенье: гонец не успел моргнуть!

Но тягостные мысли приглохли, испуг утих, когда его позвали к порогу Повелителя. У порога пришлось подождать: Тимуру мыли руки после жирной еды.

Айяр прискакал из Сиваса с письмом от Мираншаха. Сын сообщал Тимуру о появлении Кара-Юсуфа. Туркменскую конницу Кара-Юсуфу дал из своих войск султан Баязет.

Тимур встал с сиденья. Пока читали это письмо, он не мог устоять, трудно ходил перед чтецом и велел перечитать письмо снова.

3

Ибн Халдун свои сборы в Каир завершал не в мадрасе Аль-Адиб, а в хане у перса. Здесь удобнее было снаряжать караван, содержать верблюдов, разместить всех спутников, здесь хватало складов для любых поклаж, сколько бы их ни набралось.

И уже никого здесь не было, кто знал бы о пайцзе, кроме самого Ибн Халдуна и перса, притихшего после своей недавней болезни. Пайцза ушла, греясь за пазухой у Бостан бен Достана, показываясь на его ладони всякий раз, когда путь преграждали разъезды и заставы завоевателей.

Сборы в путь шли деловито, спокойно. Все имущество Ибн Халдуна из мадрасы перенесли сюда.

Из своих вьюков историк отделил тот, где был увязан отличный старинный ковер, своевременно прихваченный из книгохранилища Пегого дворца.

Под присмотром Нуха ковер развязали, подмели веничками, и — удача сирийских ткачих — он заискрился, так томно раскинулся, что Нуху нестерпимо захотелось лечь на его шелковистый ворс, покататься по его узорам, пока не согреется и не приободрится все тело.

Полюбовавшись ковром, Ибн Халдун поднялся к персу.

Сафар Али сидел возле узенького окна над небольшой книгой.

Не желая нарушить чтение, Ибн Халдун молча сел на полу в стороне от хозяина.

Перс приподнял темные глаза:

— Вот! Хафиз. Искал-искал, никто не продавал. Нигде не было. Персидские книги тут редки. А он сам пришел.

— Как это сам?

— Жил у меня. Ютился. Прибывший неведомо откуда купец. Говорил со мной на плохом персидском. Арабского не понимал. Чем торговал, не знаю. За житье и за еду не рассчитался, не успел: убит! Нынче убивают легко, просто. Не спрашивают кто. Не спрашивают зачем. Нашли, опознали, сказали мне: мой, мол, гость. Я пошел, посмотрел его келью. Ничего нет — пустой мешок, рубаха. Истертая подстилка и эта книга. Хафиз! А как переписан! А сами стихи! Звенят! Рубаб! И звенят, и мудры: «О, ес-

ли та прекрасная турчанка...» Я ей тоже отдал бы весь Дамаск. Не этот — груду щебня, а тот, что высился здесь прежде. Отдал бы! Да теперь где его взять?

— А я хочу поднести вам на память... За ваше благородство.

— Мне? Что же такое?

— А вот...

Ибн Халдун, приоткрыв дверь, сверху дал знак во двор. Слуги внесли тяжелый благоухающий ковер.

— Вот, это от меня.

Перс вскочил на ноги.

— Нет, нет: он чужой! Вы уедете, хозяин вернется, пришлет за своим ковром. Что я скажу ему?

— Это моя вещь. Захочу, возьму с собой. Подарю другу. Отдам слуге. Продам покупателю. Он мой!

— Увезите с собой, у вас не отнимут. А мне оставьте ваше уважение.

Повинуясь молчаливому знаку, слуги беззвучно вынесли ковер.

Ибн Халдун, смутившись, искал слова, чтобы сказать их по-прежнему запросто, как было во все эти дни.

Но разговор запросто между ними больше так и не сложился, хотя они еще день за днем встречались, переговаривались, пока не закончились сборы каравана в путь.

Но пришло время, и сборы закончились.

Двор наполнился провожающими — разными людьми. Из них многие никому здесь не были известны.

Редко каравану удавалось собраться столь скоро: из воинских припасов сюда прислали мешки всякой снеди, достаточной на всю дорогу, даже если бы она шла через безлюдную пустыню. К каравану приставили проводников, обязанных на всем пути заботиться о смене лошадей или верблюдов, если случится надобность, о ночлеге на всех стоянках, хотя по этой древней, исхоженной дороге стоянки были рассчитаны еще за много веков до того: скорость, с какой идет караван, известна, во времена финикийцев и вавилонян верблюды шли с той же скоростью. Можно было и ускорить движение, но тогда брали быстроходных верблюдов, легче завьючивали, реже останавливались, считая, что верблюдов можно поить реже, а кормить расторопнее.

Ибн Халдун попросил вести караван не прямой дорогой на Каир, как ходят купеческие караваны; он возна-

мерился попутно совершить паломничество в Иерусалим, к тем издревним мусульманским святыням, где благодать аллаха почти осязаема.

Просьбу историка сказали Тимуру.

Не на всю эту долгую дорогу простиралась власть завоевателей: через несколько рабатов уже стояли не самаркандские воины, а стража султана Фараджа, но Тимур снисходительно разрешил:

— Пускай помолится.

И караван Ибн Халдуна пошел по дороге на Иерусалим.

Дорога длилась то по каменистым тропам в предгорьях, то ее пересекали неглубокие ворчливые реки, где было надо переправляться вброд.

Порой дорога отклонялась к пустыне. Обдавала зноем. Песок расползался под ступнями верблюдов. Лошадям доставалось тяжело идти.

Так от ночлега к ночлегу.

Наконец пошли к последней заставе завоевателей.

К вечеру показался высокий каменный хан, окруженный коренастыми густыми дубами.

Пока большое усталое солнце еще держалось на небосклоне, готовое рухнуть и погрузить землю во мрак, караван, столь ярко освещенный закатом, казался выкованным из золота. Одни, казалось, были червонного золота, другие зеленоватого.

Закат словно спаял их воедино, когда, теснясь друг к другу, всадники, опережая верблюдов, подъезжали к воротам хана, полузаслоненным тенями дубов. Кони, чуя желанный отдых, шли бодрее, кивая головами, поблескивая оседловкой.

Вошли в хан.

Столпились, спеша разместиться, пока светло.

Заалели огни очагов под котлами. Расстелился сизый дымок.

Стемнело.

Но едва было заперлись внутри хана, как в ворота заколотили новые путники.

Прибыло несколько всадников на коротких, мохноногих степных лошадках. Такие лошадки могут без устали скакать столько, сколько выдержит всадник.

Лошади вздрагивали, всхрапывали — жаркой была их рысь по неровной дороге, пока не остановились наконец здесь.

Один из прибывших заспешил найти Хамид-уллу.

Ожидавший ужина, Хамид пошел с неохотой.

— Кто звал?

— Дело.

— Слушаю.

— Тут везде люди.

Хамид, высмотрев в полутьме и в тесноте Ар-Рашида, кивнул ему.

Когда Ар-Рашид подошел, все втроем они ушли к коновязям, где лошади весело похрустывали сеном, только что заданным, порой поднимая всю развалившуюся охапку, и наполняли душным крепким запахом всю эту сторону двора.

Конюхи, задав корм, ушли готовить ужин, и теперь никого сюда от котлов не выманишь. Это и предвидели трое собеседников, уединившись здесь.

Упершись спинами в прохладную стену, присели в ряд на корточки и тихо заговорили.

Лошади шелестели сеном. Постукивали копытами.

Прибывший сказал:

— Гонец Айяр проезжал через базар в Дамаске. Ранним утром, кругом людей нет. Выбежал к нему самаркандский купец. Не то кто из вас его знает, не то нет. Звали Мулло Камар. И кричит: «Украли мою пайцзу!..» Тут ему кто-то в спину меч — раз! На том конец. Загадка: купец самаркандский, наш, а одет арабом. К чему бы? Айяр разом прискакал в Пегий дворец: «Так и так, сам чуть купца не убил — вижу, кидается на меня араб в бурнусе, а у меня письмо к Повелителю. Думаю: «Это со злом!..» Уж замахнулся, да не поспел: другие убили». Стали гадать, о чем купец крикнул. Припомнили, какая ему была дадена пайцза. Была дадена на сквозной путь. От самого Повелителя! Угадали: кому-то надобно уйти от нас. Кому? Куда? Кинулись узнавать, выходил ли какой караван из Дамаска? Какие вышли, за всеми кинулась погоня. Тут вот я пригнался за вами. Есть пайцза? Давай отвечай.

Хамид подвигал усами.

— У нас? У нас караван идет по слову Повелителя. Тут взамен пайцзы я! А еще вот он — Ар-Рашид-мирза. Дошли досюда, а дальше у нас пути нет. И была б пайцза, тут ей предел: дальше не наша стража. А с нами идут

каирцы. На что им пайцза, когда дальше в ней силы нет? Не тут ее ищете. Не тут.

Прибывший:

— Нет так нет. Однако тут наша последняя застава. А потому вам указано вернуться. Немедля. Всем, кого наших встретим, велено указать: вертаться в Дамаск немедля.

— Мне наказывали: каирцев не бросать посреди пути. Сперва найти им другой караван. Помочь перевьючиться. Как надо, когда это гости.

— Гости! Тут они промежду своих арабов. Сами найдут караван, сами завьючатся. А вам сказано: собирайтесь. И всех верблюдов, коней ведите назад.

— А что там такое?

— Повелитель собрался. Вот-вот трубы заревут.

— В какую же сторону?

— А было, чтоб кто загодя знал сторону, куда он пойдет?

— Того не бывало. Однако, может, слух был?

— Слух всегда есть. Да только Повелитель ходит не по слуху, а чаще в другую сторону.

— Бывает.

— Ну и теперь небось так.

— А по слуху куда?

— Кто на Каир кивает, кто на океан.

— На океан? Помилуй, о аллах!

— Да уж...

— Пойдем, куда не сказывают.

— Бывает!..

Оба они уже много лет ходили в мирозавоевательном воинстве. Оба в тех же походах. В тех же станах стояли. Но встретились впервые.

Заметив, что оба одинаково понимают своего Повелителя, встали, довольные друг другом.

Возвращаться в Дамаск сговорились вместе, когда пойдет обратный караван.

Хамид опять позвал за собой Ар-Рашида:

— Пойдем к Халдун-баю. Скажем.

Но варево из котлов уже переложили на блюда и подносы. Усталые, все занялись ужином, отбросив, как пыльные дорожные накидки, все раздумья о предстоящих днях.

Настал последний вечер, когда и эти арабы, и люди Тимура вместе ели один и тот же хлеб. Хамид и Ар-Рашид тоже сели среди спутников.

Хамид:

— Завтра расстанемся: вам в Иерусалим, нам в Дамаск.

Многие заспорили:

— Зачем это вы? Пойдемте с нами!

— Указ Повелителя Вселенной.

— О, Указ?.. От Повелителя!

Каирские мамлюки, обжившиеся за это время среди завоевателей, то выглядывали себе на подносах куски печеной баранины, то, воздымая руки, измазанные салом, славили великодушие Тимура:

— Еще бы! Столь жесток со всеми, кто против; столь щедр с нами! Вот не попомнил зла: отпускает нас домой. Отпускает со всеми вьюками. На вьюки даже не позарился. Великодушен, щедр.

Ар-Рашид быстро переводил на джагатайский эти слова: вот, мол, сами арабы славят Повелителя. И мамлюки, довольные, как скоро и так твердо слова их превращаются в речь на незнакомом языке, повторяли снова и снова:

— Великодушен и щедр!..

Славословили Тимура в благодарность за пощаду и уже забывали, что эту пощаду им выслужил у Тимура Ибн Халдун.

В молчании и раздумье историк сидел за общей трапезой.

Ночь прошла как всегда в ханах. Во дворе фыркали, взвизгивали лошади. Урчали и тяжело стонали верблюды.

Под навесом вповалку спали путники. То тяжело храпя, то со стоном просыпаясь. Кто-то вскакивал, напуганный сновиденьем, где какая-то темная сила тяжело наваливалась на караван. Как хорошо было очнуться: караван цел, опасность не грозит, а все, что сквозь сон вспоминается тягостной явью, осталось позади. Сон светел, и путники, причмокивая от услады, от истомы, засыпали опять: тяжкий мир пройден. Последняя ночь в том тяжком мире, где человек не властен над своим завтрашним днем.

Еще не забрезжил свет, когда набожные люди уже встали к первой молитве.

С молитвы и начался новый день.

В хане сошлось много караванов. Одни, дойдя сюда, узнав о гибели Дамаска, останавливались, чтобы со всеми поклажами уйти назад, пока целы. Другие, развьючившись, ждали вьюков на обратный путь. Иные шли своим путем в сторону моря. На Дамаск ни один караван не шел: никто не хотел везти туда свои товары, опасались грабежей, расправ.

Невдалеке от хана, под искривленными, узловатыми от давности сучьями и ветвями дубов, на голой утоптанной земле, у водопоя, толпились люди, одни хлопоча, другие, споря между собой, торгуясь или в чем-то клянясь, седлали или переседлывали лошадей.

После лошадей к длинному каменному желобу допустили ослов, глядевших на утреннее небо кроткими таинственными глазами. Часто моргая, они то пили, то прислушивались, как вода текла мимо возле их шерстистых губ.

Нух помог Ибн Халдуну перенадеть шерстяной дорожный бурнус, когда подошли Хамид с Ар-Рашидом.

Хамид объяснил, что им пора в Дамаск, а Ибн Халдун может здесь сам нанять себе караван.

Ибн Халдун, устало взирая на них, успокоил Хамида:

— Вы это, когда ужинали, уже сказали. Со мной заговаривали караванщики. Верблюды есть, я нанял. Лошадей ищут.

Хамид:

— Подошло время. Нам назад. Вам дальше.

— Да, подошло время,— ответил Ибн Халдун, еще не зная, что сулит расставанье: не вздумал ли Тимур вернуть его?

Хамид, вытягивая что-то из своего длинного рукава, кланялся:

— Повелитель Вселенной указал передать вам это и велел сказать: «Нехорошо будет, если покинете нас, не получив с нас долг наш».

Ибн Халдун смотрел на протянутый ему пестрый кисет.

— Что тут?

— Это расчет за мула!

— Какого мула?

— Купленного у вас Повелителем Вселенной. У него в тот день не оказалось денег.

Ибн Халдун быстро высыпал на ладонь немногочисленные теньги и заглянул в опустевший кисет.

— Это за моего мула?

— Вашего, облюбованного Повелителем.

Ибн Халдун рассердился:

— Мой мул на любом базаре стоит впятеро дороже! Разве Повелитель считает моего мула дешевле простого осла?

— Повелитель не указывал мне торговаться с вами.

Ибн Халдун молча засунул кисет за пазуху.

Под его сердитым взглядом Хамид поднял ладони:

— Я клянусь: сколько сюда положено, столько и передано вам. Помилуй бог, я ничего не взял отсюда.

— Но почему он ценит так дешево моего мула?

Хамид повторил:

— Мне не было указано торговаться с вами.

Заслонив Хамида, сказал Ар-Рашид:

— А может, он вспомнил, сколь мало ценили вы его посла, когда Баркук в Каире его убил, вот и поскупился.

— Не я убивал!

— Вы тогда стояли возле султана.

— Стоял.

— И вы тогда, как и теперь, были главным судьей Каира.

Ибн Халдун смирился: значит, с самого начала Тимур знал, что Ибн Халдун стоял возле султана, когда убивали посла! Не затем ли он так часто посылал Ар-Рашида на глаза Ибн Халдуну? Напоминать! А может быть, он для наказания выманил тогда историка из Дамаска? А потом передумал?..

Ибн Халдун строго напомнил переводчику:

— Аллах один знает меру щедрости и меру милосердия.

— Истинно.

Они постояли, не глядя друг другу в глаза: ведь Тимур не мог бы узнать, был ли тогда в Каире и где стоял в тот день Ибн Халдун, если бы не этот один-единственный очевидец — Ар-Рашид.

Ибн Халдун отошел, ничего не сказав.

Ар-Рашид ушел, недобрыми глазами глянув на мамлюков: ни с кем из них уже не придется встретиться, каждый уходил в свою сторону, в свой мир.



Ибн Халдун впервые придирчиво выбрал себе самого красивого из арабских коней, нанятых на дальнейший путь.

Велел заседлать коня золотым седлом Тимура. Взял бирюзовую плетку. Халата не надел, но из своих бурну-

сов выбрал лучший и встал во главе каравана, чего тоже никогда не делал.

Так, впереди всех, празднично и счастливо он тронулся из страны, разоренной нашествием, в страну, которой владел султан Фарадж.

Тимуровы люди, теснясь, смотрели на этот независимый выезд.

Недолго пройдя, караван встретил стражу арабов.

Узнав верховного судью Каира, наставника султана, стража, суетясь и заискивая, сопровождала его до ближайшего постоялого двора.

Здесь устроились на ночлег.

Ибн Халдун распоряжался добродушно, но твердо.

На рассвете он поднял караван, торопя всех:

— Началась наша дорога. Скорее! Домой!

Каменистая безутешная дорога. Выжженная, выветренная. Она пролегла ещё до финикийцев, еще до времен Ассирии.

Не было на обетованной земле ни бродяги, ни пророка, который не прошел бы этой тропой, возле этих серых, зеленоватых камней, кое-где покрытых лишаями.

Праотцы-кочевники, купцы, садоводы, воины и цари смотрели на очертания этих гор, на жесткие холмы пустыни, на русла иссякших рек, на реки, где по берегам теснятся сады или снова торжествует пустыня, где из-под песка, как костяки погибших караванов, высовываются мраморы былых стен, колонны покинутых храмов.

Фараоны, бывало, проходили здесь — высоколобый Тутмос и толстогубый Рамзес. Вавилонский Навуходоносор и пророк Моисей. А позже Иисус с его апостолами, римские императоры на золотых колесницах, и еще позже — порывистый, вдохновенный Мухаммед, посланник аллаха.

Проходили здесь войска сарацинов и полчища крестоносцев в громоздких латах. Народы и воинства. Несметные толпы пленных, уводимых в рабство. И народ иудейский шел этой тропой, возвращаясь из вавилонского плена.

Камни, по которым прошла эта узенькая дорога, сгладились под ногами прохожих. Ныне босым пяткам погонщиков скользко ступалось по этому пути, избранному Ибн Халдуном.

Эта дорога исстари размерена на переходы, от колод-

ца к колодцу, от рабата к рабату, хотя вместо слова «рабат» здесь говорят «хан». От хана к хану, от пристанища к пристанищу, от водопоя к водопою позвякивали колокольца караванов, и не было им числа, прошедшим здесь, где некогда бежал Адам, изгнанный из рая.

Чем дальше от Дамаска, тем чаще встречались караваны, спокойно шествовавшие с обильными товарами. Не беженские, а торговые караваны, где люди ехали по своим мирным делам, порой горестным и тревожным, но по своим делам, неотделимым от всей их жизни. Да и чем станет жизнь, если от нее отнять свободный труд человека, как бы тяжел он ни был, ибо труд — это и есть жизнь.

На ночлегах тоже везде стояли встречные караваны, завьюченные всякими товарами, порой идущие из дальних мест, словно города арабов — Дамаск, Халеб, Багдад — еще не лежали в развалинах, словно черная длань завоевателя не тянется, не зарится на все торговые дороги. Словно нынешний завоеватель не вожделеет к здешним городам. Степной хищник, он и сюда засылает своих проповедников и проведчиков.

Чем дальше отходил к югу караван Ибн Халдуна, тем опасливее приглядывались к нему, узнав, что идет он цел-невредим из татарского логова, расспрашивали пытливо, придирчиво. Просили снова и снова рассказать обо всем, что каирцы видели и что пережили во власти дикой орды.

Один встречный грамотей даже записал для памяти рассказ Ибн Халдуна, эта запись долго была цела в армянском монастыре Иерусалима. Тревожило слушателей необъяснимое — как это грабитель не ограбил, а даже одарил каирцев? Не украдкой они ушли, а со всей поклажей. Зачем это он отпустил их? Не к добру!..

Мамлюки при этих беседах уже не славословили Тимура, но еще не решались и корить его. Что была за причина, почему главный злодей отпустил их? Они еще и сами не осознали эту причину, хотя уже не восхваляли его щедрость.

Ночи становились душными.

Порой спали на вонючих овчинах, дабы ночью не ползла на них из пустынь всякая ядовитая нечисть — пауки и змеи боялись овечьего запаха. В тягостной духоте накрывались с головой широкими одеждами или одея-

лами, когда возле рек или озер на спящих низвергались рои мошкары. Через руины древних городов спешили, озираясь: в руинах водились опасные змеи и гады.

Пугали друг друга рассказами об осмелевших разбойниках. Чем ближе подходило нашествие степняков, тем дерзче и беспощадней разбойничали неведомые люди: народ, встревоженный нашествием, меньше стерегся своих злодеев. А они шли по пути нашествия, как волки по краям стада.

Рассказывали о дамаскинах, неуловимых и бесстрашных: они всем мстили за светлый Дамаск, которого вдруг не стало, за свою жизнь, выброшенную на дорогу! Они возникали и исчезали в местах, захваченных нашествием.

Вокруг разоренных селений было немало разбойничьих содружеств — в отчаянии росла их отвага. От бездомной бесправной жизни крепла их жестокость. Голод кидал их на дерзкие дела. За ними охотилась конница.

Они укрывались в укромных захолустьях, куда никто из преследователей не решался доходить: нашествие надвигалось смело лишь по узкой стезе. Края той стези оставались у народа. Ограбленного, но готового на любой подвиг. Когда мстителей настигало преследование, некоторые, спеша притаиться, отбегали сюда, к югу. Здесь о них рассказывали осторожно: в лицо их никто не знал, всегда могло оказаться, что кто-нибудь из собеседников и есть разбойник.

И не один ли из них сам этот длиннобородый седой путник? Он идет из самого татарского стана. Попутчики его сказывали: следом за ними вдруг по слову главного злодея прискакала погоня. Погоня их настигла. И опять отступила! Зачем бы погоню слать, если его им не надо? Если его отпустили, значит, он не разбойник. А если не разбойник, не послали б за ним погоню! Но опасный слух тем и силен, что не понятен, не постижим разумом. На ночлегах многие стелили свои подстилки подальше от постели Ибн Халдуна.

Разбойники тут могли быть: они в любом хане, на любом постоялом дворе ютятся. Где же иначе им спать, есть, кормить лошадей. Значит, не может их здесь не быть. Разбойничают, не поддаются на посулы завоевателей: они знают, помнят свою правду. Чего бы им ни сулил степной татарский вожак, не поддаются. А он су-

лил, подсылал проповедников, обещавших вольное приволье тем, у кого отнята воля, сытую жизнь тем, у кого забирали хлеб. Проповедники редко уцелевали на проповедях, нередко их находили по обочинам дорог, а чаще нигде не находили.

Ночлеги сменялись ночлегами, а дорога тянулась своим путем.

На Тивериадском озере в хане, построенном возле воды, путников угощали рыбой. Испеченная над углями, политая соком каких-то горьких плодов, она напомнила Ибн Халдуну детство в Сфаксе, озаренном голубыми отсветами моря.

В садах по берегам Иордана плоды еще не поспели. Три девушки в длинных синих рубахах, сидя на глинобитной крыше под тяжелыми ветвями темных олив, пели протяжную песню, словно оплакивали кого-то.

У берегов Мертвого моря караван вошел в рощу, где приземистые деревья росли, отворотясь от упрямых морских ветров. Вся роща спускалась по склону к морю,— чем ближе к морю, тем обнаженнее были стволы, все свои ветки запрокинув прочь от моря.

Едва вышли из рощи на пустынный простор, тут вдруг все вокруг потемнело. Почернели, сомкнувшись, кроны олив. Затмилось небо. Зарокотав, обдавая холодом, хлынул ливень.

Шумом и холодом залив оливы, отхлынул ливень к Ливану. Гроза, ударившись о горы, норовила вернуться. Но откатились черные крутящиеся тучи. Засияло желтое предвечернее солнце. В этом яростном свете промокшая земля казалась малиновой. Расплывчатые лужи сияли, отражая небесную синь.

Дышалось легче. Хотелось здесь постоять.

Верблюды распрямились, стали выше. Стояли, прилизанные ливнем, среди небесных отсветов и синеватых отблесков с моря. Верблюды в столь ярких и чистых лучах стояли призрачные, словно вылитые из лилового стекла.

Озябнув, сгорбились нежно-голубые ослы. А мулы и лошади, лоснясь, блестели багровыми и синими отливами гнедых и вороных мастей.

Путники скинули с себя волосяные мешки, тяжелые намокшие одеяла, все, чем успели накрыться под ливнем.

Отряхивались, дышали прохладой, словно пили из родника. Медлили выйти на дорогу, боясь утратить такую свежесть и вступить в зной. А на дорогу уже несло песчаную поземку из пустыни.

Караван прошел мимо густых садов на берегах Мертвого моря. Мимо полей, возделанных, набухающих мирным урожаем. Мимо стад, беззаботно пасшихся по склонам холмов.

Так свободно течет здесь жизнь, если сличить ее с выжженной, обезлюдевшей Сирией, где торжествует завоеватель.

Наконец встали серые стены священного города, увенчанные зубцами, похожими на воинские щиты.

Когда подошел Ибн Халдун, многие караваны стояли у Дамасских ворот Иерусалима, ожидая, пока город примет их.

Ожидая, остановился и караван Ибн Халдуна.

Все смотрели на темные мощные стены, сложенные еще иудеями из больших глыб, а спустя века надстроенные римлянами, а еще через века — крестоносцами. Чернели узкие бойницы. Стража глядела сюда из-за зубцов с высоты стен.

Внизу между караванами тоже прохаживались стражи. Прохаживались, прощупывая вьюки, придираясь к прибывшим, надеясь на подарки, довольствуясь и малыми подачками, ибо в городе, куда совсюду сходилось множество паломников, городские власти берегли чужеземцев от мелких обид, дабы не пошел по свету недобрый слух о корыстолюбии и мздоимстве иерусалимских властей.

Тимурово нашествие перекрыло многие пути. Из разоренных городов некому стало идти сюда. Но шли из стран и из городов, докуда не дотянулись разорители: Иерусалим тем и свят, что равно — мусульмане, иудеи и христиане — все чтут в его стенах самые заветные из своих святынь.

Люди разных вер приходят сюда в чаянии чуда — исцеления от болезней, избавления от бед, забвения досад, прощения за содеянное зло, утешения в свершенных ошибках.

Но приходят сюда и рассеять скуку. Ибо везде, куда стекается много богомольцев, ищут поживы и те, кто служит человеческим страстям и пристрастиям. Чем без-

защитнее человек перед своими слабостями, тем усерднее он просит помощи у бога. А чем беззащитнее, тем легче поддается соблазнам. Грехопадение соблазнительнее там, где ближе место покаяния. О грехе тем чаще задумываются, чем чаще его осуждают, а здесь неустанно его клянут и горячо в нем каются на многих языках. Вместе с паломниками в пыльных одеждах, с купцами, привезшими чужеземные товары, у ворот ждали и работорговцы, пригнавшие на торг полуприкрытых рабынь и полураздетых мальчиков. Не сторонились тесноты благочестивые стайки паломниц. Они прибыли на богомолье откуда-то издалека. Скудно и смиренно одетые, с четками между резвыми пальцами — от их насмешливых и приманчивых глаз не шлось к молитвам.

Позже других подъехали усталые всадники, ведя в поводу вьючных лошадей. Пыльных, покрытых тяжелыми бурнусами, их не заметил бы Ибн Халдун, но к нему подошел один из прибывших, еще издали кланяясь и приветствуя: он видел Ибн Халдуна в мадрасе Аль-Адиб.

— А вы из Дамаска? — удивился историк.

— Бегом оттуда. Бегом!

— А что там?

— Я из купцов. Откупился от разоренья, а хромой злодей перед уходом отдал наши слободы своим головорезам на разграбление. «Вы, говорит, недоплатили, нарушили уговор, я, мол, ждал-ждал, но больше терпенья нет!» А? Ведь почти все получил, какой-нибудь малости недосчитался — и на разграбленье! Ну я, слава аллаху, семью заранее сюда отослал, теперь, как он ушел, сюда бегу. Что уцелело, с собой везу.

— А он ушел?

— Ушел. Сказывают, на Сивас. А зачем? Через Дамаск проехал в ярости. Как в лихорадке. Так спешил, даже правителем города поставил какого-то из дальней родни, он и не высовывается: отсиживается в Каср Аль Аблаке. А военачальников всех увел. Не знаем, что у него случилось.

4

Тимур ушел. Письмо от Мираншаха из Сиваса ввергло Повелителя в ярость и в тревогу: Кара-Юсуф, недолго отдохнув в Бурсе, получил от Баязета конницу и зах-

ватил отчие земли от Арзинджана до Сиваса. Тамошнее население встретило его как освободителя, празднуя и ликуя. Небольшие городские войска были разметаны. Мутаххартен укрылся у Миралшаха в Сивасе. Осман-бей притаился в грузинской стране, которую, было время, он весело сокрушал в содружестве с Тохтамышем.

— А чего ж правитель прячется?

— Завоевателей там мало осталось. Неведомо из каких тайников, из укромных трущоб повылезли уцелевшие дамаскины, без боязни собираются на базарах, хоть и нечего купить. И уж их боятся трогать, и они опять, как было, дома. Я тоже заберу отсюда семью и вернусь. Дома веселее, кругом свои, кто уцелел.

— Дамаскины! — повеселев, одобрил их Ибн Халдун.

— Довел нас, что наш султан Фарадж не может помочь Баязету, своему союзнику.

— Довел!.. Затем и пошел добивать, чтоб нас за спиной не осталось, когда на Баязета свернет.

— Умеет он разобщать союзников. Если их союз против него.

— Он на это хитер!

Ибн Халдун ничего не ответил, но, как очень усталый путник, захотел скорее-скорее домой. Хотя бы поначалу за эти крутые стены. Он послал крикнуть старшему привратнику, скорей бы открывали город, когда у ворот ждет визирь самого Фараджа.

А купец говорил, рассказывал:

— От Дамаска, говорят, до самого Багдада в ряд по всей дороге сидят торговцы. По дешевке сбывают имущество, награбленное у дамаскинов. Ведь только прикинуть в мыслях: от Дамаска до Багдада сидят, как на базаре, плечо к плечу. А покупатели не мы ведь, а их же люди сбежались на поживу со всей Бухарии и еще незнамо откуда...

Когда ворота раскрылись, караван Ибн Халдуна первым пошел по мосту под глубокие своды ворот. Иерусалим подчинялся египетскому султану, и приближенные султана, а первее других визирь султана, здесь снова стали самовластны.

Ибн Халдун не знал, милостиво ли примет его ветреный Фарадж после гощенья у Тимура. И чего нанесут султану мамлюки, уже оправившиеся от дамасских испугов

и досад, снова властно ступающие по земле своего султана.

Караван протиснулся узкими улицами к тесной площади у рабата Каср Аль Миср — что означает Каирский дворец. Стены домов нависали совсюду над тесной площадью. Ветхие деревянные ворота, выкрашенные светлой охрой, со скрипом и стоном растворились. Караван вошел в небольшой горбатый двор, где посредине, как пупок, торчал какой-то каменный обломок с большим медным кольцом. Некогда кого-то привязывали тут — коня, раба или собаку. В круглых нишах виднелись большие и маленькие двери. За большими дверями — склады для вьюков, за маленькими — кельи. С большой высоты, с четвертого яруса, во двор на пунцовой веревке свисало зеленое ведро.

Ибн Халдун выбрал себе келейку высоко, в третьем ярусе. Келья оказалась узкой, чисто выбеленной. Дурно пахло гнилой редькой, но вместе с тем благоуханно-смолистым дымом — ливанским ладаном.

Вместо окна зиял проем, словно некогда это была дверь. Но куда, если глубоко внизу окаменел двор, войти через ту дверь? Напротив перед стеной, рыжеватой от ветхости, мерно, как удавленник, покачивалось над двором ведро, неизвестно зачем оно свисало из самого верхнего окна. И там же, высоко наверху, в таком же пустом, без рам, окне стоял белый козленок и завистливо смотрел вниз: внизу развьючивали караван и среди вьюков виднелись связки сена.

Нух, перебирая белье лиловыми пальцами, помог историку помыться и переодеться, уже успев узнать, как мало воды в Иерусалиме и как дорожат ею здесь.

— Иордан рядом! — возразил Ибн Халдун.

— Оттуда сюда не возят.

— Почему?

— Лень! Здесь никто не работает, им все дают богомольцы.

— Вода им самим нужна.

— Приучили себя, почти не пьют. А принесут кувшин или ведро, тут же продадут.

— А у меня жажда! — пожаловался Ибн Халдун.

Весь этот год у него появлялись дни, когда он никак не мог утолить жажду. Чем больше пил, тем больше хотелось пить. Только тяжелел от питья, а утоленья не бы-

ло. Потом появились дни неодолимой слабости, ко сну клонило, клонило к подушке, неподвижно лежать. После выхода из Дамаска показалось, что окрестности подернуты переливчатым, как жемчуг, туманом, и в погожие дни этот туман казался гуще. В пасмурные дни в глазах светлело. Но прежняя ясность зрения не возвращалась. Читать или разглядывать что-либо он мог лишь перед вечером, когда солнечный свет становился не столь обилен. Зашатались зубы, и ныли десны, Нельзя стало грызть черствую лепешку, как он с детства любил. Приходилось разламывать хлеб на маленькие дольки и неторопливо разжевывать.

Таким он вступил в Иерусалим,

Не жаждал чуда, не намеревался молиться о возвращении молодости. Он заявил в Дамаске, что идет в Иерусалим на богомолье. Но пока были в нем лишь усталость и любопытство: видевший столько городов, может быть, он спешил только посмотреть еще один преславный город.

Тишина кельи, мирный ее запах, голубые голуби, лениво гурковавшие на карнизе за окном, молчание высоких крутых стен — все это, как после долгого горя, успокаивало, никуда идти не хотелось.

Вскоре во дворе зазвучали голоса мамлюков, вельмож, заспешивших посмотреть базар. Голоса их клокотали, как вода в глотке, в горловине двора. Вельможи ушли. Жалобно проблеял козленок. Опять дом затих.

Ибн Халдун повернулся к Нуху. Черный суданец, присев на корточках, молчал у порога.

— Я отдохну! — сказал Ибн Халдун, хотя уже был одет, чтобы идти в город.

Нух снял с него верхнюю одежду. Взял чалму.

Ибн Халдун прилег.

Только на рассвете он встал и пошел в город.

Он шел улочкой, узкой, как трещина, протискиваясь между каменными стенами. Стены высились, нависая над прохожими. Стены из синеватых неотесанных камней, порой больших, как глыбы. Стена времен Иудеи. Рядом — из больших серых кирпичей. Тут же устоявшая кладка из гладко отесанных гранитных брусков, как, бывало, строили при Птоломее. Три тысячи лет строили, перестраивали, рушили Иерусалим. Что-то в нем разрушалось, но что-то уцелевало, Многое надстраивали над руинами.

Сузились, стеснились его улицы. Над ними с одной стороны на другую нависли переходы из дома в дом или своды давних арок, в какие-то минувшие века перекрывавших проходы по городу. На ночь тут вставали стражи, опускались решетки: спокойнее спится, когда знаешь, что вся улица заперта до рассвета. Давно уже не опускают решеток, живут безбоязненно, переговариваются громко.

Иногда от стены отваливался кусок кладки и валялся на дороге, все его обходили, а то и спотыкались, но никто не убирал, ибо не было точно известно, чей он.

Узкие улицы укрывали город от ветров пустыни, хранили тень даже в самые душные дни, а при нашествии врагов надежно берегли иерусалимлян, ибо лишь поодиночке могли пробираться в этой тесноте всадники, да и пешком завоевателям надо протискиваться друг за другом, когда жители легко могли запереть их в этой тесноте. Это случалось здесь.

Ибн Халдун, сопровождаемый одним только Нухом, долго шел, то не без усилий расходясь в тесноте со встречными, то с любопытством задерживаясь около продавцов, несмотря на раннее время предлагавших связки кипарисовых и каменных четок, или прозрачные крестики, выточенные из алой смолы, или изречения из Корана, мастерски написанные каллиграфами на пергаментах, позлащенные, как это умели только в Иерусалиме и в Мекке. Паломники увозили такие пергаменты и потом всю жизнь хранили на стене как память о богомолье и как знак своего благочестия.

Продавцы кричали, стоя возле покупателя, чтобы прохожие тоже слышали их и не прошли бы мимо.

Едва ли есть на свете другой город столь же крикливый. Все кричат. Кричат, переговариваясь через улицу. Кричат друг другу из конца в конец улицы. Крики перекрещиваются, но не сливаются между собой, а перекрикивающиеся слышат только друг друга, словно вокруг царит тишина.

Едва ли есть на свете другой город, где кричат, распевают или шепчутся на стольких языках, столь несхожих.

Одни кричат, взмахивая руками, словно в приступе гнева; другие — словно в изнеможении; а те кричат жалобно, прижав к груди руки, будто в чем-то винясь. Кри-

чат, уверенные, что так заставляют слушать только себя, что так их слова сильней и понятней.

Ибн Халдун шел.

Каменные стены высились и нависали. Возникали низкие своды, где проходили пригнувшись. А наверху кричали собеседникам, детям, а то и самим себе, чтобы яснее понять самих себя.

Тесно притертые стеной к стене, высокие дома заглушали крики на соседних улицах, но довольно было и тех, что бурлили вокруг. Ибн Халдун понимал: так громко здесь говорят от полноты души, от чистоты мыслей, ибо нечего им таить друг от друга, столь различным по языкам, столь единым по преданности родному Иерусалиму.

На поворотах улиц вдруг показывался храм или святилище какой-нибудь веры — христианская церковь или часовня, где пели по-гречески или по-славянски. Размеренно и протяжно гудела латынь. В каком-то подземелье, как в пещере, сияло множество свечей и мечтательно пел многоголосый хор армян. А мимо бежали, кричали, вопили продавцы и разносчики воды, свечей, ладана. И чем беднее был товар, тем громче кричали, заманивая покупателей.

Из-за стен грузинского монастыря слышалось унывное заупокойное пение: хоронили одного из беженцев, привезших сюда царевича Давида, посланного в эту даль царем Георгием, дабы укрыть малолетнего сына от невзгод, постигших родину, от настойчивых, жадных нашествий Тимура.

В открытые ворота монастыря видно было медленное шествие людей в черных одеждах, несших вслед за гробом ласково трепещущие огоньки свечей.

Впереди провожающих вели мальчика в зеленом кафтане и розовых штанах. Может быть, это и был Давид. Он тоже нес свечу, и она вздрагивала в худеньком кулаке, колебля пламя.

Так в узких улочках, изрезанная, как на узкие ленты, иерусалимская жизнь шумела, полная движения, полная своих забав, будничных горестей, нестрашных печалей, толчеи; радостная, какие бы заботы ни врывались в нее; привольная, как бы ни было здесь тесно.

Если бы наползло на этот город нашествие, если бы засели здесь чуждые народу власти, город притих бы,

ибо у всех приглохла бы ликующая радость бытия, поколебалась бы вера в вечность этой причудливой жизни, лучше которой, сколько бы ни было в ней тягот и горя, здесь никто не ждал и не знал. Ведь, какие ни явись завоеватели, какими добрыми словами ни прикрывай они свою власть, как ни кичись они, выдавая свое насилие за добродетель, жизнь затихает при тиранах, торопливо навязывающих народу свои обычаи, нравы, понятия вопреки тем, с которыми веками жил народ и с которыми сам он и впредь жить хочет.

Ибн Халдун шел в каменном узилище улиц, и росла, росла легкость дыхания, движений, как бывает, когда вырвешься из удушливой тьмы подвала к прохладе, к свету. Вокруг воздух трепетал от неистовства крикунов. А Ибн Халдуну это его первое утро в Иерусалиме казалось тихим и приветливым.

Он шел, ликуя: в Дамаске он смирился с напряжением, когда не знаешь, грядущее утро, предстоящий день, наступающая ночь, следующее мгновенье сулят ли тебе улыбку благоволения или удар меча. Так он напрягся на все свое время при Тимуре. Теперь шел мимо различных храмов и алтарей, где каждый волен по-своему общаться со своим богом, ибо во всех верах сказано, что бог един.

В Дамаске Ибн Халдуну рассказывали, как в Иране в угоду шиитам завоеватель губил суннитов, а войдя в суннитские страны, угнетал шиитов. Нужна была лишь причина кого-то карать, кого-то приберегать, ценой чужой крови утверждая себя самого, взяв одному себе право судить о вере: какая истинней?

Каждый захватчик, кем бы он ни был и когда бы он ни пришел, тем и приметен, что лишь свою веру считает истинной, а прочие объявляет злом и недомыслием и спешит истребить их, как зло, иноверцев покарать, а достояние их взять себе.

Неожиданно из тесноты улочки Ибн Халдун вышел на площадь, обсаженную густыми кипарисами, устланную гранитными плитами, называемую Гарам-аш-Шериф, что означает — Священный двор.

Ибн Халдун увидел мечеть, о которой слышал с детства. Он много видел замечательных зданий в Магрибе и в Кордове, в Каире и в Александрии, прославленных в мире, а об этой мечети, как о вершине арабского зодче-

ства, ему говорил еще отец незадолго до своей тяжелой, черной смерти.

Стройную осьмигранную мечеть Куббат-ас-Сахра построил халиф Абл-ал-Малик в год пятидесятилетия со дня, когда в 638 году халиф Омар отвоевал Иерусалим у Византии для арабов. Уже более семи веков простояла она, прежде чем ее увидел Ибн Халдун.

Когда рассказывали о ней, она представлялась ему красивой, величественной. Оказалась иной: прекрасной, но не величественной, а приветливой, женственной.

От земли она облицована серебристым мрамором. Выше ее украсили цветные кирпичики. Она высоко вознесла над собой серебристо-белый легкий купол, как бы парящий над ней.

Она не подавляла, она влекла к себе.

Щедро заплатив сторожу за кувшин, он омылся у большой каменной чаши с теплой водой, светло-серой, словно ее заправили молоком.

Расстелил плат на плитах двора и стал на молитву.

К нему пришло счастливое неожиданное отдохновение, охватившее его всего. Распростершись на своем плате, теснимый другими богомольцами, он облегченно бормотал:

— Благодарю, о аллах! О аллах... Благодарю, что сподобил меня благодарить тебя здесь, где я снова волен в помыслах...

Никогда на молитве он не говорил своих слов, а только молился. Впервые ему захотелось сказать аллаху о чувстве столь полном. Но не знал, какими словами высказать это чувство, еще не осмысленное разумом.

Разогнувшись, Ибн Халдун увидел Нуха, тоже вставшего с молитвы. Нух плакал, зажав глаза ладонями. Ибн Халдун удивился:

— Что это?

Утирая слезы, Нух в упоении покачивался.

— Мне здесь хорошо, о господин!

Они вместе вошли в мечеть.

И здесь она удивила историка своей особой красотой, не повторяющей иных строений в мире и оставшейся неповторенной.

Здесь все казалось просто, но в каждом камне запечатлелась мысль: либо это изречение, вычеканенное на мраморе, коим облицован низ стены, либо искусная клад-

ка стен, продуманная, согласованная в каждой частице, как касыда. Яшмовые столбы, поддерживая купол, сочетались между собой в стройный очеред.

Царь Соломон здесь поставил свой храм над священной скалой. Но Соломонов храм пал. Мечеть Омара поставлена на том же месте, чтобы прикрыть своим куполом ту же скалу, столь же священную и для мусульман, ибо по преданию с этого камня пророк Мухаммед воспарил к аллаху.

Теперь на скале лежали изначальные записи Корана, седло кобылицы Аль-Борак и весы для взвешивания человеческих душ.

Пещера под скалой считалась входом в преисподнюю. У ее входа высились знамена и хоругви. Стояло копье царя Давида, насаженное на древко из дерева, именуемого Аса-Муса, что значит — Посох Моисея. Тут же и щит Мухаммеда. Знамя пророка. Огромный меч Али. Свидетели священных войн, былых битв за веру.

Шатер из тяжелой красной ткани неподвижно распростерся над тем местом, где стояла скиния завета и находился святая святых — алтарь Соломонова храма.

Все вокруг утверждало легенду. Есть легенды, принимаемые на веру, которым не нужно доказательств и утверждения: они, как песня и как птица, существуют, не касаясь земли. Но есть земля, которой касаешься, как легенды. И это было здесь, где Ибн Халдун то опускался помолиться, то вставал созерцать.

Позлащенная решетка ограждала скалу, но Ибн Халдун и не помышлял прикоснуться к камню, коего касался бог.

Историк стоял, надеясь понять, в чем величие того, что столь просто и грубо, но тысячи лет влечет к себе, влагая в приходящих благость и мир,— скала, простой камень. Камень, видевший нечто, о чем лишь шепотом повествуют предания.

Выйдя из мечети, Ибн Халдун прошел мимо стены, уцелевшей от Соломонова храма.

Старые длиннобородые иудеи, не поднимая глаз из-под плотных полосатых покрывал, плакали навзрыд, протягивая к стене руки. Прибредшие сюда издалека, может быть из Кастилии или из немецких земель, голосили, вспоминая, сколько поколений из их народа стояло

здесь, и ждало откровения, и ждало свершения в ответ на столько молитв и слез.

Бороды их были мокры. Глаз не было видно. Многие стояли перед стеной уже молча, только протягивая к ней руки, натруженные в далеких странах.

Отсюда Ибн Халдун пошел в мечеть Аль-Акса.

Она суровее, чем Куббат-ас-Сахра. Халиф построил ее на четыре года позже. Он построил ее в обветшалой базилике Юстиниана. Придал ей вид куба. Аль-Акса теперь казалась древнее, чем стройная мечеть Омара, но была просторней.

Здесь тоже трепетали незримые крылья легенд. В мерцающем радужном мареве свет лампад озлащал заветные святыни.

День длился среди святынь, преданий, паломников, огоньков свечей и нежных дымков ладана.

Ибн Халдун дошел до христианских храмов. Среди иноверцев он не чувствовал ни отчуждения, ни неприязни. Но они перед богом стояли с открытыми головами, а ему открыть голову на молитве было бы грехом. Всматривался, сравнивал, вспоминал о больших событиях на заре многих народов.

При входе в какую-то небольшую церковь он увидел два богатых надгробия. Могилы крестоносцев. Двух братьев. Двух королей иерусалимских — Готфрида Бульонского и Болдуина Первого.

Он вглядывался в гербы на королевских щитах: на первый взгляд одинаковые, они утверждали единое происхождение братьев. Но, приметив различия, Ибн Халдун попытался их понять: в Андалусии и у короля Педро он узнал рыцарскую геральдику. Вдруг вспомнилась тамга Тимура, отчеканенная на пайцзе, — пирамидка из трех колец, не герб, а тавро. Клеймить скот!

Во все эти дни нарастало раздражение против того, что было и что он покинул в Дамаске.

Вглядываясь, вдумываясь, шел Ибн Халдун среди реликвий минувшей жизни. Как тень, следовал черный Нух.

Они бродили среди взволнованных, растроганных людей, и никто тут не кичился своей верой, но никто и не отрекался от нее. Различие вер не разобщало иерусалимлян.

— А вот доскакали б досюда степняки!.. — сказал Нух.

Ибн Халдуна давно удивляла способность Нуха понимать его мысли.

— Степняки?

— Да, если б доскакали...

— Что могли бы сюда принести завоеватели, кроме своей жестокости да силы для разрушения? Чему бы могли учить? Что сумели бы показать, кроме злобы? Ничего у них нет для созидания.

— И я о том же.

— Я так тебя и понял.

Здесь от времен Адама век за веком — как страница за страницей в Книге Бытия. Новая страница — продолжение предшествующей. А что сюда вписали бы завоеватели, случись им доскакать?..

— В Дамаске мы видели, господин, что делает завоеватель, ворвавшись в город. Цену золоту знают, а цену работе, чтоб из золота сделать вещь, не знают.

— Ты приметлив, Нух.

Похвала порадовала Нуха, он даже приостановился.

Здесь Ибн Халдун отпустил его готовить ужин. Нух сказал, прежде чем уйти:

— О господин, здесь у арабов обычай — моют ноги перед едой.

— Пророк Мухаммед тоже держался этого. Это еще от давних времен.

— Не ногами же едят?

— Но босыми садятся за трапезу.

На этом они расстались. Нух поспешил в хан, историк опять пошел бродить.

В памяти сменялось одно другим, о чем читал или слышал. День, полный воспоминаний о давних событиях.

Вернулся в Аль-Акса.

Спустился в обширное подземелье, дивясь могучим сводам, нависавшим над богомольцами, при горящих светильниках становившимися на третью молитву.

Когда уже перед вечером он возвращался в хан, его встретил встревоженный Нух.

— О господин!

— Что ты, Нух?

— Прибыл человек из каравана.

— Откуда?

— От Бостан бен Достана.

Ибн Халдун испуганно остановился.

— А что там?

— Он говорит, прибежал к вам, а мне ничего не говорит.

— Пойдем скорее.

Ибн Халдун шел по неровному проулку, где легко оступиться между канав и выбоин. Нух, не отставая, что-то рассказывал. В его слова Ибн Халдун не вслушивался, охваченный беспокойством и опасениями.

Но какое-то слово уловил и удивился:

— Что? Что?

— ...мамлюки. Собеседники султана. Которых вы вырвали из когтей хромого злодея, ушли.

— Куда?

— Никому не сказавшись. Утром вернулись в хан со здешним караванщиком. Собрались, завьючили верблюдов и пошли. На Каир.

— Не попрощались...

— Тайком. Тишком.

— Зачем бы так?

— Поспешают. Поспешают.

— Чтоб раньше меня припасть к стопам султана!

В нем ожил закоренелый царедворец со всеми тревогами, коварствами, происками, без чего не устоишь ни у одного владыки, без чего жизнь при дворе не сладится.

— Чтоб прежде меня, Нух!..

— Я тогда был при вас, ничего этого не видел. Наши люди ничего из вашего им не дали.

— А они?

— Попытались было. Кое-что приглядели взять с собой. Нет, не дали ни одного вашего вьюка.

— Ладили б свое довезти. У них тоже немало...

— А вот мамлюкские вояки из стражей, которых Хромец вам прислал, не пошли. Остались. И нубиец с ними. Ждут вас. Боятся, не прогнали б вы их...

У ворот постоялого двора сидел, ожидая, мальчик Иса, приемыш караванщика Ганимада.

— Ты зачем пришел?

— О господин, много надо сказать.

— Встань и скажи.

— Была погоня. Прискакали ночью в тот хан, где я лежал. Отец оставил меня: я болел. Лихорадка. Дрожал,

не спал, потел, ждал, чтобы она прошла. Лежу. Стук. Крики: «Открывай. От Повелителя!..» Я притаился. Привратник открыл. «Где караван?» — «Какой такой?» — «Тот, из Дамаска». — «Давно ушел». — «Куда?» — «А может, в Иерусалим, а может, в Александрию, я вслед не смотрел». Они еще кричали, топали, грозились. А хозяин им: «Зачем их задерживать, когда они показали пайцзу?» Тут воины оробели, что не догнали. Как звери, остервенели, хлещут лошадей, поскакали назад. На том и конец: не догнали. Они назад в Дамаск, а я, как велел отец, к вам. Сказать: «Не догнали!»

Ибн Халдун пробормотал молитву. Вытер ладонью лицо. С улыбкой посмотрел в лицо мальчику.

— Теперь придется тебе со мной идти в Каир.

— Так и отец велел.

— Ловок он!

— Еще бы! — с достоинством, с гордостью за Ганимада согласился его приемыш: опытный караванвожатый увел караван по каким-то боковым тропам. Теперь Бостан бен Достан дойдет до Феса. Дело сделано.

Словно за все его молитвы, раскаяния и покаяния ниспослано ему вознаграждение — эта добрая весть: письмо дойдет.

— И еще: отец велел вам отдать. Когда воины прискакали, я ее во рту спрятал. Вот она.

Мальчик достал и отдал Ибн Халдуну ту щербатую пайцзу с трещинкой, словно к ней прилип волосок.

Мальчик договорил:

— Отец сказал: незачем ей гулять по дорогам арабов.

Ибн Халдун вдоль трещинки разломил ее, подержал на ладони, подкидывая обе половинки, и бросил на иерусалимский двор под мозолистые ноги верблюдов.

Стамбул. Ташкент,
1970—1971

ДОРОГИ

Жизнь человека коротка; дороги бесконечны.

Турецкая пословица

1

Автобиография неизбежно включает в себя воспоминания. Поэтому писать ее и просто, ибо не следует ничего выдумывать, и сложно: ведь надо определить, что именно является главным среди тысячи событий и происшествий, составивших целую жизнь. Сложность в том, что и главное тоже неравноценно, неравнозначно и неоднолинейно: одно было главным и поворотным для личной жизни, но прошло бесследно для работы; другое — главным для работы, но ничего не изменило в личной жизни; третье — неразрывно связало работу и личную жизнь. Поэтому продумывать автобиографию столь же сложно, как продумать основу предстоящей повести. Разница лишь в том, что в автобиографию нельзя внести вымысла, а действующих лиц надлежит вводить из реальной, хотя и минувшей жизни. Правда, в повестях вымышленные герои тоже не вполне вымышлены — обычно они являются отражением тоже реальных встреч и существований, творчески преломленных. В книгу герои приходят из авторской догадки.

2

Надо начать с того, что является главным для жизни — день рождения. Я родился в четыре часа утра 25 сентября 1902 года в Москве у Никитских ворот. Вслед за тем меня перевезли в Тульскую губернию, в город Белев, около тысячи лет простоявший на высоком ле-

вом берегу Оки. Здесь и протекло мое детство. Мы жили в старинном доме на углу Верхней площади, и самое раннее мое воспоминание относится к трехлетнему возрасту. Перед окнами шумела базарная площадь, тесно заставленная крестьянскими телегами. Среди дня там вдруг раздалось несколько выстрелов и взвод конных казаков кинулся ловить какого-то человека. Нянька мгновенно оттащила меня от окна, а случайно оказавшийся у нас брат моей бабушки П. Ф. Мигунов, сам происходивший из казачьего рода, вскочил на широкий подоконник, распахнул форточку и смотрел вниз, приговаривая: «Ах, негодяи, случись им догнать, погубят человека!» Но догнать не удалось: пуля задела одного из крестьян, остальные наспех запрягли лошадей, и десятки возов хлынули с площади, поневоле запрудив улицу и введя в замешательство казачью конницу. На этом закончилось мое воспоминание о 1905 годе... К разговорам и вестям о дальнейших событиях меня не допускали.

После этого город жил в мирной тишине, шел год за годом, и я постепенно подрастал к школьному времени. Мне едва исполнилось четыре года, когда бабушка научила меня читать. Зимой, сев у горячей лежанки с вязаньем в руках, она учила составлять слова по кубикам, а летом я уже читал ей басни Крылова, сказки Пушкина и братьев Гримм — этих книг в доме было много. Тем же летом бабушка, родившаяся в 1844 году, учила меня писать. Учила так, как сама училась — гусиным пером, объясняя, что стальное не столько пишет, сколько царапает бумагу. С тех пор я научился и выбирать, и чинить перья острым ножом, и, когда года через два явился учитель, мне было трудно перейти от гибкого и послушного гусиного пера к упрямому, бездушному стальному.

Белев жил своими буднями и праздниками, окруженный привольем. На заливных лугах за Окой буйно росли травы, ароматом бесчисленных цветов был пропитан весь воздух с весны до сенокоса. А в сенокос нежный и

крепкий запах свежего сена сливался с раздольем песен, когда, прервав косьбу или жатву, окрестные девушки отдыхали. Это не были нынешние безупречные хоры — на полях голоса сливались, порой перебивая друг друга, непричесанные, неприглаженные, как пряди на разгоряченных лбах, пение достигало и городских улиц. Крестьяне носили русскую одежду, у каждой волости, а порой и в некоторых отдельных деревнях, бытовала своя одежда, унаследованная от далеких времен. Так жила деревня и за триста лет до меня, и за пятьсот лет, и я рос, понимая эту красоту как нечто неотъемлемое от обыденной жизни. Много позже, когда деревня перешла на городской покрой, я понимал, что рос среди XVI, а то и XIV века. И все это было для меня не реконструированной историей, а повседневной действительностью. И хотя в семье у нас бытовал городской язык, я не отрывал его от языка моей няньки, моих крестьянских сверстников. Может быть, деревенский был менее совершенен, чем язык моей семьи, но, как гусиное перо, он мне казался гибче, чем стальное, и отшлифованнее.

Однажды бабушка достала с верхней полки тяжелую в кожаном переплете библию и сказала: «А теперь почитай-ка мне это. Сумеешь?» Я читал без усилий, понимая всю суть древнеславянского языка, хотя там и встречались слова, неизвестные даже бабушке. Целую зиму читали мы с ней эту книгу, дошедшую до нас через несколько поколений — бабушкины прадеды до XVIII века придерживались старообрядчества, и в доме оставалось от них много древних икон, лестовки (старообрядческие четки), кованые тяжелые лампады и целая полка старописных книг. Это и явилось моей школой русского языка, когда за столом говорили городским, толстовским языком, а вечерами с интересом читали древние книги.

Увлекательно было слушать и множество преданий о дедах и пращурах. Едва ли случалась на Руси война, в которой не участвовал бы кто-нибудь из нашей семьи.

Да и есть ли на Руси семьи, откуда не уходили бы на очередную войну отцы или сыновья? Вот почему на нашем семейном кладбище встречались могилы, где дед лежал рядом с внуком, ибо тот, кому надлежало лежать между ними, лег навеки в одной из далеких братских могил.

Преданий было много. И тех, что касались нашей семьи, и тех, что бытовали в городе из поколения в поколение. Так велось, что всех сыновей в нашей семье называли только в честь московских святых — Александра Невского, Андрея Боголюбского, Михаила Черниговского, Петра Митрополита Московского. Меня хотели назвать в честь Дмитрия Донского, но выяснилось, что он не был причислен к лику святых, и тогда назвали в честь Сергия Радонежского.

Помню рассказ отца о Куликовом поле, и однажды он пообещал взять меня с собой туда, когда по своим делам собирался на станцию Птань. Все эти места были недалеко от Белева. Отцу принадлежала лесная дача Мушкань. Она находилась недалеко от Козельска. Там, в лесной чащобе, была ложбинка, где, если сильно топнуть, можно услышать подземный гул. Рассказывали, что в этом месте находился не то тайный ход, не то погреба, вырытые воинами Батыя, когда татары осаждали Козельск. Предполагали, что там зарыты великие сокровища, но обладание сокровищами меня не увлекало.

Предания, связанные с татарами, тем более интересовали меня, что мать моя происходила из обрусевшей, но старинной татарской семьи. Однако от ее отца, моего деда, по облику напоминавшего золотоордынского мурзу, я не мог добиться никаких преданий. Обычно он говорил: «Читай, побольше читай, там все вернее написано, чем я тебе скажу».

Так шло мое детство. С матерью или отцом мне часто случалось бывать в Москве. Ездили там на конке, запряженной парой измученных лошадей, жили то у Никитских

ворот, то почему-то в номерах, как тогда назывались гостиницы. Останавливались в «Лоскутной», в двух шагах от Кремля; оттуда с матерью часто ходили в Кремль, в соборы, в древние церкви, соревновавшиеся между собой благолепием, чудотворными иконами и особенно хорами. И в первые дни по возвращении из Москвы в Белев город казался мне умолкшим, а дом пустым. Единственным ребенком в нашей небольшой семье был я. Все заботы, щедрость и тепло семьи доставались мне одному. Одиночество способствовало чтению, рисованию. Во дворе были друзья — собаки, лошади. Мне шел седьмой год, когда я затеял ссору с отцовским волкодавом, и огромный пес, потеряв терпение, меня искусал. Пришлось опять ехать в Москву, делать прививки. Когда возвратились, мать, чтобы меня утешить, ко дню рождения подарила седло, а отец распорядился седлать гнедого Красавчика, коня, которого я любил. В седле я чувствовал себя отлично, но однажды проделал с конем какой-то такой маневр, что вылетел из седла, перелетел через голову Красавчика и ударился макушкой о мерзлую землю. Вскоре седло исчезло и мои кавалерийские дела закончились. Подошло время идти в школу.

В Белеве не было мужской гимназии, и меня отдали в реальное училище имени поэта В. А. Жуковского. Программа там не отличалась от гимназической, разве только у нас не была обязательной латынь, но она была обязательна для получения аттестата зрелости, и поэтому мы ее учили тоже.

Первые года два я чувствовал себя в школе неуютно. Не по душе была четкая и строгая дисциплина, но постепенно я к ней привык, и она меня как-то внутренне организовала. Вскоре появились у меня новые друзья, новые увлечения. От одного я заимствовал увлечение морем и решил стать моряком, для чего погрузился в чтение географических книг и путешествий; от другого — историей и рад был, что дома нашлась многотомная «История Го-

сударства Российского» Карамзина; от третьего — коллекционированием бабочек и жуков. Только ни от кого не заимствовал интереса к математике, и во все мои школьные годы она оставалась основой всех бед и тяжелых объяснений с родителями. Мне явно повезло, что во всей дальнейшей жизни она нигде не понадобилась, и я вполне обходился одной таблицей умножения, которую усвоил еще в первом классе.

Посчастливилось мне еще и в том, что почти все преподаватели отлично знали свои предметы. И не только знали, но и умели увлечь нас. И чем дальше отходит то время, тем с большей благодарностью вспоминается каждый из них. А в первые два года мы боялись их, ждали какого-нибудь подвоха, иногда считали несправедливыми отметки, сочиняли на них стишки, но незаметно складывалось уважение, а потом и полное доверие к учителям. Даже к математикам.

Я был в четвертом классе, когда наш преподаватель русского языка М. А. Данков предложил издавать рукописный классный журнал. Тут же обнаружилось, что многие мои одноклассники пишут стихи или рассказы. Меня выбрали издателем, и мне надлежало собирать рукописи и составлять номер. Переписчиком выбрали ученика, обладавшего красивым почерком. Иллюстрированный, четко переписанный журнал просуществовал года два, вышло несколько номеров, и все мы, его сотрудники, к делу относились серьезно и горячо.

Еще за год до поступления в школу мне выписали журналы — «Путеводный огонек», редактировавшийся Федоровым-Давыдовым, и «Вокруг света», редактором которого был В. А. Попов. Через много лет я познакомился с обоими редакторами. Первый из них сыграл в моей жизни большую роль.

Однажды, в начале зимы 1914 года, я написал о Белеве очерк и послал его в «Путеводный огонек». В одном из первых номеров приложения к «Путеводному огонь-

ку» его напечатали, а вслед за тем я получил от Федорова-Давыдова открытку, где он благодарил меня за очерк и похвалил, добавив, что очерку не понадобилась грамматическая правка и чтобы я впредь присылал в редакцию свои очерки.

Так нечаянно я и начал свою литературную жизнь. Первая публикация и первое одобрение редактора имели для меня большое значение. В те годы издавались различные ученические литературные альманахи, и я уже без колебаний давал туда свои стихи и печатался там. Незаметно складывалось сознание, что пишу я не только для себя, не для домашнего альбома, и это приучало писать так, чтобы мысли мои доходили до читателей; воспитывало требовательность к каждой строчке.

Большое значение имело и то, что в моей семье и с материнской, и с отцовской стороны была любовь к чтению, к книге. Я уже сказал, что дома у нас хранилась довольно большая библиотека, как наследственная, так и более современная, состоявшая, по нынешним понятиям, не только из редких, но и из редчайших книг, изданий XVIII века и из еще более старых рукописных книг. Брат моей матери, Яков, за свою короткую жизнь собрал очень бо́льшую библиотеку книг XVIII века.

В Москве моя двоюродная сестра Нина Брихничева работала секретарем одной из московских редакций, и при поездках в Москву она меня знакомила со многими из тогдашних русских писателей. Конечно, я был еще далек от того, чтобы говорить с ними о литературе, но, затаившись, я слушал их споры, сплетни, сетования многих из тех, кого нынче мы либо начисто забыли, либо увековечили в бронзе и граните. Некоторые из них стали зачинателями советской литературы: Блок, Брюсов, Андрей Белый, Н. Клюев, С. Клычков. Несколько раз встречал Бунина, Куприна, а Бальмонту почему-то нравилось меня поддразнивать.

Помню такой разговор:

— Стишки пишешь?

— Пишу.

— А меня превзойдешь?

— Не знаю, не пробовал.

— А ты сядь да попробуй.

— А зачем, Константин Дмитриевич? Лучше попробую себя превзойти!

Бальмонт хохотал над этой мальчишеской дидактикой. И опять что-нибудь придумывал.

Он всегда появлялся с какой-нибудь дамой в большой шляпе и пышном неземном платье. Дамы называли его Рыжан за золотые пушистые волосы, сиявшие над его головой, как нимб.

Мне казалось, что уже одно то, что я могу бывать среди писателей, к чему-то меня обязывает. Это было в годы 1913 и 1914.

После революции наше реальное училище преобразовалось в школу второй ступени имени Н. Г. Чернышевского, ибо Жуковский, как выяснилось, был не только поэтом, но и помещиком, и царедворцем. Изменились в училище и внутренние распорядки, но преподаватели оставались те же, не изменилась и программа. Коренное переустройство школы произошло уже после того, как я ее окончил.

Не знаю, чем отличалось наше реальное училище от множества других таких же реальных училищ, находившихся во многих городах России, но из тех, кто учился в те же годы, когда учился я, наше реальное окончили многие, чьи имена впоследствии стали широко известны. Одни прославились в битвах — генералы Броневский, Котиков, Сорокин, Стеснягин, Толстиков; другие — в науке, иные — в искусстве.

Еще до окончания школы мы, несколько учеников из нашего реального, отправились в военкомат. Шла гражданская война, и нам казалась немыслимой мирная жизнь, когда народ борется за свою власть. Военком, по-

жилой человек, осмотрел нас задумчивыми глазами, помолчал и ответил:

— Вот что, товарищи... По возрасту вам туда рано. Сейчас ваш долг в том, чтобы хорошо учиться. Идите и занимайтесь своим делом. А когда подойдет ваш год рождения, вас призовем.

Мы ушли домой, не то смущенные своей молодостью, не то огорченные, что мечты о подвигах не осуществились.

Так вышло, что мы, граждане года рождения 1902, так и не были призваны на гражданскую войну и до конца войны просидели за партами.

Вскоре после этого похода в военкомат я пошел в художественную студию белевского Пролеткульта, едва она открылась.

Из Москвы, из Петрограда тогда съехалось в Белев много известных и разных художников, музыкантов, артистов. Ехали сюда, спасаясь от разрухи, тяжело сказавшейся на больших городах. Ехали от голода, от холода в такие города, где и дрова были дешевы, и хлеба было больше, и жизнь казалась спокойнее. Местом встреч сами собой определились теплые комнаты Пролеткульта, разместившегося в просторном доме на Козельской улице, в доме, стоявшем высоко над крутой Благословенной горой, спускавшейся к Оке. Дом не был заслонен никакими другими, и по его просторным комнатам целые дни гуляло солнце. Заведовал Пролеткультом ленинградский художник Т. И. Катуркин, окончивший накануне революции Петербургскую академию художеств. Родом он из белевских крестьян, его дед был крепостным у помещика Жданова. Катуркин, ученик Репина, отлично владел рисунком, писал пейзажи, портреты, декорации. Он быстро собрал вокруг студии всех съехавшихся в Белев художников, и вскоре студия стала профессиональной школой живописи. Здесь и началась моя жизнь живописца.

Вслед за тем организовались и другие студии в том

же доме — литературная, драматическая, музыкальная, балетная. Пожалуй, никогда в Белеве не было такой оживленной творческой жизни, как в те годы, между 1919 и 1922. Неутомимый организатор, Т. И. Катуркин взял в свое хозяйство профессиональных артистов, хандривших от безделья, наиболее одаренных учеников драматической студии и создал действующую труппу, привел в порядок запущенное Общественное собрание — бывший клуб местной буржуазии, — и с непостижимой быстротой на пустом месте сложился театр, реалистический, со сложными и тщательно продуманными декорациями, с актерами, игравшими увлеченно и талантливо. Разумеется, в этих студиях, как в художественной, так и в литературной, я не только работал и учился, но и участвовал во всех общественных делах.

Впоследствии многие из белевских студийцев стали профессиональными актерами, художниками, учителями рисования, музыки. Большое значение имел дух содружества, творческие споры, совместные поездки на этюды, поездки в Москву, чтобы побродить по музеям. Одна из наших бывших студиек, известная французская художница Надежда Леже, недавно вспоминала, как в одну из таких поездок она впервые увидела картины Пикассо, как они взволновали ее, а годы спустя Пикассо стал ее близким другом.

В отличие от московского Пролеткульта, где тогда сосредоточились различные формалистические и анархиствующие течения, в наших студиях творческая жизнь шла в русле реалистического искусства, а наезжавшие время от времени пропагандисты кубизма, супрематизма и многих других «левых» течений тех лет оставались в одиночестве.

В 1920 году во время нашей студийской поездки в Москву я встретил Александра Блока. Рядом с ним величественно и покровительственно шагал ныне почти забытый критик П. С. Коган. Поравнявшись со мной,

Блок вдруг окликнул меня по имени. Оказывается, он запомнил меня с тех давних лет, когда я был еще мальчишкой. Спросил, пишу ли я стихи, работаю ли над стихами. Он был очень худ, бледен, и мне показался не столько грустным, сколько сосредоточенным на чем-то одном и отрешенным от всего остального. Встреча была недолгой. Больше я его уже не видел. Позже, вчитываясь в его стихи, я пытался понять причину той его сосредоточенности. Едва ли я понял ее верно, но его поэзия с каждым годом становилась мне ближе и в ряду его современников он был мне ближе других, как в прозе ближе других был Бунин.

В 1921 году я провел несколько месяцев в Москве, ходил на Воздвиженку в Пролеткульт, но процветавшее там левачество, отрицание и поношение культурного наследства, всякая заумь в творчестве отвратили меня от московских студий. Только на Поварской в Студии стиха Валерия Брюсова мне было интересно. Однако и в Белеве уже нечего стало делать — художники постепенно разъезжались по большим городам, литературная студия опустела, задумывался о переезде в Москву Т. И. Катуркин, и в августе 1922 года я окончательно уехал в Москву.

Я пошел к Валерию Брюсову. На Поварской Студию стиха преобразовали в Высший литературно-художественный институт. Я сдал туда документы, приложив к ним две или три тетради своих стихов. Через несколько дней меня вызвали на коллоквиум, как тогда называлось собеседование, заменявшее экзамен. Едва ли оно было легче экзамена: от поступавших требовалось хорошее знание мировой литературы, классиков русской поэзии. Например, кто-нибудь из экзаменаторов читал отрывок стихотворения, и надо было определить хотя бы автора, если не произведение, из которого прочитан отрывок. Один из профессоров спросил: «Как вы полагаете, почему Лермонтов написал это?» И прочел мне на-

чало одного из лирических лермонтовских стихотворений. Я вдруг вспомнил весь цикл и ответил, что без этих стихов в цикле образовалась бы внутренняя брешь, нарушилась бы связь между предыдущим и заключительным стихотворениями цикла. Я прежде никогда не задумывался над этим и отвечал предположительно, но экзаменатор встал, пожал мне руку и поздравил с приемом в институт.

Выйдя из экзаменационной зеленой гостиной, я задержался с друзьями в Красной комнате около мраморной статуи. Все брюсовцы хорошо помнят это место наших встреч около итальянского окна, возле стен, обитых малиновым штофом: дом еще хранил всю обстановку, украшавшую его в давние, екатерининские времена.

Вскоре из зеленой гостиной вышел В. Я. Брюсов. Он подошел к нам, отозвался об успехах или промахах каждого из нас на коллоквиуме, а мне сказал, что читал мои тетради, и похвалил стихи, легко вспоминая строчки, ему понравившиеся. Было удивительно, как находил он время столько читать и везде успевать, но таков он был и в последующие годы — прост в обхождении, понятлив, трудолюбив, доброжелателен, но и взыскателен.

Навсегда мне запомнился тот погожий осенний вечер, в который я ступил на стезю профессионального литератора.

Поступая к Брюсову, я не думал отказаться от живописи, пошел во ВХУТЕМАС, где тогда шла тоже интересная творческая жизнь. Я отнес туда тяжелую пачку своих работ с просьбой допустить меня до испытаний. Прославленные живописцы К. Ф. Юон, В. К. Бялыницкий-Бируля, И. Э. Грабарь и еще некоторые из мастеров в тот же день просмотрели мои работы и постановили принять меня без испытаний.

Чуть ли не бегом я возвратился в институт, чтобы мне выдали копии документов. Все складывалось хорошо: во ВХУТЕМАСе занятия начинались с утра, в брюсовском институте — вечером.

На следующий день я подал во ВХУТЕМАС все необходимые бумажки, вплоть до копии воинского билета. Однако случилось непредвиденное: мне надлежало встать на воинский учет в том райвоенкомате, к которому относится ВХУТЕМАС. Без этого я не мог там учиться. Но я уже стал на учет в своем, Краснопресненском, как студент института, а состоять на учете одновременно в двух военкоматах было нельзя. Попытка уговорить военкома не увенчалась успехом: закон есть закон, порядок есть порядок.

Я растерялся: куда идти, что выбрать на всю жизнь?

Подумал, что у Брюсова приобрету больше знаний, углублю гуманитарное образование, а из ВХУТЕМАСа выйду хотя бы и мастером, но с односторонними знаниями. Вероятно, чего-то я недооценил, чего-то не понял, но выбор был сделан: свою тяжелую пачку я взял из ВХУТЕМАСа и принес домой. К тому же и дом мой был уже в институте, где по распоряжению Брюсова мне дали комнату в нижнем этаже этого старинного особняка, где ныне все перестроено и помещается Правление Союза писателей СССР.

Так я отрешился от живописи.

3

О Высшем литературно-художественном институте, которому позже присвоили имя В. Я. Брюсова, уже писали в нескольких «воспоминаниях». Институт по-своему был уникален, как многое, что создавалось тогда, при жизни В. И. Ленина. Брюсову дано было право привлечь к преподаванию любого из московских профессоров и наравне с ними любого из знатоков того или иного предмета. В те наивные времена у нас еще не существовало ученых степеней и званий. Людей выбирали не по званию, а по знанию. Брюсов выбрал самых выдающихся, самых талантливых знатоков для преподавания в институте. Многие прославились лишь впоследствии, Брюсов

первым заметил и дал возможность проявить их дарования. Молодой Мстислав Цявловский читал у нас лекции о Пушкине и привлекал молодого Яхонтова для чтения пушкинских поэм. Молодой Алексей Сидоров читал о графике и культуре книги. Константин Локс — поэтику. Николай Асеев — стихосложение, Юрий Соколов — фольклор. Были и профессора старой школы. Сам Брюсов вел курс римской литературы и латыни. Здесь нет места назвать всех, кто учил нас. Но едва ли есть другой вуз, где в такой дружбе и так тепло общались бы учителя с учениками не только в часы занятий, но и в свободные часы. Творчество каждого из нас было известно каждому. Студенты были разными людьми, с очень различными судьбами: недавний гимназист из благополучной семьи и бездомный матрос, только что возвратившийся с гражданской войны; девушка-санитарка в красноармейской шинели и начетчик, владеющий несколькими языками. Но все мы жили одной семьей и наши учителя среди нас были нашими старшими братьями. Это не мешало строгой взыскательности, с какой институт требовал от нас знаний. Программа была трудна и обширна, но скидок не делалось никому: одним приходилось заниматься больше, другим меньше, но каждый в конце концов должен был знать все, что изучалось, и знать досконально. Наряду с лекциями шли семинары по поэзии, по прозе, по драматургии. Наши стихи приходил слушать сам Брюсов, а читать нам свои стихи заходили, и нередко, В. Маяковский, С. Есенин, Вас. Каменский, многие поэты тех лет. При этих чтениях случались и споры, и перебранки. Если кто-нибудь говорил Каменскому, что он не владеет ритмом, а берет только криком и завываниями, а стихи — не музыка, их надо не только слушать, но и читать, в ответ летели ругательства и обвинения в том, что мы не понимаем новаторской поэзии. «Но Маяковского-то мы понимаем!» — возражали ему. Ни одной из сторон не удавалось переубедить другую.

Из стен брюсовского института вышло много профессиональных писателей, поэтов литературоведов, драматургов, журналистов, чьи имена ныне известны каждому читающему человеку. Их творческое начало организовал институт, а наполнила содержанием и мыслями жизнь, сложная, трудная и великая наша действительность.

С особым интересом я занимался русским фольклором у Ю. М. Соколова, известного собирателя былин и народных песен. Вместе с братом Борисом Ю. М. Соколов издал свои обширные записи в книге «Сказки и песни Белозерского края». Б. М. Соколов в то время читал лекции не у нас, а в университете и одновременно являлся директором незадолго перед тем созданного Центрального музея народоведения, размещавшегося на большой старинной Мамоновой даче, рядом с Нескучным садом, где ныне помещается Президиум Академии наук СССР. Б. М. Соколову понадобились сотрудники. По совету своего брата весной 1923 года он пригласил меня для работы в музее в Туркестанский отдел. Это был уже не фольклор, а этнография, но ее мы тоже касались в наших институтских занятиях, и я согласился, оговорившись, что Туркестана не знаю, никогда там не бывал. «Это поправимо»,— сказал Б. М.— Например, Бухарская народная республика поставила вопрос о вхождении в состав Советского государства. Там еще сохранился народный быт в патриархальном виде. Сохранились древние ремесла. Нам надо собрать не только орудия труда, но закупить для экспозиции целые мастерские. Например, мастерскую ткача со всем, что в ней находится, от станка до свечного огарка, а то, что невозможно перевезти, достоверно зарисовать. Ты рисовать можешь. Вот как только управишься с экзаменационной сессией, садись и поезжай, я тебе дам командировку» .

Летом 1923 года с письмами из бухарского постпредства и командировкой Музея народоведения я приехал

в Бухару. Тогда на одну дорогу в почтовом поезде от Москвы до станции Каган уходило дней шесть, если не вся неделя. Я взял с собой пачку книг по истории и искусству Бухары, Туркестана, Средней Азии. От станции Каган до Бухары шел местный поезд, неторопливо преодолевавший 16 километров. Это была дорога из современного мира в средние века.

Со мной в вагоне сидели почтенные бородатые бухарцы в белоснежных больших чалмах и пестрых халатах; остро пахло степными травами; негромко велась беседа на незнакомом мне языке. Пили горький зеленый чай, запасенный на дорогу в вокзальной чайхане. Пили из плоских чашек, которые правильнее было бы называть плошками, но бухарцы называли их пиалами. Поочередно пили все из одной чашки, каждому наливая по одному глотку. Но как гостеприимно, приветливо, церемонно подавалась эта чашка, когда подходила очередь принять ее. Это было вступление в новый, неведомый, привлекательный мир.

На другой день я побывал у главы Бухарской народной республики Файзуллы Ходжаева, вручил ему письмо из бухарского постпредства, и он сказал:

— Чтобы выбрать для музея самое типичное, надо знать и случайное. А чтобы отличать одно от другого, надо пожить в самой гуще жизни. У нас есть мадраса, расположенная у базара. Там еще изучают богословие, но половина учителей и учеников разъехалась неведомо куда. Нам-то ведомо, куда, но не в этом суть. Есть много свободных келий. Я попрошу муфтия отдать вам одну из келий. Поживите там. Можете поучиться у богословов, если явится такое желание. Базар будет рядом, а базар — это гуща жизни, там и ремесленники, и купцы, и мастерские кустарей. Валяйте. Вот вам письмо к муфтию. Он мне не откажет. Считайте, что келья у вас уже в кармане.

Я поселился в одной из уютных келий в древней

мадрасе Мир-Араб. Прожил там до глубокой осени. Сделал закупки для музея и, оставляя в Бухаре много добрых друзей, особенно среди кустарей и богословов, возвратился в институт.

Летом следующего года Ю. М. Соколов, перед тем испытавший мои способности в фольклорной студенческой экскурсии в Переславль-Залесский, включил меня в состав экспедиции, отправлявшейся записывать былины и сказки в Заонежье. Из Петрозаводска мы поплыли на живописные острова, в Кижи. Если накануне мне открылся неведомый мир Бухары, теперь передо мной встала столь же неведомая страна Карелия с ее озерами, непроглядными лесами, деревнями, где каждая изба сохраняла черты построек времен Великого Новгорода, где говорили на языке, хранившем строй четырнадцатого века. Я вошел в Русь, ничем не подновленную во всей ее исконной красоте.

Целое лето шли мы по лесам, по полям, забираясь все глубже и глубже в такие селения, о которых порой даже никто и не знал. Там находили мы певцов и сказочников, записывали их, вглядывались в их быт, в их жизнь, отделенную от большой жизни десятками верст, протянувшихся по непроходимым буреломам и топям.

Когда поздней осенью мы возвратились в институт, на нас смотрели как на подвижников, высохших и почернелых от ветров, но счастливых: нам удалось записать очень многое, что по сохранности своей превосходило прежние записи, а в нескольких случаях записаны были те древние песни, которые еще никому не случалось не только записывать, но и слышать. Так я впервые погрузился в жизнь древней Руси.

Но и Азия от меня не отступала.

В 1925 году я поехал туда снова, на этот раз в Самарканд. Командировку мне дали московские газеты, куда я, учась в институте, успевал писать очерки.

В Самарканде, переходя от одних древних зданий к

другим и в каждое наведываясь неоднократно, я привлек внимание археолога В. Л. Вяткина, густобородого энтузиаста. Это был выдающийся знаток Самарканда, написавший о его древностях несколько книг. В свое время он нашел и раскрыл обсерваторию Улугбека. В то лето он вел раскопки на Афрасиабе. Ему нужен был десятник, чтобы руководил двумя десятками землекопов, требуя от них осторожности, бережливости, и отвечал бы за сохранность находок. Расспросив меня, Вяткин предложил мне эту работу на Афрасиабе.

Все лето 1925 года я провел среди траншей на голых холмах, на горячем ветру, под ярким солнцем. Но мне пришлось не только следить за лопатами и мотыгами рабочих, надо было и досконально знать, что мы ищем, с чем можем встретиться, когда траншея упрется в какую-нибудь стену. Каждый вечер, едва отмывшись от пыли, я спешил в свою уже самаркандскую келью в караван-сарае Юлдаш Тага и садился за сочинения востоковедов, за справочники, за словари.

В том году нам посчастливилось. Расчищая один из раскопов, мы открыли вдоль трех стен комнаты алебастровую панель XI века, сложный геометрический орнамент отличной сохранности (ныне она хранится как одна из достопримечательностей в Самаркандском музее).

Экзамены 1925 года явились последними. Ректором после смерти В. Я. Брюсова был назначен профессор М. С. Григорьев, но институт решили перевести в Ленинград. Мы понимали, что недоброжелатели Брюсова, а такие находились среди деятелей Наркомпроса, взяли курс на ликвидацию института, ибо не было никаких оснований для перевода: Москва не имела вуза с таким профилем, помещение в ту пору никому не требовалось, а смена преподавательского состава неизбежно приведет к иной системе обучения.

Поэтому большинство из нас отказалось от переезда в Ленинград. Младшие курсы, не успевшие пройти всю

программу, перевелись в Московский университет на отделение литературы и языка, в сокращенном варианте звучавшее, как «оля». Там они и получили свои дипломы. Многие из студентов, становившиеся к тому времени уже профессиональными литераторами, не поехали в Ленинград и не направились к «оле», решив, что писать можно и без диплома. Но все они называли себя брюсовцами, ибо институт успел воспитать в них взыскательность к работе и стремление к постоянному расширению знаний, чего с первых же дней институтских занятий требовал от нас Брюсов.

Наши прогнозы в отличие от иных прогнозов исполнились: почти сразу после перевода в Ленинград институт был «реорганизован». Частично он вошел в Институт истории искусств, частично слился с литературным факультетом Ленинградского университета.

Еще летом 1925 года, собрав напечатанные в разных газетах и журналах свои статьи и очерки, я подал заявление во Всероссийский Союз писателей. По рекомендации Андрея Белого, при активной поддержке большинства членов правления — Л. М. Леонова, Вс. Иванова — и некоторых писателей старшего поколения я был принят в члены ВСП.

Напечатав в разных газетах очерки о Бухаре и Самарканде, я возвратился к Вяткину, на Афрасиаб. Опять траншеи, книги востоковедов, справочники, словари и вместе с одним из семинаристов мадрасы Тилля Кари изучение корана, богословских трактатов, в том числе и книг Джалалиддина Руми.

Летом 1926 года Ю. М. Соколов позвал меня в новую экспедицию на Север. На этот раз предстояло пройти по глухим местам восточной Карелии, через Пудож и смежные районы. Раскопки на Афрасиабе заканчивались — Вяткину отказали в ассигнованиях. Я попрощался с ним, как оказалось, навсегда и опять пошел по лесным топям и через буреломы в древнюю Русь.

Год спустя экспедицию провели через Вологду, Каргополь, снова разыскивая искусных певцов, но нередко и не очень искусные исполнители сохраняли в памяти фрагменты утраченных былин и сказаний, представлявших большую ценность для исследователей древнерусской литературы, чувствуя, что в дальнейшем такие экспедиции едва ли будут возможны, мы не щадили сил и времени, проходя десятки километров по лесам и по берегам рек, все дальше и дальше в глубь русского Севера.

Впоследствии многочисленные наши записи составили объемистый том «Литературного наследства», но подготовка его к изданию потребовала многих лет. Эту тщательную, трудоемкую работу провел участник одной из экспедиций В. И. Чичеров, талантливый фольклорист и ученый.

Для меня эта третья поездка на Север не была последней. Года два спустя поступило предложение свозить наших сказителей в Париж, куда съезжались в тот год исполнители народного искусства из многих стран мира. Ю. М. Соколов предложил мне проехать по всем местам, где побывали три экспедиции, и как бы связать все три в одной поездке. Стояла зима, и ехать мне предстояло одному, наняв сани в Петрозаводске. Я поехал. По льду пересек Онежское озеро, побывал на Клипенецких островах, выехал к Пудожу, оттуда на Северную Двину. Санным путем оказалось гораздо легче проехать в места, куда добираться по летним тропинкам бывало так трудно.

Прошло только два года после экспедиций, но приглашать в Париж оказалось уже некого: умер великолепный сказитель Шауля, одряхлел и почти не слезал с печки сказочник Мякишев. И так везде, куда бы я ни наведывался. Стало ясно, что экспедиции Ю. М. Соколова застали древнюю русскую литературу накануне ее агонии: старшее поколение, хранившее великие традиции, безвозвратно уходило. Оставались только ученики, лишь

повторявшие то, что успели заучить со слов своих стариков: ученики не имели знаний, чтобы обогащать тексты вариантами, черпая их из сокровищницы народной памяти. Они только повторяли вызубренные стихи или фразы, не видя перед собой того, о чем сказывали. А на смену им шли певцы, влагавшие в древнюю форму повествования о явлениях современной жизни. Утрачено было то чувство меры, то единство формы и содержания, что присуще подлинным мастерам.

Я еще писал стихи, начал писать главы для задуманной книги о Бухаре и Самарканде, печатал их в периодике, по поручению газет уезжал то на Дальний Восток, то в Казахстан, то в Закавказье. Современная действительность отвлекла меня и от археологии, и от фольклора. Я спешил на места, где происходили наиболее значительные события тех лет.

Не всегда хватало времени, а порой не хватало и опыта, необходимого для работы над формой. Позже я собрал наиболее характерное из всего написанного и переиздал так, как написал тогда, не исправляя ни строчки, чтобы самому себе и моим читателям было видно, как начиналась моя литературная жизнь. Книга называлась «Тридцатые годы». Когда ее части выходили отдельными изданиями, а издаваться они начали с 1931 года, то привлекали внимание читателей и критиков. Это помогло мне увидеть у себя и слабые стороны, и удачи. Только стихи я не собирал в сборники, считая, что стихи — не моя стихия: они стесняли меня, в них я не чувствовал себя свободным, а рассказывать надо было о многом, о современных делах, о жизни людей в годы первых пятилеток.

В 1928 году возникло много проблем, касавшихся тихоокеанского рыболовства. Я поехал во Владивосток, плавал на первых больших рыболовных кораблях к берегам Японии и Кореи. Хотя впоследствии мне не пришлось ничего писать о тех краях, кроме небольшой по-

вести, люди и природа Дальнего Востока расширили мое представление о мире, о культурах, которые я знал прежде по книгам. И дальнейшие неоднократные поездки в Японию, Китай, Вьетнам помогли мне острее увидеть те культуры и ту жизнь, о которых я писал в те годы. Издалека мне виднее было своеобразие Средней Азии, Ближнего Востока: я не заметил бы многого в их архитектуре, культуре, быту, если бы не знал и не сопоставлял с ними красок и культуры дальневосточных стран.

Пришло время коллективизации, появилась памятная статья «Головокружение от успехов», при больших колхозах возникли первые политотделы. Я поехал в Южный Казахстан, в наиболее отдаленные по тем временам колхозы. Турксиб еще только строился. Осенью поехал в Армению, где у политотделов были иные условия работы, другие люди, свои трудности. От этих поездок остались несколько очерков и небольшая повесть о Вагаршапате.

Когда шло к концу строительство Турксиба, я снова поехал в Южный Казахстан, видел завершение работ. В этой поездке со мной были И. Ильф и Евг. Петров, остававшиеся неизменно близкими мне людьми до их ранней гибели. О Турксибе я тоже написал несколько очерков, печатавшихся в Москве.

Так из разных поездок по многим градам и весям сложилась моя книга «Тридцатые годы». В современной теме прежде всего меня интересовали новые люди, переустройство быта, духовное перерождение человека.

Едва ли мне удалось написать десятую долю задуманного, выразить тысячную долю виденного. Но меня уже не удовлетворяла работа над быстро сменяющимся материалом. Влекло к большой форме — к роману, к объемной повести, но собранный материал, многочисленные впечатления от различных поездок не складывались воедино. Я было написал даже повесть о строительстве колхозов в Южном Казахстане, о строительстве Турксиба. Повесть я в рукописи дал читать писателю Н. Огневу,

он нашел в ней много мест, над которыми стоило еще поработать, но она как-то уже не привлекала меня, к дальнейшей работе над ней душа не лежала. Она называлась «Восьмая река». Я так и не взял ее у Огнева, и дальнейшая судьба этой рукописи мне неизвестна, она затерялась в каком-то из архивов.

Меня уже влекла история. Это не было бегством от современной темы. Наоборот, в истории я хотел рассмотреть путь, по которому из далекого далека наш народ пришел к своему настоящему. Я хотел рассмотреть в далеке прообразы того, что и ныне живет в нашем народе и что не потеряло своей актуальности, даже злободневности в текущей жизни. Я хотел увидеть далекие события глазами советского человека, распознать праотцев, не навязывая им идей нашего времени, но понять события под углом зрения наших идей.

Чем больше я перебирал в памяти узловые периоды русской истории, тем глубже и увлеченнее входил в исторический материал.

Тема борьбы Руси за свое освобождение от чужеземного ига возникла как бы неожиданно, но после я понял, что интерес к этой теме сложился не случайно, не внезапно, он накапливался в сознании постепенно, настойчиво; складывался не в отрыве от действительности, а пришел из самой свежей, из самой злободневной современности.

Работа предстояла сложная, материал был разнообразный, и, чтобы освоить его, нужно было отрешиться от повседневного ритма московской литературной жизни, уединиться, разобраться в новом для меня мире.

4

В 1934 году переехал в Подмосковье и там на высоком берегу Москвы-реки поселился в селе Старая Руза, где оказался в тишине, свободным от повседневной сує-

ты; все мое время отныне принадлежало мне. Можно было попытать свои силы в большой форме.

Давно меня интересовала история средневековья. Пользуясь достатком времени, я сначала много читал разных историков с очень разными взглядами на один и тот же предмет. Надо было самому разобраться в возникавших вопросах и только тогда решить, кто из историков прав, а кто не объективен. Я выбрал эпоху, привлекавшую меня с детства, эпоху Дмитрия Донского, когда шла борьба Руси за свое освобождение от чужеземного ига. Тема складывалась в моем сознании как глубоко современная, более того, злободневная, ведь по Европе уже шли фашисты, захватывая чужие земли, уничтожая чужие культуры. Писать об этих событиях я не мог — для этого надо было самому видеть это шествие завоевателей, понять их нутро и чувства их жертв. Писать заочно, понаслышке я не умел, ехать туда самому не было возможности. Но передать происходящее в обобщенном виде, на примере истории, мне показалось возможным. Следовало, не беря на веру суждения историков, самому изучить все те документы, на которых основывали ученые свои труды.

Это увлекательное дело — поиски и чтение древних актов, рукописей, изучение памятников быта и культуры той поры, хождения по музеям, поездки на места действий. Постепенно я воспринял всю давнюю, минувшую жизнь как нечто современное, до мелочей мне знакомое. Я иногда обнаруживал, что документ, из которого исходили историки, был фальшивкой или грешил явным полемическим пристрастием и даже с оговоркой на него нельзя было опираться для характеристики лица, против коего этот документ был составлен. Так в 1938 и 1939 годах я проштудировал все первоисточники, до каких только мог добраться, установил подлинную историю дружеских или родственных связей между современниками Дмитрия Донского, держал в руках и разглядывал доку-

менты, монеты, книги, оружие — вещи, видевшие Донского и, может быть, даже принадлежавшие ему. В моем представлении тот мир сложился как нечто реальное, где я уже мог наиболее типичное и характерное отделять от случайного и наносного. Мир XIV века стал перед моими глазами, и уже можно было писать о нем как о реальной действительности. Но вместе с тем я не забывал, что коричневая орда сжигает и топчет города Европы и что нашему читателю следует напомнить, какой ценой отстояли мы родину от таких же орд много веков назад.

Исторический материал изучен, изложение событий должно быть достоверно, вымысел тоже должен находиться в пределах исторической и бытовой достоверности, то есть, когда о том или ином эпизоде документы ничего не сообщают, эпизод можно включить в действие романа, если в данной обстановке и в данных обстоятельствах такой эпизод вполне мог иметь место. Идея романа тоже отчетливо определилась. Не вполне ясен был вопрос о языке.

В русской дореволюционной литературе и у ряда европейских писателей историческая тема служила лишь предлогом для всевозможных стилизаторских упражнений, для экспериментов в области формы. Этим целям были подчинены и язык, и композиция, и поведение героев. Историческая действительность приносилась в жертву прихотям экспериментаторов. Но и там, где, казалось бы, наличествует реалистическая основа, характеры, быт и облик героев часто не соответствовали людям описываемой эпохи.

Такое стилизаторство и загромождение словаря отчуждают читателя от книги. «Нет,— думал я,— между читателем и произведением язык должен быть мостом, а не стеной». Язык должен быть содержателен, богат, но свободен от такого словотворчества, когда на место исконных, дошедших до нашего времени слов придумыва-

ются слова, неведомые народу и обычно выпадающие из склада и ритма русского литературного языка. Словотворчество лишь тогда допустимо, а порой и необходимо, когда в язык вводится понятие, до того времени неизвестное и не имеющее надлежащего слова для своего выражения. Также нельзя возвращать в язык романа слова, хотя и бытовавшие в описываемую эпоху, но давно из обихода выпавшие и народом крепко забытые. Возвращение таких слов для существования их лишь в одном произведении, без уверенности, что они возвратятся в язык для длительного существования,— это не обогащение, а засорение языка. Это я тоже отверг, думая о языке предстоящей книги. Некоторые, сами не владея богатствами родного языка, ищут эти богатства на стороне, вытаскивая их из древних книг или еще чаще из словарей, а особенно из словаря Даля. Но к чему это приводит, примером может служить сам Даль, писавший под псевдонимом Казак Луганский: навязчивый, не вяжущийся с темой, не живой, а надуманный язык его произведений послужил одной из причин забвения его книг, по материалу и образам заслуживавшим лучшей участи.

Нужен был язык, способный передать дух XIX века, но достаточно простой и ясный для читателей нашего времени. Строгий отбор в словаре, но и необходимая свобода, чтобы язык не сковывал действия. Язык книги, обращенной к широкому читателю, к народу, должен быть народен. Народен, а не примитивен.

Обо всех этих раздумьях я забыл, когда начал писать. Язык определялся материалом, характерами действующих лиц, избиравших для себя речь столь простую, что она ясна была и для нашего времени.

Две трети романа о Дмитрии Донском уже остались позади, когда я задумался о месте, где смогу его опубликовать. В те годы с удивительной последовательностью возникали различные литературные законодатели, считавшие историческую тему чем-то чуждым, даже вред-

ным, отвлекающим от современности. Много труда было вложено в главы, лежавшие на столе, прервать работу над ними уже не было сил: герои являлись к моему рабочему столу, возникали перед глазами в лесу, когда ходил на прогулку; я вдруг слышал ту или иную фразу, произнесенную языком XIV века и уже знакомым голосом одного из героев романа. Я вошел в ту стадию работы, когда некогда стало что-либо придумывать, когда действие само призывало меня взглянуть, как оно разворачивается. Мне оставалось только записывать то, что возникало.

И в этой стадии работы некий рационалистический, трезвый ворон каркал о том, что, когда роман будет закончен, никто не решится его печатать, потому что где-то кем-то уже дан знак воздерживаться от публикации исторических романов. Публиковался «Спартак» Джованьоли, печатался «Овод» Войнич, а роман Яна «Чингисхан» застрял в дебрях Гослитиздата. (Мои попытки прочитать его хотя бы в рукописи оставались тщетными.) «Петр Первый» А. Н. Толстого вышел лишь под нажимом настойчивого автора. Легче шли биографические романы, аккуратно подстриженные по модам тех лет. У издателей сложилось убеждение, что отличиться в глазах законодателей литературной моды можно только книгами на современную тему, независимо от их художественных достоинств. Кстати, весьма примечательно и отнюдь не случайно, что за историческую тему писатели брались обычно в пору своей творческой зрелости, обогащенные литературным опытом, уверившись в собственных силах. В этом легко убедиться, взглянув на даты окончания наиболее выдающихся исторических романов.

Не только для меня, но и для большинства писателей было бесспорной истиной, что исторический роман неотделим от всех других жанров литературы, ибо литература — единый организм и успех одного произведения не-

избежно поднимал художественный уровень смежных и даже отдаленных жанров, ибо образы, удачно раскрытые в одном, заставляли задуматься и о раскрытии образов в других произведениях. Хорошо построенный роман делал очевидными рыхлые композиции у других авторов; взыскательность одного ставила вопрос о недопустимой небрежности у других.

Не только мне, но и всем, кто читает книги, известно, что ни одна литература, а тем более великая, не совершенствуется, не растет, если в ней не развиваются одновременно все жанры. На какое-то время могут возобладать одни, затаиться, как бы созревая, другие. Но богатство и величие литературы заключается в росте всех жанров, в их творческом единении и взаимодействии.

Ну как, например, представить себе Флобера без «Саламбо», Гюго без «Собора Парижской богоматери», бельгийскую литературу без «Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера? И есть ли великие литературы, в которых не был бы развит и не относился бы к ее вершинам исторический жанр?..

Не касаясь писателей, которые обессмертили себя только историческими темами, таких, как Мериме, Вальтер Скотт, Александр Дюма, я перебирал в памяти золотой век русской литературы. Насколько был бы беднее Пушкин без «Бориса Годунова», без «Полтавы», без «Капитанской дочки», можно ли представить себе Гоголя без «Тараса Бульбы», без «Пропавшей грамоты», сузился бы образ Льва Толстого без «Войны и мира», А. К. Толстого без «Князя Серебряного»... Я убеждался, что поход против исторической тематики мог быть только порождением невежества, незнанием литературы и законов ее развития.

В этих раздумьях, чувствуя свою беспомощность, я прервал работу над романом, увешал одну из комнат своего дома птичьими клетками и слушал из рабочей комнаты, как за стеной, словно в глухом карельском ле-

су, множеством различных голосов заливаются птицы: у них не было законодателей мод и они пели так, как им хотелось, ибо, как бы они ни пели, все это было во славу жизни и родного приволья.

Перерыв в работе продолжался месяца три. Мои герои уже не являлись мне в час раздумий, я уже не слышал их голосов. Наступала тишина творческого молчания.

Однажды светлым августовским вечером кто-то постучался ко мне. На пороге показался писатель Александр Митрофанов, автор книги «Июнь — июль», привлекшей к себе внимание широкого читателя, секретарь редакции журнала «Красная новь», которую тогда редактировал Александр Фадеев. Митрофанов привез мне коротенькую записку от Фадеева: «Саша расскажет, какое у нас к тебе дело. Саша».

Я не торопил Митрофанова, предполагая, что речь пойдет о рецензии на какую-нибудь рукопись или книгу, хотя мне казалось странным, что ради рецензии Митрофанов проделал столь длинную по тем временам дорогу. Наконец он сказал:

— Дело вот в чем: в каком состоянии твой исторический роман?

— Две трети написано. Но кому он нужен!

— Нам.

— А откуда ты о нем знаешь?

— А ты в прошлом году говорил Фадееву, что начал писать?

— Говорил мимоходом.

— Он считает, что, если тогда ты начал, дело подходит к концу.

— Да и был бы конец, если бы не сомнения.

И я рассказал о положении с исторической темой в наших редакциях. Он выслушал и спросил:

— Короче, на какой номер нам планировать «Донского»?

— В ноябре я кончу.

— Значит, ставим на январь.

Два осенних дождливых месяца пролетели, как мгновение; точка была поставлена, рукопись перепечатана, и я отвез ее в Кривоколенный переулок Фадееву. В январе 1941 года журнал открыл этим романом свой год. Тогда никто не знал, каков он будет, этот 1941-й...

Одновременно я отдал рукопись в издательство «Советский писатель», и там она пошла по тернистой тропе рецензий. Рецензенты изощрялись, чтобы найти изъяны в рукописи, приписывали автору слова его героев и, наконец, направили главный удар на то, что среди положительных героев оказался Сергий Радонежский. Фадеев, узнав об этом, вмешался столь решительно, что все замечания были отброшены и без каких-либо поправок роман вышел в свет в самом начале войны. Весь тираж книги сразу ушел на фронт. В том же году зимой Фадеев привез мне с передовых позиций из района Рузы экземпляр этого романа, пробитый осколком фашистского снаряда. Так исторический роман встал в строй Советской Армии.

5

В годы войны трудно было сосредоточиться для уединенной работы над большой книгой. Я вернулся к журналистике, печатался в «Правде», в различных московских изданиях, работал в Комитете по кинематографии.

В 1946 году я уехал корреспондентом «Правды» на Балканы — в Румынию, Югославию, Болгарию. Возвратился в 1947 году, но работа над большим романом не складывалась, хотя написал несколько глав романа «Андрей Рублев», собрав большой и во многом неизвестный материал о культуре, искусстве и событиях того времени.

6

В 1950 году я уехал в Узбекистан, где много раз бывал за эти годы. Для этого переезда было несколько причин — врачи рекомендовали мне сухой и теплый климат, письменный стол требовал творческого уединения, а главное, этого требовала тема, которую я задумал. Хотелось вникнуть в образ завоевателя, раскрыть его характер, понять историческую основу завоеваний. Эту тему на современном материале было трудно раскрыть: в образ завоевателя вклинились бы слишком конкретные черты, обобщения казались бы искажениями действительности. Нужно было взять героя из какой-то более отдаленной эпохи. Я выбрал Тамерлана, о котором большой материал в форме рукописей, преданий, легенд, предметов материальной культуры хранится в Узбекистане.

Тимур интересовал меня еще в период работы над «Дмитрием Донским». Ведь Туркестан был тылом Золотой Орды, а Хорезм даже входил в состав золотоордынского государства. Думая о Мамае, я не мог забывать о таком его современнике и даже личном покровителе, как Тамерлан. Поэтому еще в то время у меня накопился ряд сведений о Тамерлане и его владениях. Это была та же эпоха, почти те же годы, когда жил Дмитрий Донской. Интерес к этому времени был понятным развитием темы Донского с той существенной разницей, что Донской являлся освободителем своего народа, а Тамерлан сам стал завоевателем и разорителем чужих культур. Тема, которая мне мерещилась в конце тридцатых годов, когда фашизм захватывал одну европейскую страну за другой, наиболее выразительно, на мой взгляд, могла раскрыться в образе Тимура. Но сколь обширен материал, как много больших событий потребует своего изображения, этого я еще не предвидел, когда в 1951 году начал писать первый роман из цикла «Звезды над Самаркандом». По привычке я отбрасывал все частное

и второстепенное, стремясь по возможности сжать материал, но он сопротивлялся, на месте сжатых или отвергнутых эпизодов образовывались бреши, получались нарушения логической последовательности событий, достоверности характеров. Приходилось возвращаться к готовым главам и вписывать пропущенные эпизоды, чтобы восстановить историческую или психологическую (то есть достоверную) связь событий. Я видел, что роман разрастается, ломая первоначальный план, видел, что материал не укладывается в одну книгу, но герои уже вступали в свои права, тянули меня к столу и диктовали свою жизнь и воспоминания, как реальные люди. К тому же лет пятьсот тому назад они и были реальными людьми, и об этом следовало помнить, чтобы не превратить исторических людей в тряпичные куклы: исторический роман — это отнюдь не театр кукол. Исторический роман — это встреча с живой действительностью минувших веков.

Мне уже случалось говорить о том, что между материалом историческим и современным различие чрезвычайно условно, современность произведения отнюдь не определяется материалом — современно произведение или чуждо современности, решает идейная позиция автора. Многие исторические романы отвечают на самые острые вопросы современности, и, наоборот, есть книги, написанные о сегодняшней жизни, но с мировоззрением XIX века или, что еще хуже, с отсталым или обывательским. Поэтому следует судить об историческом романе, прежде всего анализируя его идейную направленность. И только тогда видно будет, каков его вклад в развитие современной литературы и действительно ли современен этот исторический роман.

Кроме того, нельзя делать скидку произведению ради того, что оно посвящено сегодняшнему дню, а не дню минувшему. Написанное небрежно, невыразительным, мертвым языком, лишенное диалогов, характеризующих

персонажи, оно может только дискредитировать современный материал, провалить его в глазах читателей, залежаться на книжной полке, как бы актуальна ни была тема. Нельзя художественное произведение поднимать и прославлять только за одну злободневность. Это тем более важно в наши дни, когда советская литература на мировом книжном рынке должна вытеснять литературу, враждебную нам. Без высокого художественного уровня тут ничего не сделаешь.

Идейная четкость, высокий художественный уровень, безупречная историческая достоверность — вот те три основы, которыми нужно овладеть, чтобы исторический роман вошел в ряды передовой литературы и составил неотъемлемую часть ее достижений. Об этом следует помнить, берясь за огромный материал исторического романа. Он требует многих лет упорного труда, которые пропадут даром, если хотя бы одна из этих трех основ будет отсутствовать.

Обо всем этом я думал, стоя перед очевидностью: материал начатого романа обширен, понадобятся дополнительное изучение и проверка первоисточников; понадобится полное знание тех стран и народов, где раскинется действие, а значит, надо не только увидеть места действия, но и суметь сквозь стены нынешних зданий рассмотреть те улицы, по которым пойдут мои герои, а ни тех улиц, ни тех одежд, ни того ритма жизни уже нет.

И вот начались длинные дороги. Словно в обозе Тамерлана я тащился вслед за его воинством, смотрел его дела, запоминал их и записывал. А с действиями героев связаны были и Каир, и весь Ливан, и Дамаск вместе со всей Сирией, и Иерусалим с окружающими его озерами и пустынями, и Багдад с его золотыми мечетями, вся Турция от края и до края, и Константинополь, и Трапезунд, и Арзурум, и весь Тунис, и Генуя, и Венеция, и страны на Балканах... И ничего нельзя было описать, не побывав там, а в иных местах по два и по три раза, что-

бы их лучше понять. Длинные дороги иногда ради двух-трех страниц в книге. Эта та невидимая работа, которую не нужно знать читателю, но без которой нельзя овладеть одной из основ — достоверностью.

Казалось бы, это простое дело: возьми учебник истории за данный период, прочитай и пиши роман. Нет, исторический роман — это не столько и не только история, это сама жизнь, сбросившая все наслоения последующих веков и вставшая в том виде, в каком она сияла когда-то на земле. И ее нужно увидеть своими глазами, прежде чем описывать. Учебник и даже монография — это только костяк былого, а писателю нужен не костяк, а живое тело.

Между историком и писателем есть существенная разница: историк включает в свое сочинение весь материал, и чем больше он найдет и включит этого материала, тем ценнее считается его труд. Писатель должен до мелочей знать все, что знает историк, но выбрать для своей книги наиболее выразительную часть собранного материала, иначе колесница действия и движение образов увязнут в деталях и фактах.

Первый роман из «Звезд над Самаркандом», «Хромой Тимур», был закончен и опубликован. Было даже так: я во время работы законченную главу отдавал редактору ташкентского журнала «Звезда Востока», и пока еще работал над следующей, уже приходили читательские отзывы на опубликованные. Мне было приятно, когда эти отзывы свидетельствовали, сколь тонко, до мелочей, вникали читатели в суть романа, как уговаривали меня изменить или оправдать поведение того или иного героя. Такое вмешательство означало, что читатели воспринимают моих героев как живых людей, забывают, что и живые-то из них жили пять веков назад. Это участие читателей могло бы и сбить автора с толку, столкнуть его на какой-то боковой, сторонний путь. Но в данном случае такого не произошло, а вникнуть в образ, заменить в нем недосмотры помогало.

Были и очень странные отклики. Один, казалось бы, образованный человек взвалил на меня обвинения чуть ли не в религиозной пропаганде, в восхвалении феодальных обычаев и подкрепил цитатами из моих же текстов, приписав автору высказывания героев. Но героями моими были и муллы, и носители феодальных заветов, и я не мог бы не раскрыть их, если бы не дал им слово, не помог бы высказать свои взгляды. Они разговаривают, высказываются, спорят между собой, автор же прислушивается к ним и записывает в соответствующие места эти речи. Таков извечный прием любого романиста, именуемый косвенной речью, иначе и Льва Толстого можно обвинить в исповедании тех истин, которые у него изрекает Наполеон!

Второй роман цикла, названный «Костры похода», я смог писать только после долгого перерыва: потребовалось не только несколько поездок в Закавказье и в Восточную Турцию, но и розыски в армянских архивах, изучение малоизвестных первоисточников, памятников материальной культуры, уцелевших в многострадальной Армении за пятьсот с лишком лет со времен Тамерлана.

Второй роман я тоже публиковал в процессе работы, и, как и в первом случае, мне нужно было отчетливо, до мелочей продумать весь план книги и нерушимо соблюдать его. Правда, у меня осталась возможность после журнальной публикации изменить композицию и многое вписать при сдаче рукописи для книги. Но это неизбежно сказалось бы не столько на действии, сколько на трактовке характеров, образов, если бы я заставил их делать или говорить то, чего они не делали и не говорили в первой редакции. Нет, я отдал в издательство тот же вариант, что печатался в журнале. Внес только неизбежные поправки там, где у меня возникли сомнения сами по себе или после замечаний читателей.

Правда, среди читательских писем появилось несколько раздраженных, наполненных упреками в том,

что Тамерлан у меня жесток и не может быть образцом для подрастающего поколения. Эти замечания я откинул: не могу сочувствовать национально ограниченным людям, которые воспитывают детей по образу и подобию феодала-завоевателя. Этот образ сложился не за тем, чтобы с него брать пример, а для того, чтобы не быть на него похожим.

За эти два романа правительство Узбекистана удостоило меня высшим признанием — премией Хамзы.

Третий роман цикла — «Молниеносный Баязет» — потребовал особенно много времени. Его действие раскинулось по всему Ближнему Востоку. Значит, опять потянулись длинные дороги, опять поиски в архивах и в частных библиотеках. В Стамбуле турецкие друзья познакомили меня с одним коллекционером древних документов и книг. Еще раньше я знал, что в наследство от своего деда он получил собственноручное письмо Тамерлана. Можно ли было пройти мимо такого архива? Знакомство состоялось. Ради нашего общего друга, познакомившего нас, он согласился показать мне это письмо. Но поставил несколько существенных условий: я нигде не назову его имени, так как он не хочет, чтобы кто-либо знал о составе его коллекции. Второе, со мной не будет никого, кто мог бы, кроме меня, видеть этот документ. Третье: я не должен иметь при себе ни фотоаппарата, ни записной книжки, ибо первую публикацию бесценных документов осуществит он сам в удобное для себя время.

Дни в поисках пути к этому архиву, дни в ожидании знакомства и приглашения, дни в ожидании встречи... Понадобилась целая неделя, чтобы только взглянуть на письмо — листок, украшенный двумя подлинными прикосновениями печатки Тамерлана... И уже не из уважения к другу, а из расположения ко мне владелец дал мне это письмо в руки. Пожелтевший, почти прозрачный пергамент. Порыжевшие чернила. Тесные строчки, в двух местах остались следы брызг. Может быть, тогда шел

дождь, может быть, у Тамерлана слезились глаза. Я держал листок, и он словно бы рассказывал мне обо всем, что окружало его, пока просыхали чернила, — о людях, стоявших вокруг, о расписном потолке над ним, о дождливом дне за открытым окном.

Так прикосновение к вещам, участвовавшим в событии, раскрывает само событие. Монета напоминает о базаре, который шумел, когда она, чистенькая, только что отчеканенная, лежала в теплой ладони купца. Книга, сохранившая след своего читателя — он загнул страницу, когда его отвлекли от чтения,— и через пятьсот лет я замечаю место сгиба. Разве эта книга не рассказывает?

Но такие поиски, как правило, не нужны историку: на монете нет даты, а имя правителя стерто. Книга — лишь список с другой книги ничем от той не отличающийся... Здесь тоже существенное различие между историком и художником. И кто из них более достоверен?!

«Молниеносный Баязет», опубликованный в «Дружбе народов», первым изданием выходит в издательстве «Советский писатель».

Когда журнал окончил публикацию «Молниеносного Баязета», Верховный Совет Узбекской ССР присвоил мне звание народного писателя Узбекистана.

7

Среди больших событий в жизни родной страны, неторопливо переступая со ступени на ступень, прошли семьдесят лет моей жизни. Я не спешу подводить итог. Пусть за меня это сделают критики. Не могу не признать: в основном, они всегда были ко мне справедливы.

Я не могу подводить итог, пока на столе лежит рукопись нового романа; пока я не разберусь, каков он получится. А новый роман — это новые поиски, новые дороги, и разве можно предугадать, предусмотреть все, что ждет человека, когда он в пути.

Москва, ноябрь 1973

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Петрович БОРОДИН

МОЛНИЕНОСНЫЙ БАЯЗЕТ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1976, 544 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Мовчан**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **В. Полонская**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **М. Федотова**

А 09444. Сдано в набор 14/VII-75 г. Подписано в печать 11/XII-75 г. Формат 84×108[1]/32. Бум. печ. № 1. Печ. л. 17,0. Усл. печ. л. 28,56. Уч.-изд. л. 28,23. Зак. 2487. Тираж 200 000 экз.

Цена 1 руб. 13 коп.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». Москва. Пушкинская пл., 5.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Минск, ул. Красная, 23.

В 1976 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Ф. Абрамов — Избранное (в двух томах).

Г. Баширов — Родимый край — зеленая моя колыбель. Повесть. Перевод с татарского.

С. Бородин — Молниеносный Баязет. 3-я книга романа «Звезды над Самаркандом».

В. Бубнис — Жаждущая земля. Три дня в августе. Романы. Перевод с литовского.

Н. Грибачев — Здравствуй, комбат! Повесть. Рассказы.

С. Журахович — Киевские ночи. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с украинского.

А. Кешоков — Сломанная подкова. Роман. Перевод с кабардинского.

В. Лацис — Сын рыбака. Роман. Перевод с латышского.

Г. Марков — Сибирь. Роман.

Т. Пулатов—Владения. Повести. Рассказы. **Рассказы.**

С. Санбаев — Колодцы знойных долин. Роман. Повести.

Р. Файзи — Его величество Человек. Роман. Перевод с узбекского.

В. Шукшин—До третьих петухов. Повести. Рассказы.

